

Борис Васильев

БОРИС
ВАСИЛЬЕВ

Борис Васильев

Собрание сочинений в восьми томах

Том второй

Повести

ТРАСТ-ИМАКОМ
РУСИЧ
СМОЛЕНСК
1994

ББК 84 Р7
В 19

Васильев Борис. Собрание сочинений в 8 томах. Том 2.
Романы и повести. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, РУСИЧ,
1994, с. 496.

ББК 84 Р7

В $\frac{4702010200}{3Д7(03)-92}$ Без объявления

ISBN 5-86171-019-8 (Т.2)
ISBN 5-86171-006-6

© Б. Л. Васильев
© А. О. Макаренков, оформление



НЕ
стреляйте
белых
лебедей

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ

Другу, с чьей помощью родилась эта книга, Нине Андреевне Красичковой посвящаю

От автора

Когда я захожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.

Я нахожу его в июньском краснолесье — неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди — серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине — задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным — разным для людей и разным для себя.

И разной была его жизнь — жизнь для себя и жизнь для людей.

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существовании?

Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прищелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.

1

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, иступленно кричала вьедливым, как комариный звон, голосом:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и

знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнил.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседки сократили до первых двух слогов:

— Харя-то наша опять кормильца своего критикует.

А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну, кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбницей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

— Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней — Тина и губки гузкой. А без нее — Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть:

— Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить — примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица — Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных — пять штук, костюмов суконных — два да костюмов джерсовых — три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич, муж дорогой. Супруг законный, хоть и невенчаный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забодай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка — дом собственный, пятистенный. Из клейменных бревен: одно в одно, без сучка без задоринки. Крыша цинковая: блестит — что новое ведро. Во дворе — два кабанчика, овец шесть штук да корова Зорька. Удоистая корова — в дому круглый год масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командированных водили:

— Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе. Одним топором сработано, как в старину!

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего...

Вздыхала Харитина. Ох, недоглядела за ней матушка-покойница, ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели — краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со вкусом, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлах остатков некогда звонкого красноселья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохраным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал:

— Хана прогрессивкам, Марья: валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом, и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел — любо-дорого. Одно слово: голова. Хозяин.

И держал себя в соответствии: не елозил, не шебаршился. И рублю и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

— Нет, не обротал ты жизнь, Егор: она тебя обротала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба — все верно. Федор Ипатович говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед

людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатович еще рюмочку нальет, сдобрится?..

— Да, жизнь обротать — хозяином стать: так-то старики баивали.

— Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой, правда!

— Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Но — бессмысленно.

— Да уж. Это точно.

— Руководить тобою надо, Егор.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!..

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя — осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленные или бобыли какие, у которых ни кола ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом — метельным, ознобистым — теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла: одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль да и брякнула:

— Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

— То исть как? — не понял Егор.

— Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

— Каждый день — и новое? — поразилась Тина.

— А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот... Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И мать божья уже не улыбалась, а хмурилась, да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот, как его... в модерн.

— Да, ставит Федор Ипатыч дом — картинка. А старый

освобождается: так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособи́те, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать навострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет:

— Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеси. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью.

Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволок: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

— Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая!

— Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

— Дык это... Стало быть, так, раз оно не этак.

— Ну, и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостонный.

Помирились. В гости за́хаживали. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

— Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

— Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

— А разве есть в тебе мушкетство настоящее? Ну, скажи, есть?

— Дык ведь как... Вон баба моя...

— Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то — да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Изю всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому — особо: хозяин.

— Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни — жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак...

Но зато был Колька.

— Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!

— Ну, и глупо, что так, — ворчала Харитина (она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). — Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать вместо трактора.

— Ну, что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался — и во все верил. Чего ни соврут, чего ни выдумают — верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся:

— Ну-у?..

Простодушия в этом «ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушие что-то пока не было, на иное спрос был:

— Колька, ты чего тут сидишь? Тятьку твоего самосвалом переехало: кишки изо рта торчат!

— А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:

— Да куда ты, куда? Живой он, тятка твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятка его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

— Отец у него собаچه слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног — только кряхтел. Даже докторша удивилась:

— Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал: ревет сынок в сараюшке (Колька спал там, когда

сестренка народилась. Горластая больно народилась-то — вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

— Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо: губы прыгали.

— Ункас...

— Чего?

— Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно — в спину-то?

— Какого Ун... Ункасу?

— Последнего из могижан. самого последнего, тятка!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

— Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться...

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубашке и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

— Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

— Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка — погодок, двоюродный братишка — только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости — от обиды. Сильно ревел, до трясушки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

— А он ему — хрясь, хрясь! Да в поддых, в поддых!..

— Больно, поди! — вздыхал Колька.

— Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки — одна на все дни:

— Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну, все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

— Чего ж только по рублику?

— А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику — это ого! Знаешь сколько? Тыщи две, наверное.

Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

— Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

— Бесплатно?

— Так по улице же.

— Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же: с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось:

— Ты, Вовка, скрозь гляди. Сверху все лжа.

Вовка и старался глядеть скрозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал — уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятка сказал — значит, так оно и есть.

А вообще-то слонов они только на картинках видели и один раз — в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили.

— Умная животная.

— Тять, а в Индии пашут на них?

— Нет.— Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал.— Здоров он больно для пахоты-то. Плуг выдернет.

— А чего ж они там делают?

— Ну, как чего? Тяжелое всякое. На лесоповале, к примеру.

— Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник.

— Да-а. Жрет много. Сенов не напасешься.

— А в Индии как же?

— Дык у них с кормами порядок. Лето сплошное: траву хоть двадцать раз коси.

— И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверно!

— Ну не скажи. У нас получше будет. У нас — Россия. Самая страна замечательная.

— Самая-самая?

— Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют.

— Значит, мы счастливые, тять?

— Это не сомневайся. Это точно.

И Колька не сомневался: раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более что сам Егор истово в это верил. Ну, а уж если Егор во что-то там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнения своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко.

— Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну, какая на тебе рубаха? Ну, скажи?

— Синяя.

— Синяя! Дерьмовая на тебе рубаха: с третьей стирки на подтирку. А у меня — заграница. Простирунул, встряхнул — и гладить не надо, и как новая!

— А мне и в этой ладно. Она к телу ближе.

— Ближе! Твоей рубахой рыбу ловить сподручно: к ветру она ближе, а не к телу.

— А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сываешь, искры сыпятся?

— Ну?

— Вот. Потому — чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому — своя, к телу льнет, ластится.

— Бедоносец ты, Егор. Пра слово: бедоносец! Природа обидела.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак...

Улыбался Егор. Смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших спорить не смел: при старших спорить — отца позорить. Наедине возмущался:

— Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяко, а ты смалчиваешь.

— Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они. Маются. Так-то, сынок.

— С мяса они маются! — сердился Колька.

Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал: Колька этого не любил. Не любил отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки — все от одного корня шли, и корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте, словно вдруг заколодило ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже бранчливого Федора Ипатовича.

— Руководить тобою нужно, Егор. Руководить!

Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого!..

3

Не задалась у Егора Полушкина на новом месте привычная работа. Правда, первых два месяца, когда топориком для Федора Ипатовича от солнышка до солнышка позванивал, все вроде нормально шло. Федор Ипатович хоть и руководил им, однако взашей не подталкивал, свою выгоду соблюдая. Мастера торопить нельзя, мастер — сам себе голова: это всякий хозяин сообразит. И хоть и бегал вокруг, и кипятил кровь, а особо подгонять не решался. И Егор работал, как сердце велело: где поднажать, где передохнуть, а где и отойти, присесть на бревнышко, на работу со стороны глянуть. Да не торопливо, не в задыхе — спокойно, вглядчиво, на три сигарки. За эту работу кормили его с семейством ежедневно, штаны старые дали и домишко. В общем, Егор не сетовал, не обижался: по закону, по сговору все было сделано. Полмесяца он в новом жилье устраивался, неделю радовался, а потом пошел работу искать. Не за-ради дома да удобства родственника — за-ради хлебушка.

Плотник есть плотник: за ним всегда работа бегаёт — не он за работой. Тем более что весь поселок труд Егоров видел, да и петух тот, его топором сработанный, с конька на весь белый свет кукарекал. Так что взяли Егора, можно сказать, с поясным поклоном в плотницкую бригаду местной строительной конторы. Взять-то взяли, а через полмесяца...

— Полушкин! Ты сколько дён стенку лизать будешь?

— Дык ведь это... Доска с доской не сходится.

— Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить?
У нас план горит, премиальные...

— Дык ведь для людей жа...

— Слазь с лесов! Давай на новый объект!

— Дык ведь щели.

— Слазь, тебе говорят!..

Слезал Егор. Слезал, шел на новый объект, стыдясь оглянуться на собственную работу. И с нового объекта тоже слезал под сочную ругань бригадира, и снова куда-то шел, на какой-то самоновейший объект, снова делал что-то где-то, топором тюкал, и снова волокли его, не давая возможности сделать так, чтобы не маялась совесть. А через месяц вдруг швырнул Егор казенные рукавицы, взял личный топор и притопал домой за пять часов до конца работы.

— Не могу я там, Тинушка, ты уж не серчай. Не дело у них — понарошка какая-то.

— Ах горе ты мое бедоносец юридивый!..

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

Откочевал он в другую бригаду, потом в другую контору, потом еще куда-то. Мыкался, маялся, ругань терпел, но этой поскаковской работы терпеть никак не мог научиться. И мотало его по объектам да бригадам, пока не перебрал он их все, что были в поселке. А как перебрал, так и отступился: в разнорабочие пошел. Это, стало быть, куда пошлют да чего велят.

И здесь, однако, не все у него гладко сходилось. В мае — только земля вздохнула — определили его траншеею под канализацию копать. Прораб лично по веревке трассу ему отбил, колышков натыкал, чтоб линия была, по лопате глыбину отметил:

— Вот до сих пор, Полушкин. И чтоб по ниточке.

— Ну, понимаем.

— Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай.

— Ну, дык...

— Нормы не задаю: мужик ты совестливый. Но чтоб...

— Нет тут вашего беспокойства.

— Ну, добро, Полушкин. Приступай.

Поплевал Егор на руки, приступил. Землица сочная была, пахучая, лопату принимала легко и к полотну не липла. И тянуло от нее таким родным, таким ласковым, таким добрым теплом, что Егору стало вдруг радостно и на душе уютно. И копал он с таким старанием, усердием да удовольствием, с какими работал когда-то в родимой деревеньке. А тут майское солнышко, воробьи озоруют, синь небесная да воздух звонкий! И потому Егор, про перекуры забыв, и дно выглаживал, и стеночки обрезал, и траншея за ним еле попевала.

— Молоток ты, Полушкин! — бодро сказал прораб, взглянувший через три часа ради успокоения. — Не роешь, а пишешь, понимаешь!

Писал Егор из рук вон плохо и потому похвалу начальства не очень чтобы понял. Но тон уловил и надавал изо всех сил, чтобы только угодить хорошему человеку. Когда прораб явился в конце рабочего дня, чтобы закрыть наряд, его встретила траншея трехдневной длины.

— Три смены рванул! — удивился прораб, шагая вдоль канавы. — В передовики выходишь, товарищ Полушкин, с чем я тебя и...

И замолчал, потому что ровная, в нитку траншея делала вокруг ничем не примечательной кочки аккуратную петлю и снова бежала дальше, прямая как стрела. Не веря собственным глазам, прораб долго смотрел на загадочную петлю и не менее загадочную кочку, а потом потыкал в нее пальцем и спросил почти шепотом:

— Это что?

— Мураши, — пояснил Егор.

— Какие мураши?

— Такие, это... Рыжие. Семейство, стало быть. Хозяйство у них, детишки. А в кочке, стало быть, дом.

— Дом, значит?

— Вот я, стало быть, как углядел, так и подумал...

— Подумал, значит?

Егор не уловил ставшего уже зловещим рефрена. Он был очень горд справедливо заслуженной похвалой и собственной инициативой, которая позволила в неприкосновенности сохранить муравейник, случайно попавший в колею коммунального строительства. И поэтому разъяснил с воодушевлением:

— Чего зря зорить-то? Лучше я кругом окопаю...

— А где я тебе кривые трубы возьму, об этом ты не подумал? На чьей шее я чугунные трубы согну? Не сообразил?... Ах ты, растудить твою...

Про петлю вокруг муравьиной кучи прораб растрезвонил всем, кому мог, и проходу Егору не стало. Впрочем, он еще терпел по великой своей привычке к терпению, еще ласково улыбался, а Колька ходил сплошь в синяках да царапинах. Егор сразу заметил синяки эти, но сына не трогал: вздыхал только. А через неделю учительница пришла.

— Вы Егор Савельич будете?

Нечасто Егора отчеством величали, ох нечасто! А тут — пигалица, девчоночка, а — уважительно.

— Знаете, ваш Коля пятый день в школу не ходит.

— Как так получается?

— Наверное, обидел его кто-то, Егор Савельич. Сначала он дрался очень, а потом пропал. Я его вчера на улице встретила, хотела расспросить, но он убежал.

— Неуважительно.

— Вы поговорите с ним, Егор Савельич. Поласковее, пожалуйста: он мальчик чуткий.

— Конечно, как водится. Спаси бог за беспокойство ваше.

Поздним вечером, когда в окнах засветились телеэкраны, Егор застал Кольку в сараюшке. Колька было прикинулся спящим, засопел почище поросенка, но отец будить его не стал, а просто сел на топчан, достал кисет и начал скручивать сигарку.

— Учителка твоя приходила давеча. Обходительный человек.

Примолк Колька. И поросенок тоже примолк.

— Ты ее не тревожь, сынок, не беспокой. У ней, поди, и без нас хлопот-то.

Повернулся Колька, сел, глаза вытаращил. Злющие глазки, сухие.

— А я Тольке Безуглову зуб вышиб!

— Ай, ай! Что же так-то?

— А смеется.

— Ну, дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться — пусть себе.

— Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.

— Гнул, — сознался Егор. — А что чугунные-то не гнутся, об этом не додумал. Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.

— Ну, а что кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили — только зря ославился.

— Не то, сынок, что ославился, а то, что... — Егор вздохнул, помолчал, собирая в строй разбежавшиеся мысли. — Чем, думаешь, работа держится?

— Головой!

— И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное — сердцем. По сердцу она — человек горы свернет. А уж коли так-то, за-ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда — как крюки, и голова — что пустой чугунок. И не дай тебе господь, сынок, в месте своем ошибиться. Потому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и народ дерганый, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти — не удумаю, не умыслю. Ни-

как не удумаю — вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело — на людей обиду держать. Самое последнее.

Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то он на людей обижаться не умел, обиды прощал щедро и даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очередные казенные рукавицы и опять пошел в отдел найма.

— Ну, что мне с тобой, Полушкин, делать? — вздыхал начальник.— И тихий ты, и старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не держишься... Куда тебя теперь...

— Воля ваша,— сказал Егор.— Какое будет распоряжение.

— Распоряжение!..— Начальник долго пыхтел, чесал в затылке.— Слушай, Полушкин, тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?

— Можно,— сказал Егор.— И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.

Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, ложки затопила, углом к лесу подобралась: к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили старые вырубки, березняком закурдявились, ельником да сосенником защетинились. И уж не только свои, поселковые,— из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы Москвы.

Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от земли камнем. А камень — он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как не способен камень грохот уличный угасить. Это тебе не дерево — теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской, шарахаясь от камней да бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и мотает беззащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем ни ночью, и только во сне видит оно росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлебушка.

Но чистой природой горожанина тоже не ухватишь. Вон первых, мало ее, чистой, осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то и просто так над речушкой какой от силы два часа высидит,

а потом либо транзистор запустит на всю катушку, либо, не дай бог, за поллитрой потянется. А где поллитра, там и вторая, а где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь. Надо лодку ему подсунуть, рыбалку организовать, грибы-ягоды, удобства какие-нито. И две выгоды: безобразий поменьше, да деньга из туристского кармана в местный бюджет все же просочится, потому что за удовольствия да за удобства всякий свою копеечку выложит. Это уж не извольте сомневаться.

Все эти разъяснения Егор получил от заведующего лодочной станцией Якова Прокопыча Сазанова. Мужик был пожилой, сильно от жизни уставший: и говорил тихо, и глядел просто. Был он в прошлом бригадиром на лесоповале да как-то оплошал: под матерую сосну угодил в полной натуре. Полгода потом по больницам валялся, пока все в нем на прежние места не вернулось. А как оклемался маленько, так и определили его сюда, на лодочную станцию.

— Какая твоя, Полушкин, будет забота? Твоя забота — это, перво-наперво, ремонт. Чтоб был порядок: банки на месте, стлани годные, весла в порядке и воды чтоб в лодках не боле кружки.

— Сухо будет, — заверил Егор. — Ясно-понятно нам.

— Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота — пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки.

— Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем.

— Есть с пристани запрещаю, — устало сказал Яков Прокопыч. — Под навесом столики сообразим и ларек без напитков. Ну, может, чай. А то потопнет кто — затаскают.

— А если свое привезут?

— Свое нас не касается: они люди вольные. Однако если два своих-то, придется отказать.

— Ага!

— Но — обходительно. — Яков Прокопыч важно поднял палец: — Обходительность — вот третья твоя забота. Турист — народ нервный, больной, можно сказать, народ. И с ним надо обходительно.

— Это уж непременно, Яков Прокопыч. Это уж будет в точности.

С заведующим разговаривать было легко: не орал, не матерился, не гнал. Разумные вещи разумным голосом говорил.

— Лодки, когда напрокат, это я отпускать буду. Но ежели перевезти на ту сторону подрядят, тогда тебе идти. Пристанешь, где велят, поможешь вещи сгрузить и отчалишь, только когда спасибо скажут.

— До спасибо, значит, ждть?

— Ну, это к примеру я, Полушкин, к примеру. Скажут: свободен, мол,— значит, отчаливай.

— Ясно-понятно.

— Главное тут — помочь людям. Ну, может, костер им соорудить или еще что. Услужить, словом.

— Ну, дьк...

Яков Прокопыч посмотрел на Егора, прикинул, потом спросил:

— На моторе ходил когда?

— Ходил! — Егор очень обрадовался вопросу, потому что это выходило за рамки его плотницких навыков. Это было нечто сверх нормы, сверх обычного, и этим он гордился.— Ну, дьк, ходил, Яков Прокопыч! Озера у нас в деревне неоглядные! Бывало, пошлет председатель...

— Какие знаешь?

— Ну, это... «Ветерок», значит, знаю. И «Стрелу».

— У нас «Ветерок», три штуки. Вещь ценная, понимать должен. И на мне записана. Их особо береги: давать буду лично под твою прямую ответственность. И только для перевозок в дальние концы: в ближние и на веслах достигнешь.

— На моторе хожено-езжено! Это не беспокойтесь! Это мы понимаем!

Но в моторах нужды пока не было, потому что дальний турист ныне что-то запаздывал. А ближних туристов да местную молодежь интересовали только лодки напрокат, для прогулки. Этими делами занимался сам Яков Прокопыч, а Егор с увлечением конопатил, чинил и красил обветшавший за зиму инвентарь. И уставал с удовольствием, и спал крепко, и улыбаться начал не так: не поспешно, не второпях, а с устатку...

4

Теперь Колька ходил в школу аккуратно. За полчаса появлялся, раньше учительниц. И на уроках сидел степенно, а когда что-нибудь интересное рассказывали — ну, про зверей или про историю с географией,— рот разевал. Все этого момента ждали, весь класс. И как только случилось — враз замирали, и Вовка тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка: напихаешь в нее шариков из промокашки, прицелишься, дунешь — точно Кольке в рот разинутый. Вот уж веселья-то!

Сколько раз Колька на это попадался — и счет потеряли. Пока помнил, крепко рот зажимал, губа к губе. А как начнет

учительница про древних героев рассказывать или стихи читать,— забывался. Забывался, ловил каждое слово и рот, наверное, для того и разевал, чтобы слов этих не упустить. Вот тут-то в него и стреляли. И если удачно, Оля Кузина в ладоши хлопала, а Вовка куражился:

— Снайпер я. Я в кого хочешь камнем за сто шагов попасть могу!

Оля Кузина на него широкими глазами смотрела. Только ресницы вздрагивали. Из-за таких ресниц любой бы в драку полез, а Кольке все не до того было:

— Слышал, что Нонна Юрьевна про богатыря Илью Муромца рассказывала? Сиднем, говорит, тридцать три года сидел, а как пришли калики перехожие...

— Так ты и рот разинул! А я в него — жеванкой!

— С чернилами жеванка-то! — восторгалась Оля Кузина.

— Ты разиня, а я снайпер! Правда, Олька?

Очень важничал Вовка. А два дня назад уж так разважничался, что и про плевательную трубку свою забыл. Ходил, живот выставив:

— Папку в область вызывают. Удочку бамбуковую привезти обещался.

Федора Ипатовича провожали по-родственному: со столом да с поклонами. Пути желали счастливого, возвращения быстрого, дела удачливого. Федор Ипатович брови супонил, задумывался:

— С чего бы это приспичило им?

— А для совета,— подсказывала Харитина.— Для совета, Федор Ипатыч, для совещания с вами.

— Совещания? — Вздыхал хозяин почему-то: — Мда...

— Путь вам тележный, ямщик прилежный, кобылка поигривистой да песня позаливистой, Федор Ипатыч!

Чокался хозяин, благодарил. Но не пил, в сторону стакан отставлял, хмурился:

— И с чего бы это им вызывать меня, а?

Отбыл чин чином: и сыт, и хмелен, и ус в табаке. Неделю отсутствовал и вернулся без предупреждения: ни письмеца, ни телеграммы вперед не выслал. Марьяца всполошилась:

— Ахти мне, гостей за пустой стол сажать!

— Погоди, Марья. Не надо гостей.

— Как же не надо, Федя? Обычай ведь. Не нами заведено.

Крякнул Федор Ипатович:

— Ну, зови. Черт их с обычаями...

Гостей Федор Ипатович любил принять широко, с простором и с временем. Но и с выбором тоже: кого ни попадя за стол не сажал. Из райисполкома инструктор наведывался

(рыбалку любил пуще молодой жены!), из поссовета кое-кто заглядывал. Ну, конечно, завторг, завмаг, завгар: на земле живем, не на небе. И (а куда его денешь?) — свояк. Егор Полушкин с Харей своей разлюбозной.

— Будь здоров, Федор Ипатыч, с прибытием! Как ездилось-путешествовалось по областной нашей столице? Что на рынке слышно насчет вздорожания, что в кругах говорят насчет космоса?

Федор Ипатович с ответами не спешил. Доставал чемодан заграничный, при гостях ремни расстегивал:

— Не обессудьте, примите в подарок. Не на пользу — так, для памяти.

Всех одаривал, никого не забывал. И Егору с Харитиной перепадало: а что ты сделаешь? Даже Кольке компас подарил:

— Держи, племяш. Чтоб не блудить.

Хохотали все почему-то. А Колька от счастья светился, как ранняя звездочка: компас ведь! Настоящий: со стрелкой, с югом-севером.

«Эй, там, на руле! Четыре румба к весту! Так держать!»
«Есть так держать!»

Вот о чем компас ему рассказывал. А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу — как вы в своих квартирах. С какой стороны кора шершавее? Не знаете? А Колька знает, так что для леса компас ему не нужен. Он ему для путешествий очень даже нужен. Прямо позарез нужен.

«Эй, на марсе! Не видно ли земли обетованной?»

«Не видно, капитан! Одно море бурное кругом!»

«Так держать! Будет земля впереди!»

Это он, конечно, про себя выкрикивал: зачем зря людей пугать? Не поймут: расстроятся.

А Вовка складную удочку получил, трехколенку. Хвастался:

— Навалом рыбки будет! Тебе, пап, какую поймать?

— Понавесистей! — кричали. — С подкожным жирком!

Улыбался Федор Ипатович. Гладил сына по ершистой голове, а улыбался невесело. И когда самые важные гости ушли, не выдержал:

— Лесничий новый вызывал. Столичная штучка-дрючка. Почему, говорит, лес неустроенный? Где, говорит, акты на порубку? Где, говорит, профилактика против вредителей? А сам в карту глядит: в лесу нашем еще и не бывал. А уж грозит.

— Ай, ай! — вздыхал Егор; это ему Федор Ипатович жаловался, потому что некому больше жаловаться было, а — хотелось. — У меня, знаешь, тоже это... Неприятности.

Но неприятности Егора мало волновали Федора Ипатовича: своих забот хватало.

— Да-а. Ну, ничего, обомнется. Жизнь, она и не с таких пух да перо берет, верно? Обомнется, мне же поклонится. Без меня тут никакому лесничему не усидеть, я все ходы-выходы да переходы знаю. И кто с кем по субботам водочкой балуется, тоже мне известно. Кто с кем пьет да как потом выглядит.

— Да, выглядит, это точно. Кто как выглядит, это правильно, — бормотал Егор.

Он выкушал два лафитничка и страдал о своем. Потому страдал, что впервые вызвал гнев усталого Якова Прокопыча и теперь очень боялся потерять тихую, уважительную, с такими мытарствами обретенную пристань.

— Я, значит, чтоб понятней было, какая где. Чтоб не искать и чтоб красиво.

— Счетов на проданный лес не поступало? — гнул свое хозяин. — Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, раз считаться хотите. А считаться начнем, не больно долго-то в кабинете своем продержитесь. Не-ет, недолго...

— А он говорит: в голубое, мол, пускай. А если все в голубое пустить или, скажем, все в розовое — это что тогда получится? Это получится полное равнодушие...

— Равнодушие? — Федор Ипатович поморгал красными глазками (перехватил маленько с огорчения-то). — Это ты верно, свояк, насчет равнодушия. Ну, я ему это равнодушие покажу. Я ему припомню равнодушие-то, я...

— Во-во, — закивал Егор. — Красота — это разве когда все одинаковое? Красота — это когда разное все! Один, скажем, синий, а другой, обратно же, розовый. А без красоты как же можно? Без красоты как без праздника. Красота — это...

— Ты чего мелешь-то, бедоносец чертов? Какая красота? Деньги он с меня за дом требует, деньги, понятно тебе? А ты — красота! Тьфу!..

Заюлил Егор, захихикал: чего зря хозяина гневить? Но — расстроился. Сильно расстроился, потому что так и не удалось ему огорчением своим поделиться. А с огорчением спать ложиться да еще после двух лафитничков — шапетиков во сне увидишь. Натуральных — с хвостиком, с рожками и с копытцами. Тяжелый сон: душить будут шапетики, так старые люди говорят. А они знают что к чему. Они, поди, лафитничков-то этих за свою жизнь напринимались — с озеро Онегу. И с радости и с огорчения.

И опять ворочался Егор в постели, опять вздыхал, опять казнил. Ох, непутевый он мужичонка, ох, бедоносец, божий недогляд!

Старался Егор на этой работе — и про перекуры забывал. Бегом бегал, как молодой. Заведующий только-только рот разинет:

— Ты, Полушкин...

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

И — бежал. Угадал — хорошо, не угадал — обратно бежал, за разъяснениями. Но старание было, как у невесты перед будущей свекровью.

— Лодки ты хорошо проконопатил, Полушкин. И засмол-лил хорошо, хвалю... Стой, куда ты?

— Я, это...

— Дослушай сперва, потом побежишь. Теперь лодки эти следует привести в праздничную внешность. В голубой цвет. А весла — лопасть только, понял? — в красный: чтоб издаля видно было, ежели кто упустит. А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер — черной краской, как положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот тебе бумажка с номерами. Срисуешь один номер — зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуешь — другой зачеркни. Понял, Полушкин?

— Понял, Яков Прокопыч. Как тут не понять?

Схватил банки — только пятки засверкали. Потому засверкали, что сапоги Егор берег и ходил в них от дома до пристани да обратно. А на работе босиком поспешал. Босиком и удобства больше, и выходит скорее, и сапоги зря не снашиваются.

Три дня лодки в голубой колер приводил. Какие там восемь часов: пока работалось, не уходил. Уж Яков Прокопыч все хозяйство свое пересчитает, замки повесит, оглядит все, домой соберется, а Егор всю еще старается.

— Закругляйся, Полушкин.

— Счас я, счас, Яков Прокопыч.

— Пятый час время-то. Пора.

— А вы ступайте, Яков Прокопыч, ступайте себе. За краску и кисточки не беспокойтесь: я их домой отнесу.

— Ну как знаешь, Полушкин.

— До свидания, Яков Прокопыч!частливого пути и семейству поклон.

Даже не поворачивался, чтоб время зря не терять. В два слоя краску накладывал, сопел, язык высовывал: от удовольствия. Пока лодки сохли, за весла принялся. Здесь особо старался: красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь — в холод уйдет, в густоту; недоборщишь — в розовый ударится. А цвет Егор чувствовал: и малярить приходилось, и нутро у него на цвета настроено было особо, от купели, что называется. И так он его пробовал, и этак —

и вышло, как хотел. Горели лопасти-то у весел, далеко их было видать.

А вот как за номера взялся, как расписал первых-то два (№ 7 и № 9 — по записочке), так и рука у него провисла. Скучно — черное на голубом. Номер — он ведь номер и есть, и ничего за ним больше не проглядывает. Арифметика одна. А на небесной сини арифметика — это ж расстроиться можно, настроение потерять. А человек ведь с настроением лодку-то эту брать будет: для отдыха, для удовольствия. А ему — номер девять: черным по голубому. Как на доме: сразу про тещу вспомнишь. И от праздничка в душе — пар один.

И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что он враз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что от радости этой — незнакомой, волнующей — вроде затрясло его даже, и он все никак за кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело.

Конечно, посоветоваться сперва следовало: это он потом сообразил. Но посоветоваться тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался восвояси, и поэтому Егор, покуриив и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные черные номера «7» и «9». А потом, глубоко вздохнув, вновь отложил кисть и разыскал в кармане огрызок плотницкого карандаша.

В тот раз он до глубокой ночи работал: благо ночи светлые. Благоверная его уж за ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки: не утоп ли, часом, муженек-то? Но Егор, пока задуманного не совершил, пока кисти не вымыл, пока не прибрался да пока вдосталь не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил.

— Господи где ж носило-то тебя окаянного с кем гулял-блукал ночью темною изверг рода ты непотребного...

— Работал, Тина, — спокойно и важно сказал Егор. — Не шуми: полезную вещь сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу.

Чуть заря занялась — на пристань прибежал: не спалось ему, не терпелось. Еще раз полюбовался на труд свой художественный и с огромным, радостным нетерпением стал ожидать прихода заведующего.

— Вот! — сказал вместо «здравствуйте». — Смотрите, что удумал.

Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от уха до уха: аж скулы ломило.

— Так, — уронил наконец Яков Прокопыч. — Это как понимать надо?

— Оживление, — пояснил Егор. — Номер, он что такое? Арифметика он голая. Черное на голубом: издалека-то и не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать. Ладно-хорошо: ищи, где он, седьмой-то этот. А тут — картинка на носу: гусенок. Человек сразу гусенка углядит.

Вместо казенных черных номеров на небесной сини лодок были ярко намалеваны птицы, цветы и звери: гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка — вислые уши и лапа, у георгина — упругость стебля, согнутого тяжелым цветком, у гусенка — веселый разинутый клюв.

— Вот и радостно всем станет, — живо продолжал Егор. — Я — на цыпленке, а ты, скажем, на поросенке. Ну-ка, догоняй! Соревнование.

— Соревнование? — переспросил озадаченный Яков Прокопыч. — Гусенка с поросенком? Так. Дело. Ну, а если перевернется кто, не дай бог? Если лодку угонят, тоже не дай бог? Если ветром унесет ее (твоя вина будет, между прочим)? Что я, интересное дело, милиции сообщать буду? Спасайте цыпленка? Ищите поросенка? Георгинчик сперли? Что?!

— Дык, это...

— Дык это закрасить к едреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков, чтобы и под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент, написать номера, согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг культуры: его из райкома посетить могут. Могу я секретаря райкома на георгин посадить, а? Могу?.. Что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я знаю: абстракт. Абстракт, они скажут, Полушкин.

— Чего скажут?

— Не доводи меня до крайности, Полушкин, — очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. — Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот дам сейчас веслом по башке...

Ушел Егор. Скучно и долго закрашивал произведения рук своих и сердца, вздыхал. А упрямые гусятки-поросятки вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять брал кисть и опять закрашивал зверушек, веселых, как в сказках. А потом холодно и старательно рисовал черные номера. По бумажке.

— Опасный ты человек, Полушкин, — со вздохом сказал Яков Прокопыч, когда Егор доложил, что все сделано.

Яков Прокопыч пил чай из термоса. На термосе были нарисованы смешные пузатые рыбы с петушиными хвостами. Егор глядел на них, переступая босыми ногами.

— Предупреждали меня,— продолжал заведующий.— Все прорабы предупреждали. Говорили: шепутной ты мужик, с фантазиями. Однако не верил.

Егор тихо вздыхал, но о прощении помалкивал. Чувствовал, что должен бы попросить — для спокойствия дальнейшей жизни,— что ждет этого Яков Прокопыч, но не мог. Себя заставить не мог, потому что очень был сейчас не согласен с начальником. А с термосом — согласен.

— Жить надо как положено, Полушкин. Велено то-то — делай то-то. А то, если все начнут фантазировать... Знаешь, что будет?

— Что? — спросил Егор.

Яков Прокопыч дожевал хлебушко, допил чай. Сказал значительно:

— Про то даже думать нельзя, что тогда будет.

— А космос? — спросил вдруг Егор (и с чего это понесло его?).— Про него сперва фантазии были: я по радио слышал. А теперь...

— А мат ты слышал?

— Приходилось,— вздохнул Егор.

— А что это такое? Мат есть брань нецензурная, понял? А еще есть — цензурная. Так? Вот и фантазии тоже: есть цензурные, а есть нецензурные. У тебя — нецензурная.

— Это поросенок-то с гусенком нецензурные? — усомнился Егор.

— Я же в общем смысле, Полушкин. В большом масштабе.

— В большом масштабе они гусем да свиньей будут.

— А гусь свинье не товарищ!..— затрясся вдруг Яков Прокопыч.— И марш с глаз моих, покуда я тебя лично нецензурной фантазией не покрыл!..

Вот аккуратно после этого разговора Федор Ипатович-то и прибыл, и встречали его тогда всем миром с возвращеньцем. Вот почему и завздыхал-то Егор всего с двух лафитничков, заскучал, заопасался.

Но опасаться, как вскорости выяснилось, было еще преждевременно. Усталый Яков Прокопыч зла в сердце не держал, как выкричался, а вскоре и вообще позабыл об этом происшествии. И снова радостно заулыбался Егор, снова забегал, сверкая голыми пятками.

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

С другой стороны беда подкрадывалась. Тяжелая беда, что туча на Ильин день. Но про беду собственную человеку

вперед знать не дано, и потому бьет она всегда из-за угла. И потом только вздохнуть остается да в затылке почесывать:

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!..

5

Водка во всем виновата оказалась. Впрочем, не водка даже, а так, не поймешь что. Невезуха, одним словом.

Вообще-то Егор пил мало: и денег сроду у него не водилось, и вкуса он к ней особого не чувствовал. Нет, не отказывался, конечно, упаси бог: на это ума хватало. Но не предлагали, правда, чести не оказывали. Разве что свояк Федор Ипатович угощал. По случаю.

Случаев было мало, но пьянел Егор быстро. То ли струна басовая в нем не настроена была, то ли болезнь какая внутренняя, то ли просто слаб был, картошечку капусткой который год заедая. И Егор хмелел быстро, и Харитина от него тоже не отставала: с полрюмочки маковым цветом цвела, а с рюмочки уж и на песню ее потягивало. Песен-то она знала великое множество, но с водочки, бывало, только припевки пела. И не припевки даже, а припевку. Одну-единственную, но печальную:

Ох, тягры-тягры-тягры,
Ох, тягры да вытягры!
Кто б меня, младу-младену,
Да из горя б вытягнул...

Так, стало быть, хмель ее направлял — в печальную сторону. Хмель, он ведь кому куда кидается: кому — в голос, кому — в кулак, кому — в сердце, кому — в голову, а Егору — в ноги. Не держали они его, гнулись во всех направлениях и путались так, будто не две их у него, а штук восемь, как у рака. На Егора это обстоятельство действовало всегда одинаково: он очень веселился и очень всех любил. Впрочем, он всегда очень всех любил. Даже в трезвом состоянии.

В тот день с утра раннего первый турист припожаловал: трое мужиков да с ними две бабеночки. Издалека, видать, пожаловали: мешков у них было навалом. И сами не по-местному выглядели: мужики сплошь — без кепок и в штанах с заклепками, а бабенки их — наоборот: в белых кепках. И в таких же штанах — только в облипочку. В такую облипочку, что Егор все время на них косился. Как забудется маленько, так и косится: было, значит, на что коситься.

— Доброго здравия, гости дорогие.— Яков Прокопыч пел — не говорил. И кепку снял уважительно.— Откуда это будете, любопытно узнать?

— Отсюда не видно,— ответили.— На ту сторону перевезете?

— На ту сторону можно.— Яков Прокопыч и кепку надел, и улыбку спрятал.— Перевезем, согласно тарифу на лодке с мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца.

— А почему же в оба?

— Лодка вас куда потребуется доставит, а обратно по-рожняком пойдет.

— Справедливо,— сказал второй и за кошельком полез.

Егор этих мужиков по мастям сразу распределил: сивый, лысый да плешивый. И бабенок соответственно: рыжая и пегая. Они в дело не встречали: разговоры сивый с плешивым вели. А лысый окрестностями любовался.

— Как,— спросил,— рыбка ловится у вас?

Бабенки возле мешков своих щебетали, а Колька рядом вертелся. В школе занятия кончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал. Бабенки на него внимания не обращали, потому что кружил он в отдалении, но когда рыжая из мешка бинокль (настоящий бинокль-то!) вытащила, его вмиг подтянуло. Точно лебедкой.

— Ах, какой мальчуган славный! — сказала пегая.— Тебя как зовут, мальчик?

— Колькой,— охрип вдруг Колька: басом представился.

— А грибы у вас растут, Коля?

— Рано еще грибам,— прохрипел Колька.— Сыроеги прут кой-где, а масляткам слой не вышел.

— Что не вышло масляткам? — Рыжая даже бинокль опустила.

— Слой им не вышел,— пояснил Колька, и ноги его сами собой шаг к этому биноклю совершили.— Грибы слоями идут: сперва маслятки, потом — серяки, за ними — красноголовик с боровиком пойдут. Ну, а следом настоящему грибу слой: груздям и волнухам.

— Слой — это когда много их, да?

— Много. Тогда и берут. А так — баловство одно.

И еще шаг к биноклю сделал: почти что животом в него уперся. И глядеть никуда не мог: только на бинокль. Настоящий ведь бинокль, товарищи милые!

— Хочешь посмотреть?

Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло. Непонятное бульканье, но рыжая все-таки протянула:

— Только не урони.

— Не-а.

Пока тятка мотор получал да наставления от Якова Прокопыча выслушивал, Колька в бинокль смотрел. Если в маленькие окошечки глядеть — большое все видится. А если в большие окошечки, то все, наоборот, маленькое. Непонятно совершенно: должно же большое, если в большое, и маленькое, если в маленькое, правда? А тут все не так. Не так, как положено. И это обстоятельство Кольку куда больше занимало, чем прямое назначение бинокля: он все время вертел его и глядел на ворону с разных концов.

— Зачем же ты его вертишь? — спросила рыжая. — Смотреть надо в окуляры, вот сюда.

— Я знаю, — тихо сказал Колька.

— А для чего же вертишь?

— Так, — застеснялся Колька. — Интересно.

— Сынок! — позвал Егор. — Подсоби-ка мне тут, сынок.

Сунул Колька бинокль в руки рыжей, хотел «спасибо» сказать, но из глотки опять сип какой-то вылез, и пришлось убежать без благодарности. А пегая сказала:

— Туземец.

— Оставь, — лениво отмахнулась рыжая. — Обычный плохо воспитанный ребенок.

Под недреманным оком Якова Прокопыча Егор нацепил «Ветерок» на корму «девятки» (бывший «Утенок» — пузатенький, важный, Егор про это помнил), установил бачок с горючим. Колька весла приволок, уключины, черпачок — все, что положено.

— Все ладно-хорошо, Яков Прокопыч, — доложил Егор.

— Опробуй сперва, — сказал заведующий и пояснил туристам: — Первая моторная навигация, можно сказать. Чтоб ошибок не было.

— Нельзя ли поживее повернуть весь этот ритуал? — ворчливо поинтересовался лысый.

— Так положено, граждане туристы: техника безопасности. Давай, Полушкин, отгребайся.

Про технику безопасности Яков Прокопыч с ходу выдумал, потому что правил таких не было. Он про свою опасность беспокоился.

— Заведи, Полушкин, мотор на моих глазах. Кружок сделай и обратно пристань, где я нахожусь.

— Ясно-понятно нам.

Колька на веслах отгреб от причала. Егор поколдовал с мотором, посовал в него пальцы и завел с одного рывка. Прогрел на холостых оборотах, ловко включил винт, совершил для успокоения заведующего несколько кругов и без

стука причалил. Хорошо причалил: на глаз прикинул, где обороты снять, как скорость погасить. И — заулыбался:

— В тютельку, Яков Прокопыч!

— Умеешь, — сказал заведующий. — Разрешаю грузиться.

Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили. Потом туристы расселись, Колька — он на носу устроился — от пристани оттолкнулся, Егор опять завел «Ветерок», и лодка ходко побежала к дальнему лесистому берегу.

О чем там в пути туристы толковали, ни Егор, ни тем более Колька не слышали. Егор — за моторным грохотом, а Колька потому, что на носу сидел, видел, как волны разбегаются, как медленно, словно с неохотой, разворачиваются к нему другой стороной дальние берега. И Кольке было уже не до туристов: впередсмотрящим он себя чувствовал и только жалел, что, во-первых, компас дома остался, а во-вторых, что рыжая тетенька дала ему поглядеть в бинокль преждевременно. Сейчас бы ему этот бинокль!

А туристы калякали о том, что водохранилище новое и рыбы тут особой быть не может. До Егора иногда долетали их слова, но значения им он не придавал, всецело поглощенный ответственным заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбжавших в тишину и покой на считанные денечки! Он свое дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят.

— К обрывчику! — распорядился сивый. — Произведем небольшую разведочку.

Разведочку производили в трех местах, пока наконец и рыжая и пегая не согласовали своих пожеланий. Тогда приказали выгружаться, и Егор с сыном помогли туристам перетащить пожитки на облюбованное под лагерь место.

Это была веселая полянка, прикрытая разросшимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-желтую палатку на алюминиевых опорах, с пологом и навесом, поручили Егору приготовить место для костра, а Кольке позволили надуть резиновые матрасы. Колька с восторгом надувал их, краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все было ладно. А Егор, получив от плешивого топорик, ушел в лесок нарубить сушняка.

— Прекрасное место! — щebetала пегая. — Божественный воздух!

— С рыбалкой тут, по-моему, прокол, — сказал сивый. — Эй, малец, как тут насчет рыбки?

— Ерши, — сказал Колька, задыхаясь (он аккурат дул четвертый матрас).

— Ерши — в уху хороши. А путная рыба есть?

— Не-а.

Рыба, может, и была, но Колька по малости лет и отсутствию снасти специализировался в основном на ершах. Кроме того, он был целиком поглощен процессом надувания и беседу вести не решался.

— Сам-то ловишь? — поинтересовался лысый.

— Не-а.

Колька отвечал односложно, потому что для ответа приходилось отрываться от дутья, и воздух немедленно утекал из матраса. Он изо всех сил зажимал дырку пальцами, но резина в этом месте была толстой, и сил у Кольки не хватало.

— А батька-то твой ловит?

— Не-а.

— Чего же так?

— Не-а.

— Содержательный разговор, — вздохнула пегая. — Я же сказала: типичный туземец.

— Молодец, Коля, — похвалила вдруг рыжая. — Ты очень хорошо надуваешь матрасы. Не устал?

— Не-а.

Колька не очень понял, почему он «типичный туземец», но подозревал обидное. Однако не расстраивался: и некогда было, и рыжая тетенька уж очень вовремя похвалила его. А за похвалу Колька готов был не пять — пятьдесят пять матрасов надуть без отдыха.

Но уже к пятому матрасу Колька настолько от стараний умирался, что в голове гудело, как в пустом чугушке. Он сопел, краснел, задыхался, но дутья этого не прекращал: дело следовало закончить, да и не каждый день матрасы-то надувать приходится. Это ведь тоже ценить надо: матрас-то — для путешествий. И от всего этого он очень пыхтел и уже не слышал, о чем говорят эти туристы. А когда осилил последний, заткнул дырочку пробкой и маленько отдышался — тятка его из ельника выломилась. Ель сухую на дрова приволок и сказал:

— Местечко-то мы не очень-то ласковое выбрали, граждане милые. Муравейник тут за ельничком: беспокоить мураши-то будут. Надо бы перебраться куда.

— А большой муравейник-то? — спросил сивый.

— А с погреб, — сказал Егор. — Крепкое семейство, хозяйственное.

— Как интересно! — сказала рыжая. — Покажите, пожалуйста, где он.

— Это можно, — сказал Егор.

Все пошли муравейник смотреть, и Колька тоже: на ходу

отдышаться куда как легче. Только за первые елочки заглянули: гора. Что там погреб — с добрую баньку. Метра два с гаком.

— Небоскреб! — сказал плешивый. — Чудо природы.

Муравьев кругом бегало — не счесть. Крупные муравьи: черноголовики. Такой тыпнет — сразу подскочишь, и Колька (босиком ведь) на всякий случай подальше держался.

— Вот какое беспокойство вам будет, — сказал Егор. — А там подальше чуть — еще поляночка имеется, я наглядел. Давайте пособию с пожитками-то: и вам покойно, и им привычно.

— Для ревматизма они полезные, муравьи-то, — задумчиво сказал плешивый. — Вот если у кого ревматизм...

— Ой! — взвилась пегая. — Кусаются, проклятые!..

— Дух чувят, — сказал Егор. — Они мужики самостоятельные.

— Да, — вздохнул лысый. — Неприятное соседство. Обидно.

— Чепуха! — Сивый махнул рукой: — Покорим! Тебя как звать-то, Егором? Одолжи-ка нам бензинчику, Егор. Банка есть?

Не сообразил Егор, зачем бензинчик-то понадобился, но принес: банка нашлась. Принес, подал сивому:

— Вот.

— Молоток мужик, — сказал сивый. — Учтем твою сообразительность. А ну-ка отойдите подальше.

И плеснул всю банку на муравейник. Плеснул, чиркнул спичкой — ракетой взвилось пламя. Завыло, загудело, вмиг обняв весь огромный муравьиный дом.

Заметались черноголовики, скрючиваясь от невыносимого жара, затрещала сухая хвоя, и даже старая ель, десятки лет прикрывавшая лапами муравьиное государство, качнулась и затрепетала от взмывшего в поднебесье раскаленного воздуха.

А Егор с Колькой молча стояли рядом. Загораживаясь от жара руками, глядели, как корчились, сгорая, муравьи, как упорно не разбегались они, а, наоборот, презирая смерть, упрямо лезли и лезли в самое пекло в тщетной надежде спасти хоть одну личинку. Смотрели, как тает на глазах гигантское сооружение, терпеливый труд миллионов крохотных существ, как завивается от жары хвоя на старой ели и как со всех сторон бегут к костру тысячи муравьев, отважно бросаясь в огонь.

— Фейерверк! — восхитилась пегая. — Салют победы!

— Вот и все дела, — усмехнулся сивый. — Человек — царь природы. Верно, малец?

— Царь?.. — растерянно переспросил Колька.

— Царь, малец. Покоритель и завоеватель.

Муравейник догорал, оседая серым, мертвым пеплом. Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул еще раз, и все было кончено. Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожарища.

— Отвоевали место под солнцем, — пояснил лысый. — Теперь никто нам не помешает, никто нас не побеспокоит.

— Надо бы отпраздновать победу-то, — сказал плешивый. — Сообразите что-нибудь по-быстрому, девочки.

— Верно, — поддержал сивый. — Мужика надо угостить.

— И муравьев помянуть! — захохотал лысый.

И все пошли к лагерю.

Сзади плелся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовностью сам же принес бензин. Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, и Колька спросил шепотом:

— Как же так, тятка? Ведь живые же они...

— Да вот, — вздохнул Егор. — Стало быть, так, сынок, раз оно не этак...

На душе у него было смутно, и он хотел бы тотчас же уехать, но ехать пока не велели. Молча готовил место для костра, вырезал рогульки, а когда закончил, бабенки клеенку расстелили и расставили закуски.

— Идите, — позвали. — Перекусим на скорую руку.

— Да мы... это... Не надо нам.

— Всякая работа расчета требует, — сказал сивый. — Мальцу — колбаски, например. Хочешь колбаски, малец?

Против колбаски Колька устоять не мог: не часто он видел ее, колбаску-то эту. И пошел к накрытой клеенке раньше отца: тот еще вздыхал да хмурился. А потом поглядел на Кольку и тихо сказал:

— Ты бы руки сполоснул, сынок. Грязные руки-то, поди.

Колька быстренько руки вымыл, получил булку с колбасой, наслаждался, а в глазах мураши бегали. Суетливые, растерянные, отважные. Бегали, корчились, падали, и брюшки у них лопались от страшного жара.

И Егор этих мурашей видел. Даже глаза тер, чтобы забылись они, чтоб из памяти выскочили, а они копошились. И муторно было на душе у него, и делать ничего не хотелось, и к застолью этому садиться тоже не хотелось. Но подсел, когда еще раз позвали. Молча подсел, хоть и полагалось слова добрые людям за приглашение сказать. Молча подсел и молча принял от сивого эмалированную кружку.

— Пей, Егор. С устатку-то употребляешь: по глазам видно. Употребляешь ведь, а?

— Дык, это... Когда случается.

— Считай, что случилось.

— Ну, чтоб жилось вам тут, значит. Чтоб отдыhalось.

Не лезли слова из него, никак не лезли. Черно на душе-то было, и опрокинул он эту кружку, никого не дожидаясь.

— Вот это по-русски! — удивился плешивый.

Сроду Егор такую порцию в себя не вливал. Да и пить-то пришлось что-то куда как водки позабористее: враз голову закружило, и все муравьи куда-то из нее подевались. И мужики эти показались ему такими своими, такими добрыми да приветливыми, что Егор и стесняться перестал, и заулыбался от уха до уха, и разговорился вдруг.

— Тут у нас природа кругом. Да. Это у нас тут — пожалуйста, отдыhайте. Тишина, опять же спокой. А человеку что надобно? Спокой ему надобен. Всякая животина, всякая муравьятина, всякая елка-березонька — все по покою своему тоскуют. Вот и мураши, обратно же они, это... Тоже.

— Философ ты, Егор, — хохотал сивый. — Давай излагай программу!

— Ты погоди, мил человек, погоди. Я чего хочу сказать? Я хочу, этого...

— Спирту ты хочешь!

— Да погоди, мил человек...

Когда Егор выкушивал такую порцию, он всех величал одинаково: «мил человек». Это, так сказать, на первом этапе. А на втором теплел: «мил дружок» обращался. Моргал ласковыми глазками, улыбался, любил всех бесконечно, жалел почему-то и все пытался хорошее что-то сказать, людей порадовать. Но мысли путались, суетились, как те черноголовики, а слов ему сроду не хватало: видно, при рождении обделили. А уж когда вторую-то кружечку опрокинул — и совсем затуманился.

— Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с землей-матушкой в разладе, с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо. Особо вы страдаете, и небо над вами серое. А у нас — голубое. А можно разве черным по голубому-то, а? По сини небесной — номера? Не-ет, мил дружок, нехорошо это, арифметикой по небу. Оно для другого дадено, оно для красоты, для продыху душе дадено. Вот!

— Да ты поэт, мужик. Сказитель!

— Ты погоди, мил дружок, погоди. Я чего хочу сказать-то? Я хочу, чтоб ласково всем было, вот. Чтоб солнышка всем теплого вдосталь, чтоб дождичка мягкого в радость, чтоб травки-муравки в удовольствие полное. Чтоб радости,

радости чтоб поболее, мил дружки вы мои хорошие! Для радости да для веселия души человек труд свой производить должен.

— Ты лучше спляши нам для веселья-то. Ну?.. Ай, люли, ай, люли! «Светит месяц, светит ясный...»

— Не надо! — крикнула было рыжая. — Он же на ногах не стоит, что вы!

— Кто не стоит? Егор не стоит? Да Егор у нас — молоток!

— Давай, Егорушка! Ты нас уважаешь?

— Уважаю, хорошие вы мои!

— Не надо, тятка!

— Надо, Колюшка. Уважить надо. И — радостно. Всем — радостно! А что мурашей вы пожгли, то бог с вами. Бог с вами, мил дружки мои хорошие!

Захлопал плешивый:

— «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягодка малинка, малинка моя!..» Шевелись, Егор!

Пели, в ладоши хлопали: только сынок да рыжая смотрели сердито, но Егор их сейчас не видел. Он видел неуловимые, расплывающиеся лица, и ему казалось, что лица эти расплываются в счастливых улыбках.

— Эх, мил дружки вы мои хорошие! Да чтоб я вас не уважил?..

Три раза вставал — и падал. Падал, хохотал до слез, веселился, и все хохотали и веселились. Кое-как поднялся, нелепо затоптался по поляне, размахивая не в лад руками. А ноги путались и гнулись, и он все совался куда-то не туда, куда хотел. Туристы хохотали на все лады, кто-то уже плясал вместе с ним, а рыжая обняла Кольку и конфетами угощала.

— Ничего, Коля, ничего. Это сейчас пройдет у него, это так, временно.

Не брал Колька конфет. И смотрел сквозь слезы. Злые слезы были, жгучие.

— Давай, Егор, наяривай! — орал сивый. — Хорошо гуляем!

— Ах, мил дружок, да для тебя...

Кривлялся Егор, падал — и хохотал. От всей души хохотал, от всего сердца: весело ему было, очень даже весело.

— Ай, люли, ай, люли! Два притопа, три прихлопа!..

— Не надо!.. — закричал, затрясся вдруг Колька, вырвавшись из рук рыжей. — Перестань, тятка, перестань!

— Погоди, сынок, погоди. Праздник ведь какой! Людей хороших встретили. Замечательных даже людей!

И опять старался: дрыгался, дергался, падал, поднимался.

— Тятка, перестань!.. — сквозь слезы кричал Колька и тащил отца с поляны. — Перестань же!..

— Не мешай гулять, малец! Давай, давай отсюда.

— Шевели ногой, Егор! Хорошо гуляем!

— Злые вы! — кричал Колька. — Злые, гадкие! Вы нас как мурашей тех, да? Как мурашей?..

— Егор, а сынок-то оскорбляет нас. Нехорошо.

— Покажи отцовскую власть, Егор!

— Как не стыдно! — кричала рыжая. — Он же не соображает сейчас ничего, он же пьяный, как же можно так?

Никто ее не слушал: веселились. Орали, плясали, свистели, топали, хлопали. Колька, плача навзрыд, все волок куда-то отца, а тот падал, упирался.

— Да дай ты ему леща, Егор! Мал еще старшим указывать.

— Мал ты еще старшим указывать... — бормотал Егор, отталкивая Кольку. — Ступай отсюда. Домой ступай, берегом.

— Тятка-а!..

— Ы-ых!..

Размахнулся Егор, ударил. Первый раз в жизни сына ударил и сам испугался: обмер вроде. И все вдруг замолчали. И пляска закончилась. А Колька вмиг перестал плакать: словно выключили его. Молча поднялся, отер лицо рукавом, поглядел в мутные отцовские глаза и пошел.

— Коля! Коля, вернись! — закричала рыжая.

Не обернулся Колька. Шел вдоль берега сквозь кусты и слезы. Так и скрылся.

На поляне стало тихо и неуютно. Егор покачивался, икал, тупо глядя в землю. Остальные молчали.

— Стыдно! — громко сказала рыжая. — Очень стыдно!

И ушла в палатку. И все засовестились вдруг, глаза начали прятать. Сивый вздохнул:

— Перебор. Давай, мужик, отваливай. Держи трояк, садись в свое корыто и — с океанским приветом.

Зажав в кулаке трешку, Егор, шатаясь, побрел к берегу. Все молча глядели, как летел он с обрыва, как брел по воде к лодке, как долго и безуспешно пытался влезть в нее. Пегая сказала брезгливо:

— Алкоголик.

Егор с трудом взобрался в лодку, кое-как, путаясь в веслах, отгреб от берега. Поднялся, качаясь, на ноги, опустил в воду мотор, с силой дернул за пусковой шнур и, потеряв равновесие, полетел через борт в воду.

— Утонет!.. — взвизгнула пегая.

Егор вынырнул: ему было по грудь. Со лба свисали оклизлые космы тины. Уцепился за борт, пытаясь влезть.

— Не утонет, — сказал сивый. — Тут мелко.

— Эй, мужик, ты бы лучше на веслах! — крикнул лысый. — Мотор не трогай, на веслах иди!

— Утенок! — вдруг весело отозвался Егор. — Утеночек это мой! Соревнование утенка с поросенком!

Борт был высок, и, для того чтобы влезть, Егор изо всех сил раскачивал лодку. Раскачав, навалился, но лодка вдруг кувырнулась из-под него, перевернувшись килем вверх. По мутной водеплыли веселые весла. Егор опять скрылся под водой, опять вынырнул, отфыркиваясь, как лошадь. И, уже не пытаясь переворачивать лодку, нащупал в воде веревку и побрел вдоль берега, таща лодку за собой.

— Эй, может, помочь? — окликнул лысый.

Егор не отозвался. Молча пер по грудь в воде, весь в тине, как водяной. Оступался, падал, снова вставал, мотая головой и отплевываясь. Но веревку не отпускал, и перевернутая килем вверх лодка тяжело волочилась сзади.

А мотора на корме не было. Ни мотора, ни бачка с бензином, ни уключин: все ушло на дно. Но Егор не оглядывался и ничего сейчас не соображал. Просто волок лодку вдоль берега в хозяйство усталого Якова Прокопыча.

6

«Где дурак потерял, там умный нашел» — так-то старики говаривали. И они многое знали, потому как дураков на их веку было несколько не меньше, чем на нашем.

Федор Ипатович в большой озабоченности дни проживал. Дело не в деньгах было — деньги имелись. Дело было в том, что не мог разумный человек с деньгами своими добровольно расстаться. Вот так вот, за здорово живешь, выложить их на стол, под чужую руку. Невыносимая для Федора Ипатовича это была задача.

А решать ее приходилось, невыносимую-то. Приходилось, потому что новый лесничий (вежливый, язвы его!), так новый лесничий этот при первом же знакомстве отчеты полистал, справочки просмотрел и спросил:

— Во сколько же вам дом обошелся, товарищ Бурьянов?

— Дом? — Дошлый был мужик Федор-то Ипатович: сразу смикитил, куда щеголь этот городской оглоблю гнет. — А прежний за него отдал. Новый мне свояк ставил, так я ему за это прежний свой уступил. Все честь по чести: могу заявление заверенное...

— Я не о строительстве спрашиваю. Я спрашиваю: сколько стоит лес, из которого выстроен ваш новый дом? Кто да-

вал вам разрешение на порубку в охранной зоне и где это разрешение? Где счета, ведомости, справки?

— Так ведь не все сочтешь, Юрий Петрович. Дело наше лесное.

— Дело ваше уголовное, Бурьянов.

С тем и расстались, с веселым разговором. Правда, срок лесничий установил: две недели. Через две недели просил все в ажур привести, не то...

— Не то хана, Марья. Засудит.

— Ахти нам, Феденька!

— Считаться хотите? Ладно, посчитаемся!

Деньги-то имелись, да расстаться с ними сил не было. Главное, дом-то уже стоял. Стоял дом — картинка, с петухом на крыше. И задним числом за него деньгу гнать — это ж обидно до невозможности.

Поднажал Ипатович. Пару сотен за дровишки выручил. Из того же леса, вестимо: пока лесничий в городе в карту глядел, лыко драть можно было. Грех лыко не драть, когда на лапти спрос. Но разворачиваться вовсю все же опасался: о том, что лесничий строг, и до поселка слух дополз. В другие возможности кинулся. И сам искал, и сына натаскивал:

— Нюхай, Вовка, откуда рублем тянет.

Вовка и унюхал. Невелика, правда, пожива: три десяточки всего за совет, разрешение да перевозку. Но и три десяточки — тоже деньги.

Тридцатку эту Федор Ипатович с туристов содрал. Заскучали они на водохранилище тем же вечером: рыба не брала. Вовка первым про то дознался (братика искать послали, да до братика ли тут, когда рублем веет!), дознался и отцу доложил. Тот прибыл немедля, с мужиками за руку поздоровался, папироску у костра выкурил, насчет клева посокрушался и сказал:

— Есть одно местечко: и рыбно, и грибно, и ягодно. Но запретное. Потому-то и шуки там — во!

Долго цену набивал, отнекивался да отказывался. А как стемнело, лично служебную кобылу пригнал и перебросил туристов за десять километров на берег Черного озера. Там и вправду пока еще клевало, и клев этот обошелся туристам ровнехонько в тридцаточку. Умел жить Федор Ипатович, ничего не скажешь!

Вот потому-то Егор, через два дня опаматовавшись и в соображение войдя, припомнил, где был, но туристов тех на месте не обнаружил. Кострище обнаружил, банки пустые обнаружил да яичную скорлупу.

А туристы сгнули. Как сквозь землю.

И мотор тоже сгнул. Хороший мотор, новый: «Ветерок»,

восемь сил лошадиных да одна Егорова. И мотор сгинул, и бачок, и кованые уключины. Весла, правда, остались: углядел их Егор в тростниках. Лопастя-то у них огнем горели, изда-далека видать было.

Но это все он потом выискал, когда опамятовался. А по первости в день тот развеселый хохотал только. К солнышку закатному лодку до хозяйства Якова Прокопыча доволол, смеху вместо объяснений шесть охапок вывалил и трудно, на шатких ногах, домой направился. И собаки за ним увя-зались.

Так в собачьей компании ко двору и притопал. Это обык-новенных пьяных собаки не любят, а Егора всякого любили. Лыка ведь не вязал, ноги не держали, а псы за ним перли, как за директорской Джильдой. И говорят, будто не сам он в калитку стучал, а кто-то из приятелей его лично лапой сигнал отстукал.

Ну, насчет этого, может, и привирают...

А Харитина, с превеликим трудом Егора в сарай затолкав и заперев его там от греха, первым делом к свояку бросилась, к Федору Ипатычу, сообщить, что пропал, исчез Колька.

— Погоди заявлять, Тина, с милицией связаться всегда поспеем. Искать твоего Кольку надо: может, заигрался где.

Вовку в поиск отрядил: вдоль берега, вдоль Егоровой бурлацкой дорожки. Побегал Вовка, покричал, поаукался и на «ау» к туристам вышел. Кепку издаля скинул, как отец учил:

— Здравствуйте, дяденьки и тетеньки тоже. Братика ищу. Братик мой двоюродный пропал, Коля. Не видали, часом?

— Посещал нас твой кузен. Утром еще.

«Кузен» — это для смеха, а всерьез — так все рассказали. И как тут дядя Егор напился, и как безобразничал, и как драку затеял.

— Он такой, — поддакивал Вовка. — Он у нас шепутной, дяденька.

А Харитина, слезами исходя, все по поселку бегала и про причитания свои забыла. Всхлипывала только:

— Колюшку моего не видали, люди добрые? Колюшку, сыночка моего?..

Никто не видел Кольку. Пропал Колька, а дома ведь еще и Олька имелась. Олька и Егор, но Егор храпел себе в сараюшке, а Ольга криком исходила. И крик этот Харитину из улицы в улицу, из проулка в проулок, из дома в дом сопровождал: доченька-то горластенякая была. И пока слышала она ее, так хоть за доченьку душа не болела: орет — значит, жива. А вот как стихла она вдруг, так Харитина чуть на ногах устояла:

— Придушили!

Кто придушил, об этом не думалось. Рванулась назад — только платок взвился. Ворвалась в дом: у кровати Колькина учительница стоит, Нонна Юрьевна, а в кровати Ольга на все четыре зуба сияет.

— Здравствуйте, Харитина Макаровна. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, Коля ваш у меня.

— Как так у вас? Какое же такое право имеете чужих детей хитить?

— Обидели его очень, Харитина Макаровна. А кто обидел, не говорит: только трясется весь. Я ему валерьянки дала, чаем напоила: уснул. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь и Егору Савельевичу скажите, чтобы тоже не волновался зря.

— Егор Савельич с кабанчиком беседу ведут. Так что особо не волнуются.

— Устроится все, Харитина Макаровна. Все устроится: завтра разберемся.

Не поверила Харитина: лично с Нонной Юрьевной Кольку глядеть побежала. Действительно, спал Колька на раскладной кровати под девичьим одеялом. Крепко спал, а на щеках слезы засохли. Нонна Юрьевна будить его категорически запретила и Харитину после смотрин этих назад наладила. Да Харитине не до того тогда было, не до скандалов.

Наутро Колька не явился, а Егор, хоть и проспался, ничего вспомнить так и не смог. Лежал весь день в сараюшке, воду глотал и охал. Даже к Якову Прокопычу, когда тот самолично во двор заявился, не вышел. Не соображал еще что к чему, кто такой Яков Прокопыч и зачем он к ним прибыл, по какому делу.

А дело было страшное.

— Мотор, бачок да ключины. Триста рублей.

— Три ста?..

Сроду Харитина таких денег не видала и потому все суммы больше сотни именовала уважительно и отдельно: три ста, четыре ста, пять ста...

— Три ста?.. Яков Прокопыч, товарищ Сазанов, помилуй ты нас!

— Я-то милую: закон не милует, товарищ Полушкина. Ежели через два дня на третий имущества не обрету — милицию подключим. Акт составлять буду.

Ушел Яков Прокопыч. А Харитина в сарай кинулась: трясла муженька, дергала, ругала, била даже, — Егор только мычал. Потом с превеликим трудом рот разинул, шевельнул языком:

— А где я был?

Тут уж не до Кольки: тот у Нонны Юрьевны обретаётся, не пропадет. Тут все разом пропасть могли, со всеми потрохами, и потому Харитина, ушат воды мужу в сараюшку затащив, вновь заперла его там и опять кинулась к родне единственной: к сестрице Марьице да Федору Ипатычу.

— Спасите, родненькие! Три ста рублей требовали!

— По закону, — сказал Федор Ипатович и вздохнул круто. — Закон, Тина, не объегоришь.

— По миру ведь пойдем-то! По миру, сестрица!

— Ну уж, чего уж зря уж. С нас вон тоже требуют. И не три сотни: куда поболее. Так не бегаем ведь, в ногах не валяемся. Так-то, Харя моя миленькая, так-то.

Весь день Харитина куда-то металась, кому-то плакалась, да так ни с чем домой и вернулась. Крутилась-вертелась, а день прошел — и словно не было его: все на своих местах осталось. И мотор на дне, и три сотни на шее, и муж у поросенка, и Колька в чужом доме.

За ночь Егор ушат высушил, проспался и к утру окончательно вернулся в образ. Вышел из сараюшки тише прежнего, хотя тише вроде и некуда уже было. А Харитина, за ночь в хвощ высохнув, тоже вдруг потишела и об одном лишь упрашивала:

— Ты вспомни, где был-то, Егорушка. С кем пил да как шел потом...

Кое-что она, правда, знала: не от Кольки — тот молчал насмерть. Только голову отворачивал. От Вовки-племянника:

— Туристы ему поднесли, тетя Тина.

— Туристы?.. — Мутно было в голове у Егора. Мутно, пусто и неуютно: словно все мысли впопыхах в другой дом съехали, оставив после себя рухлядь да мусор. — Какие такие туристы?

— Ты к Сазанову иди, к Якову Прокопычу, Егорушка. Он все знает. И мотор этот найди. Господом с богородицей тебя заклинаю и детьми нашими: найди!

Полдня Егор «Ветерок» тот да бачок с уключинами на дне искал. Нырял, шарил, бродил по воде, дно ногами ощупывая. Трясся в ознобе на берегу, выкуривал сигарку, снова в воду лез. Не помнил он, где лодку-то перевернул, а указать некому было: турист тот уже на Черном озере рыбкой баловался. И, продрогнув до костей да пачку махорки выкурив, Егор прекратил нырания. Уключину в тине нашел да два весла в тростниках и с тем к Якову Прокопычу и прибыл.

— Дайте лодку, Яков Прокопыч. С лодки я багром нащупаю, а то знобко. Сильно знобко там ногами-то тину топтать.

— Нет тебе лодки, Полушкин. Из доверия ты моего вышел. Доставай имущество, тогда поглядим.

— Куда поглядим-то?

— На твое дальнейшее поведение.

— В больнице будет мое поведение. Холод ведь, Яков Прокопыч. Обезножу.

— Нет, Полушкин, и не проси. Принцип у меня такой.

— Ничего с вашим принципом не делается, Яков Прокопыч. Богом клянусь.

— Принцип, Полушкин, это, знаешь...

— Знаю, Яков Прокопыч. Все я теперь знаю.

Покивал Егор, постоял, повздыхал маленько. Заведующий опять занудил чего-то — длинное, унылое, — он не слушал. Смахнул с белых ресниц две слезинки непрошенных, сказал вдруг невпопад:

— Ну, катайтесь.

И зашвырнул ту единственную уключину, что полдня искал, обратно в воду. И — пошел. Яков Прокопыч вроде онемел сперва, вроде поглупел с внешности, вроде челюсть даже отвесил. Потом только заорал:

— Полушкин! Стой, говорю, Полушкин!..

Остановился Егор. Поглядел, сказал тихо:

— Ну, чего орешь, Сазанов? Триста рублей начету на меня? Будут тебе триста рублей. Будут. Это уж мой такой принцип.

Домой шагал, под ноги глядя. И дома глаз не поднимал: бровями белесыми занавесился, и, как Харитина ни старалась, взгляд его так и не встретила.

— Не нашел, Егорушка? Мотор тот не сыскал, спрашиваю?

Не ответил Егор. Прошел к столу кухонному, ящик из него выдернул и вывалил все ложки-плошки прямо на столешницу.

— Еще полденька у нас, полденька, Егорушка, завтрашних. Может, вместе пойдем искать? Может, доньшко все ощупаем?

Молчал Егор. Молча ножи осматривал: какой меньше гнется. Выбрал, брусок с полки достал, плюнул на него и начал жало ножу наводить. Обмерла Харитина:

— Ты зачем ножичек-то востришь, Егор Савельич?

Молча шаркал Егор ножом по брусочку, вжиг да вжиг. И брови в линию свел. Выгоревшие брови были нестрашные, а свел.

— Егор Савельич...

— Воду вскипяти, Харитина. И тазы готовь.

— Это зачем же?

— Кабанчика кончать буду.

Харитина наседкой вскинулась:

— Что?!

— Делай, что велел.

— Да ты... Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бе-доносец несчастный! Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся? Чем? Подаянием Христовым?

— Я тебе все сказал.

— Не дам! Не дам, не позволю! Люди добрые!..

— Не ори, Харитина. У меня тоже свой принцип есть, не у него одного.

Сроду он этих кабанчиков не колол: всегда просил, у кого глаз пожестче... А тут озверел словно: всхлипывал, вздрагивал, ножом бил, не глядя. Все горло кабанчику исполосовал, но кончил. И кабанчик тот сразу у них просолился, потому что слезы на него из четырех глаз капали.

Хорошо еще, Кольки не было. У учительницы Колька отсиживался, у Нонны Юрьевны. Спасибо, добрая душа встретила, хотя и девчоночка совсем еще одинокая. Из города.

К ночи разделали: мясо в мешки увязали, потроха себе оставили. Ввалил Егор мешки на загорбок и в ночь на станцию ушел. Надеялся в город к рассвету попасть и занять на рынке местечко, какое побойчей, потому как на собственную бойкость уже не рассчитывал. И так не больно-то боек мужик был, а теперь и подавно: вглубь вся живость его ушла, как рыба в холода.

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

7

Так случилось, что Колька Полушкин ни разу в жизни ни с кем всерьез не ссорился. Ни поводов не встречалось, ни драчливых приятелей, и хоть боли самой разнообразной натерпелся предостаточно, боль эта только тело задевала. А вот душу никто еще доселе не трогал, никто не задевал, и потому к обидам она была непривычна. Нетренированная душа у парня была: большой, конечно, недостаток для жизни, если жизнь эту мерками дяденьки его отмерять, Федора Ипатовича Бурьянова.

Но Колька своими мерами руководствовался, и поэтому отцовская оплеуха угольком горела в нем. Горела и жгла, не затухая. Пустяк, казалось бы, чепуховина: родная ведь рука по загривку прошла, не соседская. Станешь объяснять кому — засмеют:

— Не блажи, малец! На отца ведь кровного губы-то дуешь, сообрази.

Но одного соображения тут, видно, было недостаточно, как Колька ни соображал. Чего-то еще требовалось, и потому он, от слез ослепнув, пошел туда, где — верил он — и без соображений все поймут, разберутся и помогут.

— А они говорят: «Дай ты ему леща!» А он и ударил.

— А ты добрый будь и будь сильный!

Нонна Юрьевна хорошо умела слушать. Глядела как на взрослого, всерьез глядела, и именно от этого взгляда Колька оковы вдруг все растерял и заплакал навзрыд. Заплакал, уткнулся Нонне Юрьевне в колени лбом, и она утешать его не стала. Ни утешать, ни уговаривать, что, мол, пустяки это все, забудется: отец же приложил, не кто-нибудь. Очень Колька разговоров сейчас боялся, но вместо разговоров Нонна Юрьевна сладким чаем его напоила, лекарства дала и спать уложила:

— Завтра, Коля, разговаривать будем.

Наутро Колька немного успокоился, но обида не прошла. Она, обида-то эта, словно внутрь него залезла, так залезла, что он мог теперь на обиду эту как бы со стороны глядеть. Будто в клетке она сидела, как зверек какой. И Колька все время зверька этого неживчивого в себе чувствовал, изучал — и не улыбался. Дело было серьезным.

— Если бы он сам собой меня ударил. Ну, сам собой, Нонна Юрьевна, от досады. А то ведь подучили. Зачем же он до этого себя допускает? Зачем же?

— Но ведь добрый же он, отец-то твой, Коля. Очень добрый человек. Ты согласен?

— Ну, так и что, что добрый?

Нонна Юрьевна не спорила: спорить тут было трудно, так как этот-то предмет Колька знал куда лучше. Намекнула осторожно: может, с отцом переговорить? Но Колька намек этот встретил воинственно:

— А кто виноват, тот пусть первым и приходит.

— Можно разве от старших такое требовать?

— А раз старший, так пример показывай: так ведь вы учили? А он какой пример показывает? Будто он крепостной, да? Ну, а я крепостным ни за что не буду, ни за что!

Вздыхала Нонна Юрьевна. Где-то там, в недосыгаемом, почти сказочном Ленинграде, осталась одинокая мать-учительница. Единственная из большой, шумной семьи пережившая блокаду и в мирные дни потерявшая мужа. Такая же тихая, старательная и исполнительная, как и Нонна Юрьевна: велено было дочери после учебы ехать сюда, в глухомань, на работу — только поплакала.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Нонна Юрьевна в поселке мышонком жила: из дому — в школу, из школы — домой. Ни на танцы, ни на гулянья: будто не двадцать три ей, а всех шестьдесят восемь.

— Хочешь песню про Стеньку Разина послушать?

Пластинок у Нонны Юрьевны целых два ящика. А книг еще больше. Хозяйка даже опасалась:

— Сроду вы, Нонна Юрьевна, замуж не выйдете.

— Почему вы так решили?

— А на книжки больно тратитесь. Себя бы хоть пожалели: мужики книжных не любят.

Мужики, может, и не любили, а вот Колька очень любил. И целый тот день они пластинки слушали, стихи читали, про зверей разговаривали и снова пластинки слушали.

— Ну, голосище, да, Нонна Юрьевна? Аж лампочка вздрагивает!

— Это Шаляпин, Коля. Федор Иванович Шаляпин, запомни, пожалуйста.

— Обязательно даже запомню. Вот уж, наверно, силен был, да?

— Трудно сказать, Коля. Родину оставить и умереть в чужой стране — это как, сила или слабость? Мне думается, что слабость.

— А может, он от обиды?

— А разве на родину можно обижаться? Родина всегда права, Коля. Люди могут ошибаться, могут быть неправыми, даже злыми, но родина злой быть не может, ведь правда? И обижаться на нее неразумно.

— А тятка говорит, что у нас страна самая замечательная. Ну, прямо самая-самая!

— Самая-самая, Коля.

Грустно улыбалась Нонна Юрьевна, но Кольке не понять было, почему она так грустно улыбается. Он не знал еще, ни что такое одиночество, ни что такое тоска. И даже первая его встреча с обычной человеческой несправедливостью, первая его настоящая обида была все-таки ясна и понятна. А грусть Нонны Юрьевны была подчас непонятна и ей самой.

На второй день Колька не выдержал добровольного затворничества и сбежал. Пока его тятка бессчетные разы нырял за мотором, Колька задами, чтобы на мать не наткнуться, выбрался из поселка. Тут перед ним три дороги открывались, как в сказке: на речку, где ребятня поселковая купалась; в лес, через плотину, и на лодочную станцию, куда он совсем еще недавно бегал с особым удовольствием.

И, как витязь в сказке, Колька тоже потоптался, тоже поразмыслил, тоже повздыхал и свернул налево: в хозяйство Якова Прокопыча.

— Ну, что скажешь? — спросил Яков Прокопыч в ответ на Колькино «здравствуйте». — Какие еще огорчения сообщишь?

Очень волнуясь и даже малость заикаясь от этого волнения, Колька торопливо, взалек рассказал заведующему про весь позавчерашний день. Про то, как ладно бежала лодка и как разворачивались дальние берега. Про то, как старательно помогал Егор туристам. Про матрасы и костер, про муравьиный пожар и желтую палатку. Про колбасу с булкой и две эмалированные кружки, которые опрокинул тятка с устатку под настойчивые просьбы приехавших. И еще как плясал он потом, как падал...

Яков Прокопыч слушал внимательно, не перебивая: только моргал сердито. В конце уточнил:

— И ты, значит, ушел?

— Ушел, — вздохнул Колька, так и не решившись поведать о пощечине. — Я ушел, а он остался. С мотором еще.

— Значит, ты не виновен, — сказал, помолчав, заведующий. — А я тебя и не привлекаю: не ты у меня работаешь.

— Я же не для того, — вздохнул Колька. — Я же все как было рассказал. Он же переживает, дяденька Яков Прокопыч.

— Он бесплатно переживает, а я — за деньги. Ладно... Все ясно. Мал еще учить. Мал. Ступай отсюда. Ступай и не появляйся: запрещаю.

Ушел Колька. Без особых, правда, огорчений ушел, потому что ни на что не рассчитывал, разговор этот затеяв. Просто не мог он не поговорить с Яковым Прокопычем, не мог не рассказать ему, как все было, зная, что тятка про то никогда и никому не расскажет. А то, что Яков Прокопыч, про все узнав, просто-напросто прогонит его, Колька предчувствовал и поэтому не удивился и не расстроился. Задумался только и опять пошел к учительнице.

— Почему это люди такие злые, Нонна Юрьевна?

— Неправда, Коля, люди добрые. Очень добрые.

— А почему же тогда обижают?

— Почему?..

Вздыхнула Нонна Юрьевна: легко вам вопросы задавать. Можно было не ответить, конечно. Можно было и отделаться: мол, вырастешь — узнаешь, мал еще. Можно было и на другое разговор этот перевести. Но Нонна Юрьевна в глаза Кольке заглянула и лукавить уже не могла. Чистыми глаза были. И чистоты требовали.

— О том, что такое зло, Коля, и почему совершается оно, люди давно думают. Сколько существуют на свете, столько над этим и бьются. И однажды, чтобы объяснить все разом, дьявола выдумали, с хвостом, с рогами. Выдумали дьявола и свалили на него всю ответственность за зло, которое в мире творится. Мол, не люди уже во зле виноваты, а дьявол. Дьявол их попутал. Да не помог людям дьявол, Коля. И причин не объяснил, и от зла не уберег и не избавил. А почему, как, по-твоему?

— Да потому, что снаружи все искали! А зло — оно в человеке, внутри сидит.

— А еще, что в человеке сидит?

— Живот! Из-за живота-то и зло. Всяк за живот свой опасается и всех кругом обижает.

— Кроме живота есть еще и совесть, Коля. А это такое чувство, которое созреть должно. Созреть и окрепнуть. И вот иногда случается, что не вызревает в человеке совесть. Крохотной остается, зеленой, несъедобной. И тогда человек этот оказывается словно бы без советчика, без контролера в себе самом. И уже не замечает, где зло, а где добро: все у него смещается, все перепутывается. И тогда, чтобы рамки себе определить, чтобы преступлений не наделать с глухой-то своей совестью, такие люди правила себе выдумывают.

— Какие правила?

— Правила поведения: что следует делать, а что не следует. Выносят, так сказать, свою собственную малюсенькую совесть за скобки и делают ее несгибаемым правилом для всех. Ну, они, например, считают, что нельзя девушке жить одной. А если она все-таки живет одна, значит, что-то тут неладно. Значит, за ней надо особо следить, значит, подзревать ее надо, значит, слухи о ней можно самые нелепые...

Остановилась Нонна Юрьевна. Опомнилась, что свое понесла, что из общего и целого вывод сделала частный и личный. И даже испугалась:

— Господи, у меня же плитка на кухне не выключена!

Выбежала, а Колька этого и не заметил. Сидел, брови насупив, думал, прикидывал. Слова Нонны Юрьевны к своему житью-бытью примерял.

Насчет правил точно все сходилось. Видал Колька таких, что жили по своим правилам, а тех, кто этих правил не придерживался, считали либо дураками, либо хитрюгами. И если правила, по которым жил Яков Прокопыч, были простыми и неизменными, то правила родного дядюшки Федора Ипатовича решительно расходились с ними. Они были куда изощреннее и куда гибче прямолинейных пунктиков

контуженного сосной Якова Прокопыча Сазанова. Они все могли оправдать и все допустить — все, что только нужно было в данный момент самому Федору Ипатовичу.

И еще были тятькины правила. Простые: никому и никогда никаких правил не навязывать. И он не навязывал. Он всегда жил тихо и застенчиво: все озирался, не мешает ли кому, не застит ли солнышка, не путается ли в ногах. За это бы от всей души спасибо ему сказать, но спасибо никто ему не говорил. Никто.

Хмурил Колька брови, размышлял, по каким правилам ему жить. И как бы сделать так, чтобы никаких правил вообще больше бы не было, а чтобы все люди вокруг поступали бы только по совести. Так, как тятка его поступал.

А пока Колька ломал голову над проблемами добра и зла, учительница Нонна Юрьевна тихонечко плакала на кухне. Хозяйка ушла, и можно было, не таясь и не прилаживая дежурных улыбок, вдоволь посокрушаться и над своей незадачливой судьбой, и над своими очками, и над ученой угловатостью, и над затянувшимся одиночеством.

А может, и правда, что мужчины книжных девушек не любят?..

8

Поезд прибыл в областной центр в такую рань, что Егор оказался возле рынка в пять утра. Рынок был еще закрыт, и Егор остановился возле ворот, положив мешки на асфальт. Сам же подпер плечом соседний столб, свернул сигарку вместо завтрака и начал с опаской раздумывать о предстоящей торговой операции. Сроду он в купцах не ходил, да и руки у него под топориче приспособлены были, не под навески-разновески. Дома, в горячке, он чересчур уж уверовал в собственные способности и теперь, хмураясь и вздыхая, сильно жалел об этом.

Чего греха таить: побаивался Егор базара. Побоялся, не доверял ему, и так считал, что все равно обманут. Все равно на чем-нибудь да обьегорят, и мечтать тут надо о том лишь, как бы не на все килограммы разом обьегорили. Как бы хоть что-то выручить, хоть две из тех трех сотенных, что нависли над ним, как ненастье.

А тем временем и город зашевелился: машины зафыркали, дворники зашаркали, ранние дамочки каблуками зацокали. Егор на всякий случай поближе к мешкам подобрался, променяв удобный дальний столб на неудобный ближний, но вокруг колхозного рынка пока особой активности не наблю-

далось. Мелькали, правда, отдельные личности, но облубованных Егором ворот никто не отпирал.

— Эт-то что такое?

Оглянулся Егор: начальник. В шляпе, в очках, при портфеле. И пальцем в мешки целится.

— Эт-то что, спрашиваю вас?

— Свининка это,— поспешно пояснил Егор.— Свеженькая, значит. Личная убоинка.

— Убоинка? — Под шляпой грозно заерзали брови: вверх-вниз, вверх-вниз.— Кровь это! Кровь по асфальту струится антисанитарно, вот что я вижу отчетливо и невооруженно.

Из-под мешка действительно сочилась жалкая струйка сукровицы. Егор поглядел на нее, на строгого начальника, ничего не понял и поспешно захлопал глазами.

— За такие фортели рыночную продукцию бракуют,— строго продолжал начальник с портфелем.— Какая, говорите, у вас продукция?

— У меня? У меня никакая не продукция. Убоинка у меня. Поросычья.

— Тем более блюсти обязан. О холере наслышан? Нет? Чистота — залог здоровья! Фамилия?

— Мое?

— Фамилия, спрашиваю вас?

— Это... Полушкин.

— Пол-ушкин.— Гражданин в шляпе вынул книжечку и аккуратно занес в нее Егорову фамилию, что очень озадачило Егора.— Снизим оценочный балл, гражданин Полушкин. Знаете, за что именно. Вывод делайте сами.

Спрятал книжечку в карман, пошел не оглядываясь, а вслед ему Егор ошалело хлопал глазами. Потом к мешкам сунулся, хотел уж подхватить их, чтобы все было санитарно, да не успел. Двое из-за рынка выломались: один уж в годах, а второй середник. Пожилой завздыхал, зацокал:

— Ах, самоуправство, ах, паразит!

— Чего? — спросил Егор.

— Знаешь, кто это был? — спросил середник.— Главный по инспекции. Он штампы на мясо ставит.

— Штампы?

— Не поставит — хана товару. И продавать не разрешат, и в холодильник не допустят. Стухнет товарец.

— Чего? — спросил Егор.

— Строгачи кругом, страшное дело! — завздыхал пожилой.— Строгачи-перестраховщики: эпидемия, слышал?

— Чего?

— Жмут нашего брата...

Закручинились прохожие, завздыхали, застрекотали: гигиена, санинспекция, эпидемия, категория, штампы, холодильник. Один справа стоял, другой слева расположился, и Егор, слушая их, все башкой вертел. Аж шею заломило.

— Да-а, влип ты, мужик.

— Вот он в прошлом месяце, — пожилой в середника ткнул, — на три сотни он накрылся.

— Чего?

— Накрылся. С приветом, значит, три сотенных. Как те ласточки-касаточки.

— Чего?

— Да-а, было дело, было... У тебя чего тут, телятинка?

— Поросятинка. — Егор, разинув рот, глядел то на правого, то на левого. — Что же делать-то мне, мужики, а? Присоветуйте.

— А чего тут присоветуешь? Забирай свои мешки да дуй до дому. Сдашь в родном колхозе по рублю за килограмм.

— По рублю?

— По рублю не возьмут, — сказал середник. — Зачем им по рублю? От силы по семь гривен.

— Семь гривен? Нельзя мне по семь-то гривен — никак нельзя. Начет на меня. Три сотенных начет.

— Да-а, дела, — вздохнул пожилой. — Обидно, конечно, но раз он твою фамилию записал, то все.

— Ну-у?

— Помог бы ты мужику-то, а? — попросил за Егора середник. — Видишь, и начет на него, и поросятинка тухнет.

— Трудно, — закурился пожилой. — Ой, трудное это дело. Немыслимо!

— Мы понимаем! — зашептал, озираясь, Егор. — Мы это, трудности-то ваши, как говорится, учтем. Учтем ваше беспокойство.

— Это — лишнее, — строго сказал пожилой. — Я к тебе всей, можно сказать, душой, а ты — деньги. Обижаешь.

— Обижаешь, — подтвердил середник.

— Да что вы, что вы! — перепугался Егор. — Это так я, так! Сболтнул я, граждане.

— Сболтнул он, — сказал середник. — Может, уважим?

— Главное тут, как начальство объехать, — размышлял пожилой. — Фамилия-то известна: записана фамилия-то. Вот в чем сложность. Может, лучше сразу все продать, а? Продать все чохом. Оптом, как говорится: полтора рубля за килограмм.

— Полтора? — ахнул Егор. — Да что вы, граждане милые! Грабиловка полная получается.

— Грабиловка, говоришь? А то, что фамилию твою на

цугундер взяли, это как называется? Сам ты во всем виноват, раскорячился тут антисанитарно, а потом орешь: грабильовка! Да на что ты нам сдался, спрашивается? Мы же помочь тебе хотели, по-товарищески.

— Не хошь — как хошь, — сказал середник. — Ходи грязный.

И пошли оба. Заскучал Егѳр, замаялся, не выдержал:

— Мужики! Эй, мужики!

Остановились.

— Два рубля с полтинничком...

— Пошел ты!

И сами пошли. Заметался Егор пуще прежнего:

— Мужики! Граждане милые, не бросайте!

Опять остановились:

— Ну, чего тебе? Мы же тебе уважение оказываем, мы тебе помощь, можно сказать, за здорово живешь предлагаем, а ты — верть да круть, круть да верть.

— Несерьезный ты мужик. Так оно получается.

— Да куда же вы, граждане-товарищи? А я как же?

— А как хочешь.

К углу направились, за рынок. Закричал Егор:

— Стойте! Ладно уж, чего там гадать да выгадывать. Давай за все про все две сотенных да тридцаточку.

Знал ведь, что хитрят мужики. Хитрят, врут, изворачиваются, и от всего этого росло в его душе какое-то очень усталое открытие. Он вдруг вспомнил и Федора Ипатовича, выгадывавшего на чужом горе себе бревнышко; и Якова Прокопыча, беспокоившегося только о том, чтобы его, его лично не коснулось чье-то несчастье; и туристов, и этих ловкачей, и еще многих других — таких же мелких, жадных и думающих только о себе. Вспомнил он обо всем этом и сказал:

— Давай за все про все...

— Ну, знаешь, это сперва прикинуть требуется. Волоки на весы свою продукцию.

Прикинули. Домой Егор с двумя сотнями возвращался. Зато без мяса и — с подарками. Кому — ножичек, кому — платочек: всех одарил, никого не забыл. И на водку денег хватило. С порога объявил:

— Гостей покличь, Харитина. Всех зови: бригадиров, прораба, Якова Прокопыча, родню любезную. Зови всех: Егор Полушкин мир угощать желает.

— Ты о чем это думал-выдумал, о чем размыштался-разнежился?

Не дал он Харитине до полного дыху дойти. Сел в красном углу под образами, сапог не снявши, ладонью по столу постукал:

— Все! Хоть день, да беспечально!

— Да ведь начету три ста. А ты за всего кабанчика — два ста. А где еще один ста?

— Я голова, я удумаю.

— Ты голова, а я шея: на мне хомут-то семейный...

Выхватил Егор из кармана деньги, затряс:

— Из-за бумажек этих да чтоб печаловаться? Жизни красоту ими измерять? Слезы утирать? Да спалить их все-народно в жгучем пламени! Спалить и на пепле вприсядку плясать! Хоровод вокруг пламени этого! Чтоб застывшие согрелись, чтоб ослепшие прозрелись! Чтоб ни бедных, ни богатых, ни долгов, ни одолжений! Чтоб... Да я, я первый свои последние в купель ту огненную...

— Егорушка-а!

Повалилась Харитина в ноги: спалит ведь последние, с него станется. Спалит, отведет душеньку, а потом либо за решетку тюремную, либо на осину горькую.

— Не губи семью, Егорушка, деток не губи. Все, как велишь, исполню, всех покличу, напарю-нажарю и выпить поднесу. Только отдай ты мне денежки эти от греха. Отдай, Христом богом молю.

Обмяк вдруг Егор: словно воздух из него выпустили. Кинул на стол двадцать рыночных десяточек, сказал:

— Водки чтоб вволю. Чтоб хоть залились ею.

Закивала Харитина, мышью в дверь юркнула. А Егор сел на лавку, достал кисет и начал советницу свою свертывать, сигарку-самопалку. Медленно свертывал, старательно. И не потому, что махорку жалел — ничего он сейчас не жалел! — а потому, что очень уж ему хотелось подумать. Но мысли эти его не слушались, разбегались по всем углам, и он пытался собрать их одна к одной, как махорочные крошки в обрывок газеты.

О многом хотелось подумать. Хотелось понять, что же такое произошло с ним, почему и — главное — за что. Хотелось рассудить, кто прав и кто виноват. Хотелось решить, как быть дальше, где достать еще сотню и где отыскать завтрашний заработок. Хотелось помечтать о торжестве справедливости, о наказании всех неправых, злых и жадных. Хотелось счастья и радости, покоя и тишины. И — уважения. Хоть немного.

И еще очень хотелось плакать, но плакать Егор не умел и потому просто сумрачно курил, уставясь в стол. А когда оторвался от него и глянул окрест, то вдруг увидел, что у дверей стоит Колька.

— Сынок... — И встал. И голову опустил. А потом сказал тихо: — Кабанчика-то я прирезал, сынок. Вот, значит.

— Я знаю.

Колька прошел к столу и сел на материно место — на табурет. А Егор все еще стоял, виновато склонив голову.

— Ты сядь, тятя.

Егор послушно опустил на лавку. Тыкал вслепую окурком в герань на окошке: только махра трещала. И глазами кругом бегал: вокруг Кольки. Колька поглядел на него, повзрослому поглядел, пристально. А потом сказал:

— Ни в чем ты не виноват, тятя. Это я виноват.

— Ты? Как так выходит?

— Не остановил тебя вовремя,— вздохнул Колька.— Ты ведь у меня заводной товарищ, верно?

— Верно, сынок. Правильно.

— Вот. А я не остановил. Стало быть, я и виноват. И ты в стол не гляди. Ты на меня гляди, ладно? Как прежде.

Прыгнули у Егора губы: не поймешь, улыбнуться хотел или свистнуть. Еле-еле совладал:

— Чистоглазик ты мой...

— Ну, ладно, чего там,— сердито сказал Колька и отвернулся.

И правильно, что отвернулся, потому что у Егора в носу вдруг засвербило и сами собой две слезы по небритости проползли. Он смахнул их, заулыбался и заново начал свертывать сигарку. И пока свертывал ее, пока прикуривал, оба молчали: и отец и сын. А потом Колька повернулся, сверкнул глазами:

— Какого я мужичищу у Нонны Юрьевны слушал, ну, тятя! Голосище! Прямо как у слона.

К вечеру Харитина поросычьей утробы нажарила, напарила и на стол выставила. Егор в чистой рубаше в красном углу сидел: слева — подарки, справа — поллитры. Каждого подарком встречал и граненым стаканчиком (лафитничков в обзаведении не имелось):

— Будь здоров, гость дорогой. Пей от горла, ешь от пуза, на подарочек радуйся.

Бригадиров и прорабов Харитина не собрала (а может, и не хотела), но Яков Прокопыч приперся.

— Зла на тебя, Полушкин, не держу, потому и пришел. Но закон уважаю сердечно. И тебя, значит, уважил, и закон уважаю. Такая у меня постановка вопроса.

— Садись, Яков Прокопыч, товарищ Сазанов. Испробуй нашего угощения.

— С нашим полным удовольствием. Все должно быть соблюдено, верно? Все, что положено. А что не положено, то фантазии. Бензином бы их полить да и сжечь.

Федор Ипатович тоже присутствовал. Но в себе был весь,

сумраком занавешенный. И потому помалкивал: ел да пил. Но Якову Прокопычу ответил:

— Всем на чужом пожаре занятие по душе найдется. Кому тушить, кому глазеть, а кому руки греть.

Вскинулся Яков Прокопыч:

— Как понимать, Федор Ипатыч, это примечание?

— Законников надо жечь, а не фантазии. Собрать бы всех законников да и сжечь. На очень медленном огне.

Разгореться бы тут спору, да Марьица не дала. Задержала мужа:

— Не спорь. Не встревай. Наше дело — сторона-сторонка.

И Вовка с другого уха поддакнул:

— Может, лодка когда понадобится...

А Егор и не слышал ничего из своего красного угла. Подарки раздавал, водкой заведовал. Сам пил, других угощал:

— Пейте, гости дорогие! Федор Ипатыч, свояк дорогой, мил дружок мой единственный, что нахмурился-засупонился? Улыбнись, взгляни бархатно, молви слово свое драгоценное.

— Слово? Это можно.— Поднял Федор Ипатович стакан.— С прибылью, хозяин, тебя. И с догадкой: раз кругом все такие законники, без догадки не проживешь. Вот вернулся ты, значит, и молодец. Да. Хвалю. Чиста душа в рай глядит.

— В рай? — закручинилась Харитина.— Там, где рай, не наш край. Нам до рая ста рублей не хватает.

Удивилась Марьица.

— Ты что это, Тина, каких таких ста? Кабанчика, поди, не без выгоды...

Крепилась Харитина. Весь день крепилась, а тут сдала. Взвыла вдруг по-упокойному:

— Ой, сестрица ты моя Марьица, ой, братец ты мой Федор Ипатович, ой, вы гости мои ласковые...

— Да ты что, что, Тина? Да погоди голосить-то.

— Да ведь два ста рублей — вся убоинка.

— Двести?..— Федор Ипатович даже хлебушек уронил.— Двести рублей? Это ж как так получается? Это почем же килограмм идет?

— А почем бы ни шел, да весь вышел,— сказал Егор.— Пейте-ешьте, гости...

— Нет, погоди! — строго прервал Федор Ипатович.— Свежая свининка не баранинка. Да в это время, да в городе. Да по четыре рубля килограмм, вот как она идет! По четыре целковых — это я точно говорю.

Онемели за столом. А Яков Прокопыч поддакнул:

— Вокруг этой цены супруга моя рассказывала.

— Господи! — ахнула Харитина. — Господи, люди добрые!

— Погоди! — Федор Ипатович ладонью пристукнул: за-был с огорчения, что в гостях, не дома. — Так выходит, что на две сотни сам ты себя нагрел, Егор. Это ж при долгах, при начете, при семействе да при бедности — две сотни чужому дяде? Бедоносец ты чертов!..

Ахнул Егор суковатым своим кулаком по столешнице — аж стаканы подпрыгнули:

— Замолчь! Считаете все, да? Выгоды подсчитываете, убытки вычитываете? Так не смей в моем доме считать да высчитывать, ясно-понятно всем? Я здесь хозяин, самолично. А я одно считать умею, кому избу сложить, кому крышу покрыть, кому окно прорубить — вот что я считаю. И сыну своему это же самое в жизни считать наказываю. Три сотни у меня земли, и эти три сотни по моим законам живут и моими счетами считают. А закон у меня простой: не считай рубли — считай песенки. Ясно-понятно всем? Тогда пой, Харитина, велю.

Молчали все, как пришибленные. Глядели на Егора, рты раззявив. Кольке это очень смешным показалось: он из-за стола в сени выскочил, чтоб отсмеяться там вволюшку.

— Спой, Тина, — сказал Егор. — Хорошую песню спой.

Всхлипнула Харитина. Подперла щеку рукой, пригорюнилась, как положено, и... И опять двинуло ее совсем не в ту сторону:

Ой, тягры-тягры-тягры,
Ой, тягры да вытягры!
Кто б меня, младу-младену,
Да из горя б вытягнул...

9

А на другой день на заготконторе объявление появилось. С газету размером. Печатными буквами всем гражданам сообщалось, что областные заготовители будут брать у населения лыко липовое. Отмоченное и высушенное, по полтинничку за килограмм. Пятьдесят копеечек звонкими.

Егор долго объявление читал. Прикидывал: полтина за кило — это, стало быть, рублевка за два. Восемь рублей пуд: деньги. Большие суммы можно заработать, если каждый день по пять пудов из лесу таскать.

А Федор Ипатович ничего не прикидывал. Некогда было: как только узнал об этом, так и запрятать побежал. Сел на

казенную тележку и в лес подался вместе с Вовкой. И с ножами наостренными: ему-то о разрешении на лыкодрание не хлопотать-стать. Да и в липняки сквозь завалы не ломиться: первый, известное дело, сливочки пьет, не снятое молочко. Вот так-то.

Ну, а Егор тем временем хлебал пустые щи и рассуждал, как хозяин:

— Восемь, стало быть, рубликов пуд. Это по-старому — восемьдесят. Зарплату в день заработать можно, ежели, значит, подналечь.

Харитина не спорила: с поросячьих поминок притишела она. По дому сновала, по поселку суетилась, по знакомым бегала. Хлопотала чего-то, добивалась, о чем-то просила. Егор был не в курсе: не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось. Годилось гордость мужскую соблюдать в нерушимости.

А насчет лыка обману не было. Брали, кто пошустрее, разрешение у лесника — это у Федора, стало быть, Ипатовича, — в субботу-воскресенье спозаранку в лес отправлялись. Туда — спозаранку, оттуда — с вязанкой. Конечно, с вязанкой на горбу да воперек буреломов много рублей не вытянешь, это понятно. Но если у кого мотоцикл — до двадцати пяти килограммов выхватывали. Неделю мочили, сушили, сушили и — в контору. Пожалуйте взвешивать.

Ну, Федор Ипатович на мелочи не разменивался: в первую же ночь воз из лесу выкачал. Еле лошадь доперла. И — вот голова мужик! — не в поселок, не к дому-пятистеночке: зачем лишнее обозрение? В воду кобылу загнал, там ее распряг, а воз вместе с лыком мокнуть оставил: телега не мотоцикл, ничего ей не делается. И кобыле облегчение, и разговоров никаких, и вода продукцию прямо в телеге до кондиции доводит. Доведет — впряжем лошадь и все разом на берег. Растрясти да просушить — это и Марьица делает. Тем более в лесном его хозяйстве еще одна телега имелась: только лошадь перепрягай да дери это лыко, покуда серебро звякает.

Три веза Федор Ипатович таким манером из лесу доставил, пока свояк его умом раскидывал. Уставал, конечно: работа поту требует. И Вовку измучил, и себя извел, и кобылу издергал. Вовка прямо у порога падал, и мать его, сонного, в кровать волокла. А сам исключительно настоечкой держался: на укрепе настоечка. Укрепляет. И только лафитничек опрокинул (Марьица и графинчик-то со стола убрать не поспела), только, значит, принял во здравие: здрасьте вам, Егор Полушкин. Собственной небритой персоной.

— Приятного вам угощения.

Крякнул Федор Ипатович — нет, не с лафитничка — с огорчения.

— Садись к столу, свояк дорогой, купец знаменитый.

Это в насмешку, но Егор на насмешку и внимания не обратил, на другое его внимание устремилось. Закивал, заблагодарил, заулыбался и к дверям оборотился: кепку повесить. А когда повесил и к столу шагнул, пиджак одергивая, то аж заморгал: нету графинчика-то. Ни графинчика, ни лафитничка: одна картошка на столе. Правда, с салом.

— Я ведь по делу-то к тебе, Федор Ипатыч.

— Ты поешь сперва. Дело обождет.

Поели. Марьяца чай подала. Попили. Потом закурили и к делу подошли:

— Справку мне, свояк, надо бы. Насчет, значит, лыка. Полтинник за килограмм.

— Полтинник? — поразился Федор Ипатович. — Богатая у нас держава: направо — полтина, налево — полтина.

— Так ведь пока дают.

Посопел Федор Ипатович. Повздыхал строго.

— Бесхозяйственность, — сказал. — Лес тот заповедный, водоохраным называется. А мы его голим.

— Дык ведь...

— Обдерешь ты, скажем, липку. А она засохнет. Тебе прибыль, а государству что? Государству — потеря.

— Верно-правильно. Только ведь как драть. Если умеючи...

— Не думаем о государстве, — опять закручинился хозяин. — О России не думаем совершенно. А надо бы нам думать.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!

Вздохнули оба, задумались. В сигарки уставились.

— Лыко умеючи драть надо, это ты, свояк, верно сказал. Но и с перспективой. Чтоб, значит, в грядущее. Об этом думать надо.

— Это мы понимаем, Федор Ипатыч.

— Ну, ладно, так и быть. По-свойски отпущу тебе такую бумажку. Учитывая бедственное положение.

Правильно Федор Ипатович учитывал: было такое положение. Хоть и расплатился уже Егор сполна за утопленный мотор, но на прежней работе — на тихой да уважительной пристани — не остался. Сам ушел, по собственному желанию:

— Такой, стало быть, мой принцип, Яков Прокопыч.

И опять бегал, куда пошлют, делал, что велют, исполнял, что прикажут. И старался как мог. Даже и не старался: стараются — это когда специально, когда себя насилуют, чтоб только все нормально сошло. А у Егора и в мыслях не было что-либо плохо сделать, где-либо словчить, на авось

сотворить, кое-каком отделаться. Работал он всю жизнь и за страх и за совесть, а что не всегда все ладно выходило, так то не вина его была, а беда. Талант, стало быть, такой у него был, какой отроду достался.

Но в субботу — только туман рваться начал, над землей всплывая,— взял Егор веревок побольше, ножи наострил, топорик за пояс засунул и подался в заповедный тот лес. За лыком, что ценилось по полтиннику за килограмм. И Кольку с собой прихватил: лишний пуд — лишние восемь целковых. Впрочем, лишнего у него ничего еще не бывало.

— Липа — дерево важное,— говорил Егор, шагая по заросшей лесной дороге.— Она в прежние-то времена, сынок, пол-России обувала, с ложечки кормила да сладеньким потчевала.

— А чего у нее сладкое?

— А цвет. Мед с цветку этого особый, золотой медок. Пчела липняки уважает, богатый взяток берет. Самое полезное дерево.

— А береза?

— Береза — она для красоты.

— А елка?

— Это для материала. Елка, сосна, кедр, лиственница. Избу срубить или, скажем, какое полезное строение. Каждое дерево, сынок, оно для пользы: бездельных природа не любит. Кто для человека растет, на его нужду, а кто для леса, как зверья всякого или для гриба, скажем. И потому прежде чем топором махать, надо поглядеть, кого обидишь: лося или зайца, гриб или белку с ежиком. А их обидишь — себя накажешь: уйдут они из леса-то порубленного, и ничем ты их назад не заманишь.

Хорошо было им идти по этой глухой дорожке, шлепать босыми ногами по росистой траве, слушать птиц и говорить об умной природе, которая все предусмотрела и все сберегла на пользу всему живому. К тому времени уж и солнышко вынырнуло, шишки на елях вызолотив, и шмели в траве запели. Колька на каждом повороте на компас смотрел:

— К западу свернули, тятя.

— Скоро дойдем. Я почему, сынок, в дальний-то липняк наостряюсь? А потому, что ближний-то больно уж красив. Больно в силе он состоит, цветущ больно, и трогать его не надо. Лучше вглубь сходим: ног нам не жалко. А липняк этот пусть уж цветет пчелам на радость да народу на пользу.

— Тятя, а шмели к липе летят?

— Шмели? Шмели, сынок, все больше понизу стараются: тяжелы больно. Клевера обхаживают, цветы всякие. В природе тоже свои этажи имеются. Скажем, трясогузка, она по

земле шастает, а ястреб в поднебесье летает. Каждому свой этаж отпущен, и потому никакой суеты, никакой тебе толкотни. У каждого свое занятие и своя столовка. Природа, она никого не обижает, сынок, и все для нее равны.

— А мы, как природа, не можем?

— Дык это... Как сказать, сынок. Должны бы, конечно, а не выходит.

— А почему не выходит?

— А потому, что этажи перепутаны. Скажем, в лесу все понятно: одному родился ежиком, а другой — белкой. Один на земле шурует, вторая с ветки на ветку прыгает. А люди, они ведь одинаковыми рождаются. Все, как один, голенькие, все кричат, все мамкину титьку требуют да пеленки грязнят. И кто из них, скажем, рябчик, а кто кобчик — неизвестно. И потому все на всякий случай орлами быть желают. А чтоб орлом быть, одного желания мало. У орла и глаз орлиный, и полет соколиный... Чуешь, сынок, каким духом тянет? Липовым. Вот аккурат за поворотом этим...

Аккурат завернули они за поворот, и замолк Егор. Замолк, остановился в растерянности, глазами моргая. И Колька остановился. И молчали оба, и в знойной тишине утра слышно было, как солидно жужжат мохнатые шмели на своих первых этажах.

А голые липы тяжело роняли на землю увядающий цвет. Белые, будто женское тело, стволы тускло светились в зеленом сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из земных глубин к уже обреченным вершинам.

— Сгубили,— тихо сказал Егор и снял кепку.— За рубли сгубили, за полтиннички.

А пока отец с сыном, потрясенные, стояли перед загубленным липняком, Харитина в намеченной ею самой дистанции последний круг заканчивала. К финишу рвалась, к заветной черте, за которой чудилась ей жизнь если и не легкая, то обеспеченная.

При всей горластости характеру ей было отпущено не так уж много: на мужа кричать — это пожалуйста, а кулаком в присутственный стол треснуть — это извините. Боялась она страхом неизъяснимым и столов этих, и людей за столами, и казенных бумаг, и казенных стен, увешанных плакатами аж до потолка. Входила робко, толклась у порога: и требовать не решалась, и просить не умела. И, испариной от коленок до мозжечка покрываясь, талдычила:

— Мне бы место какое. Зарплата чтоб. А то семья.

— Профессией какой владеете?

— Какая у меня профессия? За скотом ходила.

— Скота у нас нет.

— Ну, мужики-то есть? За ними уход могу. Помыть, постирать.

— Ну, да у вас, Полушкина, редчайшая профессия! Паспорт с собой? — В документ глядели, хмурились.— Дочка у вас ясельная.

— Олька.

— Яслей-то у нас нет. Ясли — в ведении Петра Петровича. К нему ступайте: как решит.

Шла к Петру Петровичу: на второй круг. От Петра Петровича — к Ивану Ивановичу на третий. А оттуда...

— Ну, вот что: как начальник скажет. Я в принципе не возражаю, но детей много, а ясли одни.

Этот круг был последним, финишным: к черте подводил. И за той чертой — либо твердая зарплата два раза в месяц, либо конец всем мечтам. Конца этого Харитина очень пугалась и потому с утра готовилась к свиданию с последним начальником со всей женской продуманностью. Платье новое по коленки окоротила, нагладилась, причесалась как сумела. И еще сумочку с собой прихватила, сестрицы подарок, Марьицы, к именинам. А Ольгу учительнице Нонне Юрьевне подкинула: пусть тренируется. Своих пора заводить, чего там. Выгулялась.

Ни жива ни мертва Харитина дверь заветную тронула: будто к царю Берендею шла или к Кощею Бессмертному. А за дверью вместо Кощея с Берендеем — дева с волосами распущенными. И коготки по машинке бегают.

— Мне к начальнику. Полушкина я.

— Идемте.

Умилилась Харитина: до чего вежливо. Не «обождите», не «проходите», а «идемте». И сама в кабинет проводила.

Начальник — пожилой уже, в черных очках — за столом сидел, как положено. Перед собой смотрел, но строго ли — не поймешь: в очках ведь, как в печных заслонках.

— Товарищ Полушкина,— сказала дева.— По вопросу трудоустройства.

И вышла, облаком сладким Харитину обдав. А начальник сказал:

— Здравствуйте, товарищ Полушкина. Присаживайтесь.

И руку поперек стола простер. Не ей — она с краю стояла,— а точнехонько поперек, и Харитине шаг в сторону пришлось сделать, чтобы руку эту пожать.

— Значит, никакой специальности у вас нет?

— Я по хозяйству больше.

К тому, что в каждом новом месте, у каждого нового

начальника ее об одном и том же спрашивали, Харитина быстро привыкла. И частила сейчас:

— По хозяйству больше. Ну, в колхозе пособляла, конечно. А так — дети ведь. Двое. Олька — младшенькая: не оставишь. А тут кабанчика зарезать пришлось...

Слушал начальник, головой не ворочал, а куда смотрел — неизвестно и как смотрел — тоже неизвестно. И потому путалась Харитина, плела словеса вместо сути и до того доплелась, что и остановиться не могла. И детей, и мотор, и кабанчика, и непреклонного товарища Сазанова, и собственного мужа-бедоносца — всех в одну вязь повязала. И сама в ней запуталась.

— Так что вам надо, товарищ Полушкина? Ясли или работа?

— Так ведь без яслей не наработаешь: дочку девать некуда. Не вечно ж мне Нонну-то Юрьевну беспокоить.

Ох, знать бы, куда смотрит да как поглядывает!

— Ну, а если мы дочку вашу в ясли определим, куда устроиться хотите? Специальность получить или так, разнорабочей?

— Как прикажете. Сторожить чего или в чистоте содержать.

— Ну, а желание-то у вас есть хоть какое-нибудь? Ведь есть же, наверно?

Вздыхнула Харитина:

— Одно у меня желание: хлеба кусок зарабатывать. Нет у меня больше на мужа моего надежды, а детишек ведь одеть-обуть надо, прокормить, обучить надо да на ноги поставить. Да Олька мне руки повязала: не оставлять же ее каждый день на Нонну Юрьевну.

Улыбнулся начальник.

— Устроим вашу Ольку. Где тут заявление-то ваше? — И вдруг руками по столу захолопал, головы не поворачивая. Нашарил бумажку. — Это?

Встала Харитина.

— Господи, да ты никак слепой, милый человек?

— Что поделаешь, товарищ Полушкина, отказало мне зрение. Ну, а хлеб, как вы говорите, зарабатывать-то надо, правда?

— Учеба, поди, глазыньки-то твои съела?

— Не учеба — война. Сперва-то я еще видел маленько, а потом все хуже да хуже. И — до черноты. Так это ваше заявление?

Запрыгали у Харитины губы, запричитать ей хотелось, завывать по-бабьи. Но сдержалась. И руку начальнику направила, когда он резолюцию накладывал, по-прежнему

уставля свои черные очки в противоположную стену кабинета.

А пришла домой — муженек с сынком, как святые, сидят, не шелохнутся.

— А лыко?

— Нету лыка. Липа голая стоит, ровно девушка. И цвет с нее осыпается.

Не закричала Харитина почему-то, хоть и ждал Егор этого. Вдохнула только:

— Обо мне слепой начальник больше заботы оказывает, чем родной мужик.

Обиделся Егор ужасно. Вскочил даже:

— Лучше бы лесу он заботу оказывал! Лучше бы видел он ограбивку эту поголовную! Лучше б лыкодралов тех да за руку!..

Махнул рукой и ушел во двор. Покурить.

10

Мысль обмануть судьбу на лыковом поприще была у Егора последней вспышкой внутреннего протеста. И то ли оттого, что была она последняя и в запасе больше не имелось протестов, то ли просто потому, что крах ее больно уж был для него нагляден, Егор поставил жирный крест на всех работах разом. Перестал он верить в собственное везенье, в труд свой и в свои возможности, перестал биться и за себя и за семью и — догорал. Ходил на работу исправно, копал, что велели, зарывал, что приказывали, но делал уже все нехотя, вполсилы, стараясь теперь, чтоб и велели поменьше, и приказывали не ему. Смирно сидел себе где-либо подальше от начальства, курил, жмурился на солнце и ни о чем уже не хотел думать. Избегал дум, шарahalся от них. А они лезли.

А они лезли. Мелкие думы были, извилистые, черные, как пиявки. Сосали они Егора, и не попевал он смахивать одну, как впивалась другая, отбрасывал другую, так присасывалась третья, и Егор только и делал, что отбивался от них. И не было душе его покоя, а вместо покоя — незаметно, исподволь — росло что-то неуловимо смутное, то, что сам Егор определил одним словом: *зачем?* Много было этих самых «зачем?», и ни на одно из них Егор не знал ответа. А ответ нужен был, ответ этот совесть его требовала, ответ этот пиявки из него высасывали, и, чтоб хоть маленько забыться, чтоб хоть как-то приглушить шорох этот в сердце своем, Егор начал попивать. Потихонечку, чтоб супруга не

ругалась, и по малости, потому что денег не было. Но если раньше он каждую копейку норовил в дом снести, как скворец какой, то теперь он и по рублевочке из дому потаскивал. Потаскивал и на троих соображал.

И враз друзья объявились: Черепок да Филя. Черепок лысым сплошь был, как коленка, нос имел — огурец семенной да два глаза — что две красные смородины. И еще — рот, из которого мат лился и в который — водка. С хлястом она туда лилась, будто не глотка у Черепка была, а воронка для заправки. Без пробки и без донышка.

Филя так не умел. Филя стакан наотмашь относил и палец оттопыривал:

— Не для пьянства пьем, а только чтоб не отвыкнуть.

Филя над стаканом поговорить любил, и это всегда Черепка раздражало: он к заправке рвался. Но Филя ценил не результат, а процесс и потому старался пить последним, чтоб на пятки не наступали. Выливал остаточки, бутылкой до тринадцатой капли над стаканом тряс и рассуждал:

— Что в ей находится, в данной жидкости? В данной жидкости — семь утопленниц: горе и радость, старость и младость, любовь, да совет, да восемнадцать лет. Все я вспоминаю, как тебя выпиваю.

А Егор пил молча. Жадно пил, давась: торопился, чтоб пиявки повысочили. Не затем, значит, чтоб вспомнить, а затем, чтоб забыть. У кого что болит, тот от того и лечится.

Помогало, но ненадолго. А поскольку продлить хотелось — деньги требовались. Шабашить научился: Черепок на это мастак был великий. То машину разгрузить подрядится, то старушке какой забор поправить, то еще что-нибудь удумает. Шустрый, был, пока тверезый. А Егор злился:

— На работу бы тебя наладить с ускоком твоим, не на шабашку.

— Работа не убежит: ополоснемся — доделаем. А не доделаем, так и...

И пояснял, что следовало. А Филя черту подводил:

— Машины должны работать. А люди — умственно дышать.

Однако случалось, что и сам Черепок не мог шабашки организовать. Тогда делали, что велено, ругались, ссорились, страдали, а пиявки так донимали Егора, что бросал он лопату и бежал домой. Благо Харитина теперь судомойкой в столовке работала и засечь его не могла. Тянул Егор с места заветного рублевку, а то и две — и назад, к друзьям-товарищам.

— Что в ей находится, в данной жидкости?

Слезы там находились: как ни занята была Харитина

домом, детьми да работой, а рублевки считала. И понять не могла, куда утекли они, и на Кольку накинута под горячую руку:

— Ах ты, вор, хулиган ты бессовестный!..

И ну драть. За волосы, за уши — всяко, за что ни попадя. И сама ревет, и Олька ревет, и Колька ойкает. Егору бы смолчать тут, да больно глаз-то у сынака растерянный был. Больно уж в душу глядел глаз-то этот.

— Я деньги те взял, Тина.

Сказал и испугался. Прямо до онемения: чего врать дальше-то? Чего придумывать?

— За-ачем?

Слава богу, не сразу спросила, а как бы в два приема. И Егору сообразить время дала, и Кольку выпустила. Утер Колька нос, но не убежал. На отца глядел.

— Я это... Мужичу одолжил знакомому. Надобно ему очень.

— Ему надобно, а нам? Нам-то, господи, на что хлеб-соль покупать? Нам-то жить на что, бедоносец ты чертов? Молчишь? А ну сей момент надевай шапку, к нему устремляйся да и стробуй!

Вот устрой бабу на работу, и враз она в дому командовать начнет. Это уж точно.

— Кому сказано, тому велено!

Надел Егор шапку, вышел за ворота. Куда податься? К свояку разве, к Федору Ипатовичу в ноги бухнуться? Тогда, может, и даст, но ведь запилит. Занудит ведь. Стерпеть разве? А ну как не даст, а потом Харитине же и расскажет? Ну, а еще куда податься? Ну, а еще некуда податься.

Размышляя так, Егор совершил по поселку круг и назад домой прибыл. Скинул шапку и бухнул с порога:

— Утек он, мужик этот. Уволился из нашего населения.

Набрала Харитина в грудь воздуха — аж грудь та выпятилась, как в те сладкие восемнадцать лет, про которые в песне поется да которые Филя в стаканчике ищет, на донышке. И понесла:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов...

Понурил Егор голову, слушал, на сына поглядывая. Но Колька не на него глядел и не на мать — на компас. Глядел на компас и не слышал ничего, потому что завтра должен был компас этот бесценный отдать за здорово живешь.

А всему виной Оля была. Не сестренка Ольга, а Оля Кузина, с ресницами и косичкой. Вовка ее часто за эту косичку дергал, а она смеялась. Сперва ударит, будто всерьез, а потом зубки покажет. Очень Кольке нравилось, как она

смеется, но о том, чтоб за косу ее потрогать,— об этом он даже помечтать не решался. Только смотрел издали. И глаза отводил, если она ненароком взглядывала.

Теперь они редко встречались: каникулы. Но все же встречались — на речке. Правда, она за кустами купалась с девчонками, но смех ее и оттуда Колькиных ушей достигал. И тогда Кольке очень хотелось что-нибудь сделать: речку переплыть, щуку за хвост поймать или спасти кого-нибудь (лучше бы Олю, конечно) от верной гибели. Но речка была широкой, щука не попадалась, и никто не тонул. И потому он только нырянием хвастался, но она на ныряния его внимания не обращала.

А вчера они с Вовкой на новое место купаться пошли, и Оля Кузина за ними увязалась. На берегу первой платьишко скинула — и в воду. Вовка за ней наострился, а Колька в штанине запутался и на траву упал. Пока выпутывался, они уж в воде оказались. Хотел он за ними броситься, поглядел и не полез. Отошел в сторонку и сел на песок. И так муторно ему вдруг стало, так тошно, что ни вода его не манила, ни солнышко. Помрачнел мир, будто осенью. Вовка Олю эту Кузину плавать учил. И показывал, и поддерживал, и рассказывал, и кричал:

— Дура ты глупая! Чего ты сразу всем дрыгаешь? Давай поддержи уж. Так и быть.

И Олька его слушалась, будто и впрямь дурой была. Знала ведь, что Колька куда как получше Вовки плавает и глубины не боится, а вот пожалуйста. У Вовки и училась да еще хихикала.

Так Колька в воду и не полез. Слушал смехи эти да Вовкины строгости, придумывал, что ответить, если Оля все же опомнится и в воду его позовет. Но Оля не опомнилась: бултыхалась, пока не замерзла, а потом выскочила, схватила платье и в кусты побежала трусики выжимать. А Вовка к нему подскочил. Шлепнулся на живот, глаза вытарацив:

— А я Ольку за титьки хватал!

Сколько там в Колькином теле крови было — неизвестно, а только вся она сейчас в лицо ему ударила. Аж под ложечкой защемило от бескровия:

— У ней же нету их...

— Ну, и что? А я там, где будут!

Бога Колька молил, чтоб снег пошел, чтоб гроза вдруг ударила, чтоб ветер-ураганище. И помогло: ничего такого, правда, не произошло, но Оля в воду больше не полезла, как Вовка ни настаивал.

— Нет и нет. Мне мама не велит.

Много ли радости человеку надо? «Нет» сказала, и Коль-

ка сразу все позабыл: и купание, и смехи ее, и Вовкины нехорошие слова. Врал Вовка, ну конечно же врал, вот и все! И Колька по берегу уже не молчком шагал, а рассказывал про жаркие страны. Про моря, на которых никогда не был, и про слонов, которых никогда не видал. Но так рассказывал, будто и был и видал, и Олины глазки еще шире раскрывались.

А Вовка очень сердился и поэтому шел сзади. И не след в след — вот еще, охота была! — а сбоку, прямо по кустам. Нарочно ломал их там и шумел тоже нарочно.

— Они знаешь какие умные, слоны-то? Они все-все понимают, да! Они и на работу по гудку, как люди, и на обед.

— Надо же! — Это так Олина мама удивлялась, ну и Оля тоже. — А их едят?

Вздыхнул Колька: ох, не о том ты спрашиваешь, что интересно. Подумал:

— Дорого.

— Вот бы меня кто слоном угостил! Ну, ничего бы ему не пожалела за это, ну ничегошеньки!

Нет, даже за такую сказочную плату Колька не стал бы губить для нее слона. Нет, не для того слоны на свете живут, чтобы их девчонки ели. Даже если и очень красивые.

Это он подумал так. А сказал политично:

— У нас совсем этого достать невозможно. Ни за какие деньги.

— Слона нашел! — вдруг заорал Вовка. — Местного!

Из кустов выломился и щенка приволок. Худой щенок был, заброшенный, и ухо ему кто-то оборвал. По морде то ли вода текла, то ли слезы, а языком он все норовил Вовкину руку лизнуть. Маленьким языком. Неумелым.

— Гадость какая паршивая! — Оля Кузина даже за Кольку спряталась. — Шелудивый он. Дохляк.

— Утопим, — сказал Вовка с удовольствием. — Может, он бешеный.

— А как же утопишь? — Оля из-за Кольки высунулась, и в глазах ее зажглось что-то остренькое. — В воду бросишь?

— Чай, выплывет, если так-то. Подержи-ка, я камень поищу.

Он щенка Кольке сунул, но Колька попятился и руки спрятал. И еще сказать что-то пытался, но слова вдруг провалились куда-то. И пока Вовка со щенком в руках на берегу камень искал, Колька все время слова вспоминал. Очень нужные слова, горячие очень — только не было их.

И камней тут тоже не было, как Вовка ни старался. Колька уж обрадовался тихонечко, уж сказал сдавленно: «Жалко...», как Вовка заорал радостно:

— Не надо мне никакой кирпичины, не надо! Я в воду залезу, а его ко дну прижму. Он враз наглотается!

И к берегу побежал. А у Кольки опять горло перехватило, и опять слова провалились куда-то. И тогда он просто догнал Вовку и за трусы схватил у самой воды.

— Пусти! — Вовка рванулся, аж резинка его по заду щелкнула. — Я нашел, я и зачурался, вот! И что хочу теперь, то с ним и сделаю.

— Он нашел, он и зачурался, — подтвердила Оля Кузина. — И теперь что хочет, то с ним и сделает. И пусть уж лучше утопит: интересно.

— Герасим и Муму! — объявил Вовка и опять в воду полез.

— Отдай, — попросил Колька тихо. — Отдай мне его. Отдай, а? Я тебе что хочешь за него дам. Ну, что сам захочешь.

— А что у тебя есть-то? — пренебрежительно спросил Вовка, но, однако, остановился, не полез вглубь. — Ничего у вас теперь нету, кроме долгов: папка так говорит.

— Кроме долгов! — засмеялась Оля Кузина (а смех у нее — будто бубенчик проглотила). — Ничего у них нет, ничегошеньки: даже кабанчика!

— Отдай. — Колька вдруг дрожать стал, словно только-только из воды вылез, нанырившись. — Ну, хочешь... Хочешь, я компас тебе за него отдам, а? Насовсем отдам, не топи только животную. Жалко.

— Жалко ему! — засмеялась Оля Кузина. — Жалко у пчелки!..

Но Вовка не засмеялся, а поглядел.

— Насовсем? — спросил: недоверчив был, весь в Федора Ипатовича.

— Честное-железное, — подтвердил Колька. — Чтоб мне не купаться никогда.

Молчал Вовка. Соображал.

— Да на что ему компас-то твой? — спросила Оля Кузина. — Очень он ему нужен, компас-то! И всего-то он, поди, копеек восемьдесят пять стоит. А щенок знаешь сколько? Ого! И не укупишь, вот сколько.

— Я не за щенка, — пояснил Колька, а на сердце так скверно стало, что хоть заплачь. И компаса жалко, и щенка жалко, и себя почему-то тоже жалко, и еще чего-то жалко, а вот чего — никак Колька понять не мог. И добавил: — Я за то только компас дам, чтоб не топил ты его никогда.

— Это конечно, — солидно сказал Вовка. — Компас за щенка мало.

И щенка на руке покачал, будто прикидывая.

— Я не насовсем,— вздохнул Колька.— Пусть у тебя живет, если хочешь. Я за то только, чтоб ты не топил.

— Ну, за это...— Вовка похмурился по-отцовски, повздыхал.— За это можно. Как считаешь, Олька?

— За это можно,— сказала.

И слов-то у нее своих не было — вот что особо горько. Его слова повторяла, как тот попугай говорящий, про которого Колька читал в книжке «Робинзон Крузо».

— Ладно, только пусть покуда у меня живет,— важно сказал Вовка.— А компас завтра принесешь: Олька свидетельница.

— Свидетельница я,— сказала Олька.

На том и порешили. Вовка щенка домой отволок, Олька к маме убежала, а Колька с компасом пошел прощаться. Глядел, как стрелка вертится, как дрожит она, куда указывает.

На север она указывала.

11

Без кола да без двора — бобыль человек. Таких и Федор Ипатович не уважал, и Яков Прокопыч побаивался. Если уж и двора нет, так что есть, спрашивается? Одни фантазии.

А у Нонны Юрьевны и фантазий никаких не было. Ничего у нее не было, кроме книжек, пластинок да девичьей тоски. И поэтому всем она чуточку завидовала — даже Харитине Полушкиной: у той Колька за столом щи наворачивал да Олька молочко потягивала. С таким прикладом и мужа-бедоносца стерпеть можно было, если бы был он, муж этот.

Никому в зависти этой — звонкой, как первый снежок, — никому Нонна Юрьевна не признавалась. Даже себе самой, потому что зависть эта в ней жила независимо от ее существа. Сама собой жила, сама соками наливалась, в жар кидала и по ночам мучила. И если бы кто-нибудь Нонне Юрьевне про все это в глаза сказал, она бы, наверно, с ходу окочурилась. Кондратий бы ее хватил от такого открытия. Ну, а хозяйка ее, у которой она комнату снимала — востроносенькая, востроглазенькая да востроухонькая, — так та хозяйка все это, конечно, знала и обо всем этом, конечно, по всем углам давным-давно языком трясла:

— Подушки грызет, товарочки, сама в щелку видела, вот те крест. Кровь в ней играет.

А товарочки головами согласно кивали:

— Пора бы уж: перестойтся девка. Мы-то первых своих

когда рожали-то? Ай-ай, по бабьим срокам ей бы уж третьего в зыбке качать.

Вот с таких-то разговоров да шепотков Нонне Юрьевне и житье-то пошло не в житье, а в вытье. Никогда она для себя ничего добиваться не решалась и не пыталась, а тут вдруг понесло ее по всем начальникам. И откуда терпение взялось да настойчивость: не сдавалась. Все инстанции прошла, что положено, и добилась.

— Выделим вам отдельную комнату. Только, к сожалению, в аварийном фонде.

— В каком угодно!

Душа продрогшая о крыше не думает: ей стены нужны. Ей от глаз-сосулук укрыться нужно, и если при этом сверху капает — пусть себе капает. Главное, стены есть. Есть где отплакаться.

Отплакалась Нонна Юрьевна с огромным удовольствием и большим облегчением: даже улыбаться начала. А как слезки высохли, так и сверху полило: дождь начался и без всяких препон комнаты ее собственной достиг. Все тазы и все кастрюли переполнил и породил в почти безмятежной голове Нонны Юрьевны мысли вполне практического направления.

Однако направление это, как выяснилось, в тупик вело:

— На ремонт все лимиты исчерпаны.

— Но у меня протекает потолок. Просто как душ, знаете.

Улыбнулись покровительственно.

— То не потолок протекает, то крыша. Потолок течь не может, он для другого приспособлен. А крыша, она, конечно, может. Все правильно, в будущем году ставим вас на очередь.

— Но послушайте, пожалуйста, там же совершенно невозможно жить. Там с потолка ручьем течет вода и...

— А мы вас насчет аварийного состояния предупреждали, у нас и документик имеется на этот счет. Так что сами вы во всем виноваты.

Вот так и перестал человек улыбаться: не до улыбок тут, когда в комнате — собственной, выстраданной, вымечтанной и выплаканной! — в комнате этой опять растут. Хоть соли их и грузи бочками в прекрасный город Ленинград. Маме.

Но повезло. Правда, втайне Нонна Юрьевна считала себя счастливой и поэтому даже не удивилась везению. Просто встретился ей у этого лишнего лимитов тупика некий очень приветливый гражданин. Лысый и великодушный, как древний римлянин.

— Эка невидаль, что текет. Покроем!

И покрыл. Так покрыл, что хоть святых выноси. Но и к этому способу общения Нонна Юрьевна как-то уже притерпелась. И даже научилась не краснеть.

— У меня бригада — ох, работает за двух, жрет за троих, а пьет, сколько поднесут. Так что готовь бутылку для заключения трудового соглашения.

Спиралью от древнего римлянина несло — комары за-мертво падали. Оно, конечно, правильно: человечество по спирали развивается, но эта, конкретная, такой пахучей была, что Нонна Юрьевна на всякий случай переспросила:

— Какую бутылку, говорите?

— Натуральную-минеральную, раскудри ее в колдобину и распудри в порошок!..

Пока Нонна Юрьевна за натуральной бегала, гражданин древний римлянин на носках к пустырю припустил:

— Есть шабашка, мужики, раскудрить вашу, распудрить. Дуру какую-то бог нанес: хата у нее текет. Дык мы ее поллитрами покроем, родимую. По-фронтовому, в три наката. Чтоб и не капала, зараза, на хорошего человека!..

День тот в смысле просветления душ с утра не задался, и мужики были злыми. Пока Черепок насчет шабашки колбасился, землю на пустыре для какого-то туманного назначения перелопачивали и цапались:

— Ты стенку-то оглаживай. Оглаживай, говорят тебе!

— А чего ее оглаживать? Не баба.

— А того, что осыплется, вот чего!

— Ну, и хрен с ней, с осыпленной. Ты бы, Егор, вместо указаний в смыслах оглаживания данной канавы домой бы смотался и супругу бы законную огладил бы на пару рубликов. И природа бы нам за это улыбнулась.

Промолчал Егор. Хмуро стенку свою оглаживал, землю со дна выгребал. Но хоть и оглаживал по привычке и выгребал по аккуратности, а той легкости, запоя того рабочего, что двигал им когда-то мимо перекуров да переболтов, восторга того неистового перед делом рук своих он уже не испытывал. Давно не испытывал и делал ровнехонько настолько, чтоб наряд закрыли, даже если и с руганью.

А молчал он потому, что после того случая с враньем про неизвестного мужика, который утек из местного населения с якобы одолженными ему рублями, после Харитинных слез да Колькиных глаз зарекся он копейку из дому брать. Сам себе слово такое дал и даже перекрестился тайком, хотя в бога не веровал. И пока держался. Держался за слово свое да за тайное крестное знамение как за последний спасательный круг.

Ну, а тут Черепок прибежал и вестью радостной огорошил. Насчет крыши, что над дурой девкой так вовремя протекла.

— Шабаш, мужики!

Враз пошабашили. Обрадовались, лопаты в канаву покидали и к речке ударились: умыться. А умывшись, подались заключать трудовое соглашение, заранее ощущая в животах волнующую пустоту.

Издали еще Егор пятистеночку эту угадал: половина шифером крыта, половина травой заросла и их, стало быть, теперь касалась. Сруб глазом окинул: гнилью, однако, еще не тронуло сруб-то, и при умелом топоре да добром взгляде обновить домишко этот труда особого не составляло. Крышу перекрыть да полы перестелить, и вся недолга.

Это он думал так, плотничким глазом работу прикидывая. Думал да помалкивал, потому что это не просто работа была, а *шабашка*, и говорить об истинном размере труда тут не приходилось. Тут полагалось раздувать любое хозяйское упущение до масштабов бедствия, пугать полагалось и стричь с испугу этого дикую шабашскую деньгу. Не учитываемый ни государством, ни бухгалтерией, ни фининспекцией, ни даже женами мужской подспудный доход.

А еще он подумал, что надо бы крыльцо поправить и косяки заменить. И навес над крыльцом надо бы уделать по-людски и... И тут дверь кособокая распахнулась, и Черепок сказал радостно:

— Бригада ух! Здравствуй, хозяйка, кажи неудобства, раскудрить их...

— Здравствуйте,— очень приветливо сказала хозяйка.— Проходите, пожалуйста.

Все и прошли, а Егор на крыльце застрял. В полном онемении: Нонна Юрьевна. Это к ней тогда Колька прибежал — к ней, не к родимой матери. Пластинки слушал: голос, говорит, как у слона...

Затоптался Егор — и в хату не шел, и бежать не решался. И совестно ему было, что в такой компании в дом ее вваливается, да с таким делом, и думалось где-то, что хорошо еще, он в плотницкой работе соображение имеет.

— Егор Савельич, что же вы не проходите?

Узнала, значит. Вдохнул Егор, сдернул с головы кепку и шагнул в прогнившие сени.

Натуральную трескали. Под какого-то малька в томате, что ныне важно именовался частичком. Филя палец оттопыривал:

— Сколько их, земных неудобств, или, сказать, неудовольствий: кто счесть может? Мы можем, рабочие люди. Потому как всякое неудобство и неудовольствие жизни через наши руки проходит. Ну, а что руки пощупали, того и голова не забудет: так, что ли, молодая хозяйюшка? Хе-хе. Так что

выпьем, граждане-друзья-товарищи, за наши рабочие руки. За поильцев наших и частично кормильцев.

Черепок молча пил. Обрушивал стакан в самый зев, кричал оглушительно и рукавом утирался. Доволен был. Очень он был доволен: редкая шабашка попалась. Дура дурой, видать.

А Егор пить не стал.

— Благодарствую на угощении.— И кружку отодвинул.

— Что же вы так категорически отказываетесь, Егор Савельич?

— Рано,— сказал.

И на Филю — тот уже второй раз мизинец оттопыривать примеривался,— на Филю в упор посмотрел. И добавил:

— За руки рабочие выпить — это мы можем. Это с полным нашим уважением. Только где они, руки эти? Может, мои это руки? Нет, не мои. Твои, может, или Черепка? Нет, не ваши. Шабашники мы, а не рабочие. Шабашники. И тут не радоваться надо вовсе, а слезой горючей умыться. Слезой умыться от стыда и позора.

Нонна Юрьевна так смотрела, что глаза у нее стали аккурат в очковины размером. Филя лоб хмурил, соображая. А Черепок... Ну, Черепок, он Черепок и есть: второй стаканшек в прорву свою вылил и рукавчиком закусил.

— Осуждаешь, значит? — спросил наконец Филя и рассмеялся, но не от веселья, а от несогласия.— Вот, товарищ учительница, вот, товарищ представитель передовой нашей интеллигенции, какая, значит, у нас здоровая самокритика. И действует она ядовито. До первого стаканчика. А после данного стаканчика самокритику мы забываем, и начинается у нас одна сплошная критика. Что скажешь, бывший рабочий человек Егор Полушкин?

Испугалась вдруг Нонна Юрьевна. Чего испугалась, не понял Егор, а только увидел: испугалась. И заулыбалась торопливо, и глазками заморгала, и захлопотала, себя даже маленько роняя:

— Закусывайте, товарищи, закусывайте. Наливайте, пожалуйста, наливайте. Егор Савельич, очень я вас прошу, выпейте рюмочку, пожалуйста.

Посмотрел на нее Егор. И столько тоски в глазах его было, столько боли и горечи, что у Нонны Юрьевны аж в горле что-то булькнуло. Как у Черепка после стаканчиков.

— Выпить мне очень даже хочется, Нонна Юрьевна учителька дорогая. И пью я теперь, когда случай выйдет. И если б вдруг тыщу рублей нашел — все бы, наверно, враз и пропил. Пока бы не помер, все бы пил и пил и других бы

угощал. Пейте, говорил бы, гости дорогие, пока совесть ваша в вине не захлебнется.

— Ну, дык, найди,— сказал вдруг Черепок.— Найди, раскудри ее, эту тыщу.

Глянул Егор на Нонну Юрьевну, глаз ее перепуганный уловил, руки задрожавшие и все понял. Понял и, взяв кружечку отодвинутую, сказал:

— Позвольте за здоровье ваше, Нонна Юрьевна. И за счастье тоже, конечно.

И выпил. И мальком этим, что по несурзости в томате плавал вместо заводи какой-нибудь, закусил.

И кружку поставил, как точку.

Потом пятистеночек осматривали. Объект, так сказать, приложения сил, родник будущих доходов.

Тут роли были распределены заранее. Черепку полагалось пугать, Филя — зубы заговаривать, а Егору — делом заниматься. Прикидывать, во что все это может обернуться, и умножать на два. И уж после этого умножения Черепок черту подводил. Во сколько, значит, влетит хозяину означенная работа.

Так и здесь предполагалось: Филя уж речи готовил потуманистей, Черепок уж заранее угрюмился, за столом еще.

— Ну, хозяйошка, спасибо за угощение. Выкладывай теперь свои неудобства жизни.

Ходили, судили, рядили, пугали — Егор помалкивал. Все вроде бы по плану шло, все как надо, а уж о чем думал Егор, неудобства эти оглядывая, о том никто не догадывался. Ни Черепок, ни Филя, ни Нонна Юрьевна.

А думал он, во что это все девчоночке встанет. И о том еще думал, что хозяйства у нее — одна раскладушка, на которой когда-то сын его обиженный ночевал. И потому, когда сложил он все, что работы требовало, когда материал необходимый прикинул, то не умножил на два, а разделил:

— Полста рублей.

— Что? — Черепок даже раскудриться позабыл от удивления.

— Упился, видать,— сказал Филя и на всякий случай похихикал: — Невозможное произнес число.

— Пятьдесят рублей со всем материалом и со всей нашей работой,— строго повторил Егор.— Меньше не уложимся, извиняемся, конечно...

— Да что вы, Егор Савельич...

— Ах, раскудри твою...

— Замолчь! — крикнул Егор.— Не смей тут выражения говорить, в дому этом.

— А на хрена мне за полсотни да еще вместе с материалом?

— И мне,— сказал Филя.— Отказываемся по несурзности.

— Да как же, товарищи милые,— перепугалась Нонна Юрьевна.— Что же тогда...

— Тогда в тридцатку все обойдется,— хмуро сказал Егор.— И еще я вам, Нонна Юрьевна, полки сделаю. Чтоб книжки на полу не лежали.

И пошел, чтоб мата черепковского не слышать. Так и ушел, не оглядываясь. На пустырь тот вернулся и снова взялся за лопату. Канаву оглаживать.

Били его на том пустыре. Сперва в канаве, а потом наверх выволокли и там тоже били.

А Егор особо и не отбивался: надо же мужикам злобу свою и обиду на ком-то выместить. Так что он, Егор Полушкин, бывший плотник — золотые руки, лучше других, что ли?

12

Федор Ипатович со всеми долгами расплатился, все в ажур привел, все справочки раздобыл, какие только требовались. Папку с тесемками в культтоварах купил, сложил туда бумажки и в область подался. Новому лесничему отчитываться.

В копеечку домик-то въехал. В круглую копеечку. И хоть копеечку эту он не у собственных детей изо рта вытянул, обидно было Федору Ипатовичу. Ох как обидно! До суровости.

Вот почему за всю дорогу Федор Ипатович и рта не раскрыл. Думы свои свинцовые кантовал с боку на бок и сочинял разные обидные слова. Не ругательные: их до него тьмы тем насочиняли, а особо обидные. Сверху чтоб вроде обыкновенные, а внутри — чтоб отравы. Чтоб мучился потом лесничий этот, язвы его, две недели подряд, а привлечь бы не мог. Никак.

Трудная это была проблема. И Федор Ипатович на соседей-попутчиков не растрчивался. Не отвлекался пустыми разговорами.

Думал он о встрече с новым лесничим Юрием Петровичем Чуваловым. Думал и боялся этой встречи, так как ничего не знал о нем, о новом лесничем.

Жизнь Юрия Петровича сложилась хоть и самостоятельно, но не очень счастливо. Отец пережил победу ровнехонько

на один год и в сорок шестом отправился туда, где молчаливые батальоны ждали своего командира. А вскоре умерла и мать, измученная ленинградской блокадой и тысячедневным ожиданием фронтовых писем. Умерла тихо, как и жила. Умерла, кормя его перед сном, а он и не знал, что ее уж нет, и проворно сосал остывающую грудь.

Об этом ему рассказала соседка много лет спустя. А тогда... Тогда она просто перенесла его из вымершей комнаты в свою, хоть и пустую, хоть и вдовью, но живую, и целых шестнадцать лет он считал матерью только ее. А когда он, загодя приготовив справки, собрался торжественно прибыть в милицию за самым первым в своей жизни паспортом и попросил у нее метрику, она почему-то надолго вдруг замолчала, старательно обтирая худыми, жесткими пальцами тонкие, бескровные губы.

— Ты что, мам?

— Сынок...— Она вздохнула, достала из скрипучего шкафчика старую тетрадку с пожелтевшими солдатскими треугольниками, похоронками, счетами на электричество и метриками вперемежку, отыскала нужную бумажку, но не отдала.— Сядь, сынок. Сядь.

Он послушно сел, не понимая, что происходит с ней, но чувствуя, что что-то происходит. И опять спросил, улыбнувшись ласково и неуверенно:

— Ты что, мам?

А она все еще молчала и глядела на него без улыбки. А потом сказала:

— Ты, Юра, мне сыночком всегда был и всегда будешь, пока жива я. Пока жива, Юра. Только в свидетельстве этом, в метрике, значит, там другие записаны. И мама другая и папка. И ты паспорт, сынок, на ихнюю фамилию получай, ладно? Она очень даже хорошая фамилия, и люди они были очень даже хорошие. Очень даже. И не Семенов ты теперь будешь, а Чувалов. Юра Чувалов, сыночек мой...

Так Юра в шестнадцать лет стал Чуваловым, но эту малограмотную, тихую солдатку по-прежнему и называл и считал мамой. Сначала привычно и чуть небрежно, потом с великим почтением и великой любовью. После института он много разъезжал, работал в Киргизии и на Алтае, в Сибири и Заволжье, но где бы ни был и кем бы ни работал, каждое воскресенье писал письмо:

«Здравствуй, моя мамочка!»

Писал очень неторопливо, очень старательно и очень большими буквами. Чтобы сама прочитала.

И она тотчас же отвечала ему, аккуратно сообщая о своем здоровье (в письмах к нему она никогда ничем не болела, ни разу) и обо всем небогатом запасе новостей. И только последнее время все чаще и чаще стала осторожно, чтоб — упаси бог! — не обидеть и не расстроить его, намекать на безрадостное житье и одинокую свою старость:

«У Марфы Григорьевны уж звучат двое, и жизнь у нее теперь куда какая веселая...»

Но Юрий Петрович все отшучивался. Пока почему-то отшучивался и разговоры переводил все больше на здоровье. Береги, дескать, себя, мамочка, а там посмотрим, у кого она веселее сложится, эта самая жизнь. Поживем, как говорится, увидим, вот такие дела. Целую крепко.

Федор Ипатович ничего про это, конечно, не знал. Сидел напротив, глядел на хлюста этого столичного из-под бровей, как из двух дотов, и ждал. Ждал, что скажет, папку с бумажками пролистав.

И еще искоса — чуть-чуть — вокруг поглядывал: как живет. Поскольку новый лесничий принимал его на сей раз не в служебном кабинете, а в гостиничном номере. И Федор Ипатович все время думал, к чему бы эта домашность. Может, ждет чего от него-то, от Федора Ипатовича, а? С глазу на глаз.

Ой, нельзя тут ошибиться было, ой, нельзя! И поэтому Федор Ипатович особо напряженно первого вопроса ждал. Как прозвучит он, какой музыкой? То ли в барабан ударит, то ли скрипочкой по сердцу разольется — все в первом вопросе заключалось. И Федор Ипатович аж подобрался весь, аж мускулы у него свело от этого ожидания. И уши сами собой выросли.

— Ну, а где же все-таки разрешение на порубку строевого леса в охранной зоне?

Вон какая музыка пошла. Из милицейского, значит, свистка. Понятно. Федор Ипатович, тоску спрятав, перегнулся через стол, попридержал дыхание для вежливости — аж в кипяток его сунуло, ей-богу, в кипяток! — и пальцем потыкал:

— А вот.

— Это справка об оплате. Справка. А я говорю о разрешении на порубку.

— Так прежний-то лесничий уехал уже.

— Так разрешение вы же не вчера брать должны были, а год назад, когда строились. Не так ли?

Засопел Федор Ипатович, заскучал. Замаялся.

— Мы с ним, с тем лесничим-то, душа в душу жили.

Попросту, как говорится. Можно — значит, можно, а нельзя — так уж и нельзя. И без бумажек.

— Удобно.

— Ну, за что же вы мне не верите, Юрий Петрович? Я же все бумажечки, как вы велели...

— Хорошо, проверим ваши бумажечки. Можете возвращаться на участок.

— А папочка моя?

— А папочка ваша у меня останется, товарищ Бурьянов. Всего доброго.

— Как так у вас?

— Не беспокойтесь, не пропадут ваши справки. Счастливого пути.

С тем Федор Ипатович и отбыл, со счастливым, значит, путем. И весь обратный путь этот тоже молчал как рыба, но не потому уже, что обидные слова придумывал, а со страху. То потел он со страху этого, то дрожать начинал, и, уж только к поселку подъезжая, все свои силы мобилизовал, и с огромным трудом привел себя в соответствие. В вид солидный и задумчивый.

А под всем этим задумчиво-солидным видом одна мысль в припадке билась: куда лесничий папочку его со всеми справочками понесет? А ну как в милицию, а? Сгорит ведь тогда он, Федор Ипатович-то, сгорит. Синим пламенем сгорит на глазах у друзей-приятелей, а те и пальцем не шевельнут, чтоб его из пламени этого вытащить. Точно знал, что не шевельнут. По себе знал.

Но терзался Федор Ипатович напрасно, потому что новый лесничий папку эту никуда не собирался передавать. Просто неприятен ему был этот угрюмый страх, эта расплата задним числом и этот человек тоже. И никак он не мог отказать себе в удовольствии оставить Федора Ипатовича со страхом наедине. Пока без выводов.

Только один вывод для себя сделал: посмотреть на все своими глазами. Пора уж было глянуть и на этот уголок своих владений, но нагрянуть туда он решил неожиданно и поэтому ничего Федору Ипатовичу не сказал. Отложил эту папку, очень крупными буквами написал матери внеочередное — когда тут вернешься, неизвестно — письмо и стал собираться в дорогу. А когда открыл чемодан, в который — так уж случилось — почти не заглядывал с момента отъезда из Ленинграда, то на самом дне обнаружил вдруг маленькую посылочку. И со стыдом вспомнил, что посылочку эту передали ему в Ленинграде через третьи руки с просьбой при случае вручить ее учительнице в далеком поселке. В том самом, куда только-только собрался поехать.

Повертел Юрий Петрович эту посылочку, подумал, что растяпа он и эгоист при этом, и положил ее в рюкзак. На сей раз на самый верх, чтобы вручить по прибытии, еще до того как отправится на Черное озеро. А потом пошел в читальный зал и долго копался там в старых книгах.

А Нонне Юрьевне в эту ночь никакие сны так и не приснились. Вот оно как в жизни бывает. Без знамений и чудес.

13

Теперь у Егора опять пошла быстрая полоса. Все на бегу делал, что велено было, как во времена Якова Прокопыча. А закончив этот торопливый, без перекуров и переывов, обязательный труд, умывался, причесывался, рубаху одергивал и шел к аварийной пятистеночке Нонны Юрьевны. Ходко шел, а вроде бы и не семенял, торопился, а себя не ронял. Мастером шел. Особой походкой: ее ни с чем не спутаешь.

Правда, мастеровитость эта к нему недавно вернулась. А поначалу, синяков еще не растеряв, что Филя с Черепком ему наставили, затосковал Егор, замаялся. Ночь целую не спал — не от боли, нет! С болью-то он давно договорился на одном топчане спать — ночь не спал, вздыхал да ворочался, сообразив, что обманул он робкую Нонну Юрьевну. Не выходило там в тридцаточку, как ни кумекал Егор, как ни раскидывал. Не взял он того в соображение, что не было у Нонны Юрьевны во дворе ни доски, ни бревнышка и весь лес, значит, предстояло добывать на стороне. И пахло тут совсем не тридцаточкой.

Однако Нонну Юрьевну бессонницей своей он беспокоить не стал: его промах — его и беспокойство. Побегал, поглядел, посуетился, со сторожем лесосклада о ревматизме покалякал, покурил с ним...

Вот кабы для себя он лес добывал этот, то на том бы ревматизме все бы и закончилось. Не смогло бы Егорово горло никаких других слов произнести, просто физически не смогло бы; сдавило бы его, и конец всякому разговору. Скорее он бы хату свою собственной кожей покрыл, чтоб не текла, проклятая, чем о лесе бы заикнулся, скорее столбом бы в углу перекошенном замер, но в аварийной квартире Нонны Юрьевны заместо столба замереть было невозможно, и потому Егор, языком костеня, брякнул на том перекуре: — Тесу бы разжиться. А?..

«А» это таким испуганным было, что аж пригнулось, из

Егоровой глотки выскочив. Но сторож ничего такого не заметил, поскольку размышлял напрямик:

— Сколько?

Никогда в жизни Егор так быстро не соображал. Много сказать — напугается и не даст. Мало сказать — себя наказать. Так как же тут говорить-то без опыта?

— Дюжину... — глянул, как бровью мужик тот шевельнет, и добавил быстренько: — И еще пять штук.

— Семнадцать, значит, — сказал сторож. — Округляем до двадцати и делим напополам. Получается две поллитры.

Совершив эту математическую операцию, он уморился и присел на бревнышко. А Егор пока прикидывал:

— Ага. Ясно-понятно нам. В каком, значит, виде?

— Одну. — натурально, другую — денежно. Про запас.

— Ага! — сказал Егор. — А как тес вынесу?

— Считай от угла четвертый столб. Насчитал? От него обратно к углу — третья доска. Висит на одном гвозде. Не, не репетируй: начальство ходит. Ночью. Машину оставь за два квартала.

— Ага! — сказал Егор: упоминание о машине почему-то вселило в него уверенность, что с ним договариваются всерьез. — За три оставлю.

— Тогда гони поллитру. И денежное способие на вторую.

— Счас, — сказал Егор. — Ясно-понятно нам. Счас сбегает.

И выбежал со склада очень радостно. А когда пробежал кварталчик, когда запыхался, тогда и радоваться перестал. И даже остановился.

В карманах-то его который уж год авось с небосем только и водились. И еще махорка. А больше ничего: все свои деньги он всегда в кулаке носил. Либо получку — до дому, либо пай в тройственном согласии — из дома. А тут целых восемь рублей требовались. Восемь рубликов, как за пуд лыка.

Приуныл Егор сильно. С Нонны Юрьевны стрбовать — в тридцаточку не уложимся. У знакомых занять — так не даст же никто. На земле найти — так не отыщутся. Повздыхал Егор, покручинился и вдруг решительно зашагал прямо к собственному дому.

То все в субботу происходило, и Харитина поэтому шуровала по хозяйству. В избе пар стоял — не проглянешь: стирка, понятное дело. И сама над корытом — потная, красная, взлохмаченная — и поет. Мурлычет себе чего-то, но не «тягры» свои, и потому Егор прямо с порога и брякнул:

— Давай восемь рублей, Тина. Тес приторговал я для Нонны Юрьевны.

Знал, что будет сейчас, очень точно знал. Вмиг глаза у нее высохнут, выпрямится она, пену с рук смахнет, грудь свою надует и — на четыре квартала в любую сторону. И он уж подготовился к воплям этим, уже стерпеть все собирался, но не отступать, а в перерывах, когда она воздух для новой порции заглатывать начнет, втолковывать ей, кто такая Нонна Юрьевна и как нужно помочь ей во что бы то ни стало. И так он был ко всему этому готов, так на одно и устремлен и заряжен, что поначалу даже ничего и не понял. Не сообразил.

— Тес-то добрый ли?

— Чего?

— Гнили бы не подсунули: обманщики кругом.

— Чего?

Руки о подол вытерла — большие руки-то, тяжелые, синими жилами опутанные, — руки вытерла и из-за Тихвинской божьей матери (маменьки ее благословение) коробку из-под конфет достала.

— Хватит восьми-то?

— Столковались так.

— Либо машину, либо подводу каку нанимать придется.

И еще трояк приложила к тем-то, к восьми. И вздохнула. И опять к корыту вернулась. Посмотрел Егор на деньги, враз пустоту — волнующую, знакомую — в животе ощутив. Посмотрел, сглотнул слюну и взял ровно восемь рублей:

— Допру.

И вышел. А она и не обернулась: только опять запела что-то. Чуть только погромче вроде бы. Вот почему, передавая сторожу бутылку и четыре рубля чистыми, Егор посуровистей свел выгоревшие свои брови и спросил по-строже:

— Не обманешь?

— А кого? — очень лениво спросил сторож. — Бухгалтера нет, директора нет, инспектора тоже нет. Так кого обманывать? Себя? Невыгодно. Тебя, что ли? Обратного невыгодно: второй раз не придешь.

— Ладно-хорошо. Ночью, стало быть, третья доска. Не стрельни с дремоты-то.

— Она у меня незаряженная.

Весь вечер Егор и двух минут на месте усидеть не мог: вскакивал, поспешал куда-то, хотя поспешать было еще не время. Он был чудовищно горд своей инициативой и деловой хваткой, но где-то рядом с гордостью шевелилась большая черная пиявка. Поднимала тупую голову, нацеливая присоску в самое больное, и тогда Егор вдруг вскакивал и метался, и чем меньше оставалось времени до воровского часа, тем

все чаще поднимала пиявка эта свою голову и тем все быстрее и суматошнее метался Егор.

Заплатить бы ему за этот тес не поллитрой, а сколь там положено. Лучше бы он сапоги свои последние загнал и расплатился бы честь по чести, чем вот эта вот пиявка, что ворочалась где-то возле самого сердца. Но выписать тес этот через контору, оплатив его по государственной цене, было немыслимо не только потому, что никто не купил бы у Егора его заветных сапог, а потому лишь, что контора эта имела право продавать частным гражданам только «неликвиды» — продукцию загадочную и по содержанию и по форме, из которой при самой великой хитрости можно было бы выстроить разве что малогабаритный нужник. Вот почему все изыскания заднего Егорова ума, — а он им был особо крепок, — все эти изыскания носили, так сказать, характер отвлеченно-теоретический. А практический выход тут был один: через третью доску обратно к углу.

Но, несмотря на пытки отвлеченной теорией, а может, как раз-то и благодаря им, Егор Кольку в ночной тот разбой не взял, ни единым словом об этом деле не обмолвился и Харитине своей велел молчать. Впрочем, это она и без него сообразила и еще загодя сказала:

— Кольку не пушу.

— Верно, Тина, правильно. Чистоглазик парень-то... — У Егора горло вдруг перехватило, и кончил он почти что шепотом: — Ну, и слава богу!

Нельзя сказать, что рос Егор ухарем, но особо ничего не боялся. И на медведя хаживал, и тонул, и спасал, и пьяных разнимал, и собак успокаивал. Слово «надо» для него всегда было — что было не удивительно, а вот что до сих пор сохранилось! — всегда было самым главным словом, и когда звучало оно — в нем ли самом или со стороны, — тогда и страх, и слабость, и все его немощи отступали на седьмой план. Тогда он шел и делал то, что *надо*. Без страха и без суеты.

Здесь тоже было «надо», звучало в полную силу, а страх почему-то не проходил. И чем ближе подползали стрелки ходиков к намеченному сроку, тем сильнее колотился в нем этот странный, безадресный, обезоруживающий его страх. И чтобы унять его, чтобы заставить самого себя шагнуть за порог в темную ночь, Егор, дождавшись, когда Харитина из горницы вышла, трижды перекрестился вдруг на Тихвинскую божью мать. Неумело, торопливо и нескладно. А прошептал уж совсем несуразное:

— Господи, не ворую ведь, а краду только. Ей-богу, украду разик, а больше никогда не буду. Честное слово, крест

святой. Разреши уж, царица небесная, не расстраивайся... Для хорошего человека беру.

Тут Харитину вынесло, и молитву пришлось прервать. И поэтому Егор пошел на разбойное свое дело со смущенной душой.

Двенадцать часов выбрал, полночь, самое воровское время. Тишина в поселке стояла, только псы перебрехивались. И ни людей, ни скотов, будто вымерли все.

Шесть раз он мимо той доски прошел. Шесть раз сердце в нем обрывалось: нет, не со страху, не потому, что попасться боялся, а потому, что преступал. Через черту преступал, и то смятение, которое испытывала сейчас душа его, было во сто крат горше любых наказаний.

А как доски со склада за восемь улиц к Нонне Юрьевне волок, об этом вроде забыл потом. Силился вспомнить и не мог. И понять не мог, как же это он один двадцать дюймовых досок в шесть метров длиной допереть умудрился и не надорвался при этом. И сколько раз бегал, тоже не помнил. Должно, много: враз больше трех не упрешь. Пробовал.

Только помнил, что на складе ни души не было и через ту третью доску свободно можно было не двадцать — двести штук выволочь. Но он-то ровно двадцать взял, как договаривались. Отволок, свалил у Нонны Юрьевны на задах — место это он еще загодя доглядел — и домой пошел. Коленками, как говорится, назад.

А наутро — воскресное утрецо было, ласковое! — наутро надел Егор чистую рубаху, взял личный топор и вместе с Колькой отправился к Нонне Юрьевне. И так ему было радостно, так торжественно, что он останавливал каждого встречного и маленько калякал. И хоть никому не было дела до забот Егора Полушкина, Егор сам на свои заботы любой разговор поворачивал:

— За грибками ты, значит, наострился! Ну, везет, стало быть, отдыхай. А у меня дела. Работа, понимаешь ли, серьезный вопрос.

А Колька отмалчивался, только вздыхал. Он вообще при молк что-то последнее время. После того, как выменял компас на собачью жизнь. Но Егор молчаливости этой оценить никак не мог, так как весь был поглощен предстоящей работой. Не шабашкой, а плотницкой. Для души. Потому-то он и Кольку с собою взял, а вот на шабашки не брал никогда. Там чему научишь-то? Деньгу зашибать? А тут настоящее дело ожидалось, и учение тоже должно было быть настоящим.

— В работе, сынок, без суеты старайся. И делай как душа велит: душа меру знает.

— А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон учат, что души вовсе никакой нету, а есть рефлексы.

— Чего есть?

— Рефлексы. Ну, это — когда чего хочется, так слюнки текут.

— Правильно учат, — сказал Егор, подумав. — А вот когда не хочется, тогда чего текет? Тогда, сынок, слезы горячие текут, когда ничего больше уж и не хочется, а велят. И не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. И жгут. Потому жгут, что душа плачет. Стало быть, она все-таки есть, но, видать, у каждого с-оя. И потому каждый должен уметь ее слушать. Чего она, значит, ему подсказывает.

Говорили они неспешно, и слова обдумывая, и дела, поскольку беседы вели за работой. Колька держал, где требовалось, пилил, что отмерено, и гвозди приловчился с двух ударов вгонять по самую шляпку. Первый удар — аккуратно, чтоб направить только, а второй — с маху, так, чтоб шляпка утопла. Споро работали: крышу перекрыли, крыльцо поставили, пол перебрали. А из остатков Егор начал сооружать полки, чтоб книжки на полу не валялись. Особо когда ту обнаружил, про индейцев.

Колька под рукой у него ходил. Помогал чем мог, сам учился и очень старался. Но раз в день непременно исчезал куда-то часа на два, а возвращался обязательно хмурый. Егор все приглядывался, хмурость эту замечая, но не спрашивал: парень был самостоятельный и сам решал, что ему рассказывать, а о чем молчать. И потому старался о другом говорить:

— Главное дело, сынок, чтоб у тебя к работе всегда приятность была. Чтоб петь тебе хотелось, когда ты труд свой совершаешь. Потому тут хитрость такая: сколько радости пропето, столько обратно и вернется. И тогда все, кто работу твою увидит, тоже петь захотят.

— Если бы так было, все бы только и голосили.

Сердитым Колька в то утро с исчезновения-то своего вернулся. И говорил сердито.

— Нет, сынок, не скажи. Радостной ложкой и пустые щи хлебать весело.

— Если с мясом щи-то, так я и без ложки не заплачу.

— Есть, Коля, для живота веселье, а есть — для души.

— Обратно для души! — рассердился вдруг Колька. — Какой тут может быть серьезный разговор, когда ты все про дух какой-то говоришь, про религию!

Нонна Юрьевна — а они в ее комнате доски-то для полок строгаги — в разговор не встревала. Но слушала с вниманием, и внимание это Егор ценил больше разговора. Потому

при этих словах он на нее глянул и, рубанок отложив, за махоркой полез. А Нонна Юрьевна, взгляд его растерянный поймав, спросила вдруг:

— А может, не про религию, Коля, а про веру?

— Про какую еще веру?

— Верно-правильно, Нонна Юрьевна,— сказал Егор.— Очень даже человек верить должен, что труд его на радость людям производится. А если так он, за-ради хлебушка, если сегодня, скажем, рой, а завтра — зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости. И ты уж не на то смотришь, чтоб сделать, как оно получше-то, как посовестливее, а на солнышко. Где висит да скоро ли спрячется. Скоро ль каторге этой да стыду твоему смертному отпущение настанет. Вот тут-то о душе-то и вспомнишь. Обязательно даже вспомнишь, если не бессовестный ты шабашник, если жив в тебе еще настоящий рабочий человек. Мастер жив уважаемый. Мастер!..

Голос его вдруг задрожал, Егор поперхнулся, в махорку свою уставился. А когда сигарку сворачивать стал, то пальцы у него сразу не послушались: махорка с листка ссыпалась, и листик тот никак сворачиваться не хотел.

— Вы здесь курите, Егор Савельич,— сказала Нонна Юрьевна.— Курите здесь, пожалуйста.

Улыбнулся Егор ей. Аж губы подпрыгнули.

— Да уж, стало быть, так, Нонна Юрьевна. Стало быть, так, раз оно не этак.

А Колька молчал все время. Молчал, смотрел сердито, а потом спросил неожиданно:

— А сколько раз в день щенков кормить надо, Нонна Юрьевна?

— Щенков? — растерялась Нонна Юрьевна от этого вопроса.— Каких щенков?

— Собачьих,— пояснил Колька.

— Н-не знаю,— призналась она.— Наверно...

И тут в дверь постучали. Не кулаком: костяшками, по-городскому. И Нонне Юрьевне от этого стука еще раз растеряться пришлось:

— Да, да! Кто там? Войдите!

И вошел Юрий Петрович Чувалов. Новый лесничий.

От автора

Вот тут бы и точку поставить: читатель досочинит. Непременно досочинит счастливый конец и навсегда отложит эту книжку. Может, зевнет даже. Но про-

стит, наверно: счастливые концы умилительны, а от умиления до прощения — рукой подать.

Только Егор не простит. Молча смотрит он на меня светлыми, как родное небо, глазами, и нет во взгляде его ни осуждения, ни порицания, ни гнева: несогласие есть.

И поэтому я продолжаю. Песню, которую начал, надо донести до конца.

14

Никогда в жизни не было у Кольки своей собаки. Знакомых — весь поселок, а вот своей собственной, от щенка вскормленной, такой не было. И учить ее не приходилось, а дрессировать — тем более. Обидно, конечно.

А вот у Вовки собаки не переводились. Не успеет Федор Ипатович одну пристрелить, как тут же другую заводит. Прямо в тот же день, а может, даже и раньше.

Федор Ипатович собак собственных уничтожал не по жестокости сердца и не по пьянке, а совсем на трезвую голову. Собака — это ведь не игрушка, собака расходов требует и, значит, должна себя оправдывать. Ну, а коли состарилась, нюх потеряла или злобу порастратила, тогда не обессудь: за что кормить-то тебя? Кормить, конечно, не за что, но чтобы она, собака эта, с голоду во дворе не издохла, Федор Ипатович ее самолично на собственном огороде из ружья пристреливал. Из гуманных, так сказать, соображений. Пристреливал, шкуру собачникам сдавал (шестьдесят копеек платили!), а тушу под яблоней закапывал. Урожайистые были яблоньки, ничего не скажешь.

И нынче у них во дворе здоровенная псина на цепи билась. Небо черное, глаза красные, рык с надрывом и клыки что два ножа. Даже Вовка Пальмы этой остервенелой побаивался, даром что выросли рядышком. Не то чтобы совсем боялся, но остерегался. Береженого бог бережет — эту половицу Вовка еще в зыбке выучил: часто повторяли.

На цепи, значит, перед входом Пальма металась, а на задах, за банькой, в старой железной бочке Цуцик жил. Тот самый, чью жизнь не часы, а компас отмеривал: пока нравился компас этот Вовке, жив был Цуцик. Мог и хвостом помахать, и косточке порадоваться.

Правда, хвостом махать куда чаще приходилось, чем косточкам радоваться. И не потому, что Вовка извергом каким-то там рос: забывал просто, что собаки тоже есть каждый день хотят. Забывал, а глаза собачьи ничего напомнить ему не могли, потому что в глазах читать — это тоже уметь

надо. Тут одной грамоты мало, чтобы в глазах тоску собачью прочитывать. Тут что-то еще требовалось, но ни Вовку, ни тем более Федора Ипатовича эти «что-то» никогда не интересовали, а потому и не беспокоили.

Ну, а Оля Кузина, чьи косички сердца Колькиного однажды коснулись да так и присохли к нему,— так Оля эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла. И слова у нее Вовкины были и мысли. А вот почему так получалось, Колька никак понять не мог: гонял ведь Вовка девчонку эту, за косы дергал, хватал за что ни попадя, раз прибил даже, а она все равно за ним бегала и ни на кого другого смотреть не желала. Все ей были уроды.

А еще Вовка сказал однажды:

— Может, я его, Цуцика этого, все-таки утоплю. Надоест компас твой, и утоплю. Пользы от него никакой не получишь.

Колька как раз щенка кормил, язычок его на руке своей чувствовал. Но смолчал.

— Если он ценный, так ты мне цену давай.

— Какую цену? — не понял Колька.

— Настоящую.— Вовка солидно вздохнул.

— Так денег нету.— Колька подумал немного.— Может, я какую книжку в библиотеке стащу?

— Зачем мне книжка? Ты вещь давай.

Вещей у Кольки не было, и разговор тот так ничем и не кончился. Но Колька о нем каждый день думал, каждый день страхом за Цуцика этого горемычного окутывался, а придумать ничего не мог. Мрачнел только. А тут еще Оля Кузина...

Вот почему в этот день он самого главного-то и не услышал. О щенке думал, о Вовке, о ценной вещи, которой у него не было, и об Оле Кузиной, у которой были глазки, смех и косички. Ничего не слышал, хоть и сидел за столом рядом с Нонной Юрьевой напротив нового лесничего.

А разговор за столом вот как складывался.

— Больно уж легко теперь человек с места вспархивает,— говорил тятка его Егор Полушкин.— Враз куда-то устремляется, прибегает в задыхе, вершит, чего попало, и обратно устремляется. И все кругом ему — случай... А из отрезанных кусков каравая не сложишь, Юрий Петрович.

— Люди интересную работу ищут. Это естественно.

— Значит, коль естественно, то и ладно, так выходит? Не согласный я с вами. Всякое место, оно все равно наше, общее то есть. А что выходит, если по жизни смотреть? А то выходит, что от поспешаловки мы про все это забываем. Вот приехал я, скажем, сюда, в поселок. Ладно-хорошо. Но и здесь, однако, лес да река, поля да облака. Чьи они?

Старые люди толкуют: божьи. А я так мыслю, что если бога нет, то они мои. А мои,— стало быть, береги свое-то. Не допускаяй разору: твоя земля. Уважай. Вот.

— Согласен с вами полностью, Егор Савельич.

Слушали здесь Егора — вот что удивительно было! Слушали, именем-отчеством величали, собственные ответы взвешивали. Егору это не то чтобы нравилось — он ведь не понравиться стремился! — а ворошило все в нем. Он уж и чай не пил, а только ложечкой в стакане помешивал и говорил то, что казалось ему и нужным и важным:

— Человек отдыхает, зверь отдыхает, пашня отдыхает. Всем отдыхать положено не для удовольствия, а для скопления сил. Чтоб, значит, обратно работать, так? А раз так, то и лес — он тоже подремать хочет. От людей забыться, от топоров залечиться, раны смолой затянуть. А мы обратно — лько с него. Порядок это? Непорядок. Беспокойство это и липнякам полная смерть. Зачем?

— С липняками полностью моя вина,— сказал Юрий Петрович.— На охранные леса это разрешение не распространяется.

— Не в том дело, чья вина, а в том, чья беда...

Нонна Юрьевна тихо по хозяйству шебаршилась: чайку налить да хлебца подрезать. Слушала и Егора и лесничего, а сама примолкла. Как Колька.

— Много липняка погибло?

— Это есть.— Егор вздохнул, вспомнив свой незадачливый поход.— Деньги сулили, так что уж... Топор не оставишь, коль полтина за килограмм.

— Да,— вздохнул Чувалов.— Жаль. В старых книгах указано, что в лесах наших было когда-то множество диких пчел.

— Мы ведь это...— Егор покосился на упорно молчавшего Кольку и опять вздохнул.— Мы тоже за лыком-то наострились. Да. А как глянули, что в лесу от стволов бело, так и назад. И жалко и совестно.

До чего же хорошо и покойно было ему в тот день! И разговор тек неспешно, и новый лесничий казался приветливым, и сам Егор Полушкин — умным и вполне даже самостоятельным мужиком. Колька, правда, пыхтел да хмурился, но на его хмурое сопенье Егору не хотелось обращать внимания: он берег впечатления от встречи с лесничим и нес их домой неторопливо и бережно, точно боялся расплескать.

— Уважительный человек лесничий новый,— сказал он Харитине, как спать улеглись.— Простая, видать, душа и к сердцу отзывчивая.

— Вот бы на работу ему тебя взять — это отзывчиво.

— Ну, зачем так-то, Тина, зачем?

О том, чтоб работать у Юрия Петровича, Егор даже думать боялся. То есть, конечно, думал, поскольку мечта эта заветная в нем уже поселилась, но вслух выражать ее не хотел. Не верил он больше в свое счастье и даже самые простые мечты опасался до времени спугнуть или сглазить. И поэтому добавил политично:

— Он сюда не для работы приехал, а для туризма.

— А коль для туризма, так людям голову не морочь. А то обратно на три ста нагорим с туризмом с ихним.

Очень хотелось Егору защитить хорошего человека, но он только вздохнул и на другой бок повернулся. С женой спорить — бестолочь одна. Все равно последнее слово за ней останется.

А новый лесничий Юрий Петрович Чувалов, до вечера просидев у Нонны Юрьевны, в тот день, естественно, ни в какой поход не пошел. И не только потому, что время уже было позднее, а и по соображениям, не очень пока ясным для него самого.

Все началось с проводов. Поскольку лесничий нагрнул в поселок внезапно и от огласки воздерживался, то и ночевать пошел не к подчиненному Федору Ипатовичу Бурьянову, а к директору школы по рекомендации Нонны Юрьевны. И Нонна Юрьевна к директору этому в тот вечер его и провожала.

С директором у Нонны Юрьевны отношения были добрые. С директором добрые, а с товарищами по школе, с преподавательским, как говорится, коллективом, никаких отношений не сложилось. То есть, конечно, кое-что сложилось, но и не то и не так, как хотелось бы Нонне Юрьевне.

Надо сказать, что встретили молодую учительницу, прибывшую в поселок из города Ленинграда, и по-доброму и по-семейному. Всяк помочь рвался и помогал — и делом и советом. И все было отрадно аж до торжественного вечера накануне 8 Марта. Праздник этот отмечался особо, поскольку, кроме директора, мужчин в школе не имелось, и Международный женский день был воистину женским. Все к этому вечеру загодя и в глубокой тайне шили себе наряды.

А Нонна Юрьевна явилась в брючном костюме. Нет, не ради демонстрации, а потому что искренне считала этот костюм вершиной собственного гардероба, надевала его до сей поры один раз, на выпускной институтский вечер, и все девчонки тогда ей завидовали. А тут получился конфуз и поджатые губы.

— Не воскресник у нас, милочка, а праздник. Наш, женский. Международный, между прочим.

— А по-моему, это нарядно, — пролепетала Нонна Юрьевна. — И современно.

— Насчет современности вам, конечно, виднее, только если вы в этой современности позволяете себе на торжественном вечере появляться, то извините. Мы тут, значит, не доросли.

Нонна Юрьевна к двери подалась, директор — за ней. Догнал на третьем повороте.

— Вы напрасно, Нонна Юрьевна.

— Что напрасно? — вскрипнув, спросила Нонна Юрьевна.

— Напрасно так реагируете.

— А они не напрасно реагируют?

Директор промолчал. Шел рядом с разгневанно шагнувшей девушкой, думал, что́ следует сказать. Сказать следовало насчет примера, который обязан являть собою педагог, насчет буржуазных веяний, чуждой нам моды и тому подобное. Следовало все это сказать, но сказал он это про себя, а вслух поведал совсем иное:

— Да завидуют они вам, Нонна Юрьевна! Так, знаете, чисто по-женски. Вы молодая, фигура у вас, извините, конечно. А у них заботы, семьи, мужа, хозяйство, а вы — завтрашнее утро. Так что пощадите вы их великодушно.

Нонна Юрьевна глянула сквозь слезки и улыбнулась:

— А вы хитрый!

— Ужасно, — сказал директор.

На вечер Нонна Юрьевна не вернулась, но с директором подружилась. Даже иногда на чай захаживала. И поэтому вела сейчас к нему лесничего без предупреждения.

А вечер теплый выдался и застенчивый. Вдалеке, возле клуба, музыку наяривали, в небе облака розовели. А ветра не было, и каблучки Нонны Юрьевны с особенной четкостью постукивали по деревянным тротуарам.

— Тихо-то как у вас, — сказал Чувалов.

— Тихо, — согласилась Нонна Юрьевна.

Не ладился у них разговор. То ли лесничий с дороги притомился, то ли Нонна Юрьевна от разговоров отвыкла, то ли еще какая причина, а только шагали они молча, страдали от собственной немоты, а побороть ее и не пытались. Выдавливали из себя слова, как пасту из тюбика: ровнехонько зубки почистить.

— Скучно здесь, наверно?

— Нет, что вы. Работы много.

— Сейчас же каникулы.

— Я с отстающими занимаюсь: знаете, пишут плохо, с ошибками.

— В Ленинград не собираетесь?

— Может быть, еще съезжу. Маму навестить.

И опять — полста шагов молча. Будто зажженные свечи перед собой несли.

— Вы сами эту глухомань выбрали?

— Н-нет. Назначили.

— Но ведь, наверно, могли бы и в другое место назначить?

— Дети — везде дети.

— Интересно, а кем вы мечтали стать? Неужели учительницей?

— У меня мама — учительница.

— Значит, фамильная профессия?

Разговор становился высокопарным, и Нонна Юрьевна предпочла не отвечать. Юрий Петрович почувствовал это, в душе назвал себя индюком, но молчать ему уже не хотелось. Правда, он не очень-то умел болтать с малознакомыми девушками, но идти молчком было бы совсем глупо.

— Литературу преподаете?

— Да. А еще веду младшие классы: учителей не хватает.

— Читают ваши питомцы?

— Не все. Коля, например, много читает.

— Коля — серьезный парнишка.

— Им трудно живется.

— Большая семья?

— Нормальная. Отец у него странный немного. Нигде ужиться не может, мучается, страдает. Плотник хороший и человек хороший, а с работой ничего у него не получается.

— Что же так?

— Когда человек непонятен, то проще всего объявить его чудачком. Вот и Егора Савельича бедоносцем прямо в глаза зовут, ну, а Коля очень больно переживает это. Простите.

Нонна Юрьевна остановилась. Опершись о забор, долго и старательно вытряхивала из туфель песок. Песку-то, правда, немного совсем набилось, но мысль, которая пришла ей в голову, требовала смелости, и вот ее-то и копила в себе Нонна Юрьевна. И фразы сочиняла, как бы изложить эту мысль половчее.

— Вы один на Черное озеро собираетесь? — Сказала и испугалась: подумает еще, что навязывается. И добавила совсем уж невпопад: — Страшно одному. И скучно. И...

И замолчала, потому что объяснения завели ее совсем не в ту сторону. И с отчаяния брякнула без всякой дипломатии:

— Возьмите Полушкина в помощь. Его отпустят: он разнорабочим тут числится.

— Знаете, я и сам об этом думал.

— Правда? — Нонна Юрьевна улыбнулась с явным облегчением.

— Честное слово.— Юрий Петрович тоже улыбнулся. И тоже почему-то с облегчением на душе.

А на самом-то деле до ее неловких намеков ни о каком Егоре Полушкине лесничий и не помышлял. Он много и часто бродил по лесам один, ценил одиночество, и никакие помощники ему были не нужны. Но захотелось вдруг сделать что-то приятное этой застенчивой и нескладной маминной дочке, безропотно и честно исполнявшей свой долг в далеком поселке. И, увидев, как вспыхнуло ее лицо, добавил:

— И парнишку с собой захватим, если захочет.

— Спасибо,— сказала Нонна Юрьевна.— Знаете, мне иногда кажется, что Коля станет поэтом. Или художником.

Тут они наконец добрались до крытого железом директорского дома, и разговор сам собой прекратился. Возник он случайно, развивался мучительно, но Юрий Петрович его запомнил. Может быть, как раз поэтому.

Передав нового лесничего с рук на руки директору, Нонна Юрьевна тут же убежала домой, потому что ей очень хотелось о чем-то подумать, только она никак не могла понять, о чем же именно. А директор расшуровал самовар и полночи развлекал Чувалова разговорами, особо упирая на то, что без помощи лесничества школе и учителям будет очень сложно с дровами. Юрий Петрович соглашался, гонял чай и все время видел худенькую девушку в больших важных очках. И улыбался не к месту, вспоминая ее странную фразу: «Вы один на Черное озеро собираетесь?»

Утром он зашел в контору и договорился, что для ознакомления с водоохраным массивом ему, лесничему Чувалову, отрядят разнорабочего Полушкина в качестве подсобной силы сроком на одну неделю.

Заулыбались в конторе новому лесничему. Оно и понятно: край-то северный, а зимы вьюжные.

— Полушкина отчетливо знаем. С онерами!

— Шибутной он мужик, товарищ лесничий. Не советуем: сильно шибутной!

— Мотор утопил, представляете?

— Говорят, спьяну.

— Говорят или видели? — мимоходом спросил Чувалов, расписываясь в добровольном согласии на получение шибутного мужика Егора Полушкина со всеми его онерами.

— Брехня, она впереди человека...

— Брехня впереди собаки. И то если собака эта за глаза брехать натаскана.

Спокойно высказался. Но так спокойно, что конторские деятели до вечера в собственной конторе шепотом разговаривали.

А Юрий Петрович из конторы направился к Нонне Юрьевне. Она только встала, встретила его в халатике и смутилась до онемения:

— Извините, я...

— Айда с нами на Черное озеро,— сказал он вместо «здравствуйте».— Надо же вам, преподавателю, знать местные достопримечательности.

Она ничего ответить не успела, да он и не ждал ответа. Кинул на крыльцо рюкзак, спросил деловито:

— Где Полушкин живет? Ладно, вы пока собирайтесь, а я за ним сбегая. И за парнишкой!

И действительно побежал. Бегом, несмотря что новый лесничий.

15

Как Юрий Петрович один в походе со всеми делами управиться рассчитывал, этого ни Егор, ни Колька понять не могли. С самого начала, как только они в лес окунулись, работы оказалось невпроворот.

Колька, например, всю живность, в пути замеченную, должен был в тетрадку заносить, в «Журнал наблюдения за фауной». Встретил, скажем, трясогузку — пиши, где встретил, во сколько времени, с кем была она да чем занималась. Сперва Колька, конечно, путался, вопил на весь лес:

— Юрий Петрович, серенькая какая-то на ветке!

Серенькая, понятное дело, улетала, не дожидаясь, пока ее в журнал занесут, и Егор поначалу побаивался, что за такую активность лесничий Кольку живо назад наладит. Но Юрий Петрович всякий раз очень терпеливо объяснял, как эта серенькая научно называется и что про нее надо писать, и к вечеру Колька уже кое-чего соображал. Не орал, а, дыхание затаив и язык высунув, писал в тетрадочке:

«17 часов 37 минут. Маленькая птичка лесной конек. Сидел на березе».

Тетрадку эту после каждой записи Колька отцу показывал, чтоб тот насчет ошибок проверял. Но насчет ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно:

— Часы, сынок, не потеряй.

Часы Кольке Юрий Петрович выдал. На время, конечно, для точности наблюдений.

«17 часов 58 с половиной минут. Мышка. Куда-то бежала, а откуда, не видал».

— Точность для исследователя — самое главное, — говорил Юрий Петрович. — Это писатель может что-нибудь при-сочинить, а нам сочинять нельзя. Мы с тобой, Николай, мученики науки.

— А почему мученики?

— А потому, что без мучений ничего в науке уже не откроешь. Что легко открывалось, то давно настезь пооткрывали, а что еще закрыто, то мучительного труда требует. Так-то, Николай Егорыч.

Юрий Петрович говорил весело и всегда громче, чем требовалось. Сперва Колька не понимал, зачем это он так старается, а потом сообразил: чтоб Нонна Юрьевна слышала. Для нее Юрий Петрович горло надсаживал, как сам Колька для Оли Кузиной.

А Нонна Юрьевна весь день этот пребывала точно в полусне. Все представлялось ей странным, почти нереальным: и улыбки Юрия Петровича, и старательные Егоровы брови, и Колькин разинутый от великого усердия рот, и тяжесть новенького рюкзака, и запах хвои, и шелест листвы, и хруст валежника под ногами. Она все видела, все слышала, все чувствовала обостреннее, чем всегда, но словно бы со стороны, словно это не она шагала сейчас по звонкому, залитому земляничным настоем заповедному бору, а какая-то иная, вроде бы даже незнакомая девушка, на которую и сама-то Нонна Юрьевна смотрела с недоверчивым удивлением. Да если бы кто-либо еще вчера сказал ей, что она уйдет к Черному озеру с чужим человеком и Егором Полушкиным, она бы, наверно, рассмеялась. А сегодня пошла. Без всяких уговоров. Прибежал лесничий от Полушкиных, спросил недовольно:

— Почему не готовы? Да какой там, к дьяволу, чемодан: рюкзак у вас есть? Ничего у вас нет? А магазин где? За углом? Ладно, завтрак готовьте, сейчас сбегает.

Нонна Юрьевна и моргнула-то всего два раза, а Юрий Петрович уже вернулся с покупкой. Потом они завтракали, и он уговаривал ее поесть поплотнее. А потом пришли Полушкины: Егор и Колька. А потом... Потом Юрий Петрович вскинул свой неподъемный рюкзак и улыбнулся:

— Командовать парадом буду я.

Нонна Юрьевна и опомниться не успела, как оказалась в лесу. Да еще в брюках, которые с того памятного школьного вечера валялись на самом дне чемодана. За год они стали чуточку узки, и это обстоятельство весьма смущало Нонну Юрьевну. Она вообще еще дичилась, еще старалась

держаться в одиночестве или на крайний случай где-либо возле Кольки, еще молчала, но уже слушала.

В институте ее по-школьному звали Хорошисткой. Прозвище прилипло с первой недели первого курса, когда на первом комсомольском собрании энергичный представитель институтского комитета спросил:

— Вот, например, у тебя, девушка — да не ты, в очках которая! — какие у тебя были общественные нагрузки?

— У меня? — Нонна встала, старательно одернув старенькое ученическое платье.— У меня были разные общественные нагрузки.

— Что значит разные? Давай конкретнее. Кем ты была?

— Я? Я — хорошистка.

Тут Нонна не оговорила: она и впрямь была хорошисткой не только по отметкам, но и по сути, по нравственному содержанию, приобретенному в доме, где никогда не бывало мужчин. Поэтому жизнь здесь текла с женской размеренностью, лишённая резких колебаний и встрясок, столь свойственных мужскому началу. Поэзия заменяла живые контакты, а симфонические концерты вполне удовлетворяли туманные представления Нонны о страстях человеческих. Хорошистка каждый вечер спешила домой, неуютно чувствовала себя среди звонких подружек и старательно гасила смутные душевные томления обильными откровениями великих гуманистов.

Так и бежали дни, ничем не замутненные, но и ничем не просветленные. Все было очень правильно и очень разумно, а вечера почему-то становились все длиннее, а тревога — странная, беспричинная и безадресная тревога — все росла, и Нонна все чаще и чаще, отложив книгу, слушала эту нарастающую в ней, непонятную, но совсем не пугающую, добрую тревогу. И тогда подолгу не переворачивались страницы, невидящие глаза смотрели в одну точку, а рука сама собой рисовала задумчивых чертиков на чистых листах очередного реферата по древнерусской литературе.

На их факультете было мало юношей, да и тех, кто был, более дальновидные подружки уже прибрали к рукам. На танцы Хорошистка не ходила, случайных знакомств побаивалась, а иных способов пополнить круг друзей у нее не было. И тянулись бесконечно длинные ленинградские вечера, коротать которые приходилось — увы! — с мамой.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Кто знает, сколько надежд и сколько страха было вложено в эти последние слова, которыми обменялись они, когда поезд уже тронулся. Поезд тронулся, мама семенила рядом

с подножкой, все ускоряя и ускоряя шаг, а Нонна улыбалась, мобилизовав для этой улыбки все свои силы. Впрочем, мама улыбалась тоже, и ее улыбка была похожа на улыбку дочери, как две слезинки.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Преодолев три сотни километров и пережив две пересадки, Хорошистка добралась-таки до места назначения, получила класс, уроки, две машины дров и комнату за счет народного просвещения. Написала маме очень длинное и изо всех сил веселое письмо, ответила на добрую сотню вопросов квартирной хозяйки, беззвучно проревела полночи в подушку, а утром явилась в класс и стала Нонной Юрьевной. И постепенно все то, что осталось позади: лекции и мамины пирожки, концерты и ленинградские мосты, БДТ и чаепития у дальних родственников,— постепенно все это тускнело, бледнело, покрывалось прошлым и становилось почти нереальным. Реальным было настоящее: горластые перемены, детские глаза, поселковая пыль, скрипучие тротуары, заботы о собственном жилье и житье. А будущее... Будущего не было, потому что то, о чем мечтала Нонна Юрьевна, ничем не отличалось от прошлого либо настоящего: она мечтала о свидании с мамой и Ленинградом и о том, чтобы всем хватило учебников в будущем учебном году.

А еще она мечтала о том, о чем мечтает всякая девушка. Но мечты эти были настолько тайными, что более или менее связно рассказать о них просто не представляется возможным.

И вот сейчас она шагала по глухому лесу с непривычным рюкзаком за плечами. И туфли ее — обычные городские туфли на низком каблуке, при виде которых Юрий Петрович подозрительно хмыкнул,— то проваливались в мох, то вообще с ног сваливались. И модные брюки (которые, к великому ее ужасу, оказались вдруг такими неприлично тесными!) мокли в росе, и смола к ним липла. И нейлоновая ее курточка, в которой она бегала в школу, все время цеплялась за сучья и стволы. И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой нескладной, что ее каждую секунду кидало из жара в холод и обратно. И все-таки она упорно тащилась сквозь бурелом и заросли, хотя и чувствовала себя ненужной и несчастной.

К полудню она окончательно выбилась из сил, но Юрий Петрович своевременно распорядился сделать привал. С облегчением скинув рюкзак, Нонна Юрьевна тут же вызвалась готовить, чтобы хоть таким образом оправдать свое участие в походе. Правда, о полевых обедах Нонна Юрьевна имела

довольно отвлеченные представления, но принялась за дело с таким энтузиазмом, что через полчаса каша уже лезла из ведра, еще не успев довариться. Нонна Юрьевна суматошно запикивала ее обратно, шепотом приговаривая какие-то женские заклинания, но каша упрямо стремилась в костер.

— На Маланыну свадьбу,— улыбнулся Юрий Петрович.— Ну и аппетит же у вас, Нонна Юрьевна!

— Сладим,— сказал Егор.

Сладили. До доньшка выскребли всю посуду, тогда только и отвалились. Нонна Юрьевна побежала к ручью ложки с плоскими мыть. Егор Кольку в помощь ей отрядил, и мужчины остались одни у затухающего огня.

— В семейных состоите или в бобылях? — вежливо поинтересовался Егор.

Юрий Петрович странно посмотрел на него и еще более странно промолчал. Егор почувствовал неладное и засуетился:

— Извиняюсь, конечно, насчет любопытства. Но мужчина вы молодой, при должности, вот я, значит, и... того.

— А я, Егор Савельич, и сам не знаю, в каком звании состою: в семейных или в холостых.

— Как так получается?

— Да вот получилось.

Замолчал Юрий Петрович. Сигареты достал, Егора угостил. С одного уголька прикурили. Егор, уж о любопытстве своем сто раз пожалев, о чем-то калякать пытался, всхотнул даже раза четыре, но Юрий Петрович был по-прежнему хмур и задумчив и отвечал невпопад.

Нонна Юрьевна посуду в ручье мыла, тоже хмурая и о своем думая, а рядом Колька журчал без умолку. Пока он о зверье да о птицах журчал, Нонна Юрьевна не слушала, но Колька вдруг замолчал, про ежей не договорив. Подумал, повздыхал, спросил сердито:

— Вы что, с этим, с Юрием Петровичем, уедете, да?

— Куда уеду? — У Нонны Юрьевны вроде внутри оборвалось что-то, холодок к ногам подкатился.— Зачем, Коля?

— Ну, женитесь и в город уедете,— очень агрессивно пояснил Колька.— Все так делают.

— Женюсь? Женюсь, да? — Нонна Юрьевна изо всех сил хохотать принялась, Кольку водой обрызгала и ложку утопила.— Вы слышите, Юрий Петрович? Слышите?

Нарочно громко кричала, чтобы все слышали. И все действительно слышали: и Егор и лесничий. Только молчали почему-то и радость с Нонной Юрьевной делить не торопились. И Нонна Юрьевна смешком собственным, кое-как сляпанным, враз подавилась, краснеть начала и ложку в воде шарить.

— Что же вы не отвечаете? — спросил мучитель Колька. — Значит, и вправду от нас удерете, раз отвечать не хотите.

— Глупости это, Коля, глупости. Замолчи сейчас же и никогда об этом не говори.

А почему не говорить, когда все кругом так делают? Вот и его прежняя учительница женилась — и привет родному дому.

Вздыхнул Колька. А Нонна Юрьевна, вздох этот недоверчивый уловив, закричала вдруг. Ни с того ни с сего, а будто бы со слезой:

— Я никогда не женюсь! Никогда, никогда, слышишь?

Так закричала, что Колька ей поверил. Без сомнения, не женится. Это уж точно.

16

Хоть и взял новый лесничий Егора с собой, хоть и исполнил тем самым затаенную мечту его, а вот прежняя Егорова живость, прежний — звонкий и радостный — оптимизм его уже никак и ни в чем не проявлялись. То ли устал Егор от всех мытарств, то ли не верил больше ни во что хорошее, то ли слишком уж непривычной и какой-то не очень, что ли, мужичкой представлялась ему новая его деятельность, а только радости особой он не испытывал.

Сколько желания сделать доброе человеку на жизнь отпущено? Сколько раз он, побитый и осмеянный, вновь подняться сможет, вновь улыбнуться труду своему, вновь силами с ним помериться? Сколько? Кто это знает? Может, на раз кого хватит, может, на сто раз? Может, уж исчерпал Егор весь запас жизнестойкости своей, все закрома до доньшка выскреб, все зерно в муку перемолол и осталась в нем теперь одна половина? Где они, запасы-то эти, кто измерял их, кто испытывал, и не пора ли махнуть на все рукой, стянуть у Юрия Петровича тройка да дунуть сызнова к Филе да Черпку?

Кто знает, может, и махнул бы Егор на это свое везение. Махнул бы, потому что боялся в него поверить, боялся в себя поверить и в нового лесничего тоже боялся поверить. Удрал бы он отсюда, от новых попыток стать на ноги, поглядеть в себя, заслужить уважение людей и уверенность, что не совсем он, Егор Полушкин, пропащая душа. Удрал бы, да Колька рядом шагал. Радовался, дурачок, лесу и зверью и радостно верил, что вот это и есть самая распрекрасная жизнь. И, глядя на радость эту, Егор понимал, что

не сможет ее предать. И больше всего, больше самой лютой смерти боялся, что кто-то вообще может предать такую радость. Глаза эти предать, что смотрят в тебя незамутненно и доверчиво. И от незамутненности и доверия даже моргают-то через раз.

— Тять, я правильно про синичку написал?

— Часы, сынок, не потеряй.

— Да знаю я!

— Зачем птичек-мурашек пересчитывать, кому они нужны? Для смеху если, так Колька же в полезность верит. Глаза ведь у него огнем горят, душа наострилась, верит он во все ваши штучки, и если вы нас опять, как тех мурашей, то обождите лучше маленько. Надо мной — это пожалуйста, это сколько угодно, а над мальцом...

— Кольке тетрадку дали для дела или так, для забавы?

— Почему для забавы?

— Посмеетесь, поди, у костра-то?

Юрий Петрович ответил не сразу. Подумал, на Егора поглядел. И враз перестал улыбаться.

— Мне не птички нужны, Егор Савельич, не перепись зверья. Мне сам Колька нужен, понимаете? Чтоб в лес он входил не как гость, а как хозяин: знал бы, где что лежит, где кто живет да как называется. А у костра... Что ж, у костра, Егор Савельич, вместе посидим, вместе и посмеемся. Только не над работой: работа, какая б ни была она, есть труд человеческий. А над трудом не смеются.

Нельзя сказать, чтоб эти слова сразу Егора на другие мысли перевели: мысли — не паровоз. Но в отношении Кольки как-то успокоили, и Егор маленько приободрился. Над сыном никто вроде смеяться пока не собирался, а насчет себя самого он мало беспокоился.

Но смеяться вечером им не пришлось, потому что пропала Нонна Юрьевна. Пропала, как стояла, аккурат после ужина, оставив после себя грязную посуду, и вместо сладкого перекура вышла потная беготня.

А вышла беготня эта потому, что Нонне Юрьевне понадобилось уединение. Улучив момент, когда прилипала Колька куда-то отвлекся, Нонна Юрьевна шмыгнула в кусты и со всех ног кинулась подальше от костра, от малознакомых мужчин и — главное! — от Кольки. Бежала, покуда слышны были голоса, а поскольку Колька как раз в этот момент решил спеть, то бежать ей пришлось долго. И думала она на бегу не о том, как будет возвращаться, а о том, как бы кто ее не заметил.

Ну, а потом, когда надобность в одиночестве отпала, лес на все триста шестьдесят градусов оказался настолько оди-

наковым, что Нонна Юрьевна, повращавшись, решила опираться только на интуицию и отважно шагнула куда-то вперед.

Хватились ее, по счастью, быстро. Колька исполнял песню специально для нее и нуждался в оценке. Однако слушателя нигде не оказалось, и после недолгих поисков Колька доложил об этом отцу.

— Сейчас вернется, — сообразил Егор и пошел вместо Нонны Юрьевны мыть посуду.

Он старательно перемыл все ложки-плошки, а учителька все не появлялась. Егор два раза аукнул, ответа не получил и доложил о пропаже по команде.

— Наверно, так надо, — сказал Юрий Петрович.

— Всякое «надо» полчаса назад должно было кончиться, — сказал Егор. — А она не откликается.

— Нонна Юрьевна! — бодро крикнул лесничий. — Вы где?

Послушали. Только лес шумел. По-вечернему шумел, басовито и таинственно.

— Что за черт! — нахмурился Юрий Петрович. — Нонна!.. Э-гей! Где вы там?

— Вот, — сказал Егор, прислушавшись. — Могила.

— Чего? — озадаченно спросил Юрий Петрович.

— Может, она домой пошла? — тихо предположил Колька. — Обиделась и пошла себе.

— Далеко домой-то, — усомнился Егор.

Юрий Петрович побегал по окрестностям, поорал, посвистел. Вернулся озабоченным:

— Искать придется. Коля, от костра чтоб ни на шаг! Не боишься один-то?

— Не-а, — вздохнул Колька. — Ведь надо.

— Надо, сынок, — подтвердил Егор и трусцой побежал в лес. — Ау, Юрьевна!

Аукали, пока хрип из глоток не пошел. Юрий Петрович сперва жалел, что ружья не прихватил, а потом — что девушку эту с собой пригласить надумал. Дернула же нелегкая! Но об этом особо погоревать ему не пришлось, потому что в непонятных лесных сумерках мелькнуло вдруг что-то совсем не лесное, что-то нелепое, жалкое, плачущее навзрыд. Мелькнуло — и Юрий Петрович не успел сообразить, что это за видение, как Нонна Юрьевна повисла у него на шее.

— Юрий Петрович! Миленький!

Ревела она еще по-детски: громко и некрасиво. Шмыгала носом, размазывала ладонями слезы и вздыхала.

— Дура вы чертова! — с удовольствием сказал ей Юрий Петрович. — Это ведь не Кировский парк культуры и отдыха.

Нонна Юрьевна покорно кивала, всхлипывая уже по

инерции. Юрий Петрович радовался, что в лесу темно и что Нонна Юрьевна не видит ни его смеющихся глаз, ни улыбок, которые он старательно прятал.

— Классный руководитель заблудился в трех шагах от палатки. Да если я расскажу об этом вашим ученикам...

— А вы не говорите.

— Я-то уж, так и быть, пощажу вас. А Колька?

Нонна Юрьевна промолчала. Они продирались по темному лесу: Юрий Петрович шел впереди, обламывая сучья, чтобы Нонна не напоролась. Сухие ветки трещали на всю округу.

— Мы идем сквозь револьверный лай,— сказал Юрий Петрович и смутился, подумав, что щеголяет начитанностью не к месту и не ко времени.

— Я идиотка? — доверительно спросила Нонна Юрьевна.

— Есть немного.

Нонна хотела объяснить, как все получилось, но тут раздался грохот, и прямо на них вывалился Егор Полушкин.

— Нашлась! Слава те... Тут, это, медведей нет, но заблудить недолго. Жалко, Колька компас свой потерял, а то бы вам его.

Вопреки тайному опасению Нонны Юрьевны Колька встретил ее очень радостно и никаких вопросов не задавал. Проворчал только:

— Без меня чтоб ни шагу теперь.

— Достукались? — улыбнулся Юрий Петрович.— Ну, спать. Дамы и пажи — в палатку, рыцари — под косматую ель.

Колька и головы до подушки не донес: как свалился, так и засопел. А вот Нонне Юрьевне не спалось долго, хоть и расстарался Егор, наломав ей под бочок самого нежного лапника.

Кажется, она все-таки поцеловала Юрия Петровича. В страхе и слезах она не давала отчета в своих поступках и, не колеблясь, повисла бы на шее у Фили или у Черепка, если бы им случилось найти ее. Но случилось это Юрию Петровичу, и Нонна Юрьевна до сей поры чувствовала на губах жесткую, выдубленную солнцем и ветром щетину, тихонько трогала пальцами эти грешные губы и улыбалась.

Мужчины уснули сразу. Егор храпел, завалив голову, а Юрий Петрович вздыхал во сне и хмурился. То ли видел что-то сердитое, то ли недоволен был звонким Егоровым соседством.

Проснулся он рано: Егор, выбираясь из-под плащ-палатки, которой они оба укрывались, потянул не за тот край.

— Куда? Рано еще.

— Так...— Егор почему-то засмутился.— Погляжу пойду. Вы спите.

Юрий Петрович глянул на часы — было около пяти,— повернулся на другой бок, смутно подумал, как там спится Нонне Юрьевне, и уснул, будто провалился. А Егор взял чайник и пошел к реке.

Легкий туман еще держался кое-где над водой, еще цеплялся за мокрые кусты лозняка, и в тихой воде четко отражалось все, что гляделось в нее в это утро. Егор зачерпнул чайник, по воде разбежались круги, отражение закачалось, померкло на мгновение и снова возникло: такое же неправдоподобно четкое и глубокое, как прежде. Егор всмотрелся в него, осторожно, словно боясь спугнуть, вытащил полный чайник, тихо поставил его на землю и присел рядом.

Странное чувство полного, почти торжественного спокойствия вдруг охватило его. Он вдруг услышал эту тишину и понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствия звуков, а означает лишь отдых природы, ее сон, ее предрассветные вздохи. Он всем телом ощутил свежесть тумана, уловил его запах, настоянный на горьковатом мокром лозняке. Он увидел в глубине воды белые стволы берез и черную крону ольхи: они переплетались с всплывающими навстречу солнцу кувшинками, почти неуловимо размываясь у самого дна. И ему стало вдруг грустно от сознания, что пройдет миг и все это исчезнет, исчезнет навсегда, а когда вернется, то будет уже иным, не таким, каким увидел и ощутил его он, Егор Полушкин, разнорабочий коммунального хозяйства при поселковом Совете. И он вдруг догадался, чего ему хочется: зачерпнуть ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести ее людям. Но зачерпнуть ее было невозможно, а рисовать Егор не умел и ни разу в жизни не видел ни одной настоящей картины. И потому он просто сидел над водой, боясь шелохнуться, забыв о чайнике и о куреве, о Кольке и о Юрии Петровиче и обо всех горестях своей нелепой жизни.

Совсем рядом раздался шорох. Егор поднял голову: что-то белое колыхнулось за кустом, кто-то вздохнул, осторожно, вполвздоха. Он вытянул шею и сквозь листву увидел Нонну Юрьевну: она только что сняла халатик и белой ногой осторожно, как цапля, пробовала воду. Егор подумал, что надо бы взять чайник и уйти, но не ушел, потому что и этот полувздох, и эти плавные женские движения тоже были отсюда, из той картины, над которой он вдруг замер, забыв обо всем на свете.

А Нонна Юрьевна сняла все, что еще оставалось на ней, и пошла в воду. Она шла медленно, ощупывая дно, гибкая

и неуклюжая одновременно. И с тем же чувством спокойствия, с каким он глядел на реку, Егор смотрел сейчас на молодую женщину, на длинные бедра и покатые худенькие плечи, на маленькие, девчоночьи груди и на тяжелые, важные очки, которые она так и не решилась оставить на берегу. И, глядя, как она тихо плещется на мелководье, он понимал, что не подглядывает, что в этом нет ничего зазорного, а есть то же, что у этой реки, у берез, у тумана: красота.

Наплескавшись, Нонна Юрьевна пошла к берегу, и по мере того как вырастала она из воды, тело ее словно наполнялось пугливой стыдливостью, а чтобы прикрыть все, что хотелось, рук у нее не хватало, и она изгибалась, изо всех сил вытягивая тонкую шею и настороженно оглядывая кусты большими очками, на стеклах которых слезинками серебрились капли. И Егор совсем было собрался уходить, но на берегу она спокойно занялась волосами, старательно отжимая и вытирая их, и вновь изогнулась, но уже не испуганно, а свободно, раскованно, и Егор чуть не охнул от вдруг охватившего его непонятого восторга. И опять пожалел о том, что нельзя, невозможно, немислимо сохранить для людей и этот миг, донеся его до них в своих заскорузлых ладонях.

А потом он опомнился и, подхватив чайник, нырнул в кусты и прибежал к костру раньше Нонны Юрьевны совсем с другой стороны. Потом они завтракали, разбирали палатку, укладывали пожитки, а Егор все время видел тихую речку и белую гибкую фигуру, отраженную в ясной воде. И вздыхал почему-то.

К обеду вышли на берег Черного озера. Оно и впрямь было черным: глухое, затаенное, с нависшими над застывшей водой косматыми елями.

— Вот и прибыли,— сказал Юрий Петрович, с удовольствием сбросив рюкзак.— Располагайтесь, а мы с Колей начнем рыбки побеспокоимся.

Он достал складной спиннинг, коробочку с блеснами и пошел к воде. Колька забегал сбоку, во все глаза глядя на непонятную металлическую удочку.

— На червя, дядя Юра?

— На блесну. Щучку или окуня.

— Ну! — усомнился Колька.— Баловство это, поди?

— Может, и баловство. Отойди-ка, Николай Егорыч.

На пятом забросе леска резко натянулась, и двухкилограммовая щука свечой взмыла вверх.

— Ключула! — заорал Колька.— Тятька! Нонна Юрьевна! Щуку тащим!

— погоди кричать, еще не вытащили.

Берег был низким, болотистым, заросшим осокой, и Юрий Петрович легко выволок серо-зеленую щуку с широко разинутой черной пастью. Белое брюхо проехалось по осоке, Юрий Петрович прижал щуку носком сапога, вырвал из зева блесну и отбросил рыбу подальше от берега.

— Вот и обед.

— А мне...— Колька даже слюной подавился от волнения.— Попробовать, а?

— Учись,— сказал Юрий Петрович.

Он показал мальчику, как забрасывать спиннинг, и, поддев щуку сучком, пошел к костру. А Колька остался на берегу. Забросы пока не получались, блесна летела куда ей вздумается, но Колька старался.

— Поди, денег стоит,— озабоченно сказал Егор.— Сломает еще.

— Починим,— улыбнулся Юрий Петрович, и Нонна Юрьевна тотчас же улыбнулась ему.

Колька стегал Черное озеро до вечера. Вернулся хмурым, но с открытием:

— За мыском кострище чье-то. Банок много пустых. И бутылок.

Все пошли смотреть. Высокий берег был вытоптан и частично выжжен, и свежие пни метили его, как оспины.

— Туристы,— вздохнул Юрий Петрович.— Вот тебе и заповедный лес. Ай да товарищ Бурьянов!

— Может, не знал он об этом,— тихо сказал Егор.

Туристы умудрились вывернуть из земли и спалить межевой столб: осталась яма да черная головня.

— Хорошо гуляли! — злился Юрий Петрович.— Столб придется новый поставить, Егор Савельич. Займитесь этим, пока мы вокруг озера обойдем: поглядим, нет ли где еще такого же веселья.

— Сделаем,— сказал Егор.— Гуляйте, не беспокойтесь.

Вечером допоздна засиделись у костра. Утомленный спиннингом, Колька сладко сопел в палатке. Нонну Юрьевну упорно жрали комары, но она терпела, хотя никакого интересного разговора так и не возникло. Глядели в огонь, перебираясь словами, но всем троим было хорошо и спокойно.

— Черное озеро,— вздохнула Нонна Юрьевна.— Слишком мрачно для такой красоты.

— Теперь Черное,— сказал Юрий Петрович.— Теперь Черное, а в старину — я люблю в старые книжки заглядывать,— в старину оно знаете как называлось? Лебязье.

— Лебязье?

— Лебеди тут когда-то водились. Особенности какие-то лебеди: их в Москву поставляли, для царского стола.

— Разве ж их едят? — удивился Егор. — Грех это.

— Когда-то ели.

— Вкусы были другими, — сказала Нонна Юрьевна.

— Лебедей было много, — улыбнулся Юрий Петрович. —

А сейчас пожалуйте — Черное. И то чудом спасли.

На предложение обойти озеро Колька отмахнулся: он спозаранку уже покидал спиннинг, убедился, что до совершенства ему далеко, и твердо решил тренироваться. Юрий Петрович встретил его отказ спокойно, а Нонна Юрьевна перепугалась и с перепугу засуетилась неимоверно:

— Нет, нет, Коля, что ты говоришь! Ты должен непременно пойти с нами, слышишь? Это и с познавательной точки зрения, и вообще...

— Вообще я хочу щуку поймать, — сказал Колька.

— Потомймаешь, после. Вот вернемся и...

— Да, вернемся! Мне тренироваться надо. Юрий Петрович вон на пятьдесят метров бросает.

— Коля, но я прошу тебя. Очень прошу пойти с нами.

Юрий Петрович, сдерживая улыбку, следил за струсившей Нонной Юрьевной. Потом сжалился:

— Мы с собой спиннинг возьмем, Егорыч. Тут ты уже всех щук распугал.

Аргумент подействовал, и Колька бросился собираться. А Юрий Петрович сказал:

— А вы, оказывается, трусишка, Нонна Юрьевна.

Нонна Юрьевна вспыхнула — хоть прикуривай. И смолчала.

Оставшись один, Егор неторопливо принялся за дело. Углубил яму саперной лопаткой запасливого Юрия Петровича. Наглядел осину для нового столба, покурил подле, а потом взял топор и затопал вокруг обреченной осины, прикидывая, в какую сторону ее сподручнее свалить. В молодой осинник — осинок жалко. В ельник — так и его грех ломать. На просеку — так убирать придется, мороки часа на три. На четвертую разве сторону?

На той стороне ничего примечательного не было: торчал остаток давно сломанной липы. Видно, с тростиночки еще липа эта горя хватила: изогнулась вся, борясь за жизнь. Сучья почти от комля начинались и росли странно, растопыркой, и тоже извивались в самых разных направлениях. Егор глянул на нее вскользь, потом — еще вскользь, чтоб прицелиться, как осину класть. Потом на руки поплевал, топор поднял, замахнулся, еще раз глянул и... И топор опустил. И, еще ни о чем не думая, еще ничего не поняв, пошел к той изломанной липе.

Что-то он в ней увидел. Увидел вдруг, разом, словно при

всплеске молнии, а теперь забыл и растерянно глядел на затейливое переплетение изогнутых ветвей. И никак не мог понять, что же он такое увидел.

Он еще раз закурил, присел в отдалении и все смотрел и смотрел на эту раскоряку, пытаясь сообразить, что в ней заключено, что поразило его, когда он уже замахнулся на осину. Он приглядывался и справа и слева, откидывался назад, наклонялся вперед, а потом с внезапной ясностью вдруг мысленно отсек половину ветвей и словно прозрел. И вскочил, и заметался, и забегал вокруг этой коряги в непонятном радостном возбуждении.

— Ладно, хорошо, — бормотал он, до физического напряжения всматриваясь в перепутанные ветви. — Тело белое, как у девушки. Это она голову запрокинула и волосы вытирает, волосы...

Он проглотил подкативший к горлу ком, поднял топор, но тут же опустил его и, уговаривая сам себя не торопиться, отступил от липы и снова присел, не сводя с нее глаз. Он уже забыл и про межевой столб, и про нового лесничего, и про Нонну Юрьевну, и даже про Кольку: он забыл обо всем на свете и ощущал сейчас только неустойчивое, мощно нарастающее волнение, от которого дрожали пальцы, туго стучало сердце и покрывался испариной лоб. А потом поднялся и, строго сведя выгоревшие свои бровки, решительно шагнул к липе и занес топор.

Теперь он знал, что рубить. Он увидел лишнее.

Лесничий с учительницей и Колькой вернулись через сутки. Возле давно потухшего костра сидел взъерошенный Егор и по-собачьи посмотрел им в глаза.

— Тять, а я окуня поймал! — заорал Колька на подходе. — На спиннинг, тять!

Егор не шелохнулся и будто ничего не слышал. Юрий Петрович ковырнул осевшую золу, усмехнулся.

— Придется, видно, нам его и зажарить. На четверых.

— Я кашу сварю, — торопливо сказала Нонна Юрьевна, со страхом и состраданием поглядывая на странного Егора. — Это быстро.

— Кашу так кашу, — недовольно сказал Юрий Петрович. — Что с вами, Полушкин? Заболели?

Егор молчал.

— Столб-то хоть поставили?

Егор обреченно вздохнул, дернул головой и поднялся.

— Идемте. Все одно уж.

Пошел к просеке, не оглядываясь. Юрий Петрович посмотрел на Нонну Юрьевну, Нонна Юрьевна посмотрела на Юрия Петровича, и оба пошли следом за Егором.

— Вот,— сказал Егор.— Такой, значит, столб.

Тонкая, гибкая женщина, заломив руки, изогнулась, словно поправляя волосы. Белое тело матово светилось в зеленом сумраке леса.

— Вот,— тихо повторил Егор.— Стало быть, так вышло.

Все молчали. И Егор сокрушенно умолк и опустил голову. Он уже знал, что должно было последовать за этим молчанием, уже готов был к ругани, уже жалел, что снова увлекся, и ругал себя последними словами.

— Баба какая-то! — удивленно хмыкнул подошедший Колька.

— Это — чудо,— тихо сказала Нонна Юрьевна.— Ничего ты, Коля, еще не понимаешь.

И обняла его за плечи. А Юрий Петрович достал сигареты и протянул их Егору. Когда закурили оба, спросил:

— Как же ты один дотащил-то ее, Савельич?

— Значит, сила была,— тихо ответил Егор и заплакал.

17

В то утро, когда Егор круги на воде считал да ненароком Нонной Юрьевной любовался, у продовольственного магазина встретились Федор Ипатович с Яковом Прокопычем. Яков Прокопыч по пути на свою водную станцию всегда в магазин заглядывал аккурат к открытию: не выбросили ли чего любопытного? А Федор Ипатович приходил по сигналам сверху: ему лично завмаг новости сообщал. И сегодня он сюда за селедочкой наострил: забросили в эту точку баночную селедочку. Деликатес. И за этим деликатесом Федор Ипатович первым в очереди угнездился.

— Здорово, Федор Ипатыч,— сказал Яков Прокопыч, заняв очередь девятнадцатым: у завмага да продавщиц не один Федор Ипатович в знакомых ходил.

— Наше почтение,— отозвался Федор Ипатович и газету развернул — показать, что в разговоры вступать не готовится.

В другой бы день Яков Прокопыч, может, и обратил бы внимание на непочтение это, может, и обиделся бы. А тут не обиделся, потому что новость нес обжигающую и спешил ее с души сложить.

— Что о ревизии слышать? Какие эффективности?

— О какой такой ревизии?

— О лесной, Федор Ипатыч. О заповедной.

— Не знаю я никакой ревизии,— сказал Федор Ипатович, а строчки в газете вдруг забежали, буквы запрыгали, и ни единого слова уже не читалось.

— Тайная, значит, ревизия, — сделал вывод Яков Прокопыч. — А свояк ничего не сообщает?

— Какой такой свояк?

— Ваш. Егор Полушкин.

Совсем у Федора Ипатовича в глазах зарябило: какая ревизия? При чем Егор? И спросить хочется, и солидность терять боязно. Сложил газету, сунул ее в карман, похмурился.

— Известно, значит, всем.

А что известно — и сам бы узнать не прочь. Да как?

— Известно, — согласился Яков Прокопыч. — Известны только выводы.

— Какие выводы? — Федор Ипатович насторожился. — Не будет выводов никаких.

— Видать, не в полном вы курсе, Федор Ипатыч, — сказал въедливый Сазанов. — Будут строгие выводы. На будущее. Для тех выводов учительницу и включили.

Какая комиссия? Какая учительница? Какие выводы? Со всем уж Федор Ипатович намеками истерзался, совсем уж готов был в открытую у Якова Прокопыча все расспросить, да как раз в миг этот магазин открыли. Все туда потекли, вдоль прилавков выстраиваясь, и разговор оборвался.

И уж только потом, когда полностью отоварились, возобновился: Федор Ипатович специально на улице подждал.

— Яков Прокопыч, чего-то я недопонял. Где, говорите, Полушкин-то обретается?

— В лесу он обретается: комиссию ведет. В ваши заповедные кварталы.

Туча тучей Федор Ипатович домой вернулся. На Марьицу рывкнул, что та чуть стакан в руках удержала. Сел к завтраку — кусок в горло не лез. Ах, Егор Полушкин! Ах, змея подколодная! Недаром, видать, с учителькой любезность разводил: под должность копает. Под самый корешок.

Весь день молчал, думы свои чугунные ворочал. И комиссия не праздничек, и ревизия не подарок. Но это еще так-сяк, это еще стерпеть можно, а вот то, что свой же сродственник, друг-приятель, бедоносец чертов, корень жизни твоей вагой поддел — это до глухоты обидно. Огнем это жжет, до боли непереносимой. И простить этого Федор Ипатович не мог. Никому бы этого не простил, а Егору — особо.

Два дня сам не свой ходил и ел через раз. На Марьицу рычал, на Вовку хмурился. А потом отошел вроде, даже заулыбался. Только те, кто хорошо Федора знал, улыбку эту, навеки застывшую, по достоинству оценили.

Ну, а Егор Полушкин про эту улыбку и знать ничего не знал, и не догадывался. Да если бы и знал, внимания бы не

обратил. Не до чужих улыбок ему было — сам улыбался от уха до уха. И Колька улыбался, не веря собственному счастью: Юрий Петрович ему на всеобщих радостях спиннинг подарил.

— Главное, я не сразу углядел-то! — в сотый раз с неиссякаемым восторгом рассказывал Егор. — Сперва, значит, вроде ударило меня, а потом позабыл, чего ударило-то. Глядел, глядел, значит, и углядел!

— Учиться вам надо, Егор Савельич, — упрямо талдычила Нонна Юрьевна.

— Вам оно, конечно, виднее, а меня ударило! Ударило, поверите ли, мил дружки вы мои хорошие!

Так, радостно вспоминая о своем внезапном озарении, он и притопапал в поселок. И на крайней улице вдруг остановился.

— Что стал, Егор Савельич?

— Вот что, — серьезно сказал Егор и вздохнул. — Не обидите, а? Радость во мне сейчас расставаться не велит. Может, ко мне пожалуете? Не ахти, конечно, угощение, но, может, честь окажете?

— Может, лучше потом, Егор Савельич? — замаялась Нонна Юрьевна. — Мне бы переодеться...

— Так хороши, — сказал Юрий Петрович. — Спасибо, Егор Савельич, мы с удовольствием.

— Да мне-то за что, господи? Это вам спасибо, вам!

День был будним, о чем Егор за время своей вольной жизни как-то позабыл. Харитина работала, Олька в яслях забавлялась, и дома их встретило только кошкино неудовольствие. Егор шараянул по всем закромам, но в закромах было пусто, и он сразу засуетился.

— Счас, счас, счас. Сынок, ты картошечки спроворь, а? Нонна Юрьевна, вы тут насчет хозяйства сообразите. А вы, Юрий Петрович, вы отдыхайте покуда, отдыхайте.

— Может, хозяйку подождем?

— А она аккурат и поспеет, так что отдыхайте. Курите тут, умойтесь. Сынок покажет.

Торопливо бормоча гостеприимные слова, Егор уже несколько раз успел слазить за Тихвинскую богоматерь, ощупать пустую коробку из-под конфет и сообразить, что денег в доме нет ни гроша. Это обстоятельство весьма озадачило его, добавив и без того нервной суетливости, потому что параллельно с бормотанием он лихорадочно соображал, где бы раздобыть десятку. Однако в голову, кроме сердитого лица Харитины, ничего путного не приходило.

— Отдыхайте, значит. Отдыхайте. А я, это... Сбегаю, значит. В одно место.

— Может, вместе сбегает? — негромко предложил Юрий Петрович, когда Нонна Юрьевна вышла вместе с Колькой. — Дело мужское, Егор Савельич.

Егор строго нахмурился. Даже пальцем погрозил:

— Обижает. Ты гость, Юрий Петрович. Как положено, значит. Вот и сиди себе. Кури. А я похлопочу.

— Ну, а если по-товарищески?

— Не надо, — вздохнул Егор. — Не порть праздник.

И выбежал.

Одна надежда была на Харитину. Может, с собой она какие-никакие капиталы носила, может, одолжить у кого-то могла, может, присоветовать что путное. И Егор с пустой кошелкой, на дне которой сиротливо перекатывалась пустая бутылка, перво-наперво рванул к своей благоверной.

— А меня спросил, когда приглашал? Вот сам теперь и привечай, как знаешь.

— Тинушка, невозможное ты говоришь.

— Невозможное? У меня вон в кошельке невозможно — полтора целковых до получки. На хлеб да Ольке на молоко.

Красная она перед Егором стояла, потная, взлохмаченная. И руки, большие, распаренные, перед собой на животе несла. Бережно, как кормильцев дорогих.

— Может, одолжим у кого?

— Нету у нас одалживателей. Сам звал, сам и хлопочи. А я твоих гостей и в упор не вижу.

— Эх, Тинушка!..

Ушла. А Егор вздохнул, потоптался в парном коридоре, что вел на кухню, и вдруг побежал. К последней пристани и последней надежде: к Федору Ипатовичу Бурьянову.

— Так, так, — сказал, выслушав все, Федор Ипатович. — Значит, в полном удовольствии лесничий пребывал?

— В полном, Федор Ипатыч, — подтвердил Егор. — Улыбался.

— К Черному озеру ходили?

— Ходили. Там... это... туристы побывали. Лес пожгли маленько, набедили.

— И тут он улыбался, лесничий-то?

Егор вздохнул, опустил голову, с ноги на ногу перемялся. И надо было бы соврать, а не мог.

— Тут он не улыбался. Тут он тебя поминал.

— А когда еще поминал?

— А еще порубку старую на обратном конце нашли. В матером сосеннике.

— Ну, и какие же такие будут выводы?

— Насчет выводов мне не сказано.

— Ну, а на порубку-то кто их вывел? Компас, что ли?

— Сами вышли. На обратном конце.

— Сами, значит? Умные у них ноги. Ну-ну.

Федор Ипатович сидел на крыльце в старой рубашке без ремня и без пуговиц — враспах. Подгонял топорича под топоры: штук десять топоров перед ним лежало. Егор стоял напротив, переступая с ноги на ногу: в кошелке брякала пустая поллитра. Стоял, переминался, глаза отводил: тот, кто в долг просит, тот загодя виноват.

— Все, значит, сами. И туристов сами нашли, и порубки старые: ловко. Умные, выходит, люди, а?

— Умные, Федор Ипатыч,— вздохнул Егор.

— Так, так. А я глянь, чего делаю. Я инвентарь чиню: его по описи передавать придется. Ну, так как скажешь, Егор, зря я его чиню или не зря?

— Так чинить — оно не ломать. Оно всегда полезное дело.

— Полезное, говоришь? Тогда слушай мой вывод. Вон со двора моего сей же момент, пока я Пальму на тебя не науськал! Чтоб и не видел я тебя более, и слыхом не слыхивал. Ну, чего стоишь, переминаешься, бедоносец чертов? Вовка, спускай Пальму! Куси его, Пальма, цапай! Цапай!

Тут Пальма и впрямь голос подала, и Егор ушел. Нет, не от Пальмы: сроду еще собаки его не трогали. Сам собой ушел, сообразив, что денег тут не одолжат. И очень поэтому расстроился.

Вышел со двора, постоял, поглядел на петуха, что топором его был сработан. Улыбнулся ему, как знакомому, и враз расстройство его пропало. Ну, не добыл он денег на угощение, ну, стоит ли из-за этого печаловаться, раз с крыши петух орет, а в лесу дева белая волосы расчесывает? Нет, Федор Ипатыч, не достигнешь ты теперь до обиды моей, потому что во мне покой поселился. Тот покой, который никогда не посетит тебя, никогда тебе не улыбнется. А что денег нет и людей принять не могу, так то пустое. Раз деву они мою поняли, так и это они поймут.

И, подумав так, он с легким сердцем и пустой кошелкой потрусил к собственному дому. И пустая бутылка весело брякала в такт.

— Товарищ Полушкин! Полушкин!

Оглянулся: Яков Прокопыч. С лодочной, видать, станции: ключи в руке несет.

— Здоров, товарищ Полушкин. Куда поспешаешь-то?

Сказал Егор, куда поспешает.

— Гость важный,— отметил Яков Прокопыч.— А кошелка пустая. Нескладность.

— Чайком побалуются.

— Нескладность, — строго повторил Яков Прокопыч. — Однако если по-соседски, то можно рассудить. Я имею непечатую банку селедки и заход в магазин с твоей пустой кошелкой. А ты имеешь важного гостя. Пойдет?

— Что пойдет-то? — не понял Егор.

Яков Прокопыч с упреком посмотрел на него. Вздыхнул даже, коря за несообразительность.

— Знакомство.

— Ага! — сказал Егор. — С тобой, что ли?

— Я прихожу со всем припасом из магазина. Ты мне радуешься и знакомишь. Как бывшего справедливого начальника.

— Ага, — с облегчением сказал Егор, уразумев, наконец, всю сложность товарообмена. — Это пойдет.

— Это ты молодец, товарищ Полушкин, — с чувством отметил Яков Прокопыч, забирая у Егора пустую кошелку. — Лесничий — птица важная. Ежели она не перелетная, конечно.

С тем они и расстались. Егор припустил домой, где уже вовсю кипела картошечка. А через полчаса появился и сам Яков Прокопыч с тяжелой кошелкой, в которой уже не брякало, а булькало. На Якове Прокопыче был невероятно новый костюм и соломенная шляпа с дырочками.

А фокус состоял в том, что Яков Прокопыч очень любил знакомиться с людьми, занимающими пост. И чем выше был пост, тем больше любил. Даже хвастался:

— У меня секретарь знакомый. И два председателя.

И неважно для него было, чего они там председатели, а чего — секретари. У него своя табель была.

И нового лесничего он точно вычислил: чуть повыше директора совхоза и чуть ниже инструктора райкома. А личные качества Юрия Петровича Чувалова не интересовали Якова Прокопыча. Ну зато, правда, он никаких благ от него получать и не рассчитывал. Он бескорыстно знакомился.

— Строгости соблюдаем мало, — говорил он за столом. — Много стало отвлечения в нашем народе. А вот берем мою жизнь: что в ней главное? Главное в ней — что велено. Но я же один, и мне не радостно. Что-то мне, дорогой, уважаемый товарищ, не радостно. Может, я чего не достиг, может, я чего недопонял, не знаю. Знаю, что вхожу в возраст, сказать научно, без полного к себе уважения. Непонятность.

Юрий Петрович с трудом поддерживал его возвышенную беседу, а Егор и вовсе не слушал. Он счастлив был, что в

его доме сидят хорошие, веселые люди и что Харитина, с работы вернувшись, грудь свою выпятила совсем по другому поводу.

— Гости вы наши дорогие, здравствуйте! Нонна Юрьевна, красавица ты моя, зарумянилась-то как на нашем солнышке! Налилась, девушка, что яблочко, вызрела!

И с Нонной расцеловалась, и Егора уважительно звала, и из тайников своих конфеты с печеньем выгребла. А потом увела Нонну Юрьевну на кухню. О чем они там говорили, он не знал, но не пугался, потому что в хорошее верил торопливо и радостно. Не знал, что строгая, шумная и сильная жена его на табурет рухнула и заплакала вдруг тихо и жалобно:

— Силушек моих нет, Нонна ты моя дорогая Юрьевна. Измотал меня муж мой, измучил и снов лишил. Пусть бы лучше пил он ежедень, пусть бы лучше бил он меня, пусть бы лучше на чужие юбки поглядывал. Годы идут, дети растут, а крепости в жизни нашей нету. Никакой нету крепости, девушка. И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без семейной крепости да людской уважительности детей выпестовать? Мать тело питает, отец — душу, так-то мир держится. А коли в семье разнотык, коли я, баба темная да немудрая, и за мать и за отца, и хлебом кормлю, и душу креплю, так беда ведь то, Нонна Юрьевна, горе горькое! Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы, да ненаходчивы. Весь день в стирках дастряпне, в тряпках да белье, а на кухне мужика не вырастишь.

Так она плакала, а для Егора все было распрекрасно, все было правильно, и после третьей рюмочки он не выдержал:

— Спой, Тина, а? Уважь гостей дорогих.

Сказал и испугался: опять «тягры» свои понесет. А Харитина грудь надула, голову откинула, поднатужилась и завела — аж стекла задрезбжали:

Зачем вы, девочки, красивых любите...

И Юрий Петрович, брови сдвинув, подпевать ей принялся. А за ним и Нонна Юрьевна: тихонечко, себя стесняясь. А там и Егор с Колькой. Харитина песню вела, а они пели. Уважительно и с бережением.

Только Яков Прокопыч не пел: хмурился. И жалел, что угощение зря потратил: если начальник песни вторым голосом поет, — разве это начальник? Нет, такой долго не продержится, это точно. Сгорит.

Весь поселок слышал, какие песни пели у Полушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую:

Ах, люди добрые, поверьте.
Ды расставанье ды хуже смерти!

А Юрий Петрович вернулся ночевать к Егору, Кольке в доме постелили, а мужчины легли в сараюшке. И вот о чем они говорили, об этом никто не слышал, потому что разговор тот был серьезным.

— Егор Савельич, что, если я вам этот лес поручу?

— А как же свояк? Федор Ипатыч?

— Жук ваш Ипатыч. Жук и прохвост: сами видели. Ну, а если по совести? Если лесником вас — будет порядок?

Егор помолчал, поразмыслил. Неделью бы назад он за такое предложение горло бы свое надсадил, заверяя, что и порядок будет, и работа, и все, что положено. А сейчас — странное дело! — сейчас вроде бы и не очень обрадовался. Нет, обрадовался, конечно, но радости своей не высказал, а спокойно обдумал все, взвесил и сказал, как солидный мужик:

— Порядок будет полный.

— Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и решим. Спокойной ночи.

Юрий Петрович на бок повернулся и сонно задышал, а Егор долго лежал без сна. Лежал, думал хорошие думы, чувствовал полный, торжественный покой, прикидывал, что он сделает в лесу доброго и полезного. И думы эти совсем незаметно перешли в сон, и уснул он крепко и глубоко, как парнишка. Без тревог и волнений.

А вот Федор Ипатович спал плохо: всхрапывал, метался, просыпался вдруг и собаку слушал. Пальма цепью звякала, рвалась куда-то, лаяла на всю округу, и Федор Ипатович жалел, что не старая она собака. Злился, ворочался с боку на бок, а потом решил, что жалко не жалко, а весной все равно ее пристрелит. И с этим радостным решением кое-как протянул до утра в тягостной полудремоте.

Завтракать сел без всякого аппетита. Ковырял яишенку вилкой, хмурился, на Марьицу ворчал. А потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил.

Перед домом его стояли Егор Полушкин и новый лесничий Юрий Петрович Чувалов. Егор чего-то на петуха показывал и смеялся. Зубы щерил.

— Убери-ка все это, Марьяца,— сказал Федор Ипатович.
— Что все, Феденька?
— Жратву убери! — рывкнул он вдруг.— Все, чтоб дочи-ста на столе!

Не успела Марьяца стол вытереть — дверь распахнулась и оба вошли. Поздоровались, но рук не подали. Ну, Егору-то первому и не положено вроде, а вот что Чувалов от бурьяновского пожара свою уберег, это Федора Ипатовича насторожило.

— Славный у вас домик,— сказал Юрий Петрович.— Не тесно втроем-то?

— Это кому тесно? Это нам тесно? Это в родном-то доме...— начала было Марьяца.

— Годи! — крикнул хозяин.— Ступай отсюда. У нас свой разговор.

Вышла Марьяца к сыну в соседнюю комнату. А Вовка знак ей там сделал и опять ухом к щели замочной припал.

— И полы тесаные. Богато.

— Все заплачено. Все — по закону.

— Насчет закона мы суд спросим. А пока займемся делом: вот вам новый лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем присутствии по акту передать ему имущество и документацию.

— Приказа не вижу.

— С приказом не задержу.

— Когда будет, тогда и передам.

— Не осложняйте своего положения, Бурьянов. Передадите сейчас, приказ получите завтра. Все ясно? Вот и приступим. Как, Егор Савельич?

— Приступим,— сказал Егор.

— Ну, добро.— Федор Ипатович как пуд уронил.— Приступим.

Два дня Егор имущество принимал, каждый топор, каждый хомут осматривал. А потом проводил Юрия Петровича в город, запряг поступившую в его распоряжение казенную кобылу и вместе с Колькой подался в заповедный лес. Наводить порядок.

— Когда вернетесь-то? — спросила Харитина.

— Не скоро,— сказал.— Пока все там не уделаем, как требуется, не вернемся.

Колька вожжами подергал, почмокал: поехали. А Юрий Петрович тем временем, в город прибыв, написал сразу два приказа: о снятии с работы Бурьянова Ф. И. и о назначении на должность Полушкина Е. С. Потом оттащил начальнику угрозыска папочку Федора Ипатовича, сочинил заявление,

какое требовалось для возбуждения дела, а придя домой, сел за письмо. Крупными буквами написал:

«Здравствуй, дорогая мамочка!»

Закончив письмо, долго сидел, сдвинув брови и уставясь в одну точку. Потом взял ручку, решительно вывел: *«Дорогая Марина!»* — подумал, зачеркнул «дорогая», написал «уважаемая», зачеркнул и «уважаемую» и бросил ручку. Письмо не складывалось, аргументы казались неубедительными, мотивы — неясными, и вообще он еще не решил, стоит ли писать это письмо. И не написал.

А Егор упоенно чистил лес, прорубал заросшие просеки, стаскивал в кучи валежник и сухостой. Он соорудил шалаш, где и жил вместе с Колькой, чтобы не тратить зря время на поездки домой. И все равно времени ему не хватало, и он был счастлив оттого, что ему не хватает времени, и если бы сутки были вдвое длиннее, он бы и тогда загрузил их от зари до зари. Он работал с азартом, с изнуряющим, почти чувственным наслаждением и, засыпая, успевал подумать, какой он счастливый человек. И спал с улыбкой, и просыпался с улыбкой, и весь день ходил с нею.

— Сынок, ты стихи сочинять умеешь?

Колька сердито засопел и не ответил. Егор, не сдаваясь, спросил еще раз. Колька опять засопел, но ответил:

— Про это не спрашивают.

— Я для дела, — пояснил Егор. — Понимаешь, сынок, турист все едино сюда проникнет, потому как весь лес не огородишь, а один я не услежу. И будет снова Юрию Петровичу расстройство. Ну, конечно, можно надписи туристу сделать: мол, то разрешено, а это запрещено. Только ведь скучно это, надписи-то в лесу, правда? Вот я и удумал: стихи. Хорошие стихи о порядке. И туристу будет весело, и нам покойно.

— Ладно, — вздохнул Колька. — Попробую.

После оды на смерть Ункаса Колька написал только одно стихотворение — про девочку с косичками и про любовь до гроба, — но ничего хорошего из этого не вышло. Оля Кузина показала стихи Вовке Бурьянову, Вовка с гоготом зачитал их классу, и Кольку долго дразнили женихом. Он сильно расстроился и решил навсегда порвать с творчеством.

— Для дела разве что. А так — баловство это, тять.

— Ну не скажи, — усомнился Егор. — А песни как же тогда?

— Ну, что песни, что песни... Не будешь же ты песни туристам петь, правда?

— Не буду, — согласился Егор. — Некогда. Мы их... это... выжжем.

На другой день Колька не пошел с отцом в кварталы и подальше отложил спиннинг. Достал тетрадку, карандаш и, хмурясь и сердито шевеля губами, начал сочинять стихи. Дело оказалось трудным, Колька взмок и умирился, но к вечеру выдал первую продукцию.

— Ну, слушай, тять.— Колька в поисках вдохновения посмотрел в вечернее небо, откашлялся и зачастил:

Граждане туристы!
Чтобы было чисто,
Не палите по лесу
Множество костров.
Вы найдите лучше,
Где дровишек куча
И кострище сделано
Лесником.

— Ага,— сказал Егор.— Про кострище — это хорошо, а то еще, не дай бог, лес попалят. Это пойдет, сынок, молодец.

— У меня еще про муравьев есть,— объявил Колька, явно польщенный отцовским признанием.— Так, значит:

Я муравей.
Я — житель лесной,
И дом мой стоит
Под высокой сосной.
Ты мимо пройди
И не трогай его,
Нам больше не надо
От вас ничего.

— Вот это да! — с чувством сказал Егор.— Это ты здорово сочинил. И складно.

— Я завтра еще сочиню! — закричал Колька вдохновенно.— Я может, целую поэму сочиню!

— Надо, чтоб коротко,— уточнил Егор.— Коротко и ясно. Вот как про мурашей.

— Будет коротко,— подтвердил Колька.— Коротко и звонко.

Оставив Кольку сочинять звонкие стихи, Егор на другой день отправился домой. Настругал досок, сколотил из них щиты, погрузил все на телегу, и многотерпеливая казенная кобыла уже к вечеру тронулась в обратный путь к шалашу возле Черного озера.

Старая кобыла шла степенным шагом. Егор сосредоточенно бил комаров и размышлял, что бы еще такое уделать в подведомственном лесу. Может, матерые деревья переметить, чтоб — упаси бог! — не повалил кто на дровишки или на материал. Может, еще что сообразить для туристов, которые, пронюхав про заповедный уголок, теперь уж ни за

что не оставят его в покое. А может, действительно переписать всю лесную живность в толстую тетрадь и подарить эту тетрадь Юрию Петровичу: то-то, поди, удивится!

И так он трясся на телеге по торной лесной дороге и думал свои думы, пока тягучий треск падавшего дерева не привлек его внимания. С тяжким вздохом упало это дерево на землю, на миг стало тихо, а Егор, натянув вожжи, спрыгнул с телеги и побежал. И пока бежал, все отчетливее стучали торопливые воровские топоры, и он бежал на этот стук.

Подле поваленного ствола копошились двое, обрубая сучья. Но Егор сейчас не считал порубщиков: двое — так двое, пятеро — так пятеро. Он осознал свое право, и это сознание делало его бесстрашным. И поэтому он просто забежал со стороны просеки, чтоб дорогу им отсечь, сквозь кусты выломился и заорал:

— Стой и с места не сходи! Фамилия?

Обернулись те двое: Филя и Черепок. И Егор остановился, точно на пень набежал.

— Во! — сказал Филя. — Помощник пришел.

А Черепок глядел злыми, красными глазками. И молчал.

— Какое интересное получается явление, — продолжал Филя, улыбаясь еще приветливее, чем прежде, в дружеские времена. — Историческая называется встреча. На высоком уровне за круглым пеньком.

— Зачем повалили? — тупо спросил Егор, пнув ногой лесину. — Кто это велел валить?

— Долг, — вздохнул Филя, но улыбку не спрятал. — Зачем, интересуешься спросить? А в фонд. Отгрузим завтра три пустых поллитры: пусть жгут танки империализма бензиновым огнем.

— Кто велел, спрашиваю? — Егор изо всех сил сдвинул брови, чтоб стать строгим хоть маленько. — Опять шабашка ваша дикая, так понимать, да?

— Понимай так, что три поллитры. — Филя сладко причмокнул и зажмурился. — Одну можем тебе подарить, если поспособствуешь.

Егор поглядел на странно сопевшего Черепка, сказал:

— Топоры давайте.

— Топоры мы тебе не дадим, — сказал Филя. — А дадим либо поллитру, либо по шее. Сам выбирай, что тебе сподручнее.

— Я как официальный лесник тутошнего массива официально требую...

— А фамилия моя сегодня будет Пупкин, — вдруг глухо, как из бочки, сказал Черепок. — Так и запиши, полицай проклятый.

Замолчал, и сразу стало тихо-тихо, только стрекозы звенели. И Егор услышал и этот звон, и эту тишину. И вздохнул:

— Какой такой полицаи? Зачем так-то?

— В начальство вылез? — захрипел Черепок. — Вылез в начальники и уже измываешься? Уже фамилию спрашиваешь? А это ты видал? Видал, мать твою перемать?..

Он картинно рванул на груди перепревшую, ветхую рубаху, и она распалась от плеча до пупка, распалась вдруг, без звука, как в немом кино. Черепок, выскользнув из рукавов, повернулся и подставил Егору потную спину:

— Видал?

Грязная, согнутая колесом спина его была вся в бугристых сизых шрамах. Шрамы шли от бока до бока, ломаясь на худой, острой хребтине.

— Художественно расписано, — сказал Филя, ухмыляясь. — Видно руку мастерства.

— Все тут расписаны, все! — кричал Черепок, не разгибаясь. — И полицаи, и эсэсы, и жандарма немецкая. Ты тоже хочешь? Ну, давай! Давай расписывайся!

— Жену с малыми детьми у него полицаи в избе сожгли, — тихо и неожиданно серьезно сказал Филя. — Укройся. Укройся, Леня, не перед тем выставляешься.

Черепок покорно накинул разодранную рубаху, всхлипнул и сел на только что сваленную сосну. Несмотря на зной, его трясло, он все время тер корявыми ладонями небритое лицо и повторял:

— А жить-то когда буду, а? Жить-то когда начну?

И опять Егор услышал звон стрекоз и звон тишины. Постоял, ожидая, когда схлынет с сердца тягостная жалость, посмотрел, как вздрагивает в непонятном ознобе Черепок, и гулко сглотнул, потому что сжало вдруг горло Егорово, аж подбородок затрясся. Но он проглотил этот ком и тихо сказал:

— При законе я состою.

— А кто знать-то будет? — спросил Филя. — Что он, считанный, лес-то твой?

— Все у государства считано, — сказал Егор. — И потому требую из леса утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте.

Руку к топорам протянул, но Филя враз перехватил тот, какой поближе. И на руке взвесил:

— Топор тебе? А топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди темные...

— Отдай ему топор, — сказал вдруг Черепок. — Света я не люблю. Я темь люблю.

И пошел сквозь кусты, рубахи не подбрав. И разорван-

ная, перепревшая рубаха волочилась за ним, цепляясь за сучья.

— Ну, Егор, не обижайся, когда впотьмах встретимся!

Это Филя на прощанье сказал, топоры ему швырнув. А Егор заклеил поваленные деревья, забрал топоры и вернулся к сонной кобыле. Сел в телегу, вжарил вдруг кнутом по неповинной казенной спине и затрясся к озеру. Только топоры о щиты брякали.

У озера Колька ждал со стихами про хорошее поведение. И это было единственным, о чем хотел сейчас думать Егор.

19

С каждым днем Нонна Юрьевна все острее ощущала необходимость съездить в город. То ли за книжками, то ли за тетрадками. Сперва мыкалась, а потом пошла к директору школы и многословно, волнуясь, сообщила ему, что учебного года без этой поездки начать невозможно. И что она хоть сейчас готова поехать и привезти все, что требуется.

— А что требуется? — удивился директор. — Ничего, слава богу, не требуется.

— Глобус, — сказала Нонна Юрьевна. — У нас совсем никудышный глобус. Вместо Антарктиды — дыра.

— Нет у меня лимитов на ваши Антарктиды, — проворчал директор. — Они глобусами в футбол играют, а потом дыра. Кстати, с точки зрения философской дыра — это тоже нечто. Это некое пространство, окруженное материальной субстанцией.

— Могу и футбол купить, — с готовностью закивала Нонна Юрьевна. — И вообще. Инвентарь.

— Ладно, — согласился директор. — Если в тридцатку уложите, — отпущу. Дорога за ваш счет.

В городе проходило какое-то областное совещание, и мест в гостиницах не оказалось. Однако это обстоятельство скорее обрадовало Нонну Юрьевну, чем огорчило. Она тут же позвонила Юрию Петровичу, сказала, что ее насильно отправили сюда в командировку, и не без тайного злорадства сообщила, что мест в гостиницах нет.

— Вы человек авторитетный, — говорила она, улыбаясь телефонной трубке. — Походатайствуйте за командированного педагога из дремучего угла.

— Походатайствую, — сказал Юрий Петрович бодро. — Голодная, поди? Ну приходите, что-нибудь сообразим.

— Нет... — вдруг пискнула Нонна Юрьевна. — То есть приду.

Именно в этот момент Нонна вдруг обнаружила, что в ней до сего времени мирно уживались два совершенно противоположных существа. Одним из этих существ была спокойная, уверенная в себе женщина, выбившая липовую командировку и ловко говорившая по телефону. А другим — трусливая девчонка, смертельно боявшаяся всех мужчин, а Юрия Петровича особенно. Та девчонка, что пискнула в трубку «нет».

А Юрий Петрович вместо ходатайства в буфет бросился. Накупил булочек, молока, сладостей, заказал чай горничной. Только успел в номере прибрать и накрыть на стол, как постучала сама Нонна Юрьевна.

— Извините. Вам не удалось помочь мне, Юрий Петрович?

— Что? Ах да, с устройством. Я звонил. Обещали к вечеру что-нибудь сделать, но без гарантии. Вот чайку попьем — еще позвоню.

Врал Юрий Петрович с некоторым прицелом, хотя никаких заранее обдуманых намерений у него не было. Просто ему очень нравилась эта застенчивая учительница, и он не хотел, чтобы она уходила. Номер был двухкомнатный, и втайне мечталось, что Нонна Юрьевна вынуждена будет остаться здесь до утра. Вот и все, а остальное он гнал от себя искренне и настойчиво. И потому угощать Нонну Юрьевну мог с чистой совестью.

Проголодавшаяся путешественница поглощала бутерброды с недевичьим аппетитом. Юрий Петрович лично сооружал их для нее, а сам довольствовался созерцанием. И еще спрашивал: ему нравилась ее детская привычка отвечать с набитым ртом.

— Значит, вы считаете исполнительность положительным качеством современного человека?

— Безусловно.

— А разве тупое «будет сделано» не рождает бездумного соглашательства? Ведь личность начинается с осознания собственного «я», Нонна Юрьевна.

— Личность сама по себе еще не идеал: Гитлер тоже был личностью. Идеал — интеллигентная личность.

Нонна Юрьевна была максималисткой, и это тоже нравилось Юрию Петровичу. Он все время улыбался, хотя внутренне подозревал, что эта улыбка может выглядеть идиотской.

— Под интеллигентной личностью вы понимаете личность высокообразованную?

— Вот уж нет. Образование — количественная оценка человека. А интеллигентность — оценка качественная. Конечно

но, количество способно переходить в качество, но не у всех и не всегда. И для меня, например, Егор Полушкин куда более интеллигент, чем некто с тремя дипломами.

— Суровая у вас шкала оценки.

— Зато правильная.

— А еще какое качество вы хотели бы видеть в людях?

— Скромность,— сказала она, вдруг потупившись.

Юрий Петрович подумал, что этот ответ скорее реакция на ситуацию, чем точка зрения, но развивать эту тему не решился. К этому времени Нонна Юрьевна съела все пирожные и теперь послушно дохлебывала пустой чай.

— Вы не позабудете позвонить насчет гостиницы?

— Ах, да! — спохватился Юрий Петрович.— Конечно, конечно.

Он прошел к телефону и, пока Нонна Юрьевна убирала со стола, набрал несуществующий номер. В трубке сердито гудело, и Юрий Петрович боялся, что она услышит этот гудок. И говорил громче, чем требовалось:

— Коммунхоз? Мне начальника отдела. Здравствуйте, Петр Иванович, это Чувалов. Да-да, я звонил вам. Что? Но это невозможно, Иван Петрович! Что вы говорите? Послушайте, я очень вас прошу...

По неопытности Юрий Петрович не только путал имя начальства, но и не делал пауз между предложениями, и если бы Нонна Юрьевна слушала, что он бормочет, она бы сразу все поняла. Но Нонна Юрьевна была погружена в свои думы, предоставляя Юрию Петровичу возможность наивно врать в гудящую телефонную трубку.

Секрет заключался в том, что Нонна Юрьевна впервые в жизни была в гостях у молодого человека.

Пока шел студенческий ужин с молоком и пирожными, девчонка, уживавшаяся в ее существе рядом с женщиной, чувствовала себя вполне в своей тарелке. Но когда чаепитие закончилось, а за окном сгустились сумерки, девчонка стала пугливо отступать на второй план. А на первый все заметнее выходила женщина: это она сейчас оценивала поведение Юрия Петровича, это она чувствовала, что нравится ему, это она настойчиво вспоминала, что никто не заметил, как Нонна Юрьевна прошла в этот номер.

И еще эта женщина сердито говорила сейчас Нонне: «Не будь душой». Нонна очень пугалась этого голоса, но он звучал в ней все настойчивее: «Не будь душой. Ты же ради него организовала эту командировку, так не будь же идиоткой, Нонка». И Нонна очень пугалась этого голоса, но не спорила с ним.

Вот почему она и не разобралась в наивной игре Юрия

Петровича с телефонной трубкой. А очнулась только, когда он сказал:

— Знаете, Нонна, а мест действительно нет. Ни в одной гостинице.

Женщина возликовала, а девчонка перетрусилась. И Нонна никак не могла сообразить, что же делать ей-то самой: радоваться или пугаться?

— Боже мой, но у меня в городе нет знакомых.

— А я? — Юрий Петрович спросил сердито, потому что боялся, как бы Нонна не заподозрила его в тайных намерениях. — Номер «люкс», места хватит.

— Нет, нет... — сказала Нонна Юрьевна, но эти два «нет» прозвучали как одно «да», и Юрий Петрович молча пошел стелить себе на диване.

Теперь, когда молчаливо решилось, что Нонна остается, они вдруг перестали разговаривать и вообще старались не видеть друг друга. И пока сидевшая в Нонне девчонка замирала от страха, женщина вела себя с горделивой невозмутимостью.

— Можно воспользоваться ванной?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Юрий Петрович вдруг засуетился, потому что это спросила женщина, и он мгновенно почувствовал себя мальчишкой. — Полотенце только сегодня меняли. Вот...

— Благодарю вас.

И женщина гордо проследовала мимо, перебросив через руку свой самый нарядный халатик. Юрий Петрович еще не успел прийти в себя от неожиданного тона, как трусливая девчонка тут же высунула голову из ванной комнаты:

— Тут задвижки нет!

— Я знаю, не беспокойтесь, — улыбнулся Юрий Петрович, почувствовав некоторое облегчение.

Надо сказать, что, в отличие от Нонны Юрьевны, он попадал в сходные ситуации, но всегда все его женщины сами решали, как им поступать, и Юрию Петровичу оставалось только не быть идиотом. Но женщина, которая вдруг выглядывала из Нонны Юрьевны, скорее играла в какую-то игру, и лесничий никак не мог сообразить, сколь далеко игра эта заходит. И поэтому ему было и легче и проще, когда на смену этой таинственной женщине приходила знакомая девчонка с круглыми от страха глазами.

— Ой! — сказала эта девчонка, старательно запахивая халатик. — У вас и дверей нет.

Спальная двухкомнатного номера отделялась от гостиной портьерой, и сейчас Нонна Юрьевна в растерянности топталась на пороге.

— Стул поставьте,— посоветовал Юрий Петрович.— Если я спросонок перепутаю, куда идти, то наткнусь на стул. Он загремит, и вы успеете заорать.

— Благодарю вас,— холодно отпарировала Нонна Юрьевна женским голосом.— Спокойной ночи.

Юрий Петрович ушел в ванную, нарочно долго умывался, чтобы Нонна Юрьевна успела не только улечься, но и успокоиться. Затем погасил свет, на цыпочках прокрался к дивану, и старый диван завопил всеми пружинами, как только он на него уселся.

— Ч-черт! — громко сказал он.

— Вы еще не спите? — вдруг тихо спросила Нонна Юрьевна.

— Нет еще.— Юрий Петрович снимал рубашку, но тут же надел ее снова.— Что вы хотели, Нонна?

Нонна промолчала, а его сердце забилося легко и стремительно. Он вскочил, шагнул в соседнюю комнату, с грохотом оттолкнув стоявший на пороге стул.

— Ч-черт!..

Нонна Юрьевна тихо засмеялась.

— Вам смешно, а я рассадил ногу.

— Бедненький.

В густых сумерках он увидел, что она сидит на кровати, по-прежнему кутаясь в халатик. И сразу остановился.

— Вы так и будете сидеть всю ночь?

— Может быть.

— Но ведь это глупо.

— А если я дура?

Она говорила совершенно спокойно, но это было спокойствие изо всех сил: ему казалось, что он слышит бешеный стук ее сердца. Юрий Петрович сделал еще шаг, неуверенно опустился на колени на вытертый гостиничный коврик и бережно взял ее руки. Она покорно отдала их, и халатик на ее груди сразу разошелся наивно и беззащитно.

— Нонна...— Он целовал ее руки.— Нонночка, я...

— Зажгите свет. Ну, пожалуйста.

— Нет. Зачем?

— Тогда молчите. Хотя бы молчите.

Они разговаривали так тихо, что не слышали, а угадывали слова. А слышали только, как неистово бьются сердца.

— Нонна, я должен тебе сказать...

— Да молчите же. Молчите, молчите!

Что он мог сейчас ей сказать? Что любит ее? Она это чувствовала. Или, может быть, не любит? Боже мой, как же он может не любить ее, когда он здесь, рядом? Когда он стоит на коленях и целует ей — ей! — руки?

Так думала Нонна Юрьевна. Даже не думала, нет — она не способна была сейчас ни о чем думать. Это все проносилось, мелькало в ее голове, это все пыталась осознать, ухватить пугливая девчонка, а женщина неотступно думала лишь о том, что он слишком уж долго целует ее руки.

Она осторожно потащила их на себя, а он не отпускал и утыкался в ладони лбом.

— Нонна, я должен тебе сказать...

— Нет, нет, нет! Не хочу. Не хочу ничего слышать, не хочу!

— Нонна, я старше, я обязан...

— Поцелуй меня.

Нонна с ужасом услышала собственный голос, и девчонка забунтовала, забилась в ней. А Юрий Петрович еще стоял на коленях, еще был далек, так недосыгаемо далек для нее. И она повторила:

— Поцелуй, слышишь? Меня еще никто, никто не целовал. Никогда.

Если бы он промедлил еще миг, она бы бросилась из окна, убежала бы куда глаза глядят или назло всем съела бы целую коробку спичек: таким путем, по словам мамы, покончила с собой какая-то очень несчастная девушка. Это была последняя попытка отчаянной женщины, что до сих пор тайно жила в ней. Последняя попытка победить одиночество, ночную тоску, беспричинные слезы и важные очки, которых Нонна мучительно стеснялась.

А потом... Что было потом?

— Нонна, я люблю тебя.

— Теперь говори. Говори, говори, а я буду слушать.

Они лежали рядом, и Нонна все время тянула на себя простыню. Но сейчас в ней уже не было спора, сейчас и отважная женщина, и трусливая девчонка очень согласно улыбались друг другу в ее душе.

— Я схожу за сигаретой. Ничего?

— Иди.

Она лежала с закрытыми глазами и живой улыбкой. У нее спрашивали позволения, она могла что-то запрещать, а что-то разрешать, и от этого внезапно обретенного могущества чуть кружилась голова. Она приподняла ресницы, увидела, как белая фигура, опять громыхнув стулом и чертыхнувшись, проплыла в соседнюю комнату, услышала, как чиркнула спичка, почувствовала дымок. И сказала:

— Кури здесь. Рядом.

Белая фигура остановилась в дверном проеме.

— Ты должна презирать меня. Я поступил подло, я не сказал тебе, что... — Смелость Юрия Петровича испарялась

с быстротой почти антинаучной.— Нет, я не женат... То есть формально я женат, но... Понимаешь, я даже маме никогда не говорил, но тебе обязан...

— Обязан? Уж не решил ли ты, что я женить тебя хочу?

Это был чужой голос. Не женщины и не девушки, а кого-то третьего. И Нонна Юрьевна обрадовалась, обнаружив его в себе.

— Не волнуйся: мы же современные люди.

Он что-то говорил, но она слышала только его виноватый, даже чуточку заискивающий голос, и в ней уже бунтовало что-то злое и гордое. И, подчиняясь этой злой, торжествующей гордости, Нонна сбросила одеяло и начала неторопливо одеваться. И, несмотря на то что она впервые одевалась при мужчине, ей не было стыдно: стыдно было ему, и Нонна это понимала.

— Мы вполне современные люди,— повторяла она, изо всех сил улыбаясь.— Замужество, загсы, свадьбы — какая чепуха! Какая, в сущности, все чепуха! Все на свете! Я сама пришла и сама уйду. Я свободная женщина.

Он растерянно молчал, не зная, что сказать ей, как объяснить и как удержать. Нонна спокойно оделась, спокойно расчесала волосы.

— Нет, нет, не провожай. Ты человек семейный, лицо официальное: что могут подумать горничные, представляешь? Ужас, что они могут про тебя подумать!

Нонна Юрьевна возвращалась домой неудобным утренним поездом. Сидела, забившись в угол, прижав к себе новый, круглый, как футбольный мяч, ученический глобус, и впервые в жизни жалела, что никак не может заплакать.

А Юрий Петрович остался в полном смятении. Просидев на работе весь день без движения и выкурив пачку сигарет, вечером написал-таки письмо таинственной Марине, но не отправил, а три дня таскал в кармане. А потом перечитал и порвал в клочья. И опять недвижимым сидел за столом, который каждый день покрывался новыми слоями входящих и исходящих. И опять полночи сочинял письмо, которое на этот раз начиналось: «Любимая моя, прости!..» Но Юрий Петрович не был мастак сочинять письма, и это письмо постигла участь предыдущих.

— Надо поехать,— твердил Юрий Петрович, без сна ворочаясь на гостиничной кровати.— Завтра же, утренним поездом.

Но приходило утро, и уходила решимость, и Чувалов опять мыкался и клял себя последними словами. Нет, не за Нонну Юрьевну.

Два года назад в глухое алтайское лесничество приехала

из Москвы практикантка. К тому времени Юрий Петрович уже отвык от студенческой болтовни, еще не привык к мини-юбкам и ходил за практиканткой как собачонка. Девчонка вертела застенчивым лесничим с садистским наслаждением, и порой Юрию Петровичу казалось, что не она у него, а он у нее проходит практику. Через неделю она объявила, что у нее день рождения, потребовала шампанского, и руководитель хозяйства лично смотался за двести километров на казенном мотоцикле. Когда шампанское было выпито, практикантка покружилась по комнате и объявила:

— Стели постель. Только, чур, я сплю у стенки.

К утру Юрий Петрович окончательно потерял голову.

— Одевайся, — сказал он. — Едем в сельсовет.

Практикантка нежилась поверх сбитых простыней.

— В сельсовет?

— Распишемся, — сказал он, торопливо натягивая рубаху.

— Вот так, сразу? — Она рассмеялась. — Как интересно!

Они подкатили к сельсовету на дико рычавшем мотоцикле, в десять минут получили свидетельство и жирные штампы в паспорта, а через три дня молодая жена укатила в Москву. Юрий Петрович в то время боролся с непарным шелкопрядом на дальнем участке и, вернувшись, обнаружил дома только записку:

«Благодарю».

Обратного адреса практикантка не оставила, и Юрию Петровичу пришлось писать на институт. Письмо долго где-то блуждало, ответ пришел только через два месяца и был коротким, как их супружеская жизнь:

«Я потеряла паспорт. Советую сделать то же самое».

Юрий Петрович не стал терять паспорт, а постарался забыть об этой истории и писем больше не писал. Потом пришлось сдавать дела, и уже в Ленинграде от студенческого товарища Чувалов узнал новость, заставившую его вновь разыскать утерявшую паспорт жену.

— Знаешь, у Марины ребенок.

Он все-таки разыскал ее. Написал письмо на домашний адрес, и в ответ на вопрос, не его ли это ребенок, получил ровно три слова:

«Все может быть».

И вот теперь ему надо было знать правду, как никогда. Знать, кто он: муж или не муж, отец или не отец, свободен или не свободен. Но насмешливый цинизм ее ответов выво-

дил Чувалова из равновесия, и он только писал письма, рвал их и писал снова.

А сейчас он боялся потерять Нонну. Здесь было кого терять, и поэтому Юрий Петрович никак не мог решиться сесть в поезд и приехать к ней. Приехать означало решить: да или нет,— а так оставалось еще спасительное «может быть». А тут как раз из Москвы прибыл большой начальник, и Юрий Петрович обрадовался, потому что никуда не мог поехать. Три дня он вводил начальство в курс дела, а потом вдруг затосковал и неожиданно для себя объявил:

— Тут интересного для тебя мало: леса в основном вторичные. А вот возле Черного озера сохранился еще любопытный массивчик.

Сказал и испугался: вдруг согласится?

— Опять комаров кормить?

— Комаров нет: мошка появилась.— Юрий Петрович с удивлением обнаружил, что уговаривает.— А массив интересен с точки зрения естественного биоценоза: как раз твой конек.

— Ладно, уговорил,— сказал начальник, и Юрий Петрович расстроился.

Прибыв в поселок, Чувалов представил начальство местным властям и побежал к Нонне Юрьевне. Сочинял на бегу горячие речи и не сразу поверил глазам, увидев на знакомых дверях амбарный замок. Потрогал его рукой, походил вокруг и пошел к директору школы.

— В Ленинграде Нонна Юрьевна. Три дня как уехала.

— Когда вернется?

— Должна двадцатого августа, но...— Директор вздохнул.— Аналогичный случай был в позапрошлом году.

— Что вы говорите?

— Ее предшественница тоже уехала повидаться с мамой, а прислала заявление с просьбой «по собственному желанию».

— Не может быть!

— Все может быть,— философски сказал директор.— Конечно, Нонна Юрьевна — педагог серьезный, но ведь и Ленинград — город серьезный.

— Да, да,— тихо сказал Юрий Петрович.— Адреса мамы не знаете?

Записал адрес, рассеянно пообещал директору дровишек для школы и уже без всякого интереса повел большого начальника в заповедный массив.

— Пешком поволок,— ворчал начальник, не без удовольствия шлепая босиком по лесной дороге.— И спать, наверное, на лапнике заставишь? Бирюк ты, Чувалов, недаром до сих пор бобылем живешь.

— Оставь это! — вдруг заорал сдержанный Юрий Петрович. — Привыкли треп в кабинетах разводиться!

— Нет, ты настоящий бирюк, — сказал, помолчав, начальник. — Самая пора тебе в министерство. Между прочим, как инспектирующий, могу там доложить о полном порядке в твоём хозяйстве. Лес ухожен, порубок не видно. Нет, знаешь, Юра, мне нравится. Ей-богу, нравится.

Юрий Петрович хмуро молчал. Впрочем, начальник замолчал тоже, наткнувшись на солидных размеров щит, сбитый из струганых досок. На щите были выжжены стихи:

Стой, турист, ты в лес вошел,
Не шути в лесу с огнем,
Лес — наш дом,
Мы в нем живем.
Если будет в нем беда,
Где мы будем жить тогда?

По бокам щита раскаленным гвоздем были выжжены зайцы, ежи, белки, птицы и большой лось, похожий на усталого Якова Прокопыча.

— Толково, — сказал начальник. — Твоя инициатива?

— Еще чего! — сказал Юрий Петрович. — Сам удивляюсь, когда он все успел.

— Кто?

— Лесник мой. Егор Полушкин.

— Любопытно, — сказал начальник. — Это я сниму.

И полез за фотоаппаратом. Чувалов усмехнулся:

— Пленки не хватит.

К вечеру они добрались до Егорова шалаша. Начальник переписал по дороге все Колькины сочинения и растратил всю пленку.

— Значит, ты автор? — допрашивал он Кольку. — Молодец! Поэтом будешь?

— Не-а. — Колька застеснялся. — Лесничим. Как Юрий Петрович.

— За это ты вдвойне молодец, Николай!

Утомленный и немного обеспокоенный вниманием большого начальника, Егор тихо отодвигался от костра.

Чувалов был хмур, но Егор не обращал на это внимания. Его занимал незнакомый начальник, и он все думал, не допустил ли где промашки.

— В Москве бывал когда, Егор Савельич?

— В Москве? — Егор не умел так быстро перестраиваться. — Чего там?

И Юрий Петрович с ходу поведал Егору печальную историю своей семейной жизни. Егор слушал, сокрушался, но

ему все время мешало смутное упоминание о Москве. Поэтому он и переспросил:

— Ну, дык, она-то в Москве?

— Эй, заговорщики, уху хлебать! — весело окликнул начальник.

Через неделю из Москвы пришел официальный вызов. Лесник водоохранного массива Егор Полушкин приглашался на Всесоюзное совещание работников лесного хозяйства за особые, видать, заслуги, поскольку в лесах ходил без году неделю.

— Слона погляжу, сынок, — сказал Егор.

— Слона глядеть — невелик прибыток, — проворчала Харитина. — Ты главный ГУМ погляди: люди денег собрали и список составили, кому чего нужно.

Никого на Егоровых проводах не было, только Яков Прокопыч. У того своя просьба:

— Докладывать придется — про лодочную станцию не забудь, товарищ Полушкин. Пригласи вежливо: мол, удобства, вода мягкая, лес с грибом. Может, кто из центра оживит нашу окрестность.

Совсем уж к поезду собрались — Марьца. Засветилась улыбкой еще сквозь двери:

— Ах, Егор Савельич, ах, Тинушка! В Москву ведь, не в область.

— Совершенно согласен, — сказал Яков Прокопыч.

Но не Яков Прокопыч Марьце сейчас был нужен. Она с Егора Полушкина, с бедоносца божьего, глаз масляных не сводила.

— Егор Савельич, батюшка, тайно я тебе кланяюсь. И от мужа тайно, и от сына тайно. Спаси ты нас, Христа ради. Угрозьк ведь Федора-то Ипатыча таскает. По миру ведь закруглить грозятся.

— Закон уважения требует, — строго сказал Яков Прокопыч.

Егор промолчал. А Марьца заплакала и сестре в плечо уткнулась.

— Пропадем!

— Скажи ты начальнику какому, Егор, — вздохнула Харитина. — Родня ведь. Не сторонние.

— А кто меня спросит? — нахмурился Егор. — Велико ли дело — лесник в Москву приехал.

Как ни плакала Марьца, как ни убивалась, ничего он больше не сказал. Взял чемодан — специально для Москвы самый большой купили, — попрощался, посидел перед выходом и пошел на вокзал. А Марьца домой побежала.

— Ну, что обронено? — спросил Федор Ипатович.

— Отказал он, Феденька. Гордый стал больно.

— Гордый? — И желваки по скулам забегали.— Ну, добро, если гордый. Добро.

А Егор сидел у окна в вагоне, и колеса стучали: в Москву! в Москву! в Москву!..

Но пока не в Москву, правда, а в областной центр, на пересадку. И как раз в это время из областного того центра другой поезд отходил: с Юрием Петровичем у вагонного окна. И колеса тут по-иному стучали: в Ленинград! в Ленинград! в Ленинград!..

20

Не обнаружив в областном городе Юрия Петровича, Егор сразу утратил всю гордость и сел в московский поезд очень растерянным. Правда, билет ему Чувалов взял заранее и оставил в гостинице, где Егору этот билет и вручили с сообщением, что сам Чувалов отбыл в неизвестном направлении.

Впервые Егор ехал в купейном вагоне, где из бережливости не стал брать постель. Попутчики попались солидные, о чем-то калякали, но Егор разговора не поддерживал. Он не получил последних напутственных указаний от Юрия Петровича, и ему было не до разговоров. И ночь почти не спал и мыкался на голом тюфяке, опасаясь ворочаться, чтобы никого не разбудить.

К утру он весь занемел и прибыл в столицу в окостенелом состоянии.

Однако его опасения оказались преждевременными: в Москве Егора встретили и определили в гостиницу.

— Вам, вероятно, придется выступить в прениях,— сказал встречавший его молодой человек, когда они прошли в номер.

— В чем?

— В прениях.— Молодой человек достал бумагу, положил на стол.— Мы подготовили для вас кое-какие тезисы. Ознакомьтесь.

— Ага,— сказал Егор.— А зоопарк далеко?

— Зоопарк? — недоверчиво переспросил молодой человек.— По-моему, метро «Краснопресненская». Завтра в десять утра ждем в министерстве.

— Загодя приду,— заверил Егор.

Встречавший ушел, а Егор, наскоро перекусив в буфете, расспросил, как проехать до станции «Краснопресненская», и не очень уверенно спустился на эскалаторе в метро.

В зоопарке он подолгу задерживался перед каждой клеткой, а перед слоновником замер. Вокруг менялись люди, приходили, смотрели, уходили, а Егор все стоял и стоял, сам себе не веря, что видит живого слона. Правда, слон этот не ходил по улицам, а стоял в крепко огражденном вольере, но вел себя свободно: обсыпался песком, фыркал и подбирал булки, что кидали ему дети через загородку. Егор следил за каждым движением слона, потому что очень хотел все запомнить и потом показать Кольке. Так следил, что даже служитель заинтересовался:

— Что, мужик, хороша скотинка?

— Это животная,— строго поправил Егор.

— Верно.— Служитель был пожилым, и Егор разговаривал с ним свободно.— Не боишься?

— А чего? Ты же не боишься?

— Ну, помоги тогда. Потом в деревне хвастать будешь, что слона кормил.

— Я в поселке живу.

— Все равно похвастаешься.

Служитель провел Егора в зимнее помещение, где стоял еще один слон, поменьше. Он вкусно хрюпал свеклу с морковкой и дважды вежливо обнюхал Егора черным крошечком хобота.

— Умная животная! — восторгался Егор.

Потом служитель провел Егора по зоопарку, рассказал, кого из зверей как и когда кормят. Сводил и в обезьянник, но там Егору не понравилось:

— Орут.

Они вместе пообедали в столовой для сотрудников и окончательно подружались. Егор рассказал о совещании, о поселке и особо о Черном озере.

— Раньше Лебяжьим называлось, а теперь — Черное.

— Вымирает живая красота,— вздыхал служитель.— Одни зоопарки скоро останутся.

— Зоопарк — это не то.

— Не то, ясное дело.

Егор ушел из зоопарка последним, когда ГУМы и ЦУМы были уже закрыты.

Подумал маленько, припомнил рассказ Юрия Петровича, упомянутый им адрес и узнал у милиционера, как ехать.

Он не очень представлял себе цель этого посещения, но потерянное лицо Чувалова упорно не уходило из памяти.

На девятый этаж он поднялся без лифта, поскольку пользоваться им не умел. На площадке отдышался, нашел квартиру, позвонил. Дверь открыла молодая длинноволосая женщина.

— Здравствуйте, — сказал Егор, загодя сняв кепку. — Мне бы Марину.

— Я Марина.

Длинноволосая глядела недобро, и разговор приходилось начинать через порог.

— Я к вам от Чувалова. От Юрия Петровича.

Она явно решала, как поступить, и Егору показалось, что решала со страхом.

— Так, — наконец сказала она и плотно прикрыла дверь, ведущую в комнаты. — Ну, проходите. На кухню.

Кепку повесить было некуда, и Егор прошел на кухню, держа ее в руке.

Хозяйка шла следом, наступая на пятки. Точно загоняла.

— Кто там, Мариночка? — донесся из комнат мужской голос.

— Это ко мне! — резко ответила длинноволосая, закрыв за собой и кухонную дверь. — Так в чем же дело?

Сесть она не предлагала, и это враз успокоило Егора.

— Еще у порога он не знал, как и что говорить, а теперь понял.

— В комнатах-то, поди, муженек обретается?

— А вам какое дело?

— Мне дела нет, а вот ему — не знаю.

— Угрожать пришли?

— Зачем же так-то? Я к тому, что вы, стало быть, устроились, а другому устроиться не даете. Хорошо ли?

— Да как вы смеете?..

— Смею уж, — негромко сказал Егор. — Хватит злом-то пыхать. Что он дурного-то сделал вам?

— Сделал, — усмехнулась она и закурила сигарету. — Объяснять бесполезно: если он до сих пор не понял, то вы и недавно.

— Растолкуйте, — сказал Егор и сел на маленькую красную табуретку. — Затем и пришел.

— Я вас выгоню сейчас отсюда, вот и все объяснения.

— Нет, не выгоните, — сказал Егор. — Раньше, может, и выгнали бы, а теперь побоитесь. Вы вон все двери за собой позакрывали, и, значит, семейством своим дорожите.

— Опять угрозы? Слушайте, мне надоело...

— Дали б водички, — вздохнул Егор. — В столовке селедки три порции съел — горю.

— Ух, нахалище! — Она достала из стенного шкафчика расписанную глиняную кружку, спросила через плечо: — Прикажете со льдом?

— Зачем? — удивился Егор. — Простой налей, колодезной.

— Колодезной... — Она шмякнула о стол кружкой, вода

плеснула через край.— Пейте и уходите. Чувалову скажите, что ребенок не его, пусть успокоится.

Егор неторопливо выпил невкусную московскую воду, помолчал.

Женщина стояла у окна, яростно дымя сигаретой и через плечо поглядывая на него колючими глазами.

— Что вам еще от меня нужно?

— Мне-то? — Егор посмотрел: и чего хорохорится девка? — Муж ведь он вам-то.

— Муж!.. — Она презрительно передернула плечами. — Пенек он лесной, ваш Чувалов.

— Ругать не ласкать: не скоро заморишься.

— Оскорбить женщину и даже не заметить — как это благородно!

— На оскорбить не похоже, — с сомнением сказал Егор. — Юрий Петрович — человек уважительный.

— Уважительный! — насмешливо повторила Марина. — Скажите честно, если женщина — ну, по минутной слабости, под настроение, по увлеченности, наконец, — перес... — она запнулась, — ну, переночует, у вас хватит соображения утром не совать ей деньги?

— Соображения у нас хватит. Денег у нас нет.

— Он тоже платил не наличными. Просто решил меня осчастливить и потащил ставить этот дурацкий штамп, не соизволив даже поинтересоваться, люблю ли я его.

— Что, силой штампы ставили-то?

— Ну зачем же... — Она вдруг улыбнулась. — Ну я дура, дура я была, легкокомысленная, это вам надо? Мне сначала даже понравилось: романтика! А потом опомнилась и сбежала.

— Сбежала, — сердито сказал Егор. — А штамп? От него куда сбежишь?

Длинноволосая растерянно промолчала, и Егору стало жаль ее. Разговор словно поменял их местами, теперь главным в этой кухне был он, и оба это понимали.

— Я паспорт потеряла, — виновато сказала она. — Может, и он так, а?

— Сама завралась и его врать учишь? С новым-то как живешь?

— Хорошо.

— Я не про то. Я про закон...

— Расписались.

— Ах ты, господи!..

Егор вскочил, пометался по кухне. Марина внимательно следила за ним, и во внимании этом была почти детская доверчивость.

— Хорошо, говоришь, живете?

— Хорошо.

— Зови его сюда.

— Что? — Она вдруг выпрямилась, вновь став холодно-надменной. — Вон отсюда. Немедленно, пока я милицию...

— Ну, зови милицию, — согласился Егор и опять уселся.

Марина отвернулась к окну, беспомощно повела опущенными плечами. Она плакала тихо, боясь мужа и стесняясь постороннего человека.

Егор посидел, повздыхал, а потом тронул ее за плечо:

— Узнают — хуже будет: закон ведь нарушен.

— Уходите! — почти беззвучно закричала она. — Зачем вы пришли, зачем? Ненавижу шантаж!

— Чего ненавидишь?

Она промолчала. Егор потоптался, помял кепку и пошел к дверям.

— Стойте!

Егор не остановился. Нарочно хлопнул кухонной дверью, услышал, как зло и беспомощно зарыдали у окна, и, выйдя в коридор, распахнул дверь в комнату.

У стола над чертежной доской страдал молодой парень. Он поднял на Егора спокойные глаза, моргнул, улыбнулся. Сказал неожиданно:

— Черчу, как проклятый. Диплом в сентябре защищать.

В противоположном углу в кровати спал ребенок. А парень с удовольствием потянулся и пояснил:

— Я на вечернем. Трудно!

То ли действительно тишина в комнате стояла, то ли оглох Егор враз на оба уха, а только слышал он жаркий перезвон стрекоз. Услышал, и снова сжала сердце тягостная жалость, снова подкатил к горлу знакомый ком, снова задрожал вдруг подбородок. И услышал еще Егор, как на кухне громко плакала Марина.

— Ну, давай, давай трудись, — сказал он парню и тихонько вышел из комнаты.

Егор поздно вернулся в гостиницу. Съел булку, что Харитина в чемодан сунула, попил водички и улегся. Кровать была непривычно мягкой, но он все никак не мог заснуть, все почему-то ворочался и вздыхал.

Утром он встал позже, чем рассчитывал. Умывшись, спустился в буфет, а там оказалась очередь, и он все боялся, что опоздает.

Кое-как, наспех проглотил завтрак и побежал в министерство, так и не заглянув в забытые на столе тезисы.

А вспомнил он об этих тезисах, когда услышал вдруг собственную фамилию:

— ...такие, как, например, товарищ Полушкин. Своим самозабвенным трудом товарищ Полушкин еще раз доказал, что нет труда нетворческого, а есть лишь нетворческое отношение к труду. Я не стану вам рассказывать, товарищи, как понимает свой долг товарищ Полушкин: он сам расскажет об этом. Я хочу только сказать...

Но Егор уже не слушал, что хотел сказать министр. Его враз кинуло в жар: бумажки-то остались на столе, и что в них было сказано, Егор и знать не знал, и ведать не ведал. Он кое-как дослушал доклад, похлопал вместе со всеми и, когда объявили перерыв, торопливо стал пробираться к выходу, надеясь сбежать в гостиницу. И уж почти добрался до дверей, но тут гулко покашляли в микрофон, и чей-то голос сказал:

— Товарища Полушкина просят срочно подойти к столу президиума. Повторяю...

— Это меня, что ль, просят? — спросил Егор у соседа, что вместе с ним толкался в дверях.

— Ну, если вы тот Полушкин...

— Ага! — сказал Егор и полез встречь людского потока.

За столом президиума уже не было министра, а сидел председатель да вокруг вертелись какие-то мужики. Когда Егор спросил, чего, мол, звали, они сразу зашебаршились, резво схватившись за аппараты.

— Несколько снимков. Повернитесь, пожалуйста.

Егор вертелся, как велено, с тоской думая, что время уходит напрасну. Потом долго отвечал на вопросы, кто, да откуда, да что удумал такое особенное. Поскольку он считал, что ничего еще не удумал, то и отвечал длиннее, чем требовали, и беседа затянулась: уж звонки прозвенели. Егора отпустили, но выйти он уже не смог, а сел на место, решив, что сбежать придется на втором перерыве.

Первый выступавший говорил складно и Егору понравился. Он хлопал дольше всех и опять чуть не упустил свою фамилию.

— Подготовиться товарищу Полушкину.

— Чего сказали-то?

— Подготовиться.

— Как это?

— Тише, товарищи! — недовольно зашумели сзади.

Егор примолк, лихорадочно соображая, как готовиться. Он мучительно припоминал нужные слова, взмок и пропустил половину выступления. Однако вторую половину расслы-

шал, и эта половина вызвала в нем такое несогласие, что он маленько даже успокоился.

— Нужны дополнительные законы,— говорил оратор, суровая от собственных слов.— Ужесточить требования. Карать...

Кого карать-то? Егор с неохотой — из вежливости — хлопал, а тут выкликнули:

— Слово предоставляется товарищу Полушкину.

— Мне? — Егор встал.— Мне бы потом, а? Я это... бумажки забыл.

— Какие бумажки?

— Ну, речь. Мне речь написали, а я ее на столе позабыл.

Вы погодите, я сбегаю.

Зал весело зашумел:

— Давай без бумажек!

— А кто написал-то?

— Смелей, Полушкин!

— Проходите к трибуне,— сказал председатель.

— Зачем проходить-то? — Егор все же вылез из ряда и пошел по проходу.— Я же говорю: сбегаю. Они... это... на столе.

— Кто они?

— Да бумажки. Написали мне, а я позабыл.

Хотали, слова заглушая. Но Егору было не до смеха. Он стоял перед сценой, виновато склонив голову, и вздыхал.

— А без чужих бумажек вы говорить не можете? — спросил министр.

— Ну, дык, поди, не то скажу.

— То самое. Проходите на трибуну. Смелее, товарищ Полушкин!

Егор нехотя поднялся на трибуну, поглядел на стакан, в котором пузыри бежали. Зал сразу стих, все смотрели на него, улыбались и ждали, что скажет.

— Люди добрые! — громко сказал Егор, и зал опять покотился со смеху.— Погодите ржать-то: я не «караул» кричу. Я вам говорю, что люди — добрые!

Замолчали все, а потом вдруг заплодировали. Егор улыбнулся.

— Погодите, не все еще сказал. Тут товарищ говорил, так я с ним не согласен. Он законов просил, а законов у нас хватает.

— Правильно! — сказал министр.— Только уметь надо ими пользоваться.

— Нужда научит,— сказал Егор.— Но я к тому, чтоб нужды такой не было. Этак-то просто: поставил солдат с ружьями и гуляй себе. Только солдат не наберешься.

И опять заплодировали. Кто-то крикнул:

— Вот дает товарищ!

— Вы мне не мешайте, я и сам собьюсь. Мы с вами при добром деле состоим, а доброе дело радости просит, а не угрюмства. Злоба злобу плодит, это мы часто вспоминаем, а вот что от добра добро родится, это не очень. А ведь это и есть главное!

Егор ни разу не выступал и поэтому не особо боялся. Велели говорить, он и говорил. И говорилось ему, как пелось.

— Вот сказали: делись, мол, опытом. А зачем им делиться? Чтоб обратно у всех одинаковое было, да? Да какой же в этом нам прок? Это у баранов и то шерсть разная, а уж у людей — сам бог велел. Нет, не за одинаковое нам драться надо, а за разное, вот тогда и выйдет радостно всем.

Слушали Егора с улыбками, смехом, но и с интересом: слово боялись проворонить. Егор это чувствовал и говорил с удовольствием:

— Но радости покуда наблюдается мало. Вот я при Черном озере состою, а раньше оно Лебяжьим называлось. А сколько таких Черных озер по всей стране нашей замечательной — это ж подумать страшно! Так вот, надо бы так сотворить, чтобы они обратно звонкими стали: Лебяжьими или Гусиными, Журавлиными или еще как, а только чтоб не Черными, мил дружки вы мои хорошие. Не Черными — вот какая наша забота!

Снова заплодировали, зашумели. Егор покосился на стакан, что поставили ему, и, поскольку вода в том стакане перестала пузыриться, хлебнул. И сморщился: соленая была вода.

— Все мы в одном доме живем, да не все хозяева. Почему такое положение? А путают. С одной стороны вроде учат: природа — дом родной. А что с другой стороны имеем? А имеем покорение природы. А природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку.

Все захлопали. Егор махнул рукой, пошел с трибуны, но вернулся:

— Стойте, поручение забыл. Если кто тем летом насчет туризма хочет, так к нам давайте. У нас и гриб, и ягода, и Яков Прокопыч с лодочной станцией. Распишем лодочки: ты — на гусенке, а я — на поросенке: ну-ка, догоняй!

И под общий смех и аплодисменты пошел на свое место.

Два дня шло совещание, и два дня Егора поминали с трибуны. Кто в споре: какое, мол, тебе добро, когда леса стонут? Кто в согласии: хватит, мол, покорять, пора огля-

нуться. А министр напоследок особо остановился насчет того, чтоб обратно превратить Черные озера в живые и звонкие, и назвал это почином товарища Полушкина. А потом Егора наградили Почетной грамотой, похвалили, уплатили командировочные и выдали билет до дома.

С этим билетом Егор и пришел в гостиницу. Ехать надо было завтра, а сегодняшний день следовало провести в бегах по ГУМам и ЦУМам. Егор посмотрел список вещей, что просили купить, пересчитал деньги, полюбовался грамотой и поехал в зоопарк.

Там долго ничего понять не могли. Пришлось до главного дойти, да и тот удивился:

— Каких лебедей? Мы не торгующая организация.

— Я бы и сам словил, да где? Говорю же, Черное у нас озеро. А было Лебяжье. Министр говорит: почин, мол, полушкинский — мой, значит. А раз почин мой, так мне и начинать.

— Так я же вам объясняю...

— И я вам объясняю: где взять-то? А у вас их полон пруд. Хоть в долг дайте, хоть за деньги.

Егор говорил и сам удивлялся: сроду он так с начальниками не разговаривал. А тут и слова нашлись и смелость — свободу он в душе своей чувствовал.

Весь день спорили. К какому-то начальству ездили, какие-то бумажки писали. Столковались, наконец, и выделили Егору две пары шипунов; избили и исщипали они Егора до крови, пока он их в клетку запикивал. Потом на вокзал кинулся, а там тоже морока. И там упрашивал, и там бумажки писал, и там уговорил. В багажном вагоне при сопровождающем.

Полтора дня метался да хлопотал, а про ГУМ с ЦУМом только у поезда и вспомнил. Да и то зря: денег на ГУМы не осталось, все в лебедей пошло. Купил Егор прямо на вокзале что под руку попало, залез в багажный вагон, пожевал булки с колбасой, а тут и поехали. И лебеди закликали в клетках, зашумели. А Егор лег на ящик, укрылся пиджаком и заснул.

И приснились ему слоны...

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Егор стоял перед Харитиной, виновато склонив голову. В больших ящиках по-змеиному шипели лебеди.

— У людей мужики так уж добытки так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!

— Крылья им подрезать велели,— вдруг встрепенулся Егор.— Чтоб на юг не утекли.

Заплакала Харитина. От стыда, от обиды, от бессилия. Егор за ножницами побежал — крылья резать. А Федор Ипатович в доме своем со смеху покатывался:

— Ну, бедоносец чертов! Ну, бестолочь! Ну, экземпляр!

Все над Егором потешались: надо же, заместо ГУМов с ЦУМами лебедей приволок! В долги влез, людей обманул, жену обидел. Одно слово — бедоносец.

Только Яков Прокопыч не смеялся. Серьезно одобрил:

— Привлекательность для туризма.

А Кольке было не до смеху. Пока тятка его в Москве слонами любовался, дяденьку Федора Ипатовича уж трижды к следователю вызывали. Федор Ипатович по этому случаю Кодекс купил, наизусть выучил и так сказал:

— Видать, дом отберут, Марья. К тому клонится.

Марьяца в голос взвыла, а Вовка затрясся и щенка побежал топить. Еле-еле Колька умолил его, да и то временно:

— Коли выселят — назло утоплю!

Сказал — как отрезал. И сомнения не осталось: утопит. А тут еще Оля Кузина заважничала чего-то, дружить с ними перестала. Все с девчонками вертелась, какие постарше, и на Кольку напраслину наговаривала. Будто он за нею бегаёт.

А Егор на другой день к озеру подался. Домики лебедям построил, а тогда и лебедей выпустил. Они сперва покричали, крыльями подрезанными похлопали, подрались даже, а потом успокоились, домики поделили и зажили двумя семействами в добром соседстве.

Устроив птиц, Егор надолго оставил их: ходил по массиву, клеймил сухостой для школы. А директору напилил лично не только потому, что уважал ученых людей, но и для разговора.

Разговор состоялся вечером у самовара. Жену — докторшу, что столько раз Кольку йодом мазала,— к роженице вызвали, и директор хлопотал сам.

— Покрепче, Егор Савельич?

— Покрепче.— Егор взял стакан, долго размешивал сахар, думал.— Что же нам с Нонной-то Юрьевной делать, товарищ директор?

— Да, жалко. Хороший педагог.

— Вам — педагог, мне — человек, а Юрию Петровичу — зазноба.

То, что Нонна Юрьевна для Чувалова — зазноба, для директора было новостью. Но вида он не подал, только что бровями шевельнул.

— Официально разве вернуть?

— Официально — значит через «не хочу». Нам годится, а Юрию Петровичу — вразрез.

— Вразрез, — согласился директор и пригорюнился.

— Видно, ехать придется, — сказал Егор, не дождавшись от него совета. — Вот зазимует, и поеду. А вы письмо напишите. Два.

— Почему два?

— Одно — сейчас, другое — погода. Пусть свыкнется. Свыкнется, а тут я прибуду, и решать ей придется.

Директор подумал и принялся за письмо. А Егор неторопливо курил, наслаждаясь уютом, покоем и директорским согласием. И оглядывался: сервант под орех, самодельные полки, книги навалом. А над книгами картина.

Егор даже встал, углядел ее. Красным полыхала картина та. Красный конь топтал иссиня-черную тварь, а на коне том сидел паренек и тыкал в тварь палкой.

Вся картина горела яростью, и конь был необыкновенно гордым и за эту необыкновенность имел право быть неистово красным. Егор и сам бы расписал его красным, если б случилось ему такого коня расписывать, потому что это был не просто конь, не сивка-бурка — это был конь самой Победы. И он пошел к этому коню как замороженный — даже на стул наткнулся.

— Нравится?

— Какой конь! — тихо сказал Егор. — Это ж... Пламя это. И парнишка на пламени том.

— Подарок, — сказал директор, подойдя. — И символ прекрасный: борьба добра со злом, очень современно. Это Георгий Победоносец. — Тут директор испуганно покосился на Егора, но Егор по-прежнему строго и уважительно глядел на картину. — Вечная тема. Свет и тьма, добро и зло, лед и пламень.

— Тезка, — вдруг сказал Егор. — А меня в поселке бедоносцем зовут. Слышали, поди?

— Да. — Директор смутился. — Знаете, в наших краях прозвище...

— Я-то чего думал? Я думал, что меня потому бедоносцем зовут, что я беду приношу. А не потому зовут-то, оказывается. Оказывается, не под масть я тезке-то своему, вот что оказывается.

И сказал он это с горечью, и всю дорогу конь этот перед глазами его маячил. Конь и всадник на том коне.

— Не под масть я тебе, Егор Победоносец. Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

А лебеди были белыми-белыми. И странная горечь, которую испытал он, открыв для себя собственное несоответствие, рядом с ними вскоре растаяла без следа.

— Красота! — сказал Юрий Петрович, навестив Егора.

Птицы плавали у берега. Егор мог часами смотреть на них, испытывая незнакомое доселе наслаждение.

Он уже побегал по лесу, выискал пару коряг, и еще два лебеда гнули шеи возле его шалаша.

— Тоскуют, — вздохнул Егор. — Как свои пролетают — кричат. Аж сердце лопается.

— Ничего, перезимуют.

— Я им сараюшку уделаю, где кабанчик жил. Ледок займется — перевезу.

Юрий Петрович ничего на это не ответил. Нонна Юрьевна возвращаться отказалась, как он ни упрасивал ее там, в Ленинграде, и Чувалов разучился улыбаться.

— Ну, Юрий Петрович, пишите заявление, чтоб озеро обратно Лебяжьим звали.

— Напишу, — вздохнул Чувалов.

Юрий Петрович, невесело приехав, невесело и уехал. А Егор остался: невдалеке от его участка дорогу прокладывали, и он беспокоился насчет порубок. Но на заповедный лес никто не покушался: Филя с Черепком на строительство дороги подались. Черепок матерые сосны с особым наслаждением рвал: любил взрывчаткой баловаться. С войны еще, с партизанщины.

Потом, однако, заглохли и дальние взрывы, и рев машин: дорога в поля ушла, и рвать стало нечего. Но Егору не хотелось уходить из обжитого шалаша, по обе стороны которого гордо гнули шеи деревянные лебеди.

Осень у крыльца уж бубенцами звенела. Она темной выдалась, дождливой и выжила-таки Егора с озера. Он перебрался в дом, сперва наведывался к лебедям ежедневно, потом стал ходить пореже. Да и сараюшку уделать требовалось: по утрам уж ледок похрустывал.

А та ночь на диво разбойной была. Тучи чуть за ели не цеплялись, косило из них дождем без передыху, а ветер гулял — аж сосны стонали. Накануне Егор прихворнул маленько, баньку парную принял, чайку с малиной — спать бы ему да спать. А он тревожился: как лебеди там? Надо бы перевезти — уж и сараюшка почти готова, — да расхворался некстати. Ворочался, жег Харитину то спиной, то боком, а к полуночи оделся и вышел покурить.

Чуть вроде затишело: и лес шумел поласковее, и дождик

не сек — моросил только. Егор скрутил сигарку, пристроился на крылечке, прикурил — ударило вдруг за дальним лесом. Тяжко ударило, и он сперва подумал, что гром, да какой мог быть гром темной осенью? И, еще не поняв, что́ это ударило, что за гул принесло мокрым ветром, вскочил и побежал кобылу седлать.

Ворота скрипучими были, и на скрип тот Харитина взглянула, в одной рубашке, грудь прикрывая.

— Ты что это удумал, Егор! Жар ведь у тебя.

— На озеро съезжу, Тинушка,— сказал Егор, выводя со двора сонную кобылу.— Непокойно мне что-то. Да и Колька давеча про туриста говорил.

А Колька вчера дяденьку сивого у магазина встретил. Того, что муравейник поджигал.

— А, малец!

— Здравствуйте,— сказал Колька и убежал.

Водку сивый тот нес. Целую авоську: в дырки горлышки торчали. Колька об этом отцу и рассказал.

Не удержала его тогда Харитина, и гнал Егор казенную кобылку сквозь осеннюю темь. Знала бы, поперек дороги бы легла, а не зная, ругнула только:

— Да куда же понесло-то тебя, бедоносец божий?

Такими были ее последние слова. Неласковыми. Как жизнь.

Второй раз ударило, когда Егор полпути миновал. Гулко и далеко разнесло взрыв по сырому воздуху, и Егор понял, что рвут на Черном озере. И подумал о лебедях, что подплывали на людские голоса, доверчиво подставляя крутые шеи.

Гнал Егор старую кобылу, бил каблуками по ребрам, но бежала она плохо, и он в нетерпении соскочил с нее и побежал вперед. А кобыла бежала следом и жарко дышала в спину. Потом отстала: сил у нее Егоровых не было, даром что лошадь.

Издадека он костер углядел: сквозь мокрые еловые лапы. У костра фигуры виднелись, а с берега и голос донесся:

— Под кустами смотри: вроде щука.

— Темно-о!..

Егор бежал напрямик, ломая валежник. Ветки хлестали по лицу, сердце в горле билось, и трясло его.

— Стой! — закричал он еще в кустах, в темноте еще.

Вроде замерли у костра. Егор хотел снова крикнуть, да дыхания не хватило, и выбежал он к костру молча. Стал, хватая ртом воздух, в миг какой-то успел увидеть, что над огнем вода в кастрюльке кипит, а из воды две лебединые лапы выглядывают. И еще троих лебедей увидел— подле. Бе-

лых, еще не ошипанных, но уже без голов. А в пламени пятый его лебедь сгорал: деревянный. Черный теперь, как озеро.

— Стой...— шепотом сказал он.— Документ давайте.

Двое у костра стояли, но лиц он не видел. Один сразу шагнул в темноту, сказав:

— Лесник.

Шумел ветер, булькала вода в кастрюле, да трещал, догорая, деревянный лебедь. И все покуда молчали.

— Документы,— пересохшим горлом повторил Егор.— Задерживаю всех. Со мной пойдете.

— Вали отсюда,— негромко и лениво сказал тот, что остался у костра.— Вали, пока добрые. Ты нас не видел, мы тебя не знаем.

— Я в доме своем,— задыхаясь, сказал Егор.— А вы кто есть, мне неизвестно.

— Вали, говорю.

С озера опять донесся веселый плеск и голос:

— Хорош навар! Пуда полтора...

— Рыбу глушите,— вздохнул Егор.— Лебедей поубивали. Эх, люди!..

В темноте возник силуэт.

— Продрог, растудит твою. Сейчас водочки бы хватануть, хозяин...

Замолчал, увидев Егора, и в тень отступил. И еще кто-то у берега стучал веслами. И четвертый где-то прятался, не появляясь больше в освещенном круге.

— Чего ему тут надо?— спросил тот, что в тень отступил.

— По шее.

— Это мы можем.

— Документы,— упрямо повторил Егор.— Все равно не уйду. До самой станции идти за вами буду, пока милиции не сдам.

— Не страшай,— сказали в темноте.— Не ясный день.

— Он не страшает,— сказал первый.— Он цену набивает. Точно, мужик? Ну как, сойдемся? Пол-литра у костра да четвертной в зубы — и гуляй, Вася.

— Документы,— устало вздохнул Егор.— Задерживаю всех.

Он весь горел сейчас, в голове шумело, и противно слабели колени. Очень хотелось сесть, погреться у огня, но он знал, что не сядет и не уйдет отсюда, пока не получит документов.

Еще один, насвистывая, шел от берега. Двое о чем-то шептались, а четвертого не было: прятался.

— Полсотни,— сказал первый.— И заворачивай гужи.
— Документы. Задерживаю всех. За нарушения.
— Ну, гляди,— угрожающе сказал первый.— Не хочешь миром — ходи в соплях.

Он наклонился к кастрюле, потыкал ножом в лебедя. Второй пошел к озеру, навстречу тому, что насвистывал.

— Зачем же лебедей-то? — вздохнул Егор.— Зачем? Они ведь украшение жизни.

— Да ты поэт, мужик.

— Собирайтесь. Время позднее, идти не близко.

— Дурак! Дай ему по мозгам.

Какнули за спиной, и тяжелая жердь, скользя по уху, с хрустом обрушилась на плечо. Егор качнулся, упал на колени.

— Не смей! Нельзя меня бить: я законом поставлен! Документы требую! Документы...

— Ах, документы тебе?..

Еще и еще раз обрушилась жердь, а потом Егор перестал уж и считать-то удары, а только ползал на дрожащих, подламывающихся руках. Ползал, после каждого удара утыкаясь лицом в мокрый, холодный мох, и кричал:

— Не смей! Не смей! Документы давай!

— Документы ему!..

И уже не одна, а две жердины гуляли по Егоровой спине, и чей-то тяжелый сапог упорно бил в лицо. И кто-то кричал:

— Собаку на него! Собаку!

— Куси его! Куси! Цапай!

Но собака не брала Егора, а только выла, страшась крови и людской злобы. И Егор уже не кричал, а хрипел, выплевывая кровь, а его все били и били, озлобляясь от ударов. Егор уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал.

— Брось, Леня, убьем еще.

— У, гад!..

— Оставь, говорю! Сматываться пора. Забирай рыбу, хозяин, да деньгу гони, как сговорено.

Кто-то с оттяжкой, изо всей силы ударил сапогом в висок, голова Егора дернулась, закачалась на мокром от дождя и крови мху — и бросили. Пошли к костру, возбужденно переговариваясь. А Егор поднялся, страшный, окровавленный, и, шлепая разбитыми губами, прохрипел:

— Я законом... Документы...

— Ну, получи документы!

Кинулись и снова били. Били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, а он только вздрагивал щуплым, раздавленным телом. Редко вздрагивал.

Нашли его на другой день уже к вечеру на полпути к

дому. Поддороги он все же прополз, и широкий кровавый след тянулся за ним от самого Черного озера. От кострища, разоренного шалаша, птичьих перьев и обугленного деревянного лебедя. Черным стал лебедь, нерусским.

На второй день Егор пришел в себя. Лежал в отдельной палате, еле слышно отвечал на вопросы. А следовательно все время переспрашивал, потому что не разбирал слов: и зубов у Егора не было, и сил, и разбитые губы шевелиться не желали.

— Неужели ничего не можете припомнить, товарищ Полушкин? Может быть, мелочь какую, деталь? Мы найдем, мы общественность поднимем, мы...

Егор молчал, серьезно и строго глядя в молодое, пышущее здоровьем и старательностью лицо следователя.

— Может быть, встречались с ними до этого? Припомните, пожалуйста. Может быть, знали даже?

— Не знал бы — казнил,— вдруг тихо и внятно сказал Егор.— А знаю — и милую.

— Что? — Следователь весь вперед подался, напрягся весь.— Товарищ Полушкин, вы узнали их? Узнали? Кто они? Кто?

Егору хотелось, чтобы следователь поскорее ушел. После уколов боль отпустила, и ласковые, неторопливые думы уже проплывали в голове, и Егору было приятно встречать их, разглядывать и вновь провожать куда-то. Он вспомнил себя молодым, еще в колхозе, и увидел себя молодым: председатель за что-то хвалил его и улыбался, и молодой Егор улыбался в ответ. Вспомнил переезд свой сюда и петуха вспомнил и тотчас же увидел его. Вспомнил веселых гусенков-поросенков, гнев Якова Прокопыча, туристов, утопленный мотор, а зла в душе ни к кому не было, и он улыбался всем, кого видел сейчас, даже двум пройдохам у рынка. И, улыбаясь так, он как-то очень просто, тихо подумал, что прожил свою жизнь в добре, что никого не обидел и что помирать ему будет легко. Совсем легко — как уснуть.

Но додумать этого ему не дали, потому что нянечка голову из коридора в комнату сунула и сказала, что очень уж к нему просятся, что, может, позволит он: уж больно человек убивается. Егор моргнул в ответ: она из щели исчезла, а дверь отворилась, и вошел Федор Ипатович.

Он вошел неуклюже, бочком, будто нес что-то и боялся расплескать. Потоптался у порога, то поднимая, то вновь пряча глаза, позвал:

— Егор, Егорушка.

— Садись.— Егор с трудом разлепил губы.

Федор Ипатович присел на краешек, покачал головой

горестно. Будто и донес ношу, а сбросить ее не мог и страдал от этого. И Егор знал, что он страдает, и знал почему.

— Живой ты, Егор?

— Живой.

Федор Ипатович вновь завздохал, заскрипел табуреткой, а потом вытащил из-под полы халата пузатую бутылку.

Долго откручивал пробку корявыми, непослушными пальцами, и пальцы эти дрожали.

— Ты не страшись, Федор Ипатыч.

— Что? — вздрогнул Бурьянов, глаза расширя.

— Не страшись, говорю. Жить не страшись.

Гулко сглотнул Федор Ипатович. На всю палату. Взял с тумбочки стакан, налил из бутылки что-то желтое, пахучее.

— Выпей, Егорушка, а? Сглотни.

— Не надо.

— Хоть глоточек, Егор Савельич. Двадцать пять рубликов бутылочка, не для нас сварено.

— Не для нас, Федор.

— Ну выпей, Савельич, выпей. Облегчи ты мне душу-то, облегчи!

— Нету во мне зла, Федор. Покой есть. Ступай домой.

— Да как же, Савельич...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак.

Федор Ипатович всхлипнул, тихо поставил стакан и встал.

— Только прости ты меня, Егор.

— Простил. Ступай.

Федор Ипатович покачал большой головой, постоял еще маленько, шагнул к дверям.

— Пальму не стрели,— вдруг сказал Егор.— Что не взяла она меня, в том вина ее нет. Меня собаки не берут, слово я собачье знал.

Федор Ипатович тяжело и медленно шел коридором больницы. В правой руке он нес початую бутылку, и дорогой французский коньяк выплескивался на пол при каждом его шаге. По небритому, черному лицу его текли слезы. Одна за другой, одна за другой.

А Егор опять закрыл глаза, и опять мир широко раздвинулся перед ним, и Егор перешагнул боль, печаль и тоску. И увидел мокрый от росы луг и красного коня на этом лугу. И конь узнал его и заржал призывно, приглашая сесть и скакать туда, где идет нескончаемый бой и где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгает зло.

Вот. А Колька Полушкин все-таки отдал спиннинг за шелудивого щенка с надорванным ухом. Видно, ему тоже снился красный отцовский конь.

От автора

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. Она зовет меня негромко и застенчиво, и я сажусь в поезд и через три пересадки еду в далекий поселок.

Мы гуляем с Колькой и Цуциком по улицам, заходим на лодочную станцию, и Яков Прокопыч дает нам лучшую лодку. А вечером пьем с Харитиной чай, глядим на Почетную грамоту и вспоминаем Егора.

Яков Прокопыч стал говорить еще учнее, чем прежде. Черепок попал под Указ, а Филя по-прежнему немного шабашит и много пьет. Каждую весну на второй день Пасхи он идет на кладбище и заново красит жестяной Егоров обелиск.

— Погоди, Егор. Черепок вернется, мы тебе памятник отгрохаем. Полмесяца шабашить будем, глотки собственные перевяжем, а отгрохаем.

Федор Ипатович Бурьянов уехал со всем семейством. И не пишут. Дом у них отобрали; там теперь общежитие. Петуха уже нет, а Пальму Федор Ипатович все-таки пристрелил.

К Черному озеру Колька ходить не любит. Там другой лесник, а Егоровы зайцы да белки постепенно заменяются обыкновенными осиновыми столбами. Так-то проще. И понятнее.

На обратном пути я непременно задерживаюсь у Чуваловых. Юрий Петрович получил квартиру, но места все равно мало, потому что в большой комнате расчесывает волосы белая дева, вытесанная когда-то Егором одним топором из старой липы. И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее свой большой живот.

А Черное озеро так и осталось Черным. Должно быть, теперь уж до Кольки...



**В списках
НЕ
значился**

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

Часть первая

1

За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало в последние три недели. Приказ о присвоении ему, Николаю Петровичу Плужникову, воинского звания он ждал давно, но вслед за приказом приятные неожиданности посыпались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от собственного смеха.

После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в вещевой склад. Нет, не в общий, курсантский, а в тот, заветный, где выдавались немислимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупей, негнущиеся кобуры, командирские сумки с гладкими, лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки из строгой диагонали. А потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование и в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный эмалированный абажур.

Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал «Удостоверение личности командира РККА» и увесистый ТТ. Безусые лейтенанты оглушительно выкрикивали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на банкете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести счета со старшиной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот — самый прекрасный из всех вечеров — начался и закончился торжественно и красиво.

Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он хрустит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хрустит свежей кожей портупей, необмятым обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, который за эту особенность мальчишки тех лет запросто называли «хрустом».

Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после банкета, вчерашние курсанты явились с девушками. А у Коли девушки не было, и он, запинаясь, пригласил библиотечаршу Зою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво: «Не знаю, не знаю...», но пришла. Они танцевали, и Коля от жгучей застенчивости все говорил и говорил, а так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. Зоя сначала поддакивала, а в конце обидчиво оттопырила неумело покрашенные губы:

— Уж больно вы хрустите, товарищ лейтенант.

На училищном языке это означало, что лейтенант Плужников задается. Тогда Коля так это и понял, а придя в казарму, обнаружил, что хрустит самым натуральным и приятным образом.

— Я хрущу, — не без гордости сообщил он своему другу и соседу по койке.

Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня, и ночи в училище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать.

— Хрусти себе на здоровье, — сказал друг. — Только, знаешь, не перед Зойкой: она — дура, Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной из взвода боепитания.

Но Коля слушал вполуха, потому что изучал хруст. И хруст этот очень ему нравился.

На следующий день ребята стали разъезжаться: каждому полагался отпуск. Прощались шумно, обменивались адресами, обещали писать и один за другим исчезали за решетчатыми воротами училища.

А Коле проездные документы почему-то не выдавали (правда, езды было — всего ничего: до Москвы). Коля подождал два дня и только собрался идти узнавать, как дневальный закричал издали:

— Лейтенанта Плужникова к комиссару!..

Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Чиркова, выслушал доклад, пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы.

— Я не курю, — сказал Коля и начал краснеть: его вообще кидало в жар с легкостью необыкновенной.

— Молодец, — сказал комиссар. — А я, понимаешь, все никак бросить не могу, не хватает у меня силы воли.

И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заговорил вновь:

— Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их два года

и соскучились. И отпуск вам положен.— Он помолчал, вылез из-за стола, прошелся, сосредоточенно глядя под ноги.— Все это мы знаем и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам... Это — не приказ, это — просьба, учтите, Плужников. Приказывать мы вам уже права не имеем...

— Я слушаю, товарищ полковой комиссар.— Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведку, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать: «Да!..»

— Наше училище расширяется,— сказал комиссар.— Обстановка сложная, в Европе — война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим имуществом разобраться. Принять его, оприходовать...

И Коля Плужников остался в училище на странной должности «куда пошлют». Весь курс его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог. И писал всякие докладные.

Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо, от подъема до отбоя и без выходных, получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины.

В июне народу в училище осталось мало: почти все уже выехали в лагерь. Обычно Коля ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами, но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его... приветствуют. Приветствуют по всем правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия.

Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шел прямо на группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед собой, а уши росли и росли, улавливая осторожный шепот:

— Командир...

И, уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение вероятной озабоченности...

— Здравствуйте, товарищ лейтенант.

Это было на третий вечер: носом к носу — Зоя. В теплых

сумерках холодком сверкали белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не было. И этот живой трепет был особенно пугающим.

— Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант. И в библиотеку вы больше не приходите...

— Работа.

— Вы при училище оставлены?

— У меня особое задание,— туманно сказал Коля.

Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону. Зоя говорила и говорила, беспрерывно смеясь; он не улавливал смысла, удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не утратило ли его обмундирование романтического похрустывания, повел плечом, и португеза тотчас же ответила тугим благородным скрипом...

— ...жутко смешно! Мы так смеялись, так смеялись... Да вы не слушаете, товарищ лейтенант.

— Нет, я слушаю. Вы смеялись.

Она остановилась: в темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме этой улыбки.

— Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась?..

— Нет,— шепотом ответил он.— Просто... Не знаю. Вы ведь замужем.

— Замужем?..— Она шумно засмеялась: — Замужем, да? Вам сказали? Ну, и что же, что замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка...

Каким-то образом он взял ее за плечи. А может быть, и не брал, а она сама так ловко повела ими, что его руки оказались вдруг на ее плечах.

— Между прочим, он уехал,— деловито сказала она.— Если пройти по этой аллейке до забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля, правда?..

Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллеяного сумрака, наплыло и сказала:

— Извините.

— Товарищ полковой комиссар! — отчаянно крикнул Коля, бросившись за шагнувшей в сторону фигурой.— Товарищ полковой комиссар, я...

— Товарищ Плужников? Что же это вы девушку оставили? Ай, ай.

— Да, да конечно! — Коля метнулся назад, сказал то-ропливо: — Зоя, извините. Дела. Служебные дела.

Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво

забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна нестандартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна... Комиссар слушал-слушал, а потом спросил:

— Это что же, подруга ваша была?

— Нет, нет, что вы! — испугался Коля. — Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя, из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и...

И замолчал, чувствуя, что краснеет: он очень уважал добродушного пожилого комиссара и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя.

— Это хорошо, что документацию вы не запускаете: мелочи в нашей военной жизни играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной Армии, не можем. Не можем, допустим, пройтись с замужней женщиной, потому что мы на виду, мы обязаны всегда, каждую минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это понимаете... Завтра, товарищ Плужников, в одиннадцать тридцать прошу прибыть ко мне. Поговорим о вашей дальнейшей службе, может быть, пройдем к генералу.

— Есть...

— Ну, значит, до завтра. — Комиссар подал руку, задержал, сказал тихо: — А книжку в библиотеку придется вернуть, Коля. Придется!..

Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом, словно девушка — встречи с первой любовью. Он встал задолго до подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и начистил все пуговицы. В комсоставской столовой — Коля чудовищно гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду, — он ничего не мог есть, а только выпил три порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к комиссару.

— А, Плужников, здорово! — Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Горобцов — бывший командир Колиного учебного взвода, — тоже начищенный, выутюженный и затянутый. — Как делишки? Закругляешься с портяночками?

Плужников был человеком обстоятельным и поэтому по-

ведал о своих делах все, втайне удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил с намеком:

— Вчера товарищ полковой комиссар меня тоже о делах расспрашивал. И велел...

— Слушай, Плужников, — понизив голос, вдруг перебил Горобцов. — Если тебя к Величко будут сватать, ты не ходи. Ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служим, сработались...

Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но — второго, и вечно спорил с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, распахнулась дверь комиссарского кабинета и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант Величко.

— Роту дали, — сказал он Горобцову. — Желаю того же!

Горобцов вскочил, привычно одернул гимнастерку, согнав одним движением все складки назад, и вошел в кабинет.

— Привет, Плужников, — сказал Величко и сел рядом. — Ну, как дела, в общем и целом? Все сдал и все принял?

— В общем, да. — Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше:

— Коля, будут предлагать — просись ко мне. Я там несколько слов сказал, но ты, в общем и целом, просись.

— Куда проситься?

Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и Величко с Колей вскочили. Коля начал было «по вашему приказанию...», но комиссар не дослушал:

— Идем, товарищ Плужников, генерал ждет. Вы свободны, товарищи командиры.

К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озадаченного Колю одного.

До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и личное оружие, которое так приятно оттягивало бок. Была, правда, еще одна встреча, но Коля о ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл.

Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля — еще гражданский, но уже стриженный под машинку — вместе с другими стриженными только-только прибыл с вокзала в училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина (тот самый, которого они порывались отлупить после банкета) приказал всем идти в баню. Все и пошли —

еще без строя, гуртом, громко разговаривая и смеясь,— а Коля замешкался, потому что натер ногу и сидел босиком. Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом; Коля вскочил, хотел было кинуться следом, но тут его вдруг окликнули:

— Куда же вы, молодой человек?

Сухонький, небольшого роста генерал сердито смотрел на него.

— Здесь армия, и приказы в ней исполняются беспрекословно. Вам приказано охранять имущество, вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменят приказ.

Приказа Коле никто не давал, но Коля уже не сомневался, что приказ этот как бы существовал сам собой. И поэтому, неумело вытянувшись и сдавленно крикнув: «Есть, товарищ генерал!», остался при чемоданах.

А ребята, как на грех, куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они получили курсантское обмундирование, и старшина повел их в портняжную мастерскую, чтобы каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени, а Коля покорно стоял возле никому не нужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял склад с боеприпасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли двое хмурых курсантов, получивших внеочередные наряды за вчерашнюю самоволку.

— Не пушу! — закричал Коля. — Не смейте приближаться!..

— Чего? — довольно грубо поинтересовался один из штрафников. — Вот сейчас дам по шее...

— Назад! — воодушевленно заорал Плужников. — Я — часовой! Я приказываю!..

Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля и ему не подчинился и потребовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, то стали выяснять, кто назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать отказался и шумел до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка подействовала, но, сдав пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не знал, а когда разобрались, баня уже закрылась, и Коле пришлось еще сутки прожить штатским человеком, но зато навлечь на себя мстительный гнев старшины...

И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и отчаянно трусил, потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских

событиях. А поверив, не мог не бояться глаз, совсем еще недавно видевших настоящих фашистов и настоящие бои.

Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар поманил его пальцем. Коля поспешно одернул гимнастерку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие портьеры.

Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как надеялся. Генерал выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него, надел очки (Коля чрезвычайно расстроился, увидев эти очки!..) и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку: Коля еще не знал, что именно так выглядит его, лейтенанта Плужникова, «Личное дело».

— Все пятерки — и одна тройка? — удивился генерал. — Отчего же тройка?

— Тройка по матобеспечению, — сказал Коля, густо, как девушка, покраснев. — Я пересдам, товарищ генерал.

— Нет, товарищ лейтенант, поздно уже, — усмехнулся генерал.

— Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей, — негромко сказал комиссар.

— Угу, — подтвердил генерал, снова погружаясь в чтение.

Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как старому знакомому. Коля в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую переносицу.

— А вы, оказывается, отлично стреляете? — спросил генерал. — Призовой, можно сказать, стрелок.

— Честь училища защищал, — подтвердил комиссар.

— Прекрасно. — Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки. — У нас есть к вам предложение, товарищ лейтенант.

Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности уполномоченного по портянкам он уже не надеялся на разведку.

— Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода, — сказал генерал. — Должность ответственная. Вы какого года?

— Я родился двенадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать второго года! — отбарабанил Коля.

Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно, предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной, но Коля не мог вот так, вдруг вскочить и заорать: «С удовольствием,

товарищ генерал!» Не мог потому, что командир — он был твердо убежден в этом — становится настоящим командиром, только послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать ими. А он хотел стать таким командиром и поэтому пошел в общеармейское училище, когда все бредили авиацией или, на крайний случай, танками.

— Через три года вы будете иметь право поступать в академию, — продолжал генерал. — А судя по всему, вам следует учиться дальше.

— Мы даже предоставим вам право выбора, — улыбнулся комиссар. — Ну, в чью роту хочешь: к Горобцову или к Величко?

— Горобцов ему, наверно, надоел, — усмехнулся генерал.

Коля хотел сказать, что Горобцов совсем ему не надоел, что он отличный командир, но все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается. Ему нужна часть, бойцы, потная лямка взводного — все то, что называется коротким словом «служба». Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал краснеть.

— Можете закурить, товарищ лейтенант, — сказал генерал, пряча улыбку. — Покурите, обдумайте предложение...

— Не выйдет, — вздохнул полковой комиссар. — Не курит он, вот незадача.

— Не курю, — подтвердил Коля и осторожно прокашлялся. — Товарищ генерал, разрешите?

— Слушаю, слушаю.

— Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно, и большое спасибо за доверие. Я понимаю, что это — большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ генерал.

— Почему? — Полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна. — Что за новости, Плужников?

Генерал молча смотрел на него. Смотрел с явным интересом, и Коля приободрился:

— Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ генерал. Так нам говорили в училище, и сам товарищ полковой комиссар на торжественном вечере тоже говорил, что только в войсковой части можно стать настоящим командиром.

Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на Колю.

— И поэтому — большое вам, конечно, спасибо, товарищ генерал, — поэтому я очень вас прошу: пожалуйста, направьте меня в часть. В любую часть и на любую должность.

Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни

генерал, ни комиссар не замечали ее, но Коля чувствовал, как она тянется, и очень смущался.

— Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что...

— А ведь он молодчага, комиссар,— вдруг весело сказал начальник.— Молодчага ты, лейтенант, ей-богу, молодчага!

А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу:

— Спасибо за память, Плужников!

И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не очень удобного положения.

— Значит, в часть?

— В часть, товарищ генерал.

— Не передумаешь? — Начальник вдруг перешел на «ты» и обращения этого уже не менял.

— Нет.

— И все равно, куда пошлют? — спросил комиссар.— А как же мать, сестренка?.. Отца у него нет, товарищ генерал.

— Знаю.— Генерал спрятал улыбку, смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной папке.— Особый Западный устроит, лейтенант?

Коля зарозовел: о службе в Особых округах мечтали как о немислимой удаче.

— Командиром взвода согласен?

— Товарищ генерал! — Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине.— Большое, большое спасибо, товарищ генерал!..

— Но с одним условием,— очень серьезно сказал генерал. Даю тебе, лейтенант, год войсковой практики. А ровно через год я тебя назад затребую, в училище, на должность командира учебного взвода. Согласен?

— Согласен, товарищ генерал. Если прикажете...

— Прикажем, прикажем! — засмеялся комиссар.— Нам такие некурящие страсть как нужны.

— Только есть тут одна неприятность, лейтенант: отпуска у тебя не получается. Максимум в воскресенье ты должен быть в части.

— Да, не придется тебе у мамы в Москве погостить,— улыбнулся комиссар.— Она где там живет?

— На Остоженке... То есть теперь это называется Метро-строевская.

— На Остоженке,— вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку: — Ну, счастливо служить, лейтенант. Через год жду, запомни!

— Спасибо, товарищ генерал. До свидания! — прокричал Коля и строевым шагом вышел из кабинета.

В те времена с билетами на поезда было сложно, но комиссар, провожая Колю через таинственную комнату, по-

обещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с обходным листком, получал в строевом отделе документы. Там его ждала еще одна приятная неожиданность: начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно распрощавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня: до воскресенья...

2

В Москву поезд прибывал утром. До Кропоткинской Коля доехал на метро — самом красивом метро в мире; он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство гордости, спускаясь под землю. На станции «Дворец Советов» он вышел: напротив поднимался глухой забор, за которым что-то стучало, шипело и грохало. И на этот забор Коля тоже смотрел с огромной гордостью, потому что за ним закладывался фундамент самого высокого здания в мире: Дворца Советов с гигантской фигурой Ленина на верху.

Возле дома, откуда он два года назад ушел в училище, Коля остановился. Дом этот — самый обыкновенный многоквартирный московский дом со сводчатыми воротами, глухим двором и множеством кошек, — дом этот был совсем по-особому дорог ему. Здесь он знал каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом, и если понятие «родина» ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на всей земле.

Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе, на солнечной стороне, наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит мимо. Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идет, чей он и откуда. Он почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает, и заранее радовался.

И тут из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть повыше, платье было с короткими рукавчиками, но вся разница между девушками на этом и кончалась: они носили одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась.

— Вера? — шепотом спросил Коля. — Вера, чертенок, это ты?..

Визг был слышен у Манежа. Сестра с разбега бросилась на шею, как в детстве подогнув колени, и он едва устоял: она стала довольно-таки тяжеленькой, эта его сестренка...

— Коля! Колечка! Колька!..

— Какая же ты большая стала, Вера.

— Шестнадцать лет! — с гордостью сказала она. — А ты думал, ты один растешь, да?.. Ой, да ты уже лейтенант! Валюшка, поздравь товарища лейтенанта.

Высокая, улыбаясь, шагнула навстречу:

— Здравствуй, Коля.

Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худущих девчонок, голенастых, как кузнечики. И поспешно отвел глаза:

— Ну, девочки, вас не узнать...

— Ой, нам в школу! — вздохнула Вера. — Сегодня последнее комсомольское, и не пойти просто невозможно.

— Вечером встретимся, — сказала Валя.

Она беззастенчиво разглядывала его удивительно спокойными глазами. От этого Коля смущался и сердился, потому что был старше и, по всем законам, смущаться должны были девочки.

— Вечером я уезжаю.

— Куда? — удивилась Вера.

— К новому месту службы, — не без важности сказал он. — Я тут проездом.

— Значит, в обед. — Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась. — Я патефон принесу.

— Знаешь, какие у Валюшки пластиночки? Польские, закачаешься!.. «Вшистка мни едно, вшистка мни едно...» — пропела Вера. — Ну, мы побежали.

— Мама дома?

— Дома!..

Они действительно побежали — налево, к школе: он сам бежал этим путем десять лет. Коля глядел вслед, смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья о загорелые икры, и хотел, чтобы девочки оглянулись. И подумал: «Если оглянутся, то...» Он не успел загадать, что тогда будет: высокая вдруг повернулась к нему. Он махнул в ответ и сразу же нагнулся за чемоданом, почувствовав, что начинает краснеть.

«Вот ужас-то, — подумал он с удовольствием. — Ну чего, спрашивается, мне краснеть?..»

Он прошел темный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но Матвеевны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж.

Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошек. Увидев его, она вдруг заплакала:

— Боже, как ты похож на отца!..

Отца Коля помнил смутно: в двадцать шестом тот уехал в Среднюю Азию и — не вернулся. Маму вызывали в Главное политуправление и там рассказали, что комиссар Плужников был убит в схватке с басмачами у кишлака Коз Кудук.

Мама кормила его завтраком и беспрерывно говорила. Коля поддакивал, но слушал рассеянно: он все время думал об этой вдруг выросшей Вальке из сорок девятой квартиры и очень хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы:

— ...А я им говорю: «Боже мой, боже мой, неужели дети должны целый день слушать это громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это непедагогично». Мне, конечно, отказали, потому что наряд уже был подписан, и поставили громкоговоритель. Но я пошла в райком и все объяснила...

Мама заведовала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах. За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове все время вертелась эта Валя-Валентина...

— Да, мама, я Верочку у ворот встретил,— невпопад сказал он, прерывая мать на самом волнующем месте.— Она с этой была... Ну, как ее?.. С Валеи...

— Да, они в школу пошли. Хочешь еще кофе?

— Нет, мам, спасибо.— Коля прошелся по комнате, по скрипел в свое удовольствие. Мама опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил: — А что, Валя эта все еще учится, да?

— Да ты что, Колюшка, Вали не помнишь? Она же не вылезала от нас.— Мама вдруг рассмеялась.— Верочка говорила, что Валюша была в тебя влюблена.

— Глупости это! — сердито закричал Коля.— Глупости!..

— Конечно, глупости,— неожиданно легко согласилась мама.— Тогда она еще девчонкой была, а теперь — настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя — просто красавица.

— Ну, уж и красавица,— ворчливо сказал он, с трудом скрывая вдруг охватившую его радость.— Обыкновенная девчонка, каких тысячи в нашей стране... Лучше скажи, как Матвеевна себя чувствует? Я вхожу во двор...

— Умерла наша Матвеевна,— вздохнула мама.

— Как так — умерла? — не понял он.

— Люди умирают, Коля,— опять вздохнула мама.— Ты счастливый, ты можешь еще не думать об этом.

И Коля подумал, что он и вправду счастливый, раз

встретил возле ворот такую удивительную девушку а из разговора выяснил, что девушка эта была в него влюблена...

После завтрака Коля отправился на Белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в семь вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, повздыхал и не очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта.

— Попозже? — Дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмигивал. — Что, лейтенант, сердечные дела?

— Нет, — опустив голову, сказал Коля. — Мама у меня больна, оказывается. Очень... — Тут он испугался, что может накликать действительную болезнь, и поспешно поправился: — Нет, не очень, не очень...

— Понятно, — опять подмигнул дежурный. — Сейчас поглядим насчет мамы.

Он полистал книгу, потом стал звонить по телефонам, разговаривая вроде бы по другим поводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец дежурный положил последнюю трубку:

— С пересадкой согласен? Отправление в три минуты первого, поезд «Москва — Минск». В Минске — пересадка.

— Согласен, — сказал Коля. — Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант.

Получив билет, он тут же на улице Горького зашел в гастроном и, хмурясь, долго разглядывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете, вишневой наливки, потому что такую наливку делала мама, и мадеру, потому что читал о ней в романе про аристократов.

— Ты сошел с ума! — сердито сказала мама. — Это что же: на каждого по бутылке?

— А!.. — Коля беспечно махнул рукой. — Гулять так гулять!

Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама одолжила у соседей еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с очередным вопросом:

— А из пулемета ты стрелял?

— Стрелял.

— Из «максима»?

— Из «максима». И из других систем тоже.

— Вот здорово!.. — восхищенно ахала Вера.

Коля озабоченно ходил по комнате. Он подшил свежий подворотничок, надраил сапоги и теперь хрустел всеми ремнями. От волнения он совсем не хотел есть, а Валя все не шла и не шла.

— А комнату тебе дадут?

— Дадут, дадут.

— Отдельную?

— Конечно.— Он смотрел на Верочку снисходительно.—

Я ведь строевой командир.

— Мы к тебе приедем,— таинственно зашептала она.—

Маму отправим с детским садом на дачу и приедем к тебе...

— Кто это — мы?

Он все понял, и сердце сладко колыхнулось.

— Так кто же такие — мы?

— Неужели не понимаешь? Ну, мы — это мы: я и Валяшка.

Коля покашлял, чтобы спрятать некстати выползшую улыбку, и солидно сказал:

— Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием договориться...

— Ой, у меня картошка переварилась!..

Крунулась на каблуке, раздула куполом платье, хлопнула дверь. Коля только покровительственно усмехнулся. А когда закрывалась дверь, совершил вдруг немислимый прыжок и в полном восторге захрустел ремнями: значит, они сегодня говорили о поездке, значит, уже планировали ее, значит, хотели встретиться с ним, значит... Но что должно было следовать за этим последним «значит», Коля не произносил даже про себя.

А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера все еще возились с обедом, разговор начать было некому, и Коля холодел при мысли, что Валя имеет все основания немедленно отказаться от летней поездки

— Ты никак не можешь задержаться в Москве?

Коля отрицательно покачал головой.

— Неужели так срочно?

Коля пожал плечами.

— На границе беспокойно, да? — понизив голос, спросила она.

Коля осторожно кивнул, сначала, правда, подумав насчет секретности.

— Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо.

— У нас с Германией договор о ненападении,— хрипло сказал Коля, потому что кивать головой или пожимать плечами было уже невозможно.— Слухи о концентрации немецких войск у наших границ ни на чем не обоснованы и являются результатом происков англо-французских империалистов.

— Я читала газеты,— с легким неудовольствием сказала Валя.— А папа говорит, что положение очень серьезное.

Валин папа был ответработником, но Коля подозревал, что в душе он немножко паникер. И сказал:

— Надо опасаться провокаций.

— Но ведь фашизм — это же ужасно! Ты видел фильм «Профессор Мамлок»?

— Видел: там Олег Жаков играет. Фашизм — это, конечно, ужасно, а империализм, по-твоему, лучше?

— Как ты думаешь, будет война?

— Конечно, — уверенно сказал он. — Зря, что ли, открыли столько училищ с ускоренной программой? Но это будет быстрая война.

— Ты в этом уверен?

— Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат поработанных фашизмом и империализмом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленной Гитлером. В-третьих, международную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное — это решающая мощь нашей Красной Армии. На вражеской территории мы нанесем врагу сокрушительный удар.

— А Финляндия? — вдруг тихо спросила она.

— А что — Финляндия? — Он с трудом скрыл неудовольствие: это все паникер папочка ее настраивает. — В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения.

— Если ты считаешь, что сомнений не может быть, значит, их просто нет, — улыбнулась Валя. — Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привез папа из Белостока?

Пластинки у Вали были замечательные: польские фокстроты, «Черные глаза», и «Очи черные», и даже танго из «Петера» в исполнении самой Франчески Гааль.

— Говорят, она ослепла! — широко распахнув круглые глаза, говорила Верочка. — Вышла сниматься, посмотрела случайно в самый главный прожектор и сразу ослепла.

Валя скептически улыбалась. Коля тоже сомневался в достоверности этой истории, но в нее почему-то очень хотелось верить.

К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а мадеру только попробовали и забраковали: она оказалась несладкой, и было непонятно, как мог завтракать виконт де Пресси, макая в нее бисквиты.

— Киноартистом быть очень опасно, очень! — продолжала Вера. — Мало того что они скачут на бешеных лошадях и прыгают с поездов: на них очень вредно действует свет. Исключительно вредно!

Верочка собирала фотографии артистов кино. А Коля

опять сомневался и опять хотел во все верить. Голова у него слегка кружилась, рядом сидела Валя, и он никак не мог смахнуть с лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата.

Валя тоже улыбалась: снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старше Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девчонки превращаются в загадочно молчаливых девушек.

— Верочка хочет быть киноартисткой,— сказала мама.

— Ну и что? — с вызовом выкрикнула Вера и даже осторожно стукнула пухлым кулачком по столу.— Это запрещено, да? Наоборот, это прекрасно, и возле сельскохозяйственной выставки есть такой специальный институт...

— Ну, хорошо, хорошо,— миролюбиво соглашалась мама.— Закончишь десятый класс на пятерки — иди куда хочешь. Было бы желание.

— И талант,— сказала Валя.— Знаешь, какие там экзамены? Выберут какого-нибудь поступающего десятиклассника и заставят тебя с ним целоваться.

— Ну и пусть! Пусть! — весело кричала красная от вина и споров Верочка.— Пусть заставляют! А я так им сыграю, так сыграю, что они все поверят, будто я влюблена. Вот!

— А я бы ни за что не стала целоваться без любви.— Валя всегда говорила негромко, но так, что ее все слушали.— По-моему, это унижительно: целоваться без любви.

— У Чернышевского в «Что делать?»...— начал было Коля.

— Надо же различать! — закричала вдруг Верочка.— Надо же различать, где жизнь, а где — искусство.

— Я не про искусство. Я — про экзамены. Какое же там искусство?

— А смелость? — задиристо наступала Верочка.— Смелость разве не нужна артисту?

— Господи, какая уж тут смелость,— вздохнула мама и начала убирать со стола.— Девочки, помогите мне, а потом будем танцевать.

Все стали убирать, суетиться, и Коля остался один. Он отошел к окну и сел на диван: тот самый скрипучий диван, на котором спал всю школьную жизнь. Ему очень хотелось вместе со всеми убирать со стола: толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но он подавил это желание, ибо куда важнее было невозмутимо сидеть на диване. К тому же из угла можно было незаметно наблюдать за Валею, ловить ее улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды. И он ловил их, а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро «Дворец Советов».

В девятнадцать лет Коля ни разу не целовался. Он регулярно ходил в увольнения, смотрел кино, бывал в театре и ел мороженое, если оставались деньги. А вот танцевал плохо, танцплощадки не посещал и поэтому за два года учебы так ни с кем и не познакомился. Кроме библиотекарки Зои.

Но сегодня Коля был рад, что ни с кем не познакомился. То, что было причиной тайных мучений, обернулось вдруг иной стороной, и сейчас, сидя на диване, он уже точно знал, что не познакомился только потому, что на свете существовала Валя. Ради такой девушки стоило страдать, и страдания эти давали ему право гордо и прямо встречать ее осторожный взгляд. И Коля был очень доволен собой.

Потом они опять завели патефон, но уже не для того, чтобы слушать, а чтобы танцевать. И Коля, краснея и сбиваясь, танцевал с Валею, с Верочкой и опять — с Валею.

— «Вшистка мни едно, вшистка мни едно...» — напевала Верочка, покорно танцуя со стулом.

Коля танцевал молча, потому что никак не мог найти подходящей темы для разговора. А Вале никакой разговор и не требовался, но Коля этого не понимал и чуточку мучился.

— Вообще-то мне должны дать комнату, — покашляв для уверенности, сказал он. — Но если не дадут, я у кого-нибудь сниму.

Валя молчала. Коля старался, чтобы зазор между ними был как можно больше, и чувствовал, что Валина улыбка совсем не похожа на ту, которой ослепила его Зоя в полутьме аллеи. И поэтому, понизив голос и покраснев, добавил:

— А пропуск я закажу. Только заранее напишите.

И опять Валя промолчала, но Коля совсем не расстроился. Он знал, что она все слышит и все понимает, и был счастлив, что она молчит.

Теперь Коля знал точно, что это — любовь. Та самая, о которой он столько читал и с которой до сих пор так и не встретился. Зоя... Тут он вспомнил о Зое, вспомнил почти с ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить про Зою, и тогда Коле осталось бы только застрелиться. И он стал решительно гнать прочь всякие мысли о Зое, а Зоя, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытывал незнакомое доселе чувство бессильного стыда.

А Валя улыбалась и смотрела мимо него, точно видела там что-то невидимое для всех. И от восхищения Коля делался еще более неуклюжим.

Потом они долго стояли у окна: и мама и Верочка вдруг куда-то исчезли. На самом-то деле они просто мыли на

кухне посуду, но сейчас это было все равно что перебраться на другую планету.

— Папа говорил, что там много аистов. Ты видел когда-нибудь аистов?

— Нет.

— Там они живут прямо на крышах домов. Как ласточки. И никто их не обижает, потому что они приносят счастье. Белые, белые аисты... Ты обязательно должен их увидеть.

— Я увижу,— пообещал он.

— Напиши, какие они. Хорошо?

— Напишу.

— Белые, белые аисты...

Он взял ее за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить и — не смог. И боялся, что она отдернет или что-нибудь скажет. Но Валя молчала. А когда сказала, не отдернула руки:

— Если бы ты ехал на юг, на север или даже на восток...

— Я счастливый. Мне достался Особый округ. Знаешь, какая это удача?

Она ничего не ответила. Только вздохнула.

— Я буду ждать,— тихо сказал он.— Я очень, очень буду ждать.

Он осторожно погладил ее руку, а потом вдруг быстро прижал к щеке. Ладонь показалась ему прохладной. Очень захотелось спросить, будет ли Валя тосковать, но спросить Коля так и не решился. А потом влетела Верочка, затарахтела с порога что-то про Зою Федорову, и Коля незаметно отпустил Валину руку.

В одиннадцать мама решительно выгнала его на вокзал. Коля наскоро и как-то несерьезно простился с нею, потому что девочки уже потащили его чемодан вниз. И мама почему-то вдруг заплакала — тихо, улыбаясь,— а он не замечал ее слез и все рвался поскорее уйти.

— Пиши, сынок. Пожалуйста, пиши аккуратно.

— Ладно, мам. Как приеду, сразу же напишу.

— Не забывай...

Коля в последний раз прикоснулся губами к уже поседевшему виску, скользнул за дверь и через три ступеньки понесся вниз.

Поезд отошел только в половине первого. Коля боялся, что девочки опоздают на метро, но еще больше боялся, что они уйдут, и поэтому все время говорил одно и то же:

— Ну, идите же. Опоздаете.

А они ни за что не хотели уходить. А когда засвистел кондуктор и поезд тронулся, Валя вдруг первая шагнула к

нему. Но он так ждал этого и так рванулся навстречу, что они стукнулись носами и смущенно отпрянули друг от друга. А Верочка кричала: «Колька, опоздаешь!..» — и совала ему сверток с мамиными пирожками. Он наскоро чмокнул сестру в щеку, схватил сверток и вскочил на подножку. И все время смотрел, как медленно отплывают назад две девичьи фигурки в легких светлых платьях...

3

Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом, где находилось училище, но даже двенадцать часов езды не шли ни в какое сравнение с маршрутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. И это было так интересно и так важно, что Коля не отходил от окна, а когда уж совсем обессилел и присел на полку, кто-то крикнул:

— Аисты! Смотрите, аисты!..

Все бросились к окнам, но Коля замешкался и аистов не увидел. Впрочем, он не огорчился, потому что если аисты появились, значит, рано или поздно, а он их обязательно увидит. И напишет в Москву, какие они, эти белые, белые аисты...

Это было уже за Негорелым — за старой границей: теперь они ехали по Западной Белоруссии. Поезд часто останавливался на маленьких станциях, где всегда было много людей. Белые рубахи мешались с черными лапсердаками, соломенные брыли — с касторовыми котелками, темные хустки — с светлыми платьями. Коля выходил на остановках, но от вагона не отрывался, оглушенный звонкой смесью белорусского, еврейского, русского, польского, литовского, украинского и еще бог весть каких языков и наречий.

— Ну, кагал! — удивлялся смешливый старший лейтенант, ехавший на соседней полке. — Тут, Коля, часы надо покупать. Ребята говорили, что часов здесь — вагон, и все дешевые.

Но и старший лейтенант тоже далеко не отлучался: нырял в толпу, что-то выяснял, размахивая руками, и тут же возвращался:

— Тут, брат, такая Европа, что враз ухайдакают.

— Агентура, — соглашался Коля.

— А хрен их знает, — аполитично говорил старший лейтенант и, передохнув, снова кидался в гущу. — Часы! Тик-так! Мозер!..

Мамины пирожки были съедены со старшим лейтенантом:

в ответ он до отвала накормил Колю украинской домашней колбасой. Но разговор у них не клеился, потому что старший лейтенант склонен был обсуждать только одну тему:

— А талия у нее, Коля, ну, рюмочка!..

Коля начинал ерзать. Старший лейтенант, закатывая глаза, упивался воспоминаниями. К счастью, в Барановичах он сошел, прокричав на прощанье:

— Расчет часов не теряйся, лейтенант! Часы — это вещь!..

Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамины пирожки уже были уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в Барановичах, и Коля вместо аистов стал подумывать о хорошем обеде. Наконец мимо тяжело прогрохотал бесконечный товарный состав.

— В Германию, — сказал пожилой капитан. — Немцам день и ночь хлебушек гоним и гоним. Это как понимать прикажете?

— Не знаю, — растерялся Коля. — У нас ведь договор с Германией.

— Совершенно верно, — тотчас же согласился капитан. — Вы абсолютно правильно размышляете, товарищ лейтенант.

Вслед за товарняком потянулись и они и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились, проводники не советовали выходить из вагонов, и на всем пути Коля запомнил только одну станцию: Жабинка. Следующей был Брест.

Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля растерялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из соображений секретности Коля доверял только лицам официальным и поэтому битый час простоял в очереди к дежурному помощнику коменданта.

— В крепость, — сказал помощник, глянув на командировочное предписание. — По Каштановой прямо и упрешься.

Коля вылез из очереди и ощутил вдруг такой яростный голод, что вместо Каштановой улицы стал разыскивать столовую. Но столовых не было, и он, потоптавшись, пошел к вокзальному ресторану. И только хотел войти, как дверь распахнулась и вышел коренастый лейтенант.

— Черт жирный, жандармская морда, весь стол один занял. И не попросишь ведь: иностранец!

— Кто?

— Жандарм немецкий, кто же еще! Тут женщины с ребятами на полу сидят, а он один за столиком пиво жрет. Персона!

— Настоящий жандарм? — поразился Коля. — А можно посмотреть?

Лейтенант неуверенно пожал плечами:

— Попробуй. Стой, куда же ты с чемоданом?

Коля оставил чемодан, одернул гимнастерку, как перед входом в генеральский кабинет, и с замиранием сердца скользнул за тяжелую дверь.

И сразу увидел немца. Настоящего, живого немца в мундире с бляхой, в непривычно высоких, точно из жести сапогах. Он сидел, развалившись на стуле, и самодовольно постукивал ногой. Столик был уставлен пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из пол-литровой кружки, выливая в нее сразу всю бутылку. На красной роже топорщились жесткие усики, смоченные пивной пеной.

Изо всех сил кося глазами, Коля четыре раза продефилировал мимо немца. Это было совершенно необыкновенное, из ряда вон выходящее событие: в шаге от него сидел человек из того мира, из поработанной Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чем он думает, попав из фашистской империи в страну социализма, но на лице представителя угнетенного человечества не читалось ничего, кроме глупого самодовольства.

— Насмотрелся? — спросил лейтенант, охранявший Колин чемодан.

— Ногой постукивает, — почему-то шепотом сказал Коля. — А на груди — бляха.

— Фашист, — сказал лейтенант. — Слушай, друг, ты есть хочешь? Ребята сказали, тут недалеко ресторан «Беларусь»: может, поужинаем по-людски? Тебя как зовут-то?

— Коля.

— Тезки, значит. Ну, сдавай чемодан, и айда разлагаться. Там, говорят, скрипач мировой: «Черные глаза» играет, как бог...

В камере хранения тоже оказалась очередь, и Коля поволок чемодан с собой, решив прямо отсюда пройти в крепость. Лейтенант Николай о крепости ничего не знал, так как в Бресте у него была пересадка, но утешил:

— В ресторане наверняка кого-нибудь из наших встретим. Сегодня — суббота.

По узкому пешеходному мостику они пересекли многочисленные железнодорожные пути, занятые составами, и сразу оказались в городе. Три улицы расходились от ступенек мостика, и лейтенанты неуверенно затоптались.

— Ресторан «Беларусь» не знаю, — с сильным акцентом и весьма раздраженно сказал прохожий.

Коля спрашивать не решался, и переговоры вел лейтенант Николай.

— Должны знать: там какой-то скрипач знаменитый.

— Так то же пан Свицкий! — заулыбался прохожий. — О, Рувим Свицкий — великий скрипач. Вы можете иметь свое мнение, но оно неверное. Это так. А ресторан — прямо. Улица Стыцкевича.

Улица Стыцкевича оказалась Комсомольской. В густой зелени прятались маленькие домишки.

— А я Сумское зенитно-артиллерийское закончил, — сказал Николай, когда Коля поведал ему свою историю. — Вот как смешно получается: оба только что кончили, оба — Николаи...

Он вдруг замолчал: в тишине послышались далекие звуки скрипки. Лейтенанты остановились.

— Мирowo дает! Топаем точно, Коля!

Скрипка слышалась из открытых окон двухэтажного здания с вывеской «Ресторан «Беларусь». Они поднялись на второй этаж, сдали в крохотной раздевалке головные уборы и чемодан и вошли в небольшой зальчик. Против входа помещалась буфетная стойка, а в левом углу — небольшой оркестр. Скрипач — длиннорукий, странно подмаргивающий — только кончил играть, и переполненный зал шумно аплодировал ему.

— А наших-то тут маловато, — негромко сказал Николай.

Они задержались в дверях, оглушенные аплодисментами и возгласами. Из глубины зала к ним поспешно пробирався полный гражданин в черном лоснящемся пиджаке:

— Прошу панов офицеров пожаловать. Сюда прошу, сюда.

Он ловко провел их мимо скученных столов и разгоряченных посетителей. За кафельной печкой оказался свободный столик, и лейтенанты сели, с молодым любопытством оглядывая чуждую им обстановку.

— Почему он нас офицерами называет? — с неудовольствием шипел Коля. — Офицер, да еще — пан! Буржуйство какое-то...

— Пусть хоть горшком зовет, лишь бы в печь не совал, — усмехнулся лейтенант Николай. — Здесь, Коля, люди еще темные.

Пока гражданин в черном принимал заказ, Коля с удивлением вслушивался в говор зала, стараясь уловить хоть одну понятную фразу. Но говорили здесь на языках неизвестных, и это очень смущало его. Он хотел было поделиться с товарищем, как вдруг за спиной послышался странно звучащий, но несомненно русский разговор:

— Я извиняюсь, я очень извиняюсь, но я не могу себе представить, чтобы такие штаны ходили по улицам.

— Вот он выполняет на сто пятьдесят процентов таких штанов и получил за это почетное знамя.

Коля обернулся: за соседним столиком сидели трое пожилых мужчин. Один из них перехватил Колин взгляд и улыбнулся:

— Здравствуйте, товарищ командир. Мы обсуждаем производственный план.

— Здравствуйте,— смутившись, сказал Коля.

— Вы из России? — спросил приветливый сосед и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ну, я понимаю: мода. Мода — это бедствие, это — кошмар, это — землетрясение, но это естественно, правда? Но шить сто пар плохих штанов вместо полсотни хороших и за это получать почетное знамя — я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вы согласны, молодой товарищ командир?

— Да,— сказал Коля.— То есть, конечно, только...

— А скажите, пожалуйста,— спросил второй,— что у вас говорят про германцев?

— Про германцев? Ничего. То есть у нас с Германией мир...

— Да,— вздохнули за соседним столом.— То, что германцы придут в Варшаву, было ясно каждому еврею, если он не круглый идиот. Но они не придут в Москву.

— Что вы, что вы!..

За соседним столом все враз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал, ничего не понял и отвернулся.

— По-русски понимают,— шепотом сообщил он.

— Я тут водочки сообразил,— сказал лейтенант Николай.— Выпьем, Коля, за встречу?

Коля хотел сказать, что не пьет, но как-то так получилось, что вспомнил он о другой встрече. И рассказал лейтенанту Николаю про Валю и Верочку, но больше, конечно, про Валю.

— А что ты думаешь, может, и приедет,— сказал Николай.— Только сюда пропуск нужен.

— Я попрошу.

— Разрешите присоединиться?

Возле стола оказался рослый лейтенант-танкист. Пожал руки, представился:

— Андрей. В военкомат прибыл за приписниками, да в пути застрял. Придется до понедельника ждать...

Он говорил что-то еще, но длиннорукий поднял скрипку, и маленький зальчик замер.

Коля не знал, что исполнял нескладный длиннорукий, странно подмаргивающий человек. Он не думал, хорошо это или плохо, а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач ос-

танавливался как раз там, где вот-вот должны были хлынуть эти слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

— Вам нравится? — тихо спросил пожилой с соседнего столика.

— Очень!

— Это наш Рувимчик. Рувим Свицкий — лучшего скрипача нет и никогда не было в городе Бресте. Если Рувим играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой. А если он играет на похоронах...

Коля так и не узнал, что происходит, когда Свицкий играет на похоронах, потому что на них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коле в самое ухо:

— Пожалуйста, запомните это имя: Рувим Свицкий. Самоучка Рувим Свицкий с золотыми пальцами, золотыми ушами и золотым сердцем...

Коля долго хлопал. Принесли закуску, лейтенант Николай наполнил рюмки, сказал, понизив голос:

— Музыка — это хорошо. Но ты сюда послушай.

Коля вопросительно посмотрел на подсевшего к ним танкиста.

— Вчера летчикам отпуска отменили, — тихо сказал Андрей. — А пограничники говорят, что каждую ночь за Бугом моторы ревут. Танки, тягачи.

— Веселый разговор. — Николай поднял рюмку. — За встречу.

Они выпили. Коля поспешно начал закусывать, спросил с набитым ртом:

— Возможны провокации?

— Месяц назад с той стороны архиепископ перешел, — тихо продолжал Андрей. — Говорит, немцы готовят войну.

— Но ведь ТАСС официально заявил...

— Тихо, Коля, тихо, — улыбнулся Николай. — ТАСС — в Москве. А здесь — Брест.

Подали ужин, и они накинулись на него, позабыв про немцев и ТАСС, про границу и архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки служителем культа.

Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, неистово хлопал в ладоши. Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по ночам, о частых нарушениях границы немецкими летчиками.

— А сбивать нельзя: приказ. Вот и вертимся...

— Как играет!.. — восторгался Коля.

— Да, играет классно. Что-то зреет, ребята. А что? Вопрос.

— Ничего, ответ тоже будет,— улыбнулся Николай и поднял рюмку: — За ответ на любой вопрос, товарищи лейтенанты!..

Стемнело, в зале зажгли свет. Накал был неровным, лампы слабо мигали, и по стенам метались тени. Лейтенанты съели все, что было заказано, и теперь Николай расплачивался с гражданином в черном:

— Сегодня, ребята, угощаю я.

— Ты в крепость нацелился? — спросил Андрей. — Не советую, Коля: темно и далеко. Пошли лучше со мной в военкомат: там переночуешь.

— Зачем же в военкомат? — сказал лейтенант Николай. — Топаем на вокзал, Коля.

— Нет, нет. Я сегодняшним числом в часть должен прибыть.

— Зря, лейтенант, — вздохнул Андрей. — С чемоданом, ночью, через весь город...

— У меня — оружие, — сказал Коля.

Вероятно, они уговорили бы его: Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие. Вероятно, уговорили бы, и тогда Коля ночевал бы либо на вокзале, либо в военкомате, но тут пожилой с соседнего столика подошел к ним:

— Множество извинений, товарищи красные командиры, множество извинений. Этому молодому человеку очень понравился наш Рувим Свицкий. Рувим сейчас ужинает, но я имел с ним разговор, и он сказал, что хочет сыграть специально для вас, товарищ молодой командир...

И Коля никуда не пошел. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально для него. А лейтенанты ушли, потому что им еще надо было устроиться с ночлегом. Они крепко пожали ему руку, улыбнулись на прощанье и шагнули в ночь: Андрей — в военкомат на улицу Дзержинского, а лейтенант Николай — на переполненный Брестский вокзал. Шагнули в самую короткую ночь, как в вечность.

Народу в ресторане становилось все меньше, в распахнутые окна вливался густой, безветренный вечер: одноэтажный Брест отходил ко сну. Обезлюдели под линейку застроенные улицы, гасли огни в затемненных сиреню и жасмином окнах, и только редкие дрожжачи погромыхивали колясками по гулким мостовым. Тихий город медленно погружался в тихую ночь — самую тихую и самую короткую ночь в году...

У Коли немного кружилась голова, и все вокруг казалось прекрасным: и затухающий ресторанный шум, и теплый сумрак, вползавший в окна, и таинственный город за этими окнами, и ожидание нескладного скрипача, который собирался играть специально для него, лейтенанта Плужникова.

Было, правда, одно обстоятельство, несколько осложнявшее ожидание: Коля никак не мог понять, должен ли он платить деньги за то, что музыкант будет играть, но, поразмыслив, решил, что за добрые дела денег не платят.

— Здравствуйте, товарищ командир.

Скрипач подошел бесшумно, и Коля вскочил, смутившись и забормотав что-то необязательное.

— Исаак сказал, что вы из России и что вам понравилась моя скрипка.

Длиннорукий держал в руке смычок и скрипку и странно подмаргивал. Вглядевшись, Коля понял причину: левый глаз Свицкого был подернут белесой пленкой.

— Я знаю, что нравится русским командирам.— Скрипач цепко зажал инструмент острым подбородком и поднял смычок.

И скрипка запела, затосковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком оскорбить нескладного музыканта с бельмом на глазу. А Коля стоял рядом, смотрел, как дрожат на грифе тонкие пальцы, и опять хотел плакать и опять не мог, потому что Свицкий не позволял появляться этим слезам. И Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

Свицкий сыграл «Черные глаза», и «Очи черные», и еще две мелодии, которые Коля слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной.

— Мендельсон,— сказал Свицкий.— Вы хорошо слушаете. Спасибо.

— У меня нет слов...

— Кали ласка. Вы не в крепость?

— Да,— запнувшись, признался Коля.— Каштановая улица...

— Надо брать дрожжача.— Свицкий улыбнулся.— По-вашему, извозчик. Если хотите, могу проводить: моя племянница тоже едет в крепость.

Свицкий уложил скрипку, а Коля взял чемодан в пустом гардеробе, и они вышли. На улицах никого не было.

— Прошу налево,— сказал Свицкий, когда они дошли до угла.— Миррочка — это моя племянница — уже год работает поваром в столовой для командиров. У нее — талант, настоящий талант. Она будет изумительной хозяйкой, наша Миррочка...

Внезапно погас свет: редкие фонари, окна в домах, отсветы железнодорожной станции. Весь город погрузился во мрак.

— Очень странно,— сказал Свицкий.— Что мы имеем? Кажется, двенадцать?

— Может быть, авария?

— Очень странно,— повторил Свицкий.— Знаете, я вам скажу прямо: как пришли восточники... То есть советские, ваши. Да, с той поры как вы пришли, мы отвыкли от темноты. Мы отвыкли от темноты и от безработицы тоже. Это удивительно, что в нашем городе нет больше безработных, а ведь их нет! И люди стали праздновать свадьбы, и всем вдруг понадобился Рувим Свицкий!..— Он тихо посмеялся.— Это прекрасно, когда у музыкантов много работы, если, конечно, они играют не на похоронах. А музыкантов теперь у нас будет достаточно, потому что в Бресте открыли и музыкальную школу, и музыкальное училище. И это очень и очень правильно. Говорят, что мы, евреи, музыкальный народ. Да, мы — такой народ; станешь музыкальным, если сотни лет прислушиваешься, по какой улице топают солдатские сапоги и не ваша ли дочь зовет на помощь в соседнем переулке. Нет, нет, я не хочу гневить бога: кажется, нам повезло. Кажется, дождинки действительно пошли по четвергам, и евреи вдруг почувствовали себя людьми. Ах, как это прекрасно: чувствовать себя людьми. А еврейские спины никак не хотят разгибаться, а еврейские глаза никак не хотят хохотать — ужасно! Ужасно, когда маленькие дети рождаются с печальными глазами. Помните, я играл вам Мендельсона? Он говорит как раз об этом: о детских глазах, в которых всегда печаль. Это нельзя объяснить словами, это можно рассказать только скрипкой...

Вспыхнули уличные фонари, отсветы станции, редкие окна в домах.

— Наверно, была авария,— сказал Коля.— А сейчас починили.

— А вот и пан Глузник. Добрый вечер, пан Глузник! Как заработок?

— Какой заработок в городе Бресте, пан Свицкий? В этом городе все берегут свое здоровье и ходят только пешком...

Мужчины заговорили на неизвестном языке, а Коля оказался возле извозчичьей пролетки. В пролетке кто-то сидел, но свет далекого фонаря сглаживал очертания, и Коля не мог понять, кто же это сидит.

— Миррочка, деточка, познакомься с товарищем командиром.

Смутная фигура в пролетке неуклюже шевельнулась. Коля поспешно закивал, представился:

— Лейтенант Плужников. Николай.

— Товарищ командир впервые в нашем городе. Будь доброй хозяйкой, девочка, и покажи что-нибудь гостю.

— Покажем,— сказал извозчик.— Ночь сегодня добрая, и спешить нам некуда. Счастливых снов, пан Свицкий.

— Веселых поездок, пан Глузник.— Свицкий протянул Коле цепкую длиннопалую руку: — До свидания, товарищ командир, мы обязательно увидимся еще с вами, правда?

— Обязательно, товарищ Свицкий. Спасибо вам.

— Кали ласка. Миррочка, деточка, загляни завтра к нам.

— Хорошо.— Голос прозвучал робко и растерянно.

Дрожкач поставил чемодан в пролетку, полез на козлы. Коля еще раз кивнул Свицкому, встал на ступеньку: девичья фигура окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах, и пролетка тронулась, покачиваясь на брусчатой мостовой. Коля хотел помахать скрипачу, но сиденье было низким, борта высокими, а горизонт перекрыт широкой спиной извозчика.

— Куда же мы? — тихо спросила вдруг девушка из угла.

— Тебя просили что-нибудь показать гостю? — не оборачиваясь, спросил дрожкач.— Ну, а что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Таки он в нее едет. Канал? Таки он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-Литовске?

— Он, наверно, старинный? — как можно увесистее спросил Коля.

— Ну, если судить по количеству евреев, то он таки ровесник Иерусалима (в углу робко пискнули от смеха). Вот Миррочке весело, и она смеется. А когда мне весело, я почему-то просто перестаю плакать. Так, может быть, люди делятся не на русских, евреев, поляков, германцев, а на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а? Что вы скажете на эту мысль, пан офицер?

Коля хотел сказать, что он, во-первых, никакой не пан, а во-вторых, не офицер, а командир Красной Армии, но не успел, так как пролетка внезапно остановилась.

— Когда в городе нечего показывать, что показывают тогда? — спросил дрожкач, слезая с козел.— Тогда гостю показывают какой-нибудь столб и говорят, что он знаменитый. Вот и покажи столб гостю, Миррочка.

— Ой! — чуть слышно вздохнули в углу.— Я?.. А может быть, вы, дядя Михась?

— У меня другая забота.— Извозчик прошел к лошади.— Ну, старушка, побегаем с тобой эту ночку, а уж завтра отдохнем...

Девушка встала, неуклюже шагнула к ступеньке; пролетка заколыхалась, но Коля успел схватить Мирру за руку и поддержать.

— Спасибо.— Мирра еще ниже опустила голову.— Идемте.

Ничего не понимая, он вылез следом. Перекресток был пустынен. Коля на всякий случай погладил кобуру и оглянулся на девушку: заметно прихрамывая, она шла к ограде, что тянулась вдоль тротуара.

— Вот,— сказала она.

Коля подошел: возле ограды стоял приземистый каменный столб.

— Что это?

— Не знаю.— Она говорила с акцентом и стеснялась.— Тут написано про границу крепости. Но сейчас темно.

— Да, сейчас темно.

От смущения они чрезвычайно внимательно осматривали ничем не примечательный камень. Коля ощупал его, сказал с уважением:

— Старинный.

Они опять замолчали. И дружно с облегчением вздохнули, когда дрожкач окликнул:

— Пан офицер, прошу!

Прихрамывая, девушка пошла к коляске. Коля держался позади, но возле ступеньки догадался подать руку. Извозчик уже сидел на козлах.

— Теперь в крепость, пан офицер?

— Никакой я не пан! — сердито сказал Коля, плюхнувшись в продавленные пружины.— Я — товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот.

— Не пан? — Дрожкач дернул вожжи, причмокнул, и лошадка неспешно затрусилась по брусчатке.— Коли вы сидите сзади и каждую секунду можете меня стукнуть по спине, то, конечно же, вы — пан. Вот я сижу сзади лошади, и я для нее — тоже пан, потому что я могу стукнуть ее по спине. И так устроен весь мир: пан сидит за паном...

Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивало, и спорить было невозможно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми силами стараясь удержаться в своем углу.

— Каштановая,— сказала девушка. Ее тоже трясло, но она легче справлялась с этим.— Уж близко.

За железнодорожным переездом улица расплзлась вширь, дома стали редкими, а фонарей здесь не было вовсе. Правда, ночь стояла светлая, и лошадка легко трусила по знакомой дороге.

Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто вроде Кремля. Но впереди зачернело что-то бесформенное, и дрожкач остановил лошадь.

— Приехали, пан офицер.

Пока девушка вылезала из пролетки, Коля судорожно сунул извозчику пятерку.

— Вы очень богаты, пан офицер? Может быть, у вас именно или вы печатаете деньги на кухне?

— Почему?

— Днем я беру сорок копеек в этот конец. Но ночью, да еще с вас я возьму целый рубль. Так дайте его мне и будьте себе здоровы.

Миррочка, отойдя, ждала, когда он расплатится. Коля, смущаясь, запихал пятерку в карман, долго искал рубль, бормоча:

— Конечно, конечно. Да. Извините, сейчас.

Наконец рубль был найден. Коля еще раз поблагодарил дрожкача, взял чемодан и подошел к девушке:

— Куда тут?

— Здесь КПП.— Она указала на будку у дороги.— Надо показать документы.

— А разве это уже крепость?

— Да. Перейдем мост через обводной канал, и будут Северные ворота.

— Крепость! — Коля тихо рассмеялся.— Я ведь думал — стены да башни. А она, оказывается, вон какая, эта самая Брестская крепость...

4

На контрольно-пропускном пункте Колю задержали: постовой не хотел пропускать по командировочному предписанию! А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно настойчив:

— Зовите дежурного.

— Так спит он, товарищ лейтенант.

— Я сказал, зовите дежурного!

Наконец явился заспанный сержант. Долго читал Колины документы, зевал, свихивая челюсти.

— Припозднились вы, товарищ лейтенант.

— Дела,— туманно пояснил Коля.

— Вам ведь на остров надо...

— Я проведу,— тихо сказала девушка.

— А это кто — я? — Сержант посветил фонариком: так, для шика.— Это ты, Миррочка? Дежурить заступаешь?

— Да.

— Ну, ты — человек нашенький. Веди прямо в казармы триста тридцать третьего полка: там есть комната для командировочных.

— Мне в свой полк надо,— солидно сказал Коля.

— Утром разберетесь,— зевнул сержант.— Утро вечера мудренее...

Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость: за ее первый, внешний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими кустарником. Было тихо, только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспанный басок да мирно всхрапывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, тюки прессованного сена. Справа туманно вырисовывалась батарея полковых минометов.

— Тихо,— шепотом сказал Коля.— И нет никого.

— Так ночь.— Она, вероятно, улыбнулась.— И потом, почти все уже переехали в лагерь. Видите огоньки? Это дома комсостава. Мне там комнату обещали, а то очень далеко из города ходить.

Она приволакивала ногу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром спящей крепости, Коля часто убегал вперед, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Теперь он резко сбавил прыть и, чтобы сменить неприятную тему, солидно поинтересовался:

— Как тут вообще с жильем? Командиров обеспечивают, не знаете?

— Многие снимают.

— Это трудно?

— Нет.— Она сбоку посмотрела на него: — У вас семья?

— Нет, нет.— Коля помолчал.— Просто для работы, знаете...

— В городе я могу найти вам комнату.

— Спасибо. Время, конечно, терпит...

Она вдруг остановилась, нагнула куст:

— Сирень. Уже отцвела, а все еще пахнет.

Коля поставил чемодан, честно сунул лицо в запыленную листву. Но листва ничем хорошим не пахла, и он сказал дипломатично:

— Много здесь зелени.

— Очень. Сирень, жасмин, акация...

Она явно не торопилась, и Коля сообразил, что идти ей трудно, что она устала и сейчас отдыхает. Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова, и он с удовольствием подумал, что и ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значится.

— А что в Москве о войне слышно? — понизив голос, спросила она.

— О войне? О какой войне?

— У нас все говорят, что скоро начнется война. Вот-

вот,— очень серьезно продолжала девушка.— Люди покупают соль, и спички, и вообще всякие товары, и в лавках почти пусто. А западники... Ну те, которые к нам с Запада пришли, от немцев бежали... Они говорят, что и в тридцать девятым тоже так было.

— Как так — тоже?

— Пропали соль и спички.

— Чепуха какая-то! — с неудовольствием сказал Коля.— Ну при чем здесь соль, скажите, пожалуйста? Ну при чем?

— Не знаю. Только без соли вы супа не сварите.

— Суп! — презрительно сказал он.— Это пусть немцы запасаются солью для своих супов. А мы... Мы будем бить врага на его территории.

— А враги об этом знают?

— Узнают! — Коле не понравилась ее ирония: люди здесь казались ему подозрительными.— Сказать вам, как это называется? Провокационные разговоры, вот как.

— Господи.— Она вздохнула.— Пусть они как угодно называются, лишь бы войны не было.

— Не бойтесь. Во-первых, у нас с Германией заключен пакт о ненападении. А во-вторых, вы явно недооцениваете нашу мощь. Знаете, какая у нас техника? Я, конечно, не могу выдавать военных тайн, но вы, кажется, допущены к секретной работе...

— Я к супам допущена.

— Это не важно,— веско сказал он.— Важно, что вы допущены в распоряжение воинских частей. И вы, наверно, сами видели наши танки...

— А здесь нет никаких танков. Есть несколько броневичков, и все.

— Ну, зачем же вы мне это говорите? — Коля поморщился.— Вы же меня не знаете и все-таки сообщаете совершенно секретные сведения о наличии...

— Да про это наличие весь город знает.

— И очень жаль!

— И немцы тоже.

— А почему вы думаете, что они знают?

— А потому что!..— Она махнула рукой.— Вам приятно считать других дураками? Ну, считайте себе. Но если вы хоть раз подумаете, что за кордоном не такие уж дураки, так лучше сразу бегите в лавочку и покупайте спички на всю зарплату.

— Ну, знаете...

Коле не хотелось продолжать этот опасный разговор. Он рассеянно оглянулся, постарался зевнуть, спросил равнодушно:

— Это что за домик?

— Санчасть. Если вы отдохнули...

— Я?! — От возмущения его кинуло в жар.

— Я же видела, что вы еле тащите свои вещи.

— Ну, знаете,— еще раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан.— Куда идти?

— Приготовьте документы: перед мостом еще один КПП.

Они молча пошли вперед. Кусты стали гуще: выкрашенная в белую краску кайма кирпичного тротуара ярко светилась в темноте. Повеяло свежестью. Коля понял, что они подходят к реке, но подумал об этом как-то вскользь, потому что целиком был занят другими мыслями.

Ему очень не нравилась осведомленность этой хромоножки. Она была наблюдательна, не глупа, остра на язык: с этим он готов был смириться. Но ее осведомленность о наличии в крепости бронетанковых сил, о передислокации частей в лагеря, даже о спичках и соли не могла быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем все более убеждался, что и встреча с нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры — все не случайно. Он припомнил свое появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним столом, Свицкого, играющего лично для него, и с ужасом понял, что за ним следили, что его специально выделили из их лейтенантской тройцы. Выделили, заговорили, усыпили бдительность скрипкой, подсунули какую-то девчонку, и теперь... Теперь он идет за нею неизвестно куда, как баран. А кругом — тьма, и тишина, и кусты, и, может быть, это вообще не Брестская крепость, тем более что никаких стен и башен он так и не заметил.

Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передрнул плечами, и португепя тотчас же приветливо скрипнула в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только сам Коля, несколько успокоил его. Но все же на всякий случай он перекинул чемодан в левую руку, а правой осторожно расстегнул клапан кобуры.

«Что ж, пусть ведут,— с горькой гордостью подумал он.— Придется подороже продать свою жизнь, и только...»

— Стой! Пропуск!

«Вот оно...» — подумал Коля, с тяжким грохотом роняя чемодан.

— Добрый вечер, это я, Мирра. А лейтенант со мной. Он приезжий: вам не звонили с того КПП?

— Документы, товарищ лейтенант.

Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, и правая рука сама собой скользнула к кобуре...

— Ложись! — заорали от КПП. — Ложись, стреляю! Дежурный, ко мне! Сержант! Тревога!..

Постовой у контрольно-пропускного пункта орал, свистел, щелкал затвором. Кто-то уже шумно бежал по мосту, и Коля на всякий случай лег носом в пыль, как полагалось.

— Да свой он! Свой! — кричала Миррочка.

— Он наган цапает, товарищ сержант! Я его окликнул, а он — цапает!

— Посвети-ка. — Луч скользнул по лежавшему на животе Коле, и другой — сержантский — голос скомандовал: — Встать! Сдать оружие!..

— Свой я! — крикнул Коля, поднимаясь. — Лейтенант я, понятно? Прибыл к месту службы. Вот документы, вот командировка.

— А чего ж за наган цапался, если свой?

— Да почесался я! — кричал Коля. — Почесался, и все! А он кричит «ложись»!

— Он правильно действовал, товарищ лейтенант, — сказал сержант, разглядывая Колины документы. — Неделью назад часового у кладбища зарезали: вот какие тут дела.

— Да знаю я, — сердито сказал Коля. — Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя, что ли?..

Миррочка не выдержала первой. Она приседала, всплескивала руками, попискивала, вытирала слезы. За нею басом захохотал сержант, завсхлипывал постовой, и Коля засмеялся тоже, потому что все получилось очень глупо и очень смешно.

— Я же почесался! Почесался только!..

Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, вытуженная гимнастерка — все было в мельчайшей дорожной пыли. Пыль оказалась даже на носу и на круглых Колиных щеках, потому что он прижимался ими к земле поочередно.

— Не отряхивайтесь! — крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было очистить гимнастерку. — Пыль только вобьете. Надо щеткой.

— А где я ее ночью возьму?

— Найдем! — весело сказала Миррочка. — Ну, можно нам идти?

— Идите, — сказал сержант. — Ты, правда, почисти его, Миррочка, а то ребята в казарме от смеха попадают.

— Почищу, — сказала она. — А какие кинокартины показывали?

— У пограничников — «Последнюю ночь», а в полку — «Валерия Чкалова».

— Мировой фильм! — сказал постовой. — Там Чкалов под мостом на самолете — вжиг, и все!..

— Жалко, я не видала. Ну, счастливо вам додежурить. Коля поднял чемодан, кивнул веселым постовым и вслед за девушкой взошел на мост.

— Это что, Буг?

— Нет, это Муховец.

— А-а...

Они прошли мост, миновали трехарочные ворота и свернули направо, вдоль приземистого двухэтажного здания.

— Кольцевая казарма, — сказала Мирра.

Сквозь распахнутые настежь окна доносилось сонное дыхание сотен людей. В казармах за толстыми кирпичными стенами горело дежурное освещение, и Коля видел двухъярусные койки, спящих бойцов, аккуратно сложенную одежду и грубые ботинки, выстроенные строго по линейке.

«Вот и мой взвод где-то здесь спит, — думал он. — И скоро я буду приходить по ночам и проверять...»

Кое-где лампочки освещали склоненные над книгами стриженные головы дневальных, пирамиды с оружием или безусого лейтенанта, засидевшегося до рассвета над мудреной четвертой главой «Краткого курса истории ВКП(б)».

«Вот и я так же буду сидеть, — думал Коля. — Готовиться к занятиям, писать письма...»

— Это какой полк? — спросил он.

— Господи, куда же это я вас веду? — вдруг тихо засмеялась девушка. — Кругом! За мной шагом марш, товарищ лейтенант.

Коля затоптался, не очень поняв, шутит она или командует им всерьез.

— Зачем?

— Вас сначала вычистить надо, выбить и выколотить.

После истории у предмостного контрольно-пропускного пункта она окончательно перестала стесняться и уже покрикивала. Впрочем, Коля не обижался, считая, что когда смешно, то надо обязательно смеяться.

— А где вы меня собираетесь выколачивать?

— Следуйте за мной, товарищ лейтенант.

Они свернули с тропинки, идущей вдоль кольцевой казармы. Справа виднелась церковь, за нею еще какие-то здания; где-то негромко переговаривались бойцы, где-то совсем рядом фыркали и вздыхали лошади. Резко запахло бензином, сеном, конским потом, и Коля приободрился, почувствовав наконец настоящие воинские запахи.

— В столовую идем, что ли? — как можно независимее спросил он, припомнив, что девушка специализируется на супах.

— Разве такого грязного в столовую пустят? — весело

спросила она.— Нет, мы сначала в склад зайдём, и тетя Христя из вас пыль выбьет. Ну, а потом, может быть, и чайком угостит.

— Нет уж, спасибо,— солидно сказал Коля.— Мне к дежурному по полку надо: я обязательно должен прибыть сегодняшним числом.

— Так сегодняшним и придёте: суббота уже два часа как кончилась.

— Неважно. Важно до утра, понимаете? Всякий день с утра начинается.

— А вот у меня не всякий. Осторожно, ступеньки. И пригнитесь, пожалуйста.

Вслед за девушкой он стал спускаться куда-то под землю по крутой и узкой лестнице. За массивной дверью, которую открыла Мирра, лестница освещалась слабой лампочкой, и Коля с удивлением оглядывал низкий сводчатый потолок, кирпичные стены и тяжелые каменные ступени.

— Подземный ход?

— Склад.— Мирра распахнула еще одну дверь, крикнула: — Здравствуйте, тетя Христя! Я гостя веду!..

И отступила, пропуская Колю вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно:

— Сюда, значит?

— Сюда, сюда. Да не бойтесь же вы!

— Я не боюсь,— серьезно сказал Коля.

Он вошел в обширное, плохо освещенное помещение, придавленное тяжелым сводчатым потолком. Три слабенькие лампочки с трудом рассеивали подвальный сумрак, и Коля видел только ближайшую стену с узкими, как бойницы, отдушинами под самым потолком. В склепе этом было прохладно, но сухо: кирпичный пол кое-где покрывал мелкий речной песок.

— Вот и мы, тетя Христя! — громко сказала Мирра, закрывая дверь.— Здравствуйте, Анна Петровна! Здравствуйте, Степан Матвееч! Здравствуйте, люди!

Голос ее гулко проплыл под сводами каземата и не заглох, а как бы растаял.

— Здравствуйте,— сказал Коля.

Глаза немного привыкли к полумраку, и он различил двух женщин — толстую и не очень толстую — и усатого старшину, присевшего на корточки перед железной печуркой.

— А, щебетуха пришла,— усмехнулся усатый.

Женщины сидели за большим столом, заваленным мешками, пакетами, консервными банками, пачками чая. Они что-то сверяли по бумажкам и никак не отреагировали на их появление. И старшина не вытянулся, как полагалось

при появлении старшего по званию, а спокойно ковырялся с печкой, заталкивая в нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный жестяной чайник.

— Здравствуйте, здравствуйте! — Мирра обняла женщин за плечи и по очереди поцеловала. — Уже все получили?

— Я тебе когда велела приходить? — строго спросила толстая. — Я тебе к восьми велела приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь.

— Ай, тетя Христя, не ругайтесь. Я еще отосплюсь.

— Командира где-то подцепила, — не без удовольствия отметила та, что была помоложе: Анна Петровна. — Какого полка, товарищ лейтенант?

— Я в списках еще не значусь, — солидно сказал Коля. — Только что прибыл...

— И уже испачкался, — весело перебила девушка. — Упал на ровном месте.

— Бывает, — благодушно сказал старшина.

Он чиркнул спичкой, и в печурке загудело пламя.

— Щеточку бы, — вздохнул Коля.

— Здорово извалялся, — сердито проворчала тетя Христя. — А пыль наша въедлива особо.

— Выручай его, Миррочка, — улыбнулась Анна Петровна. — Из-за тебя, видно, он на ровном месте падал.

Люди здесь были своими и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника. Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мирра разыскала щетку, вымыла ее под висевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому сказала:

— Пойдем уж чиститься, горе... чье-то.

— Я сам! — поспешно сказал он. — Сам, слышите?

Но девушка, припадая на левую ногу, невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно вздохнув, поплелся следом.

— Во, обротала! — с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич. — Правильно, щебетуха: с нашим братом только так и надо.

Несмотря на протесты, Мирра энергично вычистила его, сухо командуя: «Руки!», «Повернитесь!», «Не вертитесь!». Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что сопротивление бессмысленно. Покорно поднимал руки, вертелся или, наоборот, не вертелся, сердито скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный момент не без удовольствия вертела им, как хотела. Но прорывавшиеся в ее тоне нотки, явно покровительственные, выводили его из равновесия. Мало того что он был минимум на три года старше ее, — он был командиром, полномочным распорядителем судеб целого взвода, а девчонка вела себя

так, будто не он, а она была этим командиром, и Коля очень обижался.

— И не вздыхайте! Я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете. А это вредно.

— Вредно,— не без значения подтвердил он.— Ох и вредно!

Светало, когда они той же крутой лестницей спустились в склад. На столе остался только хлеб, сахар да кружки, и все сидели вокруг и неторопливо разговаривали, ожидая, когда же наконец закипит огромный жестяной чайник. Кроме женщин и усатого старшины здесь оказалось еще двое: хмурый старший сержант и молоденький, смешно остриженный под машинку красноармеец. Он все время отчаянно зевал, а старший сержант сердито рассказывал:

— Ребята в кино пошли, а меня начбой хватает. Стой, говорит, Федорчук, дело, говорит, до тебя. Что, думаю, за дело? А дело вон какое: разряди, говорит, Федорчук, все диски, выбей, говорит, из лент все патроны, перетри, говорит, их начисто, наложи смазку и снова набей. Во! Тут на целую роту три дня без перекура занятий. А я — один: две руки, одна башка. Помощь, говорю, мне. И дадут мне в помощь вот этого петуха, Васю Волкова, первогодка стриженного. А что он умеет? Он спать умеет, пальцы себе киянкой отшибать умеет, а больше ничего он пока не умеет. Верно говорю, Волков?

В ответ боец Вася Волков со вкусом зевнул, почмокал толстыми губами и неожиданно улыбнулся:

— Спать охота.

— Спать! — с неудовольствием сказал Федорчук.— Спать у маменьки будешь. А у меня ты, Васятка, будешь патроны из пулеметных лент выколачивать аж до подъема. Понял? Вот чайку сейчас попьем и обратно заступим в наряд. Христина Яновна, ты нам сегодня заварочки не пожалей.

— Деготь налью,— сказала тетя Христя, высыпая в кипящий чайник целый кубик заварки.— Сейчас настоится, и перекусим. Куда это вы, товарищ лейтенант?

— Спасибо,— сказал Коля.— Мне в полк надо, к дежурному.

— Успеется,— сказала Анна Петровна.— Служба от вас не убежит.

— Нет, нет.— Коля упрямо помотал головой.— Я и так опоздал: в субботу должен был прибыть, а сейчас уже воскресенье.

— Сейчас и не суббота, и не воскресенье, а тихая ночь,— сказал Степан Матвеевич.— А ночью и дежурным подремать положено.

— Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант,— улыбнулась Анна Петровна.— Чайку поьем, познакомимся. Откуда будете-то?

— Из Москвы.— Коля немного помялся и сел к столу.

— Из Москвы,— с уважением протянул Федорчук.— Ну, как там?

— Что?

— Ну, вообще.

— Хорошеет,— серьезно сказал Коля.

— А как с промтоварами? — поинтересовалась Анна Петровна.— Здесь с промтоварами очень просто. Вы это учитите, товарищ лейтенант.

— А ему-то зачем промтовары? — улыбнулась Мирра, садясь за стол.— Ему наши промтовары ни к чему.

— Ну, как сказать,— покачал головой Степан Матвеевич.— Костюм бостоновый справить — большое дело. Серьезное дело.

— Гражданского не люблю,— сказал Коля.— И потом, меня государство обеспечивает полностью.

— Обеспечивает,— неизвестно почему вздохнула тетьа Христя.— Ремнями оно вас обеспечивает: все в сбруе ходите.

Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу. Сел напротив, глядел в упор, часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и, хмурясь, отводил глаза. А молоденький боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьезно и досконально, как ребенок.

Неторопливый рассвет нехотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. Накапливаясь под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеивалась, а тяжело оседала в углах. Желтые лампочки совсем затерялись в белом полумраке. Старшина выключил их, но темнота была еще густой и недоброй, и женщины запротестовали:

— Темно!

— Экономить надо энергию,— проворчал Степан Матвеевич, вновь зажигая свет.

— Сегодня свет в городе погас,— сказал Коля.— Наверно, авария.

— Возможное дело,— лениво согласился старшина.— У нас своя подстанция.

— А я люблю, когда темно,— призналась Мирра.— Когда темно — не страшно.

— Наоборот! — сказал Коля, но тут же спохватился.— То есть, конечно, я не о страхе. Это всякие мистические представления насчет темноты.

Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул, а Федорчук сказал с той же недовольной гримасой:

— Темнота — вора́м удобство. Воровать да грабить — для того и ночь.

— И еще кой для чего, — улыбнулась Анна Петровна.

— Ха! — Федорчук зажал смех, покосился на Мирру. — Точно, Анна Петровна. И это, стало быть, воруем, так понимать надо?

— Не воруем, — солидно сказал старшина. — Прячем.

— Доброе дело не прячут, — непримиримо проворчал Федорчук.

— От сглазу, — веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник. — От сглазу и доброе дело подальше прячут. И правильно делают. Готов наш чаек, берите сахар.

Анна Петровна раздала по куску колючего синеватого сахара, который Коля положил в кружку, а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принес чайник, разлил кипяток.

— Берите хлебушко, — сказала тетя Христя. — Выпечка сегодня удалась, не перекусили.

— Чур, мне горбушку! — быстро сказала Мирра.

Завладев горбушкой, она победоносно посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих детских забав и поэтому лишь покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них и тоже улыбнулась, но как бы про себя, и Коле это не понравилось.

«Будто я за ней бегаю, — обиженно подумал он про Мирру. — И чего все выдумывают?..»

— А маргаринчику нет у тебя, хозяйюшка? — спросил Федорчук. — Одним хлебушком сил не напасешь...

— Поглядим. Может, и есть.

Тетя Христя прошла в серую глубину подвала; все ждали ее и к чаю не притрагивались. Боец Вася Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся.

— Да вы пейте, пейте, — сказала из глубины тетя Христя. — Пока тут найдешь...

За узкими щелями отдушин холодно полоснуло голубоватое пламя. Колыхнулись лампочки над потолком.

— Гроза, что ли? — удивилась Анна Петровна.

Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и дело врывались ослепительные вспышки. Вздрагнули стены каземата, с потолка сыпалась штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рев все яснее и яснее прорывались раскатыстые взрывы тяжелых снарядов.

А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. В зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и напряженными, словно все старательно прислушивались к чему-то, уже навеки заглушенному тугим ревом артиллерийской канонады.

— Склад! — вдруг закричал Федорчук, вскакивая. — Склад боепитания взорвался! Точно говорю! Лампу я там оставил! Лампу!..

Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол, рухнула штукатурка с потолка. Желтый удушливый дым пополз в отдушины.

— Война! — крикнул Степан Матвеевич. — Война это, товарищи, война!

Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки, но он не заметил.

— Стой, лейтенант! — Старшина на ходу схватил его. — Куда?

— Пустите! — кричал Коля, вырываясь. — Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк! Я же в списках еще не значусь! В списках не значусь, понимаете?!

Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и побежал вверх по неудобным стертým ступеням. Под ногами громко хрустела штукатурка.

Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров. Узкий коридор уже заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко вздрагивал каземат, все вокруг выло и стонало, и было 22 июня 1941 года: четыре часа пятнадцать минут по московскому времени...

Часть вторая

1

Когда Плужников выбежал вверх — в самый центр незнакомой, полыхающей крепости, — артиллерийский обстрел продолжался, но в ритме его наступило какое-то замедление: немцы начали переносить огневой вал за внешние обводы. Снаряды еще продолжали падать, но падали уже не бессистемно, а по строго запланированным квадратам, и поэтому Плужников успел оглядеться.

Кругом все горело. Горела кольцевая казарма, дома возле

церкви, гаражи на берегу Муховца. Горели машины на стоянках, будки и временные строения, магазины, склады, овощехранилища — горело все, что могло гореть, а что не могло — горело тоже, и в реве пламени, в грохоте взрывов и скрежете горящего железа метались полуголые люди.

И еще кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у коновязи, за спиной Плужникова, и этот необычный, неживотный крик заглушал сейчас все остальное: даже то жуткое, нечеловеческое, что изредка доносилось из горящих гаражей. Там, в промасленных и пробензиновых помещениях с крепкими решетками на окнах, в этот час заживо сгорали люди.

Плужников не знал крепости. Они с девушкой шли в темноте, а теперь эта крепость предстала перед ним в снаряженных всплесках, дыму и пламени. Вглядевшись, он с трудом определил трехарочные ворота и решил бежать к ним, потому что дежурный по КПП должен был обязательно запомнить его и объяснить, куда теперь являться. А явиться куда-то, кому-то доложить было просто необходимо.

И Плужников побежал к воротам, прыгая через воронки и завалы земли и кирпича и прикрывая затылок обеими руками. Именно затылок: было невыносимо представить себе, что в его аккуратно подстриженный и такой беззащитный затылок каждое мгновение может вонзиться иззубренный и раскаленный осколок снаряда. И поэтому он бежал неуклюже, балансируя телом, странно сцепив руки на затылке и спотыкаясь.

Он не расслышал тугого снарядного рева: рев этот пришел позже. Он всей спиной почувствовал приближение чего-то беспощадного и, не снимая рук с затылка, лицом вниз упал в ближайшую воронку. В считанные мгновения до взрыва он руками, ногами, всем телом, как краб, зарывался в сухой неподатливый песок. А потом опять не расслышал разрыва, а почувствовал, что его вдруг со страшной силой вдавило в песок, вдавило настолько, что он не мог вздохнуть, а лишь корчился под этим гнетом, задыхаясь, хватая воздух и не находя его во вдруг наступившей тьме. А затем что-то грузное, но вполне реальное навалилось на спину, окончательно пригасив и попытки глотнуть воздуха, и остатки в ключья разорванного сознания.

Но очнулся он быстро: он был здоров и яростно хотел жить. Очнулся с тягучей головной болью, горечью в груди и почти в полной тишине. Вначале он — еще смутно, еще приходя в себя — подумал, что обстрел кончился, но потом сообразил, что просто ничего не слышит. И это совсем не испугало его; он вылез из-под завалившего его песка и сел,

все время сплевывая кровь и противно хрустевший на зубах песок.

«Взрыв,— старательно подумал он, с трудом подыскивая слова.— Должно быть, тот склад завалило. И старшину, и девочку ту с хромой ногой...»

Думал он об этом тяжело и равнодушно, как о чем-то очень далеком и во времени и в пространстве, пытался вспомнить, куда и зачем он бежал, но голова еще не слушалась. И он просто сидел на дне воронки, однообразно раскачиваясь, сплевывал окровавленный песок и никак не мог понять, зачем и почему он тут сидит.

В воронке ядовито воняло взрывчаткой. Плужников лениво подумал, что надо бы вылезти наверх, что там он скорее отдышится и придет в себя, но двигаться мучительно не хотелось. И он, хрипя натруженной грудью, глотал эту тошнотную вонь, при каждом вздохе ощущая неприятную горечь. И опять не услышал, а почувствовал, как кто-то скатился на дно за его спиной. Шея не ворочалась, и повернуться пришлось всем телом.

На откосе сидел парнишка в синей майке, черных трусах и пилотке. По щеке у него текла кровь; он все время вытирал ее, удивленно глядел на ладонь и вытирал снова.

— Немцы в клубе,— сказал он.

Плужников половину понял по губам, половину слышал.

— Немцы?

— Точно.— Боец говорил спокойно: его занимала только кровь, что медленно сползала по щеке.— По мне жажнули. С автомата.

— Много их?

— А кто считал? По мне один жажнул, и то я щеку побил.

— Пулей?

— Не. Упал я.

Они разговаривали спокойно, будто все это была игра и мальчишка с соседнего двора ловко выстрелил из рогатки. Плужников пытался осознать себя, почувствовать свои собственные руки и ноги, спрашивал, думая о другом, и лишь ответы ловил напряженно, потому что никак не мог понять, слышит он или просто догадывается, о чем говорит этот парнишка с расцарапанной щекой.

— Кондакова убило. Он слева бежал и упал сразу. Задергался и ногами забил, как припадочный. И киргиза того, что дневалил вчера, тоже убили. Того раньше.

Боец говорил что-то еще, но Плужников вдруг перестал его слушать. Нет, теперь он слышал почти все — и ржание

покалеченных лошадей у коновязи, и взрывы, и рев пожаров, и далекую стрельбу, — он все слышал и поэтому успокоился и перестал слушать. Он переварил в себе и понял самое главное из того, что успел наговорить ему этот красноармеец: немцы ворвались в крепость, и это означало, что война действительно началась.

— ...а из него кишки торчат. И вроде — дышат. Сами собой дышат, ей-богу!..

Голос разговорчивого паренька ворвался на мгновение, и Плужников — теперь он уже контролировал себя — тут же выключил это бормотание. Представился, назвал полк, куда был направлен, спросил, как до него добраться.

— Подстрелят, — сказал боец. — Раз они в клубе — это в церкви бывшей, значит, — так обязательно жажнут. Из автоматов. Оттуда им все — как на ладошке.

— А вы куда бежали?

— За боеприпасом. Нас с Кондаковым в склад боепитания послали, а его убило.

— Кто послал?

— Командир какой-то. Все перепуталось, не поймешь, где твой командир, где чужой. Бежали мы сперва много.

— Куда приказано было доставить боеприпасы?

— Так ведь в клубе немцы. В клубе, — неторопливо и доброжелательно, точно ребенку, объяснил боец. — Куда ни приказывали, а не пробежать. Как жажнут...

Он любил это слово и произносил его особенно впечатляюще: в слове слышалось жужжанье. Но Плужникова больше всего интересовал сейчас склад боепитания, где он надеялся раздобыть автомат, самозарядку или, на худой конец, обычную трехлинейку с достаточным количеством патронов. Оружие давало не только возможность действовать, не только стрелять по врагу, засевшему в самом центре крепости, — оружие обеспечивало личную свободу, и он хотел заполучить его как можно скорее.

— Где склад боепитания?

— Кондаков знал, — нехотя сказал боец.

Кровь по щеке больше не текла — видно, засохла, — но он все время бережно ощупывал грязными пальцами глубокую ссадину.

— Черт! — рассердился Плужников. — Ну, где он может быть, этот склад? Слева от нас или справа? Где? Ведь если немцы проникли в крепость, они же на нас могут наткнуться, это вы соображаете? Из пистолета не отстреляешься.

Последний довод заметно озадачил парнишку: он перестал ковырять коросту на щеке, тревожно и осмысленно глянул на лейтенанта.

— Вроде слева. Как бежали, так он справа был. Или — нет: Кондаков-то слева бежал. Погодите, гляну, где он лежит.

Повернувшись на живот, он ловко пополз вверх. На краю воронки оглянулся, став вдруг очень серьезным, и, сняв пилотку, осторожно высунул наружу стриженную под машинку голову.

— Вон Кондаков,— не оглядываясь, приглушенно сообщил он.— Не дергается больше, все. А до склада мы чуть-чуть только не добежали: вижу его. И вроде он не разбомбленный.

Оступаясь — ему очень не хотелось ползти при этом молоденьком красноармейце,— Плужников поднялся на откос, лег рядом с бойцом и выглянул: неподалеку действительно лежал убитый в гимнастерке и галифе, но без сапог и пилотки. Темная голова отчетливо виднелась на белом песке. Это был первый убитый, которого видел Плужников, и жуткое любопытство невольно притягивало к нему. И поэтому молчал он долго.

— Вот тебе и Кондаков,— вздохнул боец.— Конфеты любил, ириски. А жаден был — хлеба не выпросишь.

— Так. Где склад? — спросил Плужников, с усилием отрываясь от убитого Кондакова, который был когда-то жадным и очень любил ириски.

— А вон бугорок вроде. Видите? Только вход где в него, это не знаю.

Недалеко от склада за изрытой снарядами, изломанной зеленью виднелось массивное здание, и Плужников понял, что это и есть клуб, в котором, по словам бойца, уже засели немцы. Оттуда слышались короткие автоматные очереди, но куда они били, Плужников понять не мог.

— По Белому дворцу садят,— сказал боец.— Левай гляньте. Инженерное управление.

Плужников глянул: за низкой оградой, окружавшей двухэтажное, уже меченное снарядами здание, лежали люди. Он отчетливо видел огоньки их частых беспорядочных выстрелов.

— По моей команде бежим до...— Он запнулся, но продолжил: — До Кондакова. Там падаем, даже если немцы не откроют огня. Поняли? Внимание. Приготовились. Вперед!

Он бежал в рост, не пригибаясь, не столько потому, что голова его еще кружилась, а чтобы не выглядеть трусом в глазах этого перепуганного парнишки в синей майке. На одном дыхании он домчался до убитого, но не остановился, как сам же приказывал, а побежал дальше, к оружейному складу. И только пробежав до него, вдруг испугался, что вот сейчас-то его и убьют. Но тут, громко дыша, притопал боец,

и Плужников поспешно отогнал от себя страх и даже улыбнулся этому смешному стриженому красноармейцу:

— Чего пыхтишь?

Боец ничего не ответил, но тоже улыбнулся, и обе эти улыбки были похожи друг на друга как две капли воды.

Они трижды обошли земляной бугор, но нигде не нашли ничего похожего на вход. Все вокруг было уже взрыто и вздыблено, и то ли вход завалило при обстреле, то ли боец что-то напутал, то ли мертвый Кондаков бежал совсем не в ту сторону, а только Плужников понял, что вновь остался с одним пистолетом, променяв удобную дальнюю воронку на почти оголенное место рядом с церковью. Он с тоской оглянулся на низкую ограду Белого дворца, на беспорядочные огоньки выстрелов: там были свои, и Плужникову нестерпимо захотелось к ним.

— К нашим бежим,— не глядя, сказал он.— Как скажу «три». Готов?

— Готов,— вздохнул боец.— А они в лоб жahnут: как раз сюда целят-то.

— Не жahnут,— не очень уверенно ответил Плужников.— Свои же мы, красные.

Он так и сказал «красные». Как в детстве, когда играл во дворе в Чапаева, но Чапaeвым его никто не признавал, и ему всегда приходилось довольствоваться ролью командира эскадрона Жихарева.

По его команде они снова побежали, прыгая через воронки и через убитых, не ложась и не пригибаясь. Бежали навстречу огонькам, и Плужников все время кричал «свои!», но оттуда все стреляли и стреляли, и несколько раз он отчетливо слышал негромкий пулевой посвист. И опять им повезло: они добежали до ограды, перемахнули через нее и, задыхаясь, упали на землю уже в безопасности и среди своих. А злой старший лейтенант в старательно застегнутой, но очень грязной гимнастерке сердито кричал:

— Перебежками надо, понятно? Перебежками!..

Отдышавшись, Плужников хотел доложить, но старший лейтенант доклада слушать не стал, а послал его на левый фланг жиденькой обороны с приказом вести особое наблюдение в сторону Тереспольских ворот: он был убежден, что немцы прорвались отсюда. Очень коротко ознакомив Плужникова с обстановкой и не ответив ни на один из вопросов, старший лейтенант хмуро добавил:

— Винтовку у сержанта заберешь. И следи за воротами, понял? Нам бы только до своих продержаться.

До каких «своих» надеялся продержаться старший лейтенант и откуда они должны были появиться, Плужников

расспрашивать не стал. Он сам верил, что свои вот-вот подойдут и все образуется само собой. Надо только держаться. Просто отстреливаться, и все.

Явившись на левый фланг, Плужников не нашел там никакого сержанта: угол здания медленно горел, неохотно выбрасывая из дыма огненные языки, а возле ограды лежали полуодетые бойцы и два пограничника с ручным пулеметом Дегтярева.

— Почему пожар не ликвидируете? — сердито спросил Плужников.

Ему никто не ответил: все напряженно глядели в сторону ворот с высокой водонапорной башней. Плужников понял несвоевременность указаний, спросил у пулеметчиков о сержанте. Старший коротко кивнул:

— Там.

Небольшого роста человек ничком лежал на земле, широко разбросав ноги в стоптанных сапогах. Чернявая голова его лбом упиралась в прицельную планку винтовки и только тяжело закачалась, когда Плужников тронул сержанта за плечо.

— Товарищ сержант...

— Убитый он, — сказал пограничник.

Плужников сразу отдернул руку, беспомощно оглянулся, но никто сейчас не обращал на него внимания. Не решаясь вновь притронуться к мертвецу, он потянул винтовку за ствол, но убитый по-прежнему цепко держался за нее, а Плужников все дергал и дергал, и круглая чернявая голова тупо вздрагивала, стучаясь лбом о прицельную планку.

— Опять бегут, — сказал кто-то. — Это с восемьдесят четвертого ребята.

— Музыканты это, — сказал второй. — Они над воротами...

Со стороны клуба послышалось несколько коротких сухих очередей. Плужников не знал, куда стреляют, но сразу же упал рядом с убитым сержантом, продолжая упорно выворачивать из его мертвых рук трехлинейку. Убитый некоторое время волочился за нею, но потом мертвые пальцы вдруг разжались, и Плужников, схватив винтовку, пополз в дальний угол ограды, не решаясь оглянуться.

У Тереспольских ворот металось несколько бойцов: один нес ярко начищенную трубу, и на ней временами остро вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли скупой музыканты то падали, то вновь вскакивали и продолжали метаться. У коновязи бились и храпели лошади, и Плужников больше смотрел на них, а когда опять глянул в сторону ворот, то музыканты уже куда-то подевались, унеся с собой веселый солнечный зайчик.

— Вот с восемьдесят четвертого! — крикнул пограничник, который был первым номером у пулемета. — К нам, что ли?

От кольцевых казарм правильными перебежками продвигались красноармейцы. Не растерянные музыканты, а бойцы с оружием, и немецкие автоматчики сразу усилили огонь.

Рядом резко застучал «дегтярь»: пограничники короткими очередями били по костелу, прикрывая товарищей.

— Огонь! — закричал Плужников.

Он кричал для себя, потому что команда была ему необходима. Но, скомандовав, он так и не смог выстрелить: в сержантской винтовке патронов не оказалось, и Плужников только без толку щелкал курком, лихорадочно передергивая затвор.

— Вели диски набить, лейтенант! — закричал второй номер — рослый брюнет со значком ворошиловского стрелка на гимнастерке. — Диски кончаются!

Плужников побежал к дому мимо редкой цепочки бойцов. Старшего лейтенанта нигде не было видно, и он, волоча винтовку, долго суетился возле горящего здания.

— Патроны! Где патроны?

— В подвале спроси, — сказал полуголый сержант с забинтованной головой. — Хлопцы оттуда цинки таскали.

Тяжелый смрадный дым медленно сползал в подвалы. Кашляя и вытирая слезы, Плужников ощупью спустился по крутым стертым ступеням, с трудом разглядел в полумраке раненых и спросил:

— Патроны где?

— Кончились, — сказал вдруг женский голос из темноты. — Что наверху слышно?

Плужникову очень хотелось увидеть, кому принадлежит этот голос, но, как он ни вглядывался, ничего разобрать не смог.

— К нам из казарм прорываются, — сказал он. — Из восемьдесят четвертого, что ли. Старшего лейтенанта не видели?

— Пройдите сюда. Осторожнее: люди на полу.

У стены лежал старший лейтенант в испачканной гимнастерке, разорванной до пояса. Кое-как перебинтованная грудь его чуть вздымалась, и при каждом вздохе выступала розовая пена на белых, стянутых в нитку губах. Плужников опустился подле него на колени, позвал:

— Товарищ старший лейтенант. Товарищ...

— Уже не дозоветесь, — сказал все тот же голос. — Наши-то скоро из города подойдут, ничего не слышно?

— Подойдут, — сказал Плужников, вставая. — Должны

подойти.— Он еще раз оглянулся, смутно различил темную фигуру и тихо добавил: — Пожар наверху. Уходите отсюда.

— Куда? Здесь — раненые.

— Опасно оставаться.

Женщина промолчала. Подавленный не столько отсутствием патронов, сколько смертью командира, Плужников выбрался из задымленного подвала. В подъезде уже невозможно было стоять: над головой занимались перекрытия. У входа на ступеньках по-прежнему сидел сержант, неторопливо, домашнему сворачивая сигарку.

— Надо бы из подвала раненых вынести, — сказал Плужников. — Огонь вход отрезет. И женщина там.

— Надо, — спокойно согласился сержант. — А куда? Кругом горит.

— Ну, не знаю. Куда-нибудь...

— Не вертись, — вдруг перебил сержант. — Старшего лейтенанта аккурат тут стукнуло, где ты стоишь.

Плужников поспешно вышел. Во дворе приутихла стрельба, слышались неразборчивые голоса. Плужников вспомнил о патронах, хотел было опять вернуться к сержанту, расспросить, но раздумал и, волоча пустую винтовку, побежал к людям.

Они толпились за углом вокруг черноволосого замполитрука. Черноволосый говорил решительно и зло, и все с видимым облегчением слушали его резкий голос.

— ...по моей команде. Не останавливаться, не отвлекаться. Только вперед! Ворваться в клуб и ликвидировать автоматчиков врага. Задача ясна?

— Ясна! — с привычной бодростью отозвались бойцы.

— А ликвидировать чем? — хмуро спросил немолодой, видно из приписников, боец в синей майке. — Винтовки без штыков, а у меня так и вовсе нету.

— Зубами рви! — громко сказал замполитрук. — Кирпич вон захвати: зачем глупые вопросы? Главное — всем вместе, дружно, с громким «ура». И не ложиться! Бежать и бежать прямо в клуб.

— Как в кино! — сказал круглоголовый, как мальчишка, боец.

Все засмеялись, и Плужников засмеялся тоже. И не потому, что круглоголовый боец сказал что-то уж очень смешное, а потому, что все сейчас испытывали нетерпеливое волнение, знали задачу и видели перед собой человека, который брал на себя самое трудное: принимать решения за всех.

— У кого нет винтовок, вооружиться лопатами, камнями, палками — всем, чем можно проломить фашисту голову.

— Она у него в каске! — опять крикнул круглоголовый: он числился ротным шутником.

— Значит, бей сильней! — улыбнулся замполитрук. — Бей, как хороший хозяин грабителя бьет. Пять минут на сбор оружия. В атаку идти всем! Кто останется — дезертир... — Тут он замолчал, заметив Плужникова. И спросил: — Какого полка, товарищ лейтенант?

— Я в списках не значусь. Вот командировочное...

— Документы потом. Полковой комиссар приказал мне лично возглавить атаку.

— Конечно, конечно! — торопливо согласился Плужников. — Я — в вашем полном распоряжении...

— Возьмите на себя окна, — подумав, сказал замполитрук. — Десять человек — в распоряжение лейтенанта!

Из толпы вразнобой вышли десятеро: оба пограничника, хмурый приписник, ротный острослов, сержант с забинтованной головой, молоденький боец в трусах и майке с расцарапанной щекой, еще кто-то, кого Плужников не успел приметить. Они молча стояли перед ним, ожидая указаний или распоряжений, а он не знал, что им сказать. Старший пограничник держал на плече «дегтарь», будто дубину: ствол еще не остыл, и пограничник все время перебирал по нему пальцами, словно играл на дудке. Сержант курил сигарку, а приписник, жадно поглядывая, шептал:

— Оставь маленько, товарищ сержант. Разок, а?

— Значит, окна, — сказал Плужников. — Там стекла?

— Стекла все повывлетали, — сказал сержант и дал приписнику окурочек. — Тебя как зовут-то?

— Фамилия — Прижнюк, — сказал тот, жадно затягиваясь.

— Эх, гранатку бы! — вздохнул смуглый пограничник.

— Да, вооружиться всем, — спохватился Плужников. — Ну, кто что найдет. Только быстро.

Солдаты разошлись, остались только пограничники, потому что у старшего был «дегтарь», а младший уже раздобыл где-то старый кавалерийский клинок.

— Не думал, не гадал, — усмехнулся старший. — Меня сегодня Ленка ждет. В семь вечера, представляешь?

— Никуда Ленка не денется, — сказал второй. — Еще нацелуешься.

— Вопрос: когда...

Постепенно подходили бойцы, вооруженные кто саперной лопаткой, а кто и выломанным из ограды железным прутом. Винтовка, которая досталась Плужникову после убитого, тоже была без штыка, но он вспомнил о пистолете и отдал винтовку бойцу с расцарапанной щекой.

— Не надо,— сказал боец и показал саперную лопатку.— Я ее на камне наточил: может, автомат добуду.

— Без штанов, а тоже — автомат,— сказал старший пограничник.— Голову сбереги, и то ладно.

Винтовку взял Прижнюк. Повертел ее в руках, как дубину, проворчал:

— Годится.

— Как окна поделим? — спросил пограничник с пулеметом.— Мое первое или ваше?

— Первое — мое,— торопливо сказал Плужников, потому что внутренне был убежден, что первое — число счастливое.— Мое — первое...

— Готовы? — крикнул замполитрук.— Как только наши откроют огонь, я дам команду.

Прошло еще несколько томительных, как часы, минут. Плужников стоял за углом горящего здания, покашливая от дыма. Ладони потели, он то и дело перекладывал пистолет из руки в руку и вытирал их о гимнастерку. За плечом жарко и нетерпеливо дышал пограничник с пулеметом.

— Ну, чего тянут?

— Тихо,— сказал Плужников.— Обычная атака...

Атака была настоящей, и ему стало неудобно за мальчишеские слова. Но никто сейчас уже не обращал внимания ни на слова, ни на никому не известного лейтенанта. Слышалось только учащенное дыхание, редкое позвякивание железа, рев пламени за кирпичной стеной да частая стрельба по всему периметру кольцевых казарм. И еще — гул сражения в Бресте. Гул, который Плужников слушал почти с восторгом: там были свои, там громили немцев, оттуда должна была вот-вот прийти помощь.

Как ни ловил Плужников близких выстрелов, а застали они его врасплох, и он инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил за плечо, потому что команды еще не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм, веера ответных очередей из костела, и в этот миг замполитрук закричал сорвавшимся голосом:

— Вперед! За родину!..

— Вперед! — закричал Плужников, бросаясь к ограде.

Он бежал, не видя дороги и крича «ура!», пока хватило сил. «Ура!» получалось коротким, но он вновь глотал воздух широко разинутым ртом и вновь выдыхал его в тягучем крике. Пули свистели над головой, взбивали пыль у ног, резали еще уцелевший кустарник, но он одним из первых добежал до стены костела и прижался к ней, потому что из окна били и били частые очереди. Где-то рядом кричали

сорванными, напряженными голосами, что-то звенело, и не переставая вспарывали воздух автоматные очереди.

— Окно! — крикнул пограничник.— Окно, мать вашу!..

Оттолкнув Плужникова, он бросился к оконному проему, тонко, по-мальчишески взвизгнул и упал грудью на подоконник. Плужников дважды выстрелил в оскаленный вспышками сумрак костела, прыгнул на мокрую, вздрагивающую спину пограничника и, перекатившись через него, свалился на кирпичный пол. По волосам обжигаяще ударило очередь, он выстрелил еще раз и на четвереньках побежал к стене. Рядом упал кто-то из бойцов, что тоже прыгал через мертвого пограничника, Плужникова больно ударили по голове сапогом, но он сумел вскочить и прижаться спиной к кирпичам.

Со света казалось, что в костеле темно. В сумраке и кирпичной пыли, хрипя и яростно матерясь, дрались врукопашную, ломали друг другу спины, душили, рвали зубами, выдавливали глаза, раздирали рты, кромсали ножами, били лопатами, кирпичами, прикладами. Кто плакал, кто кричал, кто стонал, а кто ругался, разобрать уже было невозможно. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный звериный рев.

Все это пронеслось перед ним в мгновение, как моментальная фотография, потому что в следующее мгновение он оторвался от стены и кинулся в глубину, где еще вспыхивали короткие веера очередей. Он не решался стрелять издалека, потому что между ним и вспышками то появлялись, то исчезали фигуры. Он оттолкнул кого-то, кажется, своего, выстрелил в близкое, ощеренное чужое лицо, споткнулся, упал на клубок тел, катавшихся по полу, бил тяжелым ТТ по стриженому затылку, и затылок этот дергался все медленнее, все безвольнее, а когда совсем перестал дергаться, самого Плужникова с такой силой ударили по голове, что на какое-то время он потерял сознание и сунулся лицом в раздробленный им же самим немецкий недавно подстриженный затылок.

Очнувшись, он не нащупал пистолета, а встать не смог и опять на четвереньках пополз к стене, размазывая по лицу чужую кровь. Голова не хотела держаться прямо, клонилась, и он уговаривал себя не терять сознания, смутно соображая, что растопчут. Он почти добрался до стены, как кто-то схватил его за сапог и потащил назад, под ноги надсадно хрипящих солдат. Он извернулся, увидел широкое, залитое кровью лицо, остро торчащие остатки зубов в раздробленной челюсти, кровавую слюну, распухший, вывалившийся язык и закричал. Он кричал тонко, визгливо, а немец, улыбаясь

мертвой улыбкой, все волок его к себе и волок, и Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это — смерть, и сразу вспотел и продолжал визжать, а немец все тащил его и тащил, медленно и неуклонно, как во сне. И совсем как во сне у Плужникова не было сил, а был только липкий, черный, лишающий рассудка страх.

Кто-то упал на него и пополз от головы к ногам, к немцу, упираясь босой ногой в подбородок лейтенанта. И Плужников почувствовал, как немец отпустил его ногу и как странно подпрыгивает на его животе полуголый маленький боец. Это было больно, но уже не страшно, и Плужников кое-как вылез из-под бойца и увидел, что боец этот — с расцарапанной щекой, — стоя на коленях, бьет и бьет полотно саперной лопатки по шее немца и что лопатка эта с каждым ударом все глубже и глубже входит в тело, и немец судорожно корчится на полу.

Бой кончился, затихали последние стоны, последине крики и последняя ругань: немцы, не выдержав, бежали из костела, а кто не смог убежать, доходил сейчас на окровавленном кирпичном полу.

— Вы живой, товарищ лейтенант? А я лопаткой его, лопаткой! Хак! Хак! Как мамане телушку!

Плужников сидел у стены, с трудом приходя в себя. Ломило голову, тошнота волнами подступала к горлу, и он все время глотал, а слюны не было, и сухие колючие спазмы сжимали гортань. Он понимал, что бой закончился, что сам он уцелел и, кажется, даже не ранен, но не испытывал сейчас ничего, кроме тошноты и усталости. А маленький боец говорил и говорил, захлебываясь от восторга:

— Я ему жилу перерубил. Жилу подрезал, как телку. Тут, на шее, место такое...

— Пистолет, — с трудом сказал Плужников: ему было неприятно это восторженное оживление. — Пистолет мой...

— Найдем! А меня и не зацепил никто. Я верткий. Я, знаешь...

— Мой пистолет, — упрямо повторил Плужников. — Он в удостоверении записан. Личное оружие.

— А я автомат раздобыл! А пограничник говорил: без штанов, мол. А сам — убитый, а я — с автоматом.

— Лейтенант! — позвали откуда-то из глубины забитого пылью костела. — Лейтенант — живой, никто не видал?

— Живой я. — Плужников поднялся, шагнул и сел на пол. — Голова только. Сейчас пройдет.

Он поискал, на что можно опереться, и нащупал немецкий автомат. Поднял, с усилием передернул затвор: выпал тускло

блеснувший патрон. Плужников поставил автомат на предохранитель, оперся на него и кое-как встал на ноги.

К нему шел черноволосый замполитрук. Гимнастерки на замполитруке не было, белая, залитая кровью рубашка была надета поверх свежих бинтов.

— Ранило вас? — спросил Плужников.

— Немец спину кинжалом порезал, — сказал черноволосый. — Вам тоже досталось?

— Прикладом по голове, что ли. Или душили. Не помню.

— Глотните, — замполитрук протянул фляжку. — Бойцы с убитого немца сняли.

Непослушными пальцами Плужников отвинтил пробку, глотнул. Теплая вонючая водка перехватила дыхание, и он тотчас же вернул фляжку.

— Водка.

— Хороши вояки? — спросил замполитрук, вешая фляжку на брючный пояс. — Полковому комиссару покажу. Кстати, как мне доложить о вас?

Плужников показал документы. Замполитрук внимательно просмотрел их, вернул:

— Вам придется остаться здесь. Комиссар сказал, что костел — ключ обороны цитадели. Я пришлю станковый пулемет.

— И воды. Пожалуйста, пришлите воды.

— Не обещаю: вода нужна пулеметам, а до берега не доберешься. — Замполитрук оглянулся, увидел молоденького бойца с расцарапанной щекой. — Товарищ боец, соберите все фляжки и лично сдайте их лейтенанту.

— Есть собрать фляжки.

— Минуточку. И оденьтесь: в трусах воевать не очень удобно.

— Есть.

Боец бегом кинулся выполнять приказание: сил у него хватало. А замполитрук сказал Плужникову:

— Воду берегите. И прикажите всем надеть каски: немецкие, наши — какие найдут.

— Хорошо. Это правильно: осколки.

— Кирпичи страшней, — улыбнулся замполитрук. — Ну, счастливо, товарищ лейтенант. Раненых мы заберем.

Замполитрук пожал руку и ушел, а Плужников тут же сел на пол, потому что в голове опять все поплыло: и костел, и замполитрук с изрезанной ножом спиной, и убитые на полу. Он качнулся, закрыл глаза, мягко повалился на бок и вдруг ясно-ясно увидел широкое лицо, оскал изломанных зубов и кровавые слюни, капающие из раздробленной челюсти.

— Черт возьми!

Огромным усилием он заставил себя сесть и вновь открыть глаза. Все по-прежнему дрожало и плыло, но в этой неверной зыби он все-таки выделил знакомого бойца: тот шел к нему, брякая фляжками.

«А все-таки я — смелый, — подумал вдруг Плужников. — Я ходил в настоящую атаку и, кажется, кого-то убил. Есть что рассказать Вале...»

— Вроде две с водой. — Боец протянул фляжку.

Плужников пил долго и медленно, смакуя каждый глоток. Он помнил о совете замполитрука беречь воду, но оторваться от фляжки не смог и отдал ее, когда осталось на донышке.

— Вы два раза мне жизнь спасли. Как ваша фамилия?

— Сальников я. — Молоденький боец засмутился. — Сальников Петр. У нас вся деревня — Сальниковы.

— Я доложу о вас командованию, товарищ Сальников.

Сальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифе и короткие немецкие сапоги. Все это было ему велико, висело мешком, но он не унывал:

— Не в складе ведь.

— С погибших? — брезгливо спросил Плужников.

— Они не обидятся!

Голова почти перестала кружиться: осталась только тошнота и противная слабость. Плужников поднялся, с горечью обнаружил, что гимнастерка его залита кровью, а воротник разорван. Он кое-как оправил ее, подтянул португеею и, повесив на грудь трофейный автомат, пошел к дверному пролому.

Здесь толпились бойцы, обсуждая подробности боя. Хмурый приписник и круглоголовый остряк были легко ранены, сержант в порыве от засохшей крови рубахе сидел на обломках и курил, усмехаясь, но не поддерживая разговора.

— Досталось вам, товарищ лейтенант?

— На то и бой, — строго сказал Плужников.

— Бой — для победы, — усмехнулся сержант. — А досталось тем, кто без цели бежал. Я в финской участвовал и знаю, что говорю. В рукопашной нельзя кого ни попадая, кто под руку подвернулся. Тут, когда еще на сближение идешь, надо цель выбрать. Того, с кем сцепишься. Ну, по силам, конечно. Приглядел, и рвись прямо к нему, не отвлекайся. Тогда и шишек будет поменьше.

— Пустые разговоры, — сердито сказал Плужников: сержант сейчас очень напомнил ему училищного старшину и этим не понравился. — Надо оружие собрать...

— Собрано уже, — опять усмехнулся сержант. — Долго отдыхали...

— Воздух! — крикнул круглоголовый боец. — Штук двадцать бомбовозов!

— Ховайтесь, хлопцы, — сказал сержант, старательно притушив окурки. — Сейчас дадут нам жизни.

— Наблюдателю остаться! — крикнул Плужников, приглядываясь, куда бы спрятаться. — Они могут снова...

— Станкач волокут! — снова закричал тот же боец. — Сюда...

— Каски! — вспомнил Плужников. — Каски надеть всем!..

Нарастающий свист первых бомб заглушил слова. Рвануло где-то близко, с потолка посыпалась штукатурка, и горячая волна подняла с пола кирпичную пыль. Схватив чью-то каску, Плужников метнулся к стене, присел. Бойцы побежали в глубину костела, а Сальников, покрутившись, сунулся в тесную нишу рядом с Плужниковым, лихорадочно натягивая на голову тесную немецкую каску. Вокруг все грохотало и качалось.

— В укрытие! — кричал Плужников сержанту, все еще лежавшему у дверного пролома. — В укрытие, слышите?..

Удушливая волна ударила в разинутый рот, Плужников мучительно закашлялся, протер запорошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля, ходуном ходили толстые стены костела.

— Сержант!.. Сержант, в укрытие!..

— Пулемет!.. — надсадно прокричал сержант. — Пулемет бросили! От дурни!..

Пригнувшись, он бросился из костела под бомбежку. Плужников хотел закричать, и снова тугая вонючая волна горячего воздуха перехватила дыхание. Задыхаясь, он осторожно выглянул.

Низко пригнувшись, сержант бежал среди взрывов и пыли. Грудью падал в воронки, на миг скрываясь, выныривал и снова бежал. Плужников видел, как он добрался до лежащего на боку станкового пулемета, как стащил его вниз, в воронку, но тут вновь где-то совсем близко разорвалась бомба. Плужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, выглянул снова, но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли.

— Накрыло! — кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова. — По нем жажнуло! Одни пуговицы остались!..

Новая серия бомб просвистела над головой, ударила, качнув могучие стены костела. Плужников упал на пол, скорчился, зажимая уши. Протяжный свист и грохот тяжело давили на плечи, рядом вздрагивал Сальников.

Вдруг стало тихо, только медленно рассасывался противный звон в ушах. Тяжело ревели моторы низко круживших бомбардировщиков, но ни взрывов, ни надсаживающего душу

свиста бомб больше не слышалось. Плужников поправил сползающую на лоб каску и осторожно выглянул.

Сквозь дым и пыль кровавым пятном просвечивало солнце. И больше Плужников ничего не увидел, даже контуров ближних зданий. Рядом, толкаясь, пристраивался Сальников.

— Повзрывали все, что ли?

— Все взорвать не могли.— Плужников тряс головой, чтобы стряхнуть застрявший в ушах звон.— Долго бомбили, не знаешь?

— Долго,— сказал Сальников.— Бомбят всегда долго. Глядите, сержант!

В тяжелой завесе дыма и пыли показался сержант: он катил пулемет. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами.

— Целы? — спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел.

— Мы-то целы,— сказал сержант.— А одного дурня убило. Разве ж можно — под бомбами...

— Хороший был пулеметчик,— вздохнул боец, что нес ленты.

— Товарищ лейтенант! — гулко окликнули из глубины.— Тут гражданские!

К ним шли бойцы и среди них — три женщины. Молодая была в белом, сильно испачканном кирпичной пылью лифчике, и Плужников, нахмурившись, сразу отвел глаза.

— Кто такие? Откуда?

— Здешние мы, здешние,— торопливо закивала старшая.— Как стрелять начали, так мы сюда.

— Они говорят, немцы в подвалах,— сказал смуглый пограничник, тот что был вторым номером у ручного пулемета.— Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвалы осмотреть, а?

— Правильно,— согласился Плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях возле станкового пулемета.

— Ступайте,— сказал сержант, не оглядываясь.— Мне пулеметик почистить треба.

— Ага.— Плужников потоптался, добавил неуверенно: — Остаетесь тут за меня.

— Вы в темноту-то не очень суйтесь,— сказал сержант.— Шуруйте гранатами.

— Взять гранаты.— Плужников поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно длинной ручкой.— Шесть человек — за мной.

Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Плужников снова покосился на женщину в испачканном лифчике, снова отвел глаза и сказал:

— Укройте чем-нибудь. Сквозняк.

Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый остряк сказал:

— Там на столе — скатерка красная. Может, дать ей?

И побежал за скатеркой, не дожидаясь приказа.

— Ведите в подвалы,— сказал Плужников пограничнику.

Лестница была темной, узкой и настолько крутой, что Плужников то и дело оступался, всякий раз хватаясь за плечи идущего впереди пограничника. Пограничник недоброльно поводил плечами, но молчал.

С каждым шагом все тише доносился и рев немецких бомбардировщиков, и частые выстрелы, что начались сразу после бомбежки в районе Тереспольских ворот. И чем тише звучали эти далекие шумы, тем все отчетливее и звонче делался грохот их сапог.

— Шумим больно,— тихо сказал Сальников.— А они как жажнут на шум...

— Тут они и сидели, женщины эти,— сказал пограничник, останавливаясь.— Дальше я не ходил.

— Тише,— сказал Плужников.— Послушаем.

Все замерли, придержав дыхание. Где-то далеко-далеко звучали выстрелы, и звуки их были здесь совсем не страшными, как в кино. Глаза постепенно привыкали к мраку: медленно прорисовывались темные своды, черные провалы ведущих куда-то коридоров, светлые пятна отдушин под самым потолком.

— Сколько тут проходов? — шепотом спросил Плужников.

— Вроде три.

— Идите прямо. Еще двое — левым коридором, я — правым. Один боец останется у выхода. Сальников, за мной.

Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому, бесконечному подвалу. Останавливались, слушали, но ничего не было слышно, кроме собственного учащенного дыхания.

— Интересно, есть здесь крысы? — как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их побаивается, спросил Плужников.

— Наверняка,— шепотом сказал Сальников.— Боюсь я темноты, товарищ лейтенант.

Плужников и сам пугался темноты, но признаться в этом не решался даже самому себе. Это был непонятный страх: не перед внезапной встречей с хорошо укрытым врагом и не перед неожиданной очередью из мрака. Просто в темноте ему все время мерещились непонятные ужасы вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов, бродил он впотьмах с огромным внутренним напряжением и поэтому, пройдя еще немного, не без облегчения решил:

— Показалось им. Возвращаемся.

Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник еще не вернулся.

— Скажите, чтоб выходили.

Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым выходом стояли женщины: наверху опять бомбили.

Плужников переждал бомбежку. Когда взрывы стали затихать, снизу поднялись бойцы.

— Ход там какой-то, — сказал пограничник. — Темень — жуткое дело.

— Немцев не видели?

— Я же говорю: темень. Гранату туда швырнул: вроде никто не закричал.

— Показалось бабам с испугу, — сказал круглоголовый.

— Женщинам, — строго поправил Плужников. — Баб на свете нет, запомните это.

Резко застучал станковый пулемет у входа. Плужников бросился вперед.

Полуголый сержант строчил из пулемета, рядом лежал боец, подавая ленту. Пули сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулеметным стволом, цокали в щит. Плужников упал подле, подполз.

— Немцы?

— Окна! — ощерясь, кричал сержант. — Держи окна!..

Плужников бросился назад. Бойцы уже расположились перед окнами, и ему досталось то, через которое он прыгал в костел. Мертвый пограничник свешивался поперек подоконника: голова его уперлась Плужникову в живот, когда он выглянул из окна.

Серо-зеленые фигуры бежали к костелу, прижав автоматы к животам и стреляя на бегу. Плужников, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь: автомат забился в руках, как живой, задираясь в небо.

«Задирает, — сообразил он. — Надо короче. Короче».

Он стрелял и стрелял, а фигуры все бежали и бежали, и ему казалось, что они бегут прямо на него. Пули били в кирпичи, в мертвого пограничника, и загустевшая чужая кровь брызгала в лицо. Но утереться было некогда: он размазал эту кровь, только когда отвалился за стену, чтобы перезарядить автомат.

А потом все стихло, и немцы больше не бежали. Но он не успел оглянуться, не успел спросить, как там, у входа, и есть ли еще патроны, как опять тяжело загудело небо, и насадный свист бомб разорвал продымленный и пропыленный воздух.

Так прошел день. При бомбежках Плужников уже никуда не бегал, а ложился тут же, у сводчатого окна, и мертвая голова пограничника раскачивалась над ним после каждого взрыва. А когда бомбежка кончалась, Плужников поднимался и стрелял по бегущим на него фигурам. Он уже не чувствовал ни страха, ни времени: звенело в заложенных ушах, муторно першило в пересохшем горле и с непривычки сводило руки от бьющегося немецкого автомата.

И только когда стемнело, стало тихо. Немцы отбомбились в последний раз, «юнкеры» с ревом пронесли в прощальном круге над горящими задымленными развалинами, и никто больше не бежал к костелу. На изрытом взрывами дворе валялись серо-зеленые фигуры: двое еще шевелились, еще куда-то ползли в пыли, но Плужников не стал по ним стрелять. Это были раненые, и воинская честь не допускала их убийства. Он смотрел, как они ползут, как подгибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нем ни сочувствия, ни даже любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадежной усталости.

Хотелось просто лечь на пол и закрыть глаза. Хоть на минуту. Но он не мог позволить себе даже этой минуты: надо было узнать, сколько их осталось в живых, и где-то раздобыть патроны. Он поставил автомат на предохранитель и, пошатываясь, побрел к входному проему.

— Живы? — спросил сержант: он сидел у стены, вытянув ноги. — Это хорошо. А патронов больше нет.

— Сколько людей? — спросил Плужников, тяжело опустившись рядом.

— Целехоньких — пятеро, раненых — двое. Один вроде в грудь.

— А пограничник?

— Дружка, сказал, пойдет хоронить.

Медленно подходили бойцы: почерневшие, притихшие, с ввалившимися глазами. Сальников потянулся к фляжкам:

— Горит все.

— Оставь, — сказал сержант. — В пулемет.

— Так патронов нет.

— Достанем.

Сальников сел рядом с Плужниковым, облизал сухие, запекшиеся губы:

— А если я к Бугу сбегаяю?

— Не сбегаяешь, — сказал сержант. — Немцы отсеки у Тереспольских ворот заняли.

Подошел пограничник. Молча сел у стены, молча взял протянутый сержантом окурочок.

— Схоронил?

— Схоронил,— вздохнул пограничник.— И никто не узнает, где могилка моя.

Все молчали, и молчание это было тяжелым, как свинец. Плужников подумал, что нужны патроны, вода, связь с командованием крепости, но подумал как-то отрешенно: просто отметил про себя. А сказал совсем другое:

— Что-то наши запаздывают.

— Кто? — спросил пограничник.

— Ну, армия. Есть же здесь наша армия?

Ему никто не ответил. Только потом сержант сказал:

— Может, ночью прорвутся. Или, скорее всего, к утру.

И все молчаливо согласились, что армейские части прорвутся к ним на выручку именно к утру. Все-таки это был какой-то временной рубеж, грань между ночью и днем, срок, которого хотелось ждать и которого так нетерпеливо ждали.

— Патроны.— Плужников заставил себя говорить.— Где можно достать патронов? Кто знает склад?

— В казарме знаю,— сказал сержант.— Все равно туда идти надо: говорят, в восемьдесят четвертом полку есть коммиссар.

— Спросите у него указаний,— с надеждой сказал Плужников.— И насчет патронов, конечно.

— Это — само собой,— сказал сержант, тяжело поднимаясь.— Идем со мной, Прижнюк.

Грохнул где-то взрыв, ударила автоматная очередь. Сержант и приписник растаяли в пыльном сумраке.

— Воды надо,— маясь и все время облизывая губы, вздохнул Сальников.— Ну, позвольте попробовать к Бугу обратиться, товарищ лейтенант. Или — к Мухавцу.

— Далеко это?

— По прямой — рядом,— усмехнулся пограничник.— Только по прямой теперь не пробегаешь. А вода нужна.

— Ну, попробуйте.— Плужников вдруг подумал, что никакой он не командир, что все вопросы за него решает либо сержант, либо этот смуглый пограничник, но подумал спокойно, потому что обижаться или расстраиваться означало тратить силы, которых не было.— Только, пожалуйста, осторожнее.

— Есть! — оживился Сальников.— Может, я немецкую воду выпью, а в их посуду наберу?

— А если не наберешь? — спросил круглоголовый шутник, легко раненный в предплечье.

— Возьмите пустые фляжки. Водку вылить.

— Не всю,— сказал пограничник.— Одну оставь раны обрабатывать. И не бренчи там.

— Не брякну,— заверил Сальников, цепляя на пояс фляжки.— Ну, пошел я, а? Пить больно хочется.

И он исчез, растворившись среди воронок. Немцы лениво постреливали из орудий: редко бухали взрывы.

— Видать, чай немец пьет,— сказал круглоголовый боец.— А вчера еще кино показывали. Вот смехота-то.

Непонятно было, то ли он говорил про вчерашнюю кинокартину, которую смотрел в этом же костеле, то ли про немцев, которые, по его мнению, пили сейчас чай, но всем стало вдруг больно оттого, что вчера уже прошло, а завтра снова начнется война. И Плужникову тоже стало больно, но он прогнал все воспоминания, что лезли в голову, и заставил себя встать.

— Надо бы убитых куда-нибудь, а? В угол, что ли.

— Надо немцев пощупать,— сказал пограничник.— Как, товарищ лейтенант?

Плужников понимал, что ему не следует уходить из костела, но мальчишеское любопытство вновь шевельнулось в нем. Захотелось вблизи, своими глазами увидеть тех, кто бежал на его очереди и кто лежал сейчас в пыли перед костелом. Увидеть, запомнить, а потом рассказать Вале, Верочке и маме.

— Пойдемте вместе.

Он перезарядил автомат и с сильно забившимся сердцем выскользнул вслед за пограничником на изрытый крепостной двор.

Пыль еще не успела осесть, щекотала ноздри, мешала смотреть. Мелкая, как прах, забивалась под веки, вызывая зуд, и Плужников все время моргал и часто тер рукой слезящиеся глаза.

— Автоматы не берите,— шептал пограничник.— Рожки берите да гранаты.

Убитых было много. Сначала Плужников старался не касаться их, ворочал за ремни, но вскоре привык. Он уже набил полную пазуху автоматными обоймами, напихал в карманы гранат. Пора было возвращаться, но его неудержимо тянуло к каждому следующему убитому, точно именно у него он мог найти что-то очень нужное, прямо-таки необходимое позарез. Он уже притерпелся к тошнотному запаху взрывчатки, перемазался в чужой крови, что так щедро лилась сегодня на эту пыльную развороченную землю.

— Офицер,— чуть слышно сказал пограничник.— Документы захватить?

— Захватите...

Совсем рядом послышался стон, и он сразу примолк. Стон

повторился: протяжный, мучительно болезненный. Плужников привстал, всматриваясь.

— Куда?

— Раненый.

Он подался вперед, и тотчас же по глазам ослепительно ударила вспышка, и пуля резко щелкнула по каске. Плужников ничком упал на землю, в ужасе щупая глаза: ему показалось, что они вытекли, потому что он сразу перестал видеть.

— А, гад!

Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись тяжелые, жутко гложущие в живом теле удары, нечеловеческий, сорвавшийся в хрип выкрик.

— Не смейте! — крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами глаза.

Перед затуманенным взглядом возникло потное, дергающееся лицо.

— Не сметь?.. Дружка моего кончили — не сметь? В тебя пальнули — тоже не сметь? Сопля ты, лейтенант: они нас весь день мордуют, а мы — не сметь?..

Он неуклюже перевалился к Плужникову. Помолчал, тяжело дыша.

— Кончил я его. Не ранило?

— В каску и — рикошет. До сих пор звенит.

— Идти можешь?

— Круги перед глазами.

Близко раздался взрыв. Оба влипли в землю, по плечам застучал песок.

— На крик бьют, что ли?

Опять взревел снаряд, они еще раз приникли, а потом вскочили и побежали к костелу. Пограничник впереди: Плужников сквозь слезы с трудом угадывал его спину. Нестерпимо жгло глаза.

Сержант уже вернулся. Вместе с Прижнюком они принесли четыре цинки с патронами и теперь набивали ленты. Ночью приказано было собрать оружие, наладить связь, перевести женщин и детей в глубокие подвалы.

— Наши бабы в казармы триста тридцать третьего полка перебежали, — сказал сержант.

Плужников хотел сделать замечание насчет баб, но воздержался. Спросил только:

— Нам конкретно что приказано?

— Наше дело ясное: костел. Обещали людей прислать. После проверки.

— Из города ничего не слышно? — спросил круглоголовый боец. — Будет помощь?

— Ждут,— лаконично ответил сержант.

По тому, как он это сказал, Плужников понял, что комиссар из 84-го полка никакой помощи не ждет. У него сразу ослабели колени, заныло в низу живота, и он сел, где стоял: на пол, рядом с сержантом.

— Пожуй хлеба.— Сержант достал ломоть.— Хлебец мысли оттягивает, товарищ лейтенант.

Есть Плужникову не хотелось, но он машинально взял хлеб, машинально начал жевать. Последний раз он ел в ресторане... Нет, перед самым началом он пил чай в каком-то складе вместе с хромоножкой. И склад, и тех двух женщин, и хромоножку, и бойцов — всех засыпало первым залпом. Где-то совсем рядом, совсем недалеко от костела. А ему повезло, он выскочил. Ему повезло...

Вернулся Сальников, увешанный фляжками, как новогодняя елка. Сказал радостно:

— Напился вволюшку! Налетайте, ребята.

— Сперва пулемету,— сказал сержант.

Он аккуратно, стараясь не ронять капель, долил водой пулеметный кожух, сказал Плужникову, что напиться «от пуза» надо бы запретить. Плужников равнодушно согласился, сержант лично выделил каждому по три глотка и бережно упрятал фляжки.

— Жахают там, страшное дело! — с удовольствием рассказывал Сальников.— Ракету пустят и — жах! Жах! Многих побивало.

После рукопашного боя и удачной вылазки за водой страх его окончательно прошел. Он был сейчас оживлен, даже весел, и Плужникова это злило.

— Сходите к соседям,— сказал он.— Доложите, что костел мы держим. Может, патронов дадут.

— Гранат,— сказал пограничник.— Немецкие — дерьмо.

— И гранат, конечно.

Через час пришли десять бойцов. Плужников хотел проинструктировать их, расставить возле окон, договориться о сигналах, но из обожженных глаз продолжали течь слезы, сил не было, и он попросил пограничника. А сам на минуту прилег на пол и заснул, как провалился.

Так кончился первый день его войны, и он, скорчившись на грязном полу костела, не знал и не мог знать, сколько их будет впереди. И бойцы, вповалку спавшие рядом и дежурившие у входа, тоже не знали и не могли знать, сколько дней отпущено каждому из них. Они жили единой жизнью, но смерть у каждого была своя.

Смерть у каждого была своя, и на следующий день первым узнал об этом круглоголовый ротный весельчак, легко раненный в руку. Он потерял много крови, его все время клонило ко сну, и, чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше, к входу в подвалы.

Рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены костела, посыпалась штукатурка, битые кирпичи. Сержант втащил пулемет под своды, все забились в углы.

Обстрел еще не кончился, когда над крепостью появились бомбардировщики. Свист бомб рвал тяжелую пыль, взрывы сотрясали костел. Плужников лежал в оконной нише, зажав уши. В широко разинутый рот било горячей пылью. Он не расслышал, он почувствовал крик. Истощенный, нечеловеческий крик, прорвавшийся сквозь вой, свист и грохот. Оглянулся — в пыльном сумраке бежал круглоголовый:

— Немцы-и-и!..

Пронзительный выдох оборвался автоматной очередью, коротко и раскатисто прогремевшей под сводами. Плужников увидел, как круглоголовый с разбегу упал лицом на камни, как в пыли замерцали вспышки, и тоже закричал:

— Немцы-и-и!..

Невидимые за пылью автоматчики в упор били по лежащим бойцам. Кто-то кричал, кто-то метнулся к выходу прямо под бомбежку, кто-то, сообразив, уже стрелял в непролицаемую глубину костела. Автоматные пули крошили кирпич, чиркали об пол, свистели над головой, а Плужников, зажав уши, все еще лежал под стеной, придавив телом собственный автомат.

— Бежим!..

Кто-то — кажется, Сальников — тряс за плечо:

— Бежим, товарищ лейтенант!..

Вслед за Сальниковым Плужников выпрыгнул в окно, упал, на карачках перебежал в воронку, глотая пыль широко разинутым ртом. Самолеты низко кружили над крепостью, расстреливая из пулеметов все живое. Из костела доносились автоматные очереди, крики, взрывы гранат.

— В подвал надо! — кричал Сальников. — В подвал!..

Плужников смутно соображал, что нельзя бегать под обстрелом, но страх перед автоматчиками, что громили сейчас его бойцов в задымленном костеле, был так велик, что он вскочил и помчался за юрким Сальниковым. Падая, полз по песку, глотал пыль и вонючий, еще не растаявший в воронках дым и снова бежал.

Он не помнил, как добрался до черной дыры, как ввалился внутрь. Пришел в себя уже на полу: двое бойцов в драных гимнастерках трясли за плечи:

— Командир пришел, слышите? Командир!

Напротив стоял коренастый темноволосый старший лейтенант с орденом на пропыленной, в потных потеках гимнастерке. Плужников с трудом поднялся, доложил, кто он и каким образом здесь очутился.

— Значит, немцы заняли клуб?

— С тыла, товарищ старший лейтенант. Они в подвалах прятались, что ли. А тут во время бомбежки...

— Почему не осмотрели подвалы вчера? Ваш связной, — старший лейтенант кивнул на Сальникова, замершего у стены, — доложил, что вы закрепились в костеле.

Плужников промолчал. Безотчетный страх уже оставил его, и теперь он ясно сознавал, что нарушил свой долг, что, поддавшись панике, бросил бойцов и трусливо бежал с позиции, которую было приказано держать во что бы то ни стало. Он вдруг перестал слышать старшего лейтенанта: его бросило в жар.

— Виноват.

— Это не вина, это — преступление, — жестко сказал старший лейтенант. — Я обязан расстрелять вас, но у меня мало боеприпасов.

— Я искуплю. — Плужников хотел сказать громко, но дыхание перехватило, и сказал он шепотом: — Я искуплю.

Внезапно все прекратилось: грохот разрывов, снарядный вой, пулеметная трескотня. Еще били где-то одиночные винтовки, еще трещало пламя на верхних этажах дома, но бой затих, и тишина эта была пугающая и непонятна.

— Может, наши подходят? — неуверенно спросил боец. — Может, кончилось?..

— Хитрят, сволочи, — сказал старший лейтенант. — Усилить наблюдение!

Боец убежал. Все молчали, и в этом молчании Плужников расслышал тихий плач ребенка и мягкие голоса женщин где-то в глубинах подвала.

— Я искуплю, товарищ старший лейтенант, — поспешно повторил он. — Я сейчас же...

Глухой, усиленный репродукторами голос заглушил его слова. Голос — нерусский, старательно выговаривающий слова — звучал где-то снаружи, над задымленными развалинами, но в плотном воздухе разносился далеко, и его слышали сейчас во всех подвалах и казематах.

— Немецкое командование предлагает прекратить бессмысленное сопротивление. Крепость окружена, Красная

Армия разгромлена, доблестные немецкие войска штурмуют столицу Белоруссии город Минск. Ваше сопротивление потеряло всякий тактический смысл. Даем час на размышление. В случае отказа все вы будете уничтожены, а крепость сметена с лица земли.

Глухой голос дважды повторил обращение. Дважды, размеренно и четко выговаривая каждое слово. И все в подвале, замерев, слушали этот голос и дружно вздохнули, когда он замолк и репродукторы донесли мерное постукивание метронома.

— За водой,— сказал старший лейтенант молоденькому бойцу, почти мальчишке, что все время молча стоял с ним рядом, колюче поглядывая на Плужникова.— Только смотри, Петя.

— Я осторожно.

— Разрешите мне,— умоляюще попросил Плужников.— Позвольте, товарищ старший лейтенант. Я принесу воду. Сколько понадобится.

— Ваша задача — отбить клуб,— сухо сказал старший лейтенант.— По всей видимости через час немцы начнут обстрел: вы прорветесь к клубу во время обстрела и любой ценой выбьете оттуда немцев. Любой ценой!

Отчеканив последнюю фразу, старший лейтенант ушел, не слушая сбивчивых и ненужных заверений. Плужников виновато вздохнул и огляделся: в сводчатом отсеке подвала под глубоким окном сидели Сальников и легко раненный рослый приписник. Плужников с трудом припомнил его фамилию: Прижнюк.

— Соберите наших,— сказал он и сел, чувствуя противную слабость в коленях.

Сальников и Прижнюк нашли в подвалах еще четверых. Все разместились в одном отсеке, шепотом переговариваясь. Где-то в глубине подвала по-прежнему тихо плакал ребенок, и этот робкий плач был для Плужникова страшнее всякой пытки.

Он сидел на полу, не шевелясь, угрюмо думая, что совершил самое страшное: предал товарищей. Он не искал оправданий, не жалел себя: он стремился понять, почему это произошло.

«Нет, я струсил не сейчас,— думал он.— Я струсил во вчерашней атаке. После нее я потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду рассказывать. Не о том, как буду воевать, а что буду рассказывать...»

Подошли два пограничника с ручным пулеметом:

— Прикрывать вас приказано.

Плужников молча кивнул. Пограничники возились с пу-

леметом, проверяли диски, а он с тоской думал, что с шестью бойцами ему ни за что не выбить немцев из костела, а попросить помощи не решался.

«Лучше умру,— тихо повторял он про себя.— Лучше умру».

Он почему-то упорно избегал слова «убьют», а говорил — «умру». Словно надеялся погибнуть от простуды.

— Гранат-то у нас — всего две,— сказал Прижнюк, ни к кому не обращаясь.

— Принесут,— сказал пограничник.— Так не бросят: свои же ребята.

Потом пришло еще человек пятнадцать. Рыжий старший сержант с эмблемами артиллериста доложил, что люди присланы в помощь. Вместе с ним Плужников развел бойцов по отсекам, расположил перед оконными нишами.

Все было готово, а немецкий метроном продолжал стучать, неторопливо отсчитывая секунды. Плужников все время слышал этот отсчет, пытался заглушить его в себе, сосредоточиться на атаке, но громкое тиканье назойливо лезло в уши.

Вскоре подошел старший лейтенант. Проверил готовность, лично расставил бойцов. Плужникова он не замечал, хотя Плужников старательно вертелся рядом. Потом вдруг сказал:

— Атаковать днем невозможно. Согласны, лейтенант?

Плужников растерялся, не нашел слов и неуверенно кивнул.

— Но немцы тоже считают, что это невозможно, и ждут атаки ночью. Вот почему мы будем атаковать днем. Главное, не ложиться, каким бы сильным ни казался огонь. Автоматы бьют рассеянно, оценили это?

— Оценил.

— Даю вам возможность искупить свою вину.

Плужников хотел заверить усталого старшего лейтенанта, что скорее умрет, но слов не нашел и снова кивнул.

— Я знаю, что вы хотели сказать, и верю вам.— На замкнутом лице старшего лейтенанта впервые показалось что-то вроде улыбки.— Пойдемте к бойцам.

Старший лейтенант прошел по всем отсекам, из которых готовилась атака, повторив в каждом то, что уже сказал Плужникову: автоматы бьют рассеянно, немцы не ожидают атаки, главное — не ложиться, а бежать и бежать к костелу, под его стены.

— Осталось пять минут на размышление! — громко сказал глухой голос диктора.

— Значит, вы пойдете через четыре минуты,— сказал

старший лейтенант, достав карманные часы. — Атака по моей команде и без всякой стрельбы. Тихо и внезапно: это — наше оружие.

Он поглядел на Плужникова, и, поняв этот взгляд, Плужников прошел к подвальному окну. Окно было высоко, подоконник скошен, и вылезать из него было трудно. Но красноармейцы уже передавали кирпичи и строили ступени. Плужников влез на ступени, перевел автомат на боевой взвод и изготовился. Кто-то протянул ему две гранаты, он сунул их за ремень ручками вниз.

— Вперед! — громко крикнул старший лейтенант. — Быстро!

Плужников рванулся, кирпичи разъехались, но он все же выскочил из окна и, не оглядываясь, побежал вперед к такой далекой сейчас стене костела.

Он бежал молча и, как ему казалось, в полном одиночестве. Сердце с такой силой колотилось в груди, что он не слышал за спиной топота, а оглянуться не было времени.

«Не стреляйте. Не стреляйте. Не стреляйте!..» — кричал он про себя.

Плужников не знал, стучит ли еще метроном, или немцы уже спешно вгоняют снаряды в казенники орудий, но пока по нему, бегущему через перепаханый снарядами двор, не стрелял никто. Только бил в лицо горячий ветер, пропахший дымом, порохом и кровью.

Прямо перед ним метнулась из воронки фигура, и Плужников чуть не упал, но узнал пограничника: того, что ночью спас его, добив раненого автоматчика. Видно, пограничник тоже удрал из костела, но до подвалов не добрался и отлеживался в воронке, а теперь бежал впереди атакующих. И Плужников только успел порадоваться, что пограничник жив, как тишину разорвало десятком очередей, и над головой взвизгнули пули: немцы открыли огонь.

Сзади кто-то закричал. Плужников хотел упасть и упал бы, но пограничник по-прежнему несея впереди огромными скачками и пока был жив. И Плужников подумал, что пули эти — не его, и не упал, а, втянув голову в плечи, закричал: — Ура-а!..

И на едином выдохе, на протяжном «а-а!..» добежал до стены, вжался в простенок и оглянулся.

Только трое упали: один — не шевелясь, а двое еще корчились в пыли. Остальные уже ворвались в мертвое пространство: пограничник стоял у соседнего простенка и кричал:

— Гранаты! Кидай гранаты!..

Плужников вырвал из-за пояса гранату, швырнул в ок-

но — прямо в яркий огонек строчившего автомата. Грохнул взрыв, и он тут же рванулся в вонючий клуб гранатного взрыва. Ударился лодыжкой о выщербленный осколками подоконник, упал на пол, но успел откатиться, и пограничник тяжело шлепнулся рядом. Кругом грохотали взрывы, в дыму и пыли мелькали вспышки выстрелов, пули дробили стены. Плужников, сидя на полу, бил по вспышкам короткими очередями.

— На хоры уходят! На хоры! Выше бей! Выше! — кричал пограничник.

Немцы откатились наверх, на хоры: огоньки автоматов сверкали оттуда. Плужников вскинул автомат, дал длинную очередь, и одна из вспышек разом погасла, точно захлебнулась, а затвор, дернувшись, отскочил назад.

— Да бей же, лейтенант! Бей!

Плужников лихорадочно шарил по карманам: рожков не было. Тогда он выхватил последнюю гранату и побежал в густой сумрак навстречу бившим очередям. Пули ударили возле ног, по сапогам больно стегануло кирпичной крошкой. Плужников размахнулся, как на ученье, бросил гранату и упал. Гулко грохнул взрыв.

— Толково, лейтенант, — сказал пограничник, помогая ему подняться. — Ребята на хоры ворвались. Добьют без нас: деваться немцу некуда.

Сверху доносились крики, хрипящая ругань, звон металла, тупые удары: немцев добивали в рукопашной. Плужников огляделся: в задымленном сумраке смутно угадывались пробежавшие красноармейцы, трупы на полу, разбросанное оружие.

— Проверь подвалы и поставь у выхода часового, — сказал Плужников и сам удивился, до чего просто прозвучала команда: вчера еще он не умел так разговаривать.

Пограничник ушел. Плужников подобрал с пола автомат, рывком перевернул ближайшего убитого немца, сорвал с пояса сумки с рожками и пошел к выходу.

И остановился, не доходя: у выхода по-прежнему стоял их пулемет, а на нем, лицом вниз, крепко обняв щит, лежал сержант. Шесть запекшихся дырок чернело на спине, выгнутой в предсмертном рывке.

— Не ушел, — сказал подошедший Сальников.

— Не отдал, — вздохнул Плужников. — Не то что мы с тобой.

— Знаете, если я вдруг испугаюсь, то все тогда. А если не вдруг, то ничего. Отхожу.

— Надо его похоронить, Сальников.

— А где? Тут камней метра на три.

— Во дворе, в воронке.

Тугой гул, нарастая, приближался к ним, сметая все звуки. Не сговариваясь, оба бросились к оконным нишам, упали на пол. И тотчас же волна взметнула пыль, вздрогнули стены, и взрывы тяжело загрохотали во дворе крепости.

— После налета пойдут в атаку! — кричал Плужников, не слыша собственного голоса.— Я прикрою вход! А ты — окна! Окна, Сальников, окна-а!..

Оглушительный взрыв раздался рядом, закачались стены, посыпались кирпичи. Взрывной волной перевернуло пулемет, отбросив мертвого сержанта. Вмиг все заволокло дымом и гарью, нечем стало дышать. Кашляя и задыхаясь, Плужников бросился к пулемету, на четвереньках отволол его к стене.

— Окна, Сальников!..

Сальников ничком лежал на полу, заткнув уши. Плужников тряс его, дергал, бил ногой, но боец только плотнее прижимался к кирпичам.

— Окна-а!..

Снова грохнуло рядом, с дверного свода посыпались кирпичи. Раздался еще один взрыв, еще и еще, и заваленный кирпичами Плужников уже перестал считать их: все слилось в единый оглушающий грохот.

Никто не помнил, сколько часов продолжался обстрел. А когда затихло и они выползли из-под обломков, низкий гул повис в воздухе, и на крепость с неудержимым, выматывающим воем начали пикировать бомбардировщики. И опять они вжались в стены, опять застонала земля, опять посыпались кирпичи и закачался, грозя обвалом, костел, сложенный триста лет назад. И нечем было дышать среди пыли, дыма, смрада и гари, и давно уже не было сил. Сознание меркло, и только тело еще тупо, без боли воспринимало удары и взрывы.

«Живой,— смутно думал Плужников в плотной тишине, наглухо заложившей уши.— Я живой».

Шевелиться не хотелось, хотя он чувствовал тяжесть наваленных на спину кирпичей. Нестерпимо болела голова, ломало все тело: каждая кость кричала о своей боли. Язык стал сухим и огромным: он занимал весь рот и жег небо.

— Немцы!..

Это донеслось издалека, точно с той стороны обступившей его тишины. Но он уловил смысл, попробовал встать. С шумом посыпались кирпичи, он с трудом выбрался из-под них, открыл забытые пылью глаза.

Пограничник, торопясь, устанавливал пулемет: кожух был смят, прицельная планка погнута. Рядом незнакомый боец рылся в кирпичах, вытаскивая пулеметные ленты.

Плужников встал, его качнуло, но он все же сумел сделать несколько шагов и рухнул на колени возле пулемета.

— Пусти. Сам.

— Немцы!

По искаженному лицу пограничника текла кровь. Плужников слабо оттолкнул его, повторив:

— Сам. Окна — тебе.

Лег за пулемет, намертво вцепившись ослабевшими пальцами в рукоятки. Пограничника уже не было: рядом лежал боец, вталкивая в патронник ленту. Плужников откинул крышку, поправил ленту и увидел немцев: они бежали прямо на него сквозь густую пелену дыма и пыли.

— Стреляй! — кричал боец. — Стреляй же!

— Сейчас, — бормотал Плужников, лоя сквозь прорезь щита бегущих. — Сейчас. Сил нет...

Он боялся, что не сможет надавить на гашетку: пальцы дрожали и подламывались. Но гашетка подалась, пулемет забился в руках, взметнув перед костелом широкий веер пыли. Плужников приподнял ствол и выпустил длинную очередь в набегавшие темные фигуры.

Времени больше не было. Возникали из дымной завесы темные фигуры, Плужников нажимал гашетку и бил, пока они не исчезали. В перерывах рылся в обломках, вытаскивал помятые цинки, лихорадочно, в кровь сбивая пальцы, набивал ленты. И снова стрелял по набегавшим волнам автоматчиков.

Весь день немцы не давали вздохнуть. Атаки сменялись обстрелами, обстрелы — бомбежкой, бомбежка — очередной атакой. Плужников хватал пулемет, волок его к стене, а когда налет кончался, тащил обратно и стрелял: оглохший, полуослепший, ничего не соображающий. Второй номер погиб под сорвавшейся со свода глыбой, долго и страшно кричал, но была атака, и Плужников не мог оставить пулемет. Кожух то ли распаялся, то ли его продырявило осколком: пар бил из пулемета, как из самовара, а Плужников, обжигаясь, таскал его от пролома к стене и обратно и стрелял, думая только о том, что вот-вот кончатся патроны. Он не знал, сколько бойцов осталось в костеле, но кончил стрелять, когда намертво перекосило патрон. Тогда он вспомнил про автомат, полоснул очередью по немцам и, спотыкаясь о камни и трупы, побежал в темную глубину костела.

Он не добежал до подвалов: снаружи вспыхнула беспорядочная стрельба, хриплое сорванное «ура!», Плужников понял, что подошли свои, и, качаясь, побрел к выходу, волоча автомат за собой. Кто-то кинулся к нему, что-то говорил,

но он, с трудом выдавив из пересохшего горла: «Пить...», упал и уже ничего не видел и не слышал.

Очнулся он от воды. Открыл глаза, увидел фляжку, потянулся к ней, глотнул еще и еще и разобрал, что поит его Сальников: в темноте белела свежая повязка на голове.

— Ты живой, Сальников?

— Живой,— серьезно подтвердил боец.— Я же вам ленты подтаскивал, когда парня того придавило. А вы меня к окнам послали.

Плужников помнил темные фигуры немцев в сплошной пыли, помнил грохот и страшные крики придавленного глыбой второго номера. Помнил раскаленный пулемет, который нестерпимо жег его руки. А больше ничего вспомнить не мог и спросил:

— Отбили костел?

— Спасибо, ребята помогли. Во фланг немцам ударили.

— А вода? Откуда вода?

— Так вы же пить просили. Ну, я и сходил. Страшно: светло, как днем. Там-то меня и зацепило маленько, но семь фляг донес.

— Не надо больше пить,— сам себе приказал Плужников и завинтил фляжку.— Сколько нас?

— Прижюк у подвала стоит, мы с вами да пограничник.

— Цел пограничник? — Плужников вдруг хрипло засмеялся.— Цел, значит? Цел?

— Кирпичом бровь рассекло, а так и не ранило: везучий. Тепленьких обшаривает. Ну, немцев: много их тут, во дворе.

Плужников, пошатываясь, прошел к выходу, где валялся его искалеченный пулемет. Во дворе стояла ночь, но было светло от пожаров и многочисленных ракет, мертвым светом заливавших притихшую крепость. Немцы изредка швыряли мины: они рвались звонко и коротко.

— Сержанта схоронили?

— Засыпало его. Один каблук торчит.

Из-под груды кирпичей торчал стоптанный солдатский башмак. Плужников вспомнил вдруг, что сержант ходил в сапогах, и, значит, под кирпичами лежал тот боец, которого придавило рухнувшим сводом, но промолчал. Сел на обломок, вспомнил, что почти двое суток ничего не ел, и сказал об этом. Сальников принес немецкие галеты, и они стали неторопливо жевать их, глядя на освещенный крепостной двор.

— А все-таки мы сегодня тоже не отдали,— сказал Плужников.— Значит, мы тоже можем не отдавать, да, Сальников?

— Конечно, можем,— подтвердил Сальников.

Вернулся пограничник, притащив набитую автоматными рожками гимнастерку. Сказал вдруг:

— Запомни мой адрес, лейтенант: Гомель, улица Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. Денищик Владимир.

— А я смоленский, — сказал Сальников. — Из-под Духовщины.

— Уходить отсюда придется, — сказал пограничник после того, как они обменялись адресами. — Вчетвером не отобьемся.

— Не уйду, — сказал Плужников.

— Глупо, лейтенант.

— Не уйду, — повторил Плужников и вздохнул. — Пока приказа не получу, никуда не уйду.

Он хотел сказать о долге, которого не выполнил сегодня утром, о сержанте, не отдавшем пулемет, о родине, где — конечно же! — принимают сейчас все меры, чтобы спасти их. Хотел, но ничего не сказал: все слова показались ему слишком маленькими и незначительными в эту вторую ночь войны.

— Врут немцы насчет Минска, правда? — спросил Сальников. — Не может быть, чтобы допустили их так далеко. Громят, наверно.

— Громят, — согласился пограничник. — Только фронта что-то не слышно.

Они невольно прислушались, но, кроме редких минных разрывов да пулеметных очередей, ничего не было слышно: грозное дыхание фронта откатилось далеко на восток.

— Значит, одни, — тихо сказал пограничник. — А ты говоришь: не уйду. А тут пулемет нужен.

Плужников и сам понимал, что без пулемета им не отбить следующей атаки. Но пулемета у него не было, а о том, чтобы уйти отсюда, он не хотел думать. Он помнил колючие глаза черноволосого старшего лейтенанта с орденом на груди, тоскливый, запуганный плач ребенка, женщин в подвале и вернуться туда без приказа уже не мог. И отпустить тоже никого не мог и поэтому сказал:

— Всем спать. Я подежурю.

Сальников тут же свернулся в клубок, а пограничник отказался, пояснив, что отоспался в воронке. Ушел в глубину костела, долго пропадал (Плужников уже начал беспокоиться), вернулся с Прижнюком и еще тремя: у рыжего старшего сержанта с артиллерийскими петлицами была задета голова. Он все тряс ею и прислушивался.

— Будто вода в ушах.

— Пованивают соседи, — сказал пограничник.

Плужников сообразил, что он говорит о трупах, что до сих пор валялись в костеле. Приказал убрать. Бойцы ушли, остался один артиллерист. Потряхивая контуженой головой, сидел у стены на полу, тупо глядя в одну точку. Потом сказал:

— А у меня жена есть. Родить в августе должна.

— Она здесь? — спросил Плужников, сразу вспомнив женщин в подвалах.

— Не, у матери. На Волге. — Он помолчал. — Как думаешь, придут наши?

— Придут. Не могут не прийти. О нас не забудут, не беспокойся.

— Сила у него, — вздохнул артиллерист. — Сегодня в атаку перли — жуткое дело.

— У нас тоже сила.

Старший сержант промолчал. Повздыхал, потряс головой:

— Может, в подвалы сходить?

— Скажите, что пулемета нет. Может, дадут.

— У них у самих не густо, — сказал артиллерист, уходя.

Немцы по-прежнему бросали ракеты. Вспыхивая, они медленно опускались на парашютах, освещая притихшую крепость. Изредка падали мины, с берегов доносились пулеметные очереди. Мучительно борясь со сном, Плужников, нахохлившись, сидел у пролома. Рядом мирно посапывал Сальников.

«А все-таки я — счастливый, — подумал вдруг Плужников. — До сих пор не задело».

Подумав так, он испугался, что накличет беду, стал поспешно внушать себе, что ему очень не повезло, но внутренняя убежденность, что его, лейтенанта Плужникова, невозможно, невысказанно убить, была сильнее всяких заклинаний. Ему было всего девятнадцать лет и два месяца, и он твердо верил в собственное бессмертие.

Вернулся пограничник с бойцами, доложил, что убитых из костела вытащили. Плужников молча покивал: говорить не было сил.

— Приляг, лейтенант.

Плужников хотел отказаться, качнул головой, сполз по стене на битые кирпичи и мгновенно заснул, подложив кулак под гладкую мальчишескую щеку.

...Он плыл куда-то на лодке, и волны перехлестывали через борт, и он пил холодную, необыкновенно вкусную воду сколько хотел. А на корме в белом ослепительном платье сидела Валя и смеялась. И он смеялся во сне...

— Лейтенант!

Плужников открыл глаза, увидел Денищика, Прижнюка, Сальникова, еще каких-то бойцов и сел.

— Нам в подвалы приказано.

— Почему — в подвалы?

— Сменяют. Шило на мыло.

У входного пролома расположился незнакомый молодой лейтенант. Бойцы устанавливали станковый пулемет, складывали из кирпичей бруствер. Лейтенант представился, передал приказ:

— В распоряжение Потапова. Подвалы под костелом проверил?

— Некогда было проверять. Поставь на всякий случай часового с гранатами: там узкая лестница. И смотри за окнами.

— Ага. Ну, счастливо.

— Счастливо. Я своих бойцов заберу. Их трое всего: сдружились.

— Думаешь, там легче будет? У них знаешь какая теперь тактика? Втихаря к окнам подползают и забрасывают гранатами. Между прочим, учти: их гранаты срабатывают с запозданием секунды на три. Если рядом упадет, свободно можешь успеть перебросить обратно. Наши так делают.

— Учту. Спасибо.

— Да, вода у вас есть?

— Сальников, у нас есть вода?

— Пять фляжек,— с неудовольствием сказал Сальников.— Пить вам тут некогда будет.

— А нам не пить, нам — в пулеметы.

— Забирайте,— сказал Плужников.— Отдай им фляжки, Сальников, и пошли.

Вчетвером они осторожно выскользнули из костела: Денищик шел впереди. Чуть светало, и по-прежнему лениво вразнобой падали мины.

— Через часок-полтора начнут утюжить,— сказал Сальников, сладко зевнув.— Хорошо, еще немец передыхает.

— Он ночей боится,— улыбнулся Плужников.

— Ничего он не боится,— зло сказал пограничник, не оглядываясь.— С комфортом воюют, гады: восемь часов — рабочий день.

— А разве у немцев рабочий день — восемь часов? — усомнился Плужников.— У них же фашизм.

— Фашизм — это точно.

— А зачем я в солдаты сейчас пошел? — вдруг сказал Прижнюк.— Мне воинский начальник говорит: хочешь — сейчас иди, хочешь — осенью. А я говорю: сейчас...

Короткая очередь вспорола предутреннюю тишину. Все упали, скатившись в воронку. Огня больше не было.

— Может, свои? — шепотом спросил Прижнюк. — Может, наши ползают, а?

— На голос бил, — еле слышно отозвался Денищик. — Какие тебе, к черту, свои...

Он замолчал, и все опять настороженно прислушались. Плужникову показалось, что где-то совсем рядом слабо звякнуло железо. Он сжал пограничнику локоть:

— Слышишь?

Денищик надел каску на автомат, приподнял над краем воронки. Никто не стрелял, и он опустил каску:

— Погляжу. Лежите пока.

Он бесшумно выполз из воронки, пропал за гребнем. Сальников передвинулся вплотную, зашипел в ухо:

— Вот тебе и восемь часов. Зря мы воду оставили, товарищ лейтенант. Пусть сами...

— Да свои это, — упрямо повторил Прижнюк. — Видать, оружие собирают.

Что-то упало на край воронки, скатилось по песку, стукнув по каске. Плужников повернул голову: перед ним лежала ручная граната с длинной ручкой.

В какой-то миг ему показалось, что он слышит ее шипение. Он успел подумать, что это — конец, успел ощутить острую боль в сердце, успел вспомнить что-то милое-милое — маму или Верочку, — но все это заняло лишь долю секунды. И не успела эта секунда истечь, как он схватил гранату за горячий набалдашник и швырнул ее в темноту. Грохнул взрыв, их осыпало песком, и тотчас же раздался отчаянный крик Денищика:

— Немцы! Бегите, ребята! Бегите!..

Предрассветную тишь рванули автоматные очереди. Они били со всех сторон: путь к костелу и подвалам 333-го полка был отрезан.

— Сюда! — крикнул пограничник.

Плужников успел заметить, откуда раздался крик, пригнувшись, кинулся к Денищику. Огоньки автоматных очередей стягивали кольцо. Плужников скатился в воронку, из которой, прикрывая их, коротко бил пограничник. Следом ввалился Сальников.

— Где Прижнюк?

— Убило его! — кричал Сальников, отстреливаясь. — Убило!

Немцы огнем прижимали их к земле, стягивая кольцо.

— Бегите до следующей воронки! — кричал Денищик. — Потом меня прикроете! Скорее, лейтенант! Скорее!..

Стрельба усилилась: из костела по вспышкам бил пулемет, стреляли из подвалов 333-го полка, из развалин левее. Плужников перебежал в следующую воронку, упал, торопливо открыл огонь, стараясь не попасть в темную фигуру бегущего на него Денищика. У Сальникова заело автомат.

Прикрывая друг друга, они перебежками добрались до каких-то пустынных развалин, и немцы отстали. Постреляв немного, замолчали, растаяв в предрассветном сумраке. Можно было отдышаться.

— Вот это напоролись,— сказал Денищик, сидя на обломках и тяжело переводя дыхание.— Рванул я стометровку сегодня почище чемпiona мира.

— Повезло! — вдруг захохотал Сальников.— Обратнo же повезло!

— Молчать! — оборвал Плужников.— Лучшe автомат разбери, чтоб не заедал следующий раз.

Обиженно примолкнув, Сальников разбирал автомат. Плужникову стало неудобно за этот окрик, но он боялся, что радостное хвастовство в конце концов накличет на них беду. Кроме того, его очень беспокоило, что теперь они отрезаны от своих.

— Осмотрите помещение,— сказал он.— Я понаблюдаю.

Стрельба кончилась, только по берегам еще стучали редкие очереди. В незнакомых развалинах пахло гарью, бензином и чем-то тошнотно-приторным, что Плужников не мог определить. Слабый предрассветный ветерок нес запах разлагавшихся трупов: его мутило от этого запаха.

«Надо перебираться,— думал он.— Только куда?»

— Гаражи,— сказал, вернувшись, Денищик.— В соседнем блоке ребята сгорели: страшно смотреть. И подвалов нет.

— Ни подвалов, ни водички,— вздохнул Сальников.— А ты говорил — восемь часов. Эх, страж родины!

— Немцы близко?

— Вроде на том берегу, за Муховцом. Справа — казармы какие-то. Может, перебежим, пока тихо?

Светало, когда они перебрались на другую сторону развалин. Здания тут были снесены прямыми попаданиями: громоздились горы битого кирпича. За ними угадывалась река и темнели кусты противоположного берега.

— Там немцы,— сказал Денищик.— Колечко у нас тесное, лейтенант. Может, рванем отсюда следующей ночью?

— А приказ? Есть такой приказ, чтобы оставить крепость?

— Это уже не крепость, это — мешок. Осталось завязать потуже — и не выберемся.

— Мне дали приказ держаться. А приказа бежать мне никто не давал. И тебе тоже.

— А самостоятельно соображать ты после контузии разучился?

— В армии исполняют приказ, а не соображают, как бы ударить подальше.

— А ты объясни мне этот приказ! Я не пешка, я понимать должен, для какой стратегии я тут по кирпичам ползаю. Кому они нужны? Фронта уж сутки как не слышать. Где наши сейчас, знаешь?

— Знаю,— сказал Плужников.— Там, где надо.

— Ох, пешки! Вот потому-то нас и бьют, лейтенант. И бить будут, пока...

— Мы бьем! — закричал вдруг Плужников.— Это мы бьем их, понятно? Это они по кирпичам ползают, понятно? А мы... Мы... Это наши кирпичи, наши! Под ними советские люди лежат. Товарищи наши лежат, а ты... Паникер ты!

— А ну поосторожнее, лейтенант! За такое слово я и на звание не посмотрю: как дам между глаз...

— Свои! — радостно удивился Сальников.— Саперы наши, глядите!

Возле уцелевшей стены казармы суетилось человек восемь. Плужников хотел вскочить, но пограничник придержал его:

— В сапогах они.

— Ну, и что?

— В немецких: видишь, голенища короткие?

— Я тоже в немецких,— сказал Сальников.— Колодка у них неудобная.

— А наши саперы в обмотках ходили,— сказал Денищик.— А эти — сплошь в сапогах. Так что спешить погодим.

— Да чего ты боишься? — возмутился Сальников.— Форма наша...

— Форму надеть — три минуты делов. Обождите здесь.

Пригнувшись, Денищик перебежал к остаткам стены, ловко взобрался наверх, к разбитому оконному проему.

— Наши это ребята, ясно же,— недовольно ворчал Сальников.— У них, поди, водичка есть: Мухавец рядом.

Пограничник негромко свистнул. Приказав нетерпеливому Сальникову лежать, Плужников влез к пограничнику.

— Ну, гляди.— Денищик отодвинулся, освобождая место.

Сверху хорошо был виден противоположный берег Мухавца, позиции на валу, немецкие солдаты, мелькавшие в кустах у самого берега.

— А по саперам они, между прочим, не стреляют,— тихо сказал пограничник.— Почему?

— Да,— вздохнул Плужников.— Пошли вниз, тут заметить могут.

Они вернулись к Сальникову. Тот лежал, как приказано, но изо всех сил вытягивал шею, чтобы дальше видеть.

— Ну? Чего насмотрели?

— Немцы это.

— Брось! — не поверил Сальников.— А как же форма?

— А ты не форме верь, а содержанию,— усмехнулся пограничник.— Они, гады, взрывчатку под стены кладут. Шуганем их, лейтенант? Наши ведь за стенами-то.

— Шугануть бы следовало,— задумчиво сказал Плужников.— А куда отходить будем?

— Так кто же из нас о бегстве думает: ты или я?

— Дурак ты! — рассердился Плужников.— Они нас тут запросто минами забросают: крыши-то нет.

— Соображаешь,— одобрительно сказал пограничник.

Плужников огляделся. В грудях битого кирпича укрыться от мин было невозможно, а уцелевшие кое-где стены обещали рухнуть при первой хорошей бомбежке. Принимать же бой без удобных отходов было равносильно самоубийству: немцы обрушивали лавину огня на очаги сопротивления. Это Плужников знал по собственному опыту.

— А если вперед? — предложил Сальников.— В той казарме — наши. Прямо к ним, а?

— Вперед! — насмешливо передразнил пограничник.— Тоже, стратег нашелся.

— А может, и правда — вперед? — сказал Плужников.— Подползти, забросать гранатами и — одним рывком к казарме. А там — подвалы.

Пограничник нехотя согласился: его пугала атака на глазах у противника. Здесь требовалась особая осторожность, и поэтому ползли они долго. Продвигались только по очереди: пока один ужом скользил между обломков, двое следили за немцами, готовые прикрыть его огнем.

Немецкие саперы, занятые устройством фугасов под уцелевшей стеной казармы, не смотрели по сторонам. То ли были убеждены, что никого, кроме них, здесь нет, то ли очень надеялись на наблюдателей с той стороны Мухавца. Они уже заложили взрывчатку и аккуратно прокладывали шнуры, когда из ближайшей воронки одновременно вылетели три гранаты.

Уцелевших в упор добила из автоматов. Все было сделано быстро и внезапно: с той стороны Мухавца не прозвучало ни одного выстрела.

— Взрывчатку! — кричал Плужников, лихорадочно обрывая шнуры.— Доставай взрывчатку!

Денищик и Сальников успели вытащить пакеты, когда немцы, опомнившись, открыли ураганный огонь. Пули дробно стучали о кирпичи. Они бросились за угол, но здесь уже с визгом рвались мины. Оглушенные и полуослепшие, они сканулись в дыру. В черный провал подвала.

— Обратно живы! — Сальников возбужденно смеялся. — Я же говорил! Я же говорил!..

— Нога. — Плужников потрогал разорванное голенище: рука была в крови. — Бинт есть?

— Глубоко? — обеспокоенно спросил Денищик.

— Кажется, нет. Поверху осколок.

Пограничник оторвал лоскут от пропотевшей нижней рубахи:

— Перетяни потуже.

Плужников стащил сапог, задрал штанину. Из рваной раны обильно текла кровь. Он подложил под лоскут грязный носовой платок, крепко перевязал. Повязка сразу набухла, но кровь больше не шла.

— Заживет, как на собаке, — сказал Денищик.

Подошел Сальников. Сказал озадаченно:

— Тут выхода нет. Только этот отсек.

— Не может быть.

— Точно. Все стены проверил.

— Ловко будет, когда они фугас рванут, — невесело усмехнулся Денищик. — Братская могила на трех человек.

Они еще раз обошли подвальный отсек, старательно обшаривая каждый метр. У противоположной стены кирпичи лежали навалом, точно рухнув со свода, и они начали торопливо разбирать их. Наверху слышался рев пикирующих бомбардировщиков, грохот: немцы начали утреннюю бомбежку. Гремело над самой головой, дрожали стены, но они продолжали растаскивать кирпичи: в каменном мешке иного выхода не было.

Это был слабый шанс, и на сей раз он выпал не им: убрав последние обломки, они обнаружили плотный кирпичный пол — этот отсек подвала не имел второго выхода. А оставаться здесь было невозможно: немцы подбирались вплотную, и если бы обнаружили их, то двух гранат, брошенных в пролом, было бы вполне достаточно. Уходить следовало немедленно.

— Надо, пока бомбят! — кричал пограничник. — Автоматчиков тогда нету!

Грохот заглушал слова. Взрывы гнали в окно пыль, раскаленный воздух, тяжелый смрад взрывчатки и гниющих трупов. Пот разъедал глаза, ручьями тек по телу. Нестерпимо хотелось пить.

Бомбежка кончилась, отчетливо слышался вой бомбардировщиков и частая стрельба. Отбомбившись, самолеты продолжали кружить над крепостью, расстреливая ее из пушек и пулеметов.

— Идем! — кричал Денищик, стоя у пролома. — Они в стороне кружат. Идем, ребята, пока опять не отрезали!

Он кинулся в пролом, выглянул и тут же отпрянул, чуть не сбив Плужникова:

— Немцы.

Они прижались к стене. Рев самолетов затихал, яснее звучала ружейная стрельба. И все же они уловили сквозь нее и шаги, и чужой говор: они уже научились выбирать из оглушающего грохота то, что непосредственно угрожало им.

Темная фигура на миг заслонила пролом: кто-то осторожно заглянул в каменный мешок и тотчас же отпрянул. Плужников беззвучно снял автомат с предохранителя. Сердце билось так сильно, что он боялся, как бы немцы не услышали этот стук.

Вновь совсем рядом раздались голоса. В пролом влетела граната, ударилась о дальнюю стенку подвала, но они успели упасть на пол, и раздался взрыв. Тут, в тесном подземелье, он был болезненно резок. В стены застучали осколки, вонючий дым близкого разрыва опалил лицо.

Плужников не успел ни испугаться, ни обрадоваться, что осколки прошли выше. Немцы были рядом, в двух шагах, и он не смел даже спросить товарищей, не задело ли кого. Надо было лежать, лежать, не шевелясь, безропотно ожидая очередных гранат.

Но гранат немцы больше не кидали. Поговорив, пошли дальше, к следующему подвальному отсеку. Шаги удалялись, глухо донесся гранатный взрыв: немцы проверяли соседние помещения.

— Целы? — еле слышно спросил Плужников.

— Целы, — отозвался Денищик. — Замри, лейтенант.

Весь день они пролежали в этом подвале. Весь день до темноты, боясь шевельнуться, не решаясь вздохнуть, потому что немцы ходили рядом: настороженным слухом они ловили их непонятный говор. От постоянного напряжения мучительно сводило мускулы.

Они не знали, что происходит наверху. Отчетливо слышалась стрельба, дважды противник обращался с предложением сложить оружие, давая часовые передышки. Но они не смогли воспользоваться и ими: немцы заняли этот участок казарм.

Рискнули выползти ночью, хотя эта ночь была беспокойнее предыдущих. Немцы прочно блокировали берега, ярко

освещали крепость ракетами и не прекращали минный обстрел. То и дело слышались глухие взрывы: немецкие саперы методически рвали фугасами стены, потолки и перекрытия, расчищая путь своим штурмовым группам.

Денищик вызвался в разведку. Долго не возвращался: Сальников уже шипел, что надо тикать. Но близких выстрелов не слышалось, а Плужников не мог поверить, что пограничник сдастся без боя, и поэтому ждал.

Наконец послышался шорох, в проломе появилась голова:

— Ползите. Тихо: немец рядом.

Снаружи было душно, отчетливо доносился сладковатый трупный запах, и пересохшее горло все время сжимали судорожные рвотные спазмы. Плужников старался дышать ртом.

Повсюду слышались немецкие голоса, стук ломов и кирок: саперы проламывали проходы в стенах, подводили фугасы. Пришлось долго ползти по обломкам, замирая при каждом вылете ракеты.

В глубокой яме, куда наконец ввалились они, нестерпимо воняло: на дне лежали вспухшие на трехдневной жаре развороченные взрывами трупы. Но здесь можно было передохнуть, оглядеться и решить, что делать дальше.

— Обратно в костел надо,— горячо убеждал Сальников.— Там стены — ого! А водичку я достану. Под носом проползу, а достану.

— Костел — мышеловка,— упрямылся пограничник.— Немцы по ночам до стен добираются: окружают и — хана. Надо в подвалы: там народу побольше.

— А водички поменьше! Ты день в воронке дрых; а я там сидел: раненым по столовой ложке водичку отпускают, как лекарство. А здоровые лапу сосут. А я без водички...

Плужников слушал эти пререкания, думая о другом. Весь день они пролежали в двух шагах от немцев, и он собственными глазами увидел, что противник действительно изменил тактику. Саперы упорно долбили стены, закладывали фугасы, подрывали перекрытия. Немцы грызли оборону, как крысы: об этом следовало доложить немедленно. Он поделился этими соображениями с бойцами. Сальников сразу заскучал:

— Мое дело маленькое.

— Как бы свои не подстрелили,— озабоченно сказал Денищик.— Напоремся в темноте. А крикнуть — немцы минами забрасают.

— Надо через казарму,— сказал Плужников.— Не могут же все подвалы быть изолированными.

— Еле уползли, теперь — обратно,— недовольно ворчал Сальников.— Лучше в костел, товарищ лейтенант.

— Завтра в костел,— сказал Плужников.— Надо сперва саперов пугнуть.

— Это мысль, лейтенант,— поддержал пограничник.— Шуранем немчуру и — к своим.

Но шурануть саперов не удалось. Под Плужниковым осыпались кирпичи, когда он вскочил: подвела задетая осколком нога. Он упал, и тут же прицельная очередь автомата разнесла кирпич возле его головы.

Им так и не удалось прорваться к своим, но все же они перебежали к кольцевым казармам на берегу Мухавца. Этот участок казался вымершим, в оконных проемах не было видно ни своих, ни чужих. Но раздумывать было некогда, и они вскочили в ближайший черный пролом подвала. Вскочили, прижались к стенам: немецкие сапоги протопали поверху.

— Долго совещались,— сказал Денищик, когда все стихло.

Никто не успел ответить. В темноте клацнул затвор, и хриплый голос спросил:

— Кто? Стреляю!

— Свои! — громко сказал Плужников.— Кто тут?

— Свои? — Из темноты говорили с трудом, в паузах слышалось тяжелое дыхание.— Откуда?

— С улицы,— резко сказал Денищик.— Нашел время допрашивать: немцы наверху. Ты где тут?

— Не подходить, стреляю! Сколько вас?

— Вот чумовой! — возмутился Сальников.— Ну, трое нас, трое. А вас?

— Один — ко мне, остальным не двигаться.

— Один иду,— сказал Плужников.— Не стреляйте.

Растопырив руки, чтобы не наткнуться в темноте, он ушел в черную глубину подвала.

— Жрать хочу,— шепотом признался Сальников.— Супцу бы сейчас.

Денищик достал плитку шоколада, отломил четвертую часть:

— Держи.

— Откуда взял?

— Одолжил,— усмехнулся пограничник.

— То-то несладкий он.

Вернулся Плужников. Сказал тихо:

— Политрук из четырехста пятьдесят пятого полка. Ноги у него перебиты, вторые сутки лежит.

— Один?

— Товарища вчера убило. Говорит, над ним — дыра на первый этаж. А там к нашим пробраться можно. Только рассвета ждать придется: темно очень.

- Обождем. Пожуй, лейтенант.
- Шоколад, что ли? А политруку?
- Есть и политруку.
- Пошли. Сальников, останешься наблюдать.

У противоположной стены лежал человек: они определили его по прерывистому дыханию и тяжелому запаху крови. Присели рядом. Плужников рассказал, как дрались в костеле, как ушли оттуда, нарвались на немцев и отлеживались потом в каменном отсеке.

— Отлеживались, значит? Молодцы ребята: кто-то воюет, а мы — отлежимся.

Политрук говорил с трудом. Дыхание было коротким, и у него уже не было сил вздохнуть полной грудью.

— Ну, и перебили бы нас там,— сказал Плужников.— Пара гранат, и все дела.

— Гранат испугался?

— Глупо погибать неохота.

— Глупо? Если убил хоть одного, смерть уже оправдана. Нас двести миллионов. Двести! Глупо, когда никого не убил.

— Там очень невыгодная позиция.

— Позиция... У нас одна позиция: не давать им покоя. Чтоб стрелял каждый камень. Знаешь, что они по радио нам кричат?

— Слыхали.

— Слыхали, да не анализировали. Сначала они просто предлагали сдаваться. Запугивали: сметем с лица земли. Потом — «стреляйте комиссаров и коммунистов и переходите к нам». А вчера вечером — новая песня: «доблестные защитники крепости». Обещают райскую жизнь всем, кто сложит оружие, даже комиссарам и коммунистам. Почему их агитация повернулась на сто восемьдесят градусов? Потому, что мы стреляем. Стреляем, а не отлеживаемся.

— Ну, мы сдаваться не собираемся,— сказал Денищик.

— Верю. Верю, потому и говорю. Задача одна: уничтожить живую силу. Очень простая задача.

Политрук говорил что-то еще, а Плужников опять плыл в лодке, и опять через борт плескалась вода, и опять он пил эту воду и никак не мог напиться. И опять на корме сидела Валя в таком ослепительном платье, что у Плужникова слезились глаза. И наверно, поэтому он не смеялся во сне...

Растолкали его, когда рассвело, и он сразу увидел политрука: невероятно худого, заросшего щетиной, среди которой все время двигались искусанные в кровь тонкие губы. На изможденном, покрытом грязью и копотью лице жили только глаза: острые, немигающие, пристально упершиеся в него.

— Выспался?

Возраста у политрука уже не было.

Втроем они втащили раненого сквозь пролом на первый этаж покинутой казармы. Здесь стояли двухъярусные койки, покрытые голыми досками: сенники и постельное белье защитники унесли с собой. На полу валялись стреляные гильзы, битый кирпич, обрывки заскорузлого, в засохшей крови, обмундирования. Разбитые прямой наводкой простенки зияли провалами.

Политрука уложили на койку, хотели сделать перевязку, но так и не решились отодрать намертво присохшие бинты. От ран шел тяжелый запах.

— Уходите,— сказал политрук.— Оставьте гранату и уходите.

— А вы? — спросил пограничник.

— А я немцев подожду. Граната да шесть патронов в пистолете: будет, чем встретить.

Канонада оборвалась: резко, будто вдруг выключили все звуки. И сразу зазвучал знакомый, усиленный динамиками голос:

— Доблестные защитники крепости! Немецкое командование призывает вас прекратить бессмысленное сопротивление. Красная Армия разбита...

— Врешь, сволочь! — крикнул Денищик.— Брешешь, жаба фашистская!

— Войну не перекричишь.— Политрук чуть усмехнулся.— Она выстрел слышит, а голос — нет. Не горячись.

Иссушающая жара плыла над крепостью, и в этой жаре вспухали и сами собой шевелились трупы. Тяжелый, густо насыщенный пылью и запахом разложения пороховой дым сползал в подвалы. И дети уже не плакали, потому что в сухих глазах давно не было слез.

— Всем, кто в течение получаса выйдет из подвалов без оружия, немецкое командование гарантирует жизнь и свободу по окончании войны. Вспомните о своих семьях, о невестах, женах, матерях. Они ждут вас, солдаты!

Голос замолчал, и молчала крепость. Она молчала тяжело и грозно, измотанная круглосуточными боями, жаждой, бомбежками, голодом. И это молчание было единственным ответом на очередной ультиматум противника.

— О матерях вспомнили,— сказал политрук.— Значит, не ожидал немец такого поворота.

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит...

Чисто и ясно зазвучала в раскаленном воздухе песня. Родная русская песня о великих просторах и великой тоске.

От неожиданности у Плужникова перехватило дыхание, и он изо всех сил стиснул зубы, чтобы сдержать нахлынувшие вдруг слезы. А сильный голос вольно вел песню, и крепость слушала ее, беззвучно рыдая у закопченных амбразур.

— Не могу-у!..— Сальников упал на пол, вздрагивая, бил кулаками по кирпичам.— Не могу! Мама, маманя песню эту...

— Молчать! — крикнул политрук.— Они же на это и бьют, сволочи! На это, на слезы наши!..

Сальников замолчал. Музыка еще звучала, но сквозь нее Плужников уловил вдруг странный протяжный гул. Прислушался, не смог разобрать слов, но понял: где-то под развалинами хриплыми, пересохшими глотками нестройно и страшно пели «Интернационал». И, поняв это, он встал.

Это есть наш последний и решительный бой...—

из последних сил запел политрук. Хрипя, он кричал слова гимна, и слезы текли по изможденному лицу, покрытому копотью и пылью. И тогда Плужников запел тоже, а вслед за ним и пограничник. И Сальников поднялся с пола и встал рядом, плечом к плечу, и тоже запел «Интернационал».

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой...

Они пели громко, так громко, как не пели никогда в жизни. Они кричали свой гимн, и этот гимн был ответом сразу на все немецкие предложения. Слезы ползли по грязным лицам, но они не стеснялись этих слез, потому что это были другие слезы. Не те, на которые рассчитывало немецкое командование.

3

Спотыкаясь, Плужников медленно брел по бесконечному, заваленному битым кирпичом подвалу. Часто останавливался, вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим языком затвердевшие, стянутые давней коростой губы. За третьим поворотом должен был появиться крохотный лучик: он сам принес заросшему по брови иссохшему фельдшеру десяток свечей, найденных в развалинах столовой. Иногда падал, всякий раз испуганно хватаясь за фляжку, в которой было сейчас самое дорогое, что он мог раздобыть: полстакана мутной вонючей воды. Вода эта булькала при каждом шаге, и он все время чувствовал, как она

булькает и переливается, мучительно хотел пить и мучительно сознавал, что на эту воду он не имеет права.

Чтобы отвлечься, забыть про воду, что булькала у бедра, он считал дни. Он отчетливо помнил только три первых дня обороны, а потом дни и ночи сливались в единую цепь вылазок и бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом и коротких, похожих на обмороки минут забывтья. И постоянного, изнуряющего, не проходящего даже во сне желания пить.

Они еще возились с политруком, стараясь поудобнее устроить его, когда откуда-то появились немцы. Политрук закричал, чтобы они бежали, и они побежали через разгромленные комнаты, где вместо окон зияли разорванные снарядами дыры. Сзади прозвучало несколько выстрелов и грохнул взрыв: политрук принял последний бой, выиграв для них секунды, и они опять ушли сумев в тот же день пробраться к своим через чердачные перекрытия. И Сальников опять радовался, что им повезло.

Они пришли к своим, и не было ни воды, ни патронов: только пять ящиков гранат без взрывателей. И по ночам они ходили к немцам, и в узких каменных мешках, хрипя и ругаясь, били этих немцев прикладами и гранатами без взрывателей, кололи штыками и кинжалами, а днем отражали атаки тем оружием, какое смогли захватить. И ползали за водой под фиолетовым светом ракет, раздвигая осклизлые трупы. А потом те, кто остался в живых, ползли назад, сжимая в зубах дужку котелка и уже не опуская головы. И кому не везло, тот падал лицом в котелок и, может быть, перед смертью успевал напиться воды. Но им везло, и пить они не имели права.

А днем — от зари до зари — бомбежки сменяли обстрелы и обстрелы — бомбежки. И если вдруг смолкал грохот, значит, опять чужой механический голос предлагал прекратить сопротивление, опять давал час или полчаса на раздумье, опять выматывал душу до боли знакомыми песнями. И они молча слушали эти песни и тихий плач умирающих от жажды детей.

Потом пришел приказ о прорыве, и им подкинули патронов и даже взрывателей для гранат. Они — все трое — атаковали по мосту и уже добежали до половины, когда немцы в упор, с двадцати шагов, ударили шестью пулеметами. И ему опять повезло, потому что он успел прыгнуть через перила в Мухавец, вволю напиться воды и выбраться к своим. А потом опять пошел на этот мост, потому что там остался Володька Денищик. Пограничник из Гомеля,

Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. А Сальников опять уцелел и, дергаясь, кричал потом в каземате:

— Обратное повезло, вот! Кто-то за меня богу молится, ребята! Видно, бабуня моя в церковь зачастила!

Только когда все это было? До или после того, как приняли решение отправить в плен женщин и детей? Они выползали из щелей на залитый солнцем двор: худые, грязные, полуголые, давно изорвавшие платя на бинты. Дети не могли идти, и женщины несли их, бережно обходя неубранные трупы и вглядываясь в каждый, потому что именно этот — уже после смерти искореженный осколками, чудовищно распухший и неузнаваемый — мог быть мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, не стесняясь слез, и немцы впервые спокойно и открыто стояли на берегах.

Когда это было — до или после их неудачной попытки вырваться из кольца? До или после? Плужников очень хотел вспомнить и — не мог. Никак не мог.

Плужников рассчитывал увидеть слабый отблеск свечи, но, еще не видя его, еще не дойдя до поворота, услышал стон. Несмотря на оглушающие бомбежки и постоянный звон в ушах, слух его работал пока исправно, да и стон, что донесся до него — протяжный, хриплый, уже даже и не стон, а рев, — был громок и отчетлив. Кричал обожженный боец: накануне немцы сбрасывали с самолетов бочки с бензином, и горячая жидкость ударила в красноармейца. Плужников сам относил его в подвал, потому что оказался рядом, и его тоже обожгло, но не сильно, а боец уже тогда начал кричать и, видно, кричал до сих пор.

Но крик этот не был одиноким. Чем ближе подходил Плужников к глухому и далекому подвалу, куда стаскивали всех безнадежных, тем все сильнее и сильнее становились стоны. Здесь лежали умирающие — с распоротыми животами, оторванными конечностями, проломленными черепами, — а единственным лекарством была немецкая водка да руки тихого фельдшера, на котором кожа от жажды и голода давно висела тяжелыми слоновьими складками. Отсюда уже не выходили: отсюда выносили тех, кто уже успокоился, а в последнее время перестали и выносить, потому что не было уже ни людей, ни сил, ни времени.

— Воды не принес?

Фельдшер спрашивал не для себя: здесь, в подвале, заполненном умирающими и мертвыми вперемежку, глоток воды был почти преступлением. И фельдшер, медленно и мучительно умирая от жажды, не пил никогда.

— Нет, — солгал Плужников. — Водка это.

Он сам добыл эту воду во время утренней бомбежки.

Дополз до берега, оглохнув от взрывов и звона бивших в каску осколков. Он зачерпнул не глядя, сколько мог, он сам не сделал ни глотка из этой фляжки: он нес ее, единственную драгоценность, Денищику и поэтому солгал.

— Живой он, — сказал фельдшер.

Сидя у входа подле ящика, на котором чадила свеча, он неторопливо рвал на длинные полосы грязное, заскорузлое обмундирование: тем, кто жив, еще нужно было делать перевязки.

Плужников дал ему три немецкие сигареты. Фельдшер жадно схватил их и все никак не мог прикурить, попадая мимо пламени: дрожали руки, да и сам он качался из стороны в сторону, уже не замечая этого.

Свеча едва горела в спертom, густо насыщенном тлением, болью и страданием воздухе. Огонек ее то замирал, обнажая раскаленный фитилек, то вдруг выравнивался, взлетая ввысь, снова съезживался, но — жил. Жил и не хотел умирать. И, глядя на него, Плужников почему-то подумал о крепости. И сказал:

— Приказано уходить. Кто как сможет.

— Прощаться зашел? — Фельдшер медленно, словно каждое движение причиняло боль, повернулся, глянул мертвыми, ничего уже не выражающими глазами. — Им не говори. Не надо.

— Я понимаю.

— Понимаешь? — Фельдшер покивал. — Ничего ты не понимаешь. Ничего. Понимал бы — мне бы не сказал.

— Приказ и тебя касается.

— А их? — Фельдшер кивнул в стонущую мглу подвала. — Их что, кирпичами завалим? Даже и пристрелить нечем. Пристрелить нечем, это ты понимаешь? Вот они меня касаются. А приказы... Приказы уже не касаются: я сам себе пострашнее приказ отдал. — Он замолчал, глаза его странно, всего на мгновение, на миг один блеснули. — Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его — сдохнет немец. Сдохнет! И война сдохнет. Кончится война. Вот тогда она и кончится.

И замолчал, скорчился, высасывая сигаретный дым сухим, проваленным ртом. Плужников молча постоял рядом, достал из кармана недогрызенный сухарь, положил его рядом со свечой и медленно пошел в подвальный сумрак, перешагивая через стонущих и уже навеки замолчавших.

Денищик лежал с закрытыми глазами, и перевязанная грязным, пропитанным кровью тряпьем грудь его судорожно, толчками приподнималась при каждом вздохе. Плужников хотел сесть, но рядом, плечом к плечу, лежали другие

раненые, и он смог только опуститься на корточки. Это было трудно, потому что у него давно уже болела отбитая кирпичами спина.

— Соседа отодвинь, — не открывая глаз, сказал Денищик. — Он вчера еще помер.

Плужников с трудом повернул на бок окоченевшее тело — напряженно вытянутая рука тупо, как палка, ударилась о каменный пол, — сел рядом. Осторожно, страшась привлечь внимание, отцепил от пояса фляжку. Денищик потянулся к ней и — отстранился:

— А сам?

— Я — целый.

Она все-таки булькнула, эта фляжка, и сразу в подвальной мгле зашевелились люди. Кто-то уже полз к ним, полз через еще живых и уже мертвых, кто-то уже хватал Плужникова за плечи, тянул, тряс, бил. Согнувшись, телом прикрывая пограничника, Плужников торопливо шептал:

— Пей. Пей, Володя. Пей.

А подвал шевелился, стонал, выл, полз к воде, протянув из тьмы десятки исхудалых рук, страшных в неживой уже цепкости. И хрипел единым страшным выдохом:

— Воды-ы!..

— Нету воды! — громко крикнул Плужников. — Нету воды, братцы, товарищи, нету!

— Воды-ы!.. — хрипели пересохшие глотки, и кто-то уже плакал, кто-то ругался, и чьи-то руки по-прежнему рвали Плужникова за плечи, за портупею, за перепревшую от пота гимнастерку.

— Ночью принесу, товарищи! — кричал Плужников. — Ночью, сейчас головы не поднимешь! Да пей же, Володька, пей!..

Замер на миг подвал, и в наступившей тишине все слушали, как трудно глотает пограничник. Пустая фляжка со стуком упала на пол, и снова кто-то заплакал, забился, закричал.

— Значит, завтра помру, — вдруг сказал Денищик, и в слабой улыбке чуть блеснули зубы. — Думал, сегодня, а теперь — завтра. А до войны я в Осводе работал. Целыми днями в воде. Река быстрая у нас, далеко сносит. Бывало, наглотаешься... — Он помолчал. — Значит, завтра... Сейчас что, ночь или день?

— День, — сказал Плужников. — Немцы опять уговаривают.

— Уговаривают? — Денищик хрипло засмеялся. — Уговаривают, значит? Сто раз убили и все — уговаривают? Мертвых уговаривают! Значит, не зря мы тут, а?.. — Он вдруг

приподнялся на локтях, крикнул в темноту: — Не кляните за глоток, ребята! Ровно глоточек был, делить нечего. Уговаривают нас, слышали? Опять упрасивают...

Он трудно закашлялся, изо рта булькающими пузырями пошла кровь. В подвале примолкли, только по-прежнему тягуче выл обожженный боец. Кто-то сказал из тьмы:

— Ты прости нас, браток. Прости. Что там, наверху?

— Наверху? — переспросил Плужников, лихорадочно соображая, как ответить.— Держимся. Патронов достали. Да, утром наши ястребки прилетали. Девять штук! Три круга над нами сделали. Значит, знают про нас, знают! Может, разведку делали, прорыв готовят...

Не было никаких самолетов, никто не готовил прорыва, и никто не знал, что на крайнем западе страны, далеко в немецком тылу, живой человеческой кровью истекает старая крепость. Но Плужников врал, искренне веря, что знают, что помнят, что придут. Когда-нибудь.

— Наши придут,— сказал он, чувствуя, как в горле щекочут слезы, и боясь, что люди в подвале почувствуют их и все поймут.— Наши обязательно придут и пойдут дальше. И в Берлин придут, и повесят Гитлера на самом высоком столбе.

— Повесить мало,— тихо сказал кто-то.— Водички бы ему не давать недели две.

— В кипятке его сварить...

— Про чай отставить,— сказал тот, что просил прощения.— Продержись до своих, браток. Обязательно продержись. Уцелей. И скажешь им: тут, мол, ребята...— Он замолчал, подыскивая то самое, то единственное слово, которое мертвые оставляют живым.

— Умирали, не срамя,— негромко и ясно сказал молодой голос.

И все замолчали, и в молчании этом была суровая гордость людей, не склонивших головы и за той чертой, что отделяет живых от мертвых. И Плужников молчал вместе со всеми, не чувствуя слез, что медленно ползли по грязному, заросшему первой щетиной лицу.

— Коля.— Денищик теребил за рукав.— Я ни о чем не прошу: патроны дороги. Только выведи меня отсюда, Коля. Ты не думай, я сам дойду, я чувствую, что дойду. Я завтра помру, сил хватит. Только помоги мне маленько, а? Я солнышко хочу увидеть, Коля.

— Нет. Там бомбят все время. Да и не дойдешь ты.

— Дойду,— тихо сказал пограничник.— Ты должен мне, Коля. Не хотел говорить, а сейчас скажу. В тебя пули шли, лейтенант, в тебя, Коля, твой это свинец. Так что сведи

меня к свету. И все. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит. Сил хватит, ты не думай. Дойду. Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть.

Плужников с трудом поднял пограничника. Денищик, еле сдерживая стоны, хватался руками, наваливался, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но, встав на ноги, пошел к выходу сам: Плужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать через лежавших на полу бойцов.

Фельдшер сидел в той же позе, все так же механически, аккуратно разрывая на полосы одежду погибших. Все так же чадно горела свеча, словно задыхаясь в смрадном воздухе гниения и смерти, и все так же лежал подле нее нетронутый кусок ржавого армейского сухаря.

Они брели медленно, с частыми остановками. Денищик дышал громко и часто, в простреленной груди что-то хлопотало и булькало, он то и дело вытирал с губ розовую пену неуверенной дрожащей рукой. На остановках Плужников усаживал его. Денищик приваливался к стене, закрывал глаза и молчал: берег силы. Раз только спросил:

— Сальников живой?

— Живой.

— Он везучий.— Пограничник сказал это без зависти: просто отметил факт.— И все за водой ходит?

— Ходит.— Плужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить.— Слушай, Володя, приказ нам всем: разбежаться. Кто куда.

— Как?

— Мелкими группами уходить из крепости. В леса.

— Понятно.— Денищик медленно вздохнул.— Прощай, значит, старушка. Ну, правильно: здесь как в мешке.

— Считаешь, правильно?

Денищик долго молчал. Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала где-то в глубоком провале густо заросшей щеки.

— С Сальниковым иди, Коля.

Плужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулеметы на мосту, то пошел бы он только с ним, с Володькой Денищиком, и — не сказал.

Он оставил Денищика в пустом каземате. Уложил на кирпичный пол лицом к узкой отдушине, сквозь которую виднелось серое, задымленное небо.

— Шинель не захватили. Там у фельдшера валялась, я видел.

— Не надо.

— Я сверху принесу. Пока тихо.

— Ну, принеси.

Плужников в последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешенные глаза пограничника и вышел из каземата. Оставалось завернуть за угол и по разбитой, заваленной обломками лестнице подняться в первый этаж. Там еще держались те, кто был способен стрелять, кого собрал после ночной атаки незнакомый Плужникову капитан-артиллерист.

Он не дошел до поворота, когда наверху, над самой головой, раздался грохот. По плечам, по каске застучала штукатурка, и тугая взрывная волна, ударившись в стену за углом, вынесла на него пыль и удушливый смрад немецкого тола.

Еще сыпались кирпичи, с треском рушились перекрытия, но Плужников уже нырнул в вонючий, пропыленный дым и, спотыкаясь, полез через завал. Где-то уже били автоматы, в угарных клубах взрывов вспыхивали нестерпимо яркие огоньки выстрелов. Чья-то рука, вынырнув из сумрака, рванула его за портупею, втащив в оконную нишу, и Плужников совсем близко увидел грязное, искаженное яростью лицо Сальникова:

— Подорвали, гады! Стену подорвали!

— Где капитан? — Плужников вырвался. — Капитана не видел?

Сальников, надсадно крича, бил злыми короткими очередями в развороченное окно. Там, в дыму и пыли, мелькали серые фигуры, сверкали огоньки очередей. Плужников метнулся в задымленный первый этаж, споткнулся о тело — еще дышащее, еще ползущее, еще волочившее за собой перебитые ноги в распустившихся окровавленных обмотках. Упал, запутавшись в этих обмотках, а когда вскочил — разглядел капитана. Он сидел у стены, крепко зажмурившись, и по его обожженному кроваво-красному лицу ручьями текли слезы.

— Не вижу! — строго и обиженно кричал он. — Почему не вижу? Почему? Где лейтенант?

— Здесь я! — Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром: опаленное лицо казалось непомерно раздутым, сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками. — Здесь, товарищ капитан, перед вами.

— Патроны, лейтенант! Где хочешь достань патронов! Я не вижу, не вижу, ни черта не вижу!..

— Достану, — сказал Плужников.

— Стой! Положи меня за пулемет. Положи за пулемет!..

Он шарил вокруг, ища Плужникова. Плужников схватил эти дрожавшие, суетливые руки, почему-то прижал к груди.

— Вот он — я. Вот он.

— Все,— вдруг тихо и спокойно сказал капитан, ошупывая его.— Нету моих глазышек. Нету. Патроны. Где хочешь. Приказываю достать.

Он высвободился, коснулся пальцами голого, мокрого от слез лица. Потом правая рука его привычно скользнула к кобуре.

— Ты еще здесь, лейтенант?

— Здесь.

— Документы мои зароешь.— Капитан достал пистолет, на ощупь сбросил предохранитель, и рука его больше не дрожала.— А пистолет возьми: семь патронов останется.

Он поднял пистолет, несколько раз косо, вслепую потыкал им в голову.

— Товарищ капитан! — крикнул Плужников.

— Не смей!..

Капитан сунул ствол в рот и нажал курок. Выстрел показался Плужникову оглушительным, простреленная голова тупо ударилась о стену, капитан мучительно выгнулся и сполз на пол.

— Готов.

Плужников оглянулся: рядом стоял сержант.

— Отбили,— сказал сержант.— А доложить не успел.

Жалко.

Только сейчас Плужников расслышал, что стрельбы нет. Пыль медленно оседала, виднелись развороченные окна, пролом стены и бойцы возле этого пролома.

— Три диска осталось,— сказал сержант.— Еще раз подорвут — и амба.

— Я достану патроны.

Плужников вынул тяжелый ТТ из еще теплой руки капитана, положил в карман. Сказал, вставая:

— Документы его зароешь, он просил. А патроны я принесу. Сегодня же.

И пошел к оконной нише, возле которой расстался с везучим Сальниковым.

В нише никого не было, и Плужников устало опустился на кирпичи. Он не попал под взрыв, не отбивал немецкой атаки, но чувствовал себя разбитым. Впрочем, чувство это давно уже не покидало его: он был много раз оглушен, засыпан, отравлен дымом и порохом, и даже та пустяковая рана на ноге, что затянулась на молодом теле сама собой, часто тревожила его внезапной, отдававшей в колено болью. Ныли отбитые кирпичами почки, мутило от постоянного голода, жажды, недосыпания и липкого трупного запаха, которым была пропитана каждая складка его одежды. Он давно уже привык думать только об опасности, только о том, как

отбить атаку, как достать воду, патроны, еду, и уже разучился вспоминать что-либо. И даже сейчас, в эту короткую минуту затишья, он думал не о себе, не о капитане, что застрелился на его глазах, не о Денищике, что умирал на голом полу каземата,— он думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было прорваться из окруженной крепости.

Сальников вернулся через окно: от немцев. Бросил на землю три автоматные обоймы, сказал:

— Вот гады немцы: без фляжек в атаку ходят.

— Слушай, Сальников, ты тот, первый день помнишь? Ты вроде за патронами тогда бежал. Вроде склад какой-то...

— Кондаков тот склад знал. А мы с тобой искали и не нашли.

— Мы тогда дураками были.

— Теперь поумнели? — Сальников вздохнул.— Искать пойдем?

— Пойдем,— сказал Плужников.— У сержанта три диска к пулемету осталось.

— При солнышке?

— Ночью не найдем.

— Пишите письма,— усмехнулся Сальников.— С приветом к вам.

Плужников промолчал. Сальников порылся в карманах, вытащил пригоршню грязных изломанных галет. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты: в сухих ртах с трудом ворочались шершавые языки.

— Водички бы...— привычно вздохнул Сальников.

— Поди шинель разыщи,— сказал Плужников.— Володька на голом полу лежит. Зайдем к нему, а потом — двинем. На солнышко.

— К черту в зубы, к волку в пасть,— проворчал Сальников, уходя.

Он скоро приволок шинель — прожженную, с бурым пятном засохшей крови на спине. Молча поделили автоматные обоймы и полезли вниз по осыпающимся кирпичам в черную дыру подземелья.

Денищик был еще жив: лежал не шевелясь, глядя тускнеющими глазами в серый клочок неба. В черной цыганской бороде запеклась кровь. Он посмотрел на них отрешенно и снова уставился в окно.

— Не узнает,— сказал Сальников.

— Везучий,— с трудом сказал пограничник.— Ты — везучий. Хорошо.

— В бане сейчас хорошо,— улыбнулся Сальников.— И тепло, и водичка.

— Не носи. Воду не носи. Зря. К утру помру.

Он сказал это так просто и спокойно, что они не стали разуверять его. Он действительно умирал, ясно осознавал это, не отчаивался, а хотел только смотреть в небо. И они поняли, что высшее милосердие — это оставить Денищика одного. Наедине с самим собой и с небом. Они подсунили под него шинель, пожали вялую, уже холодную руку и ушли. За патронами для живых.

Немцы уже ворвались в цитадель, расчленив оборону на изолированные очаги сопротивления. Днем они упорно продвигались по запутанному лабиринту кольцевых казарм, стремясь оставить за собою развалины, а ночью развалины эти — подорванные саперами, взметенные прицельной бомбежкой и добела выжженные огнеметами — оживали вновь. Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из подземелий и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей.

Но Плужников с Сальниковым шли за патронами днем. Ползли, царапая щеки о кирпичи, глотая пыль, задыхаясь в тяжком трупном запахе, напряженными спинами каждое мгновение ожидая автоматных очередей. Каждый миг здесь был последним, и каждое неосторожное движение могло приблизить этот миг. И поэтому они переползали понемногу, по несколько шагов и только по очереди, а перед тем как ползти, долго и напряженно вслушивались. Крепость сотрясалась от разрывов, автоматного треска и рева пламени, но здесь, где ползли они, было пока тихо.

Спасали воронки: на дне можно было отдышаться, прийти в себя, накопить силы для очередного шага вперед. Шага, который следовало проползти, ощущая каждый миллиметр.

В ту воронку, со дна которой так и не выветрился удушливый запах взрывчатки, Сальников сполз вторым. Плужников уже сидел на песке, сбросив нагретую солнцем каску.

— Женюсь,— прохрипел Сальников, сев рядом.— Если живой выберусь, непременно женюсь. Дурак был, что не женился. Мне, понимаешь, сватали...

Резкая тень упала на лицо, и Плужников, еще ничего не поняв, успел только удивиться, откуда она взялась, эта тень.

— Хальт!

Тугая автоматная очередь рванула воздух над головами: на откосе стоял немец. Стоял в двух шагах, и Плужников, медленно поднимаясь, с удивительной четкостью видел зашученные по локоть рукава, серо-зеленый, в кирпичной пыли мундир, расстегнутый у ворота на две пуговицы, и черную дыру автомата, пронзительно глядевшую прямо в сердце.

Они оба медленно встали, а их автоматы остались лежать у ног, на дне воронки. И так же медленно, точно во сне, подняли вверх руки.

А немец стоял над ними, нацелив автомат, стоял и улыбался: молодой, сытый, чисто выбритый. Сейчас он должен был чуть надавить на спусковой крючок, обжигающая струя ударила бы в грудь, и они навеки остались бы здесь, в этой воронке. И Плужников уже чувствовал эти пули, чувствовал, как они, ломая кости и разбрызгивая кровь, вонзаются в его тело. Сердце забилося отчаянно быстро, а горло сдавило сухим обручем, и он громко, судорожно икнул, нелепо дернув головой.

А немец расхохотался. Смех его был громким, уверенным: смех победителя. Он снял левую руку с автомата и указательным пальцем поманил их к себе. И они, не отрывая напряженных, немигающих глаз от автоматного дула, покорно полезли вверх, оступаясь и мешая друг другу. А немец все хохотал и все манил их из воронки указательным пальцем.

— Сейчас, — задыхаясь, бормотал Сальников. — Сейчас, сейчас.

Он обогнал Плужникова и, уже высунувшись по пояс из воронки, упал вдруг грудью на край и, схватив немца за ноги, с силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила в небо, немец и Сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик:

— Беги, лейтенант! Беги! Беги! Беги!

И еще — топот. Плужников выскочил на гребень, увидел немцев, что спешили на крик, и побежал. Очереди прижимали к земле, крошили кирпич у ног, а он бежал, перепрыгивая через трупы и бросаясь из стороны в сторону. И съжившаяся, согнутая в три погибели собственная спина казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его самого уже не от немцев, не от пуль — от жизни.

Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко разинутым ртом хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, уже ничего не видя, кроме фонтанчиков, что взбивали эти пули. А немцы и не думали бежать за ним, а, надрываясь от хохота, гоняли по кругу автоматными очередями. И этот оборванный, грязный, задыхающийся человек бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых вееров. Они не спешили прекращать развлечение и старались стрелять так, чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было что порассказать тем, кто не видел этой потехи.

А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он давно уже перестал кричать, а только хрипел, а они размеренно, как молотобойцы, били и били прикладами. Из рта и ушей Сальникова текла кровь, а он корчился и все пытался прикрыть голову непослушными руками.

Пулевой круг медленно сужался, но Плужников все еще метался в нем, все еще не верил, что кружится на пятачке, все еще на что-то надеялся. Пистолет, что он сунул в карман, стучал по ноге, он все время чувствовал его, но не было, не хватало того мгновения, когда можно было бы выхватить его. Не было этого мгновения, не было воздуха, не было сил и не было выхода. Был конец. Конец службы и конец жизни лейтенанта Николая Плужникова.

Они сами загнали его на этот обломок кирпичной стены, одиноко торчавший из развороченной земли. Плужников упал за него, спасаясь от очереди, что раздробила кирпичи в сантиметре от сапога. Упал, укрылся, на какую-то секунду прекратилась стрельба, и за эту секунду он успел увидеть дыру. Она вела вниз, под стену, в черноту и неизвестность, и он, не раздумывая, пополз в нее, пополз со всей скоростью, на какую только был способен, извиваясь телом, в кровь обдирая пальцы, локти, колени. Щель резко заворачивала вправо, и он успел скользнуть за поворот и, вдруг потеряв опору, полетел куда-то, растопырив руки. И, падая, услышал над головой взрыв. Вслед за ним немцы швырнули в дыру гранату, и граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго встряхнув прохладную тишину подземелья.

Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой кирпичный пол, но удачно, на руки. Не разбился, только от сотрясения из носа сразу пошла кровь. Размазывая ее по лицу, по гимнастерке, он лежал не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух определяя опасность. Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в груди, дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И, еще не отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу.

И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая; только чуть поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет; в нем все дрожало, и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к темноте, и он еще изда-лека уловил смутные фигуры: шли двое.

— Стой! — негромко скомандовал он, когда они приблизились. — Кто идет?

Фигуры замерли, а затем одна дернулась, поплыла вперед прямо на вздрагивающую мушку его пистолета.

— Стреляю!

— Да свои мы, свои, товарищи! — радостно и торопливо закричал тот, что шел на него. — Федорчук, запали паклю, осветись!

Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко ступившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало вздрогнувшими треугольничками на черных артиллерийских петлицах.

— Свои мы, свои, дорогой! — кричал первый. — Засыпало нас аж в первые залпы. Сами выкапывались, ходы рыли, думали... думали... думали...

Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными, веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников потерял сознание.

Он пришел в себя в полной тишине, и эта непривычная мирная тишина испугала его. Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди; все еще не открывая глаз, он с ужасом подумал, что оглох, оглох полностью, навсегда, и, мучительно напрягаясь, ловил, искал, ждал знакомых звуков: грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей. Но услышал тихий женский голос, почти шепот:

— Очнулся, тетя Христа.

Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах и круглое девичье лицо: черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой, сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками — они были свободны, не связаны, — ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел.

— Где я?

От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье, бородатые мужчины и два женских лица: молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее, — в глубине, у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастерке. Шарил и не находил оружия.

— Выпейте воды.

Молодая протягивала жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул: вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он жадно, захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пя-

терых: троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него; у пожилой по щекам текли слезы, она вытирала их, всхлипывала, но — улыбалась. Что-то знакомое, далекое как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо:

— Пистолет. Мой пистолет.

— Вот он.— Молодая поспешно схватила пистолет, лежащий на столе, протянула ему.— Не узнаете, товарищ лейтенант?

Он молча схватил пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были, он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился.

— Не узнаете? Помните, в субботу — ту, перед войной, — мы в крепость пришли. Вы упали еще. У КПП. Я — Мирра, помните?

— Да, да.

Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен, первый залп, и первую встречу с Сальниковым, и отчаянный, последний крик Сальникова: «Беги, лейтенант, беги!..» Он вспомнил ослепшего капитана и Денищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими. Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он ничего сейчас не слышал.

— Сытые? — шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали.— Сытые, чистые, целые?.. А там, там братья ваши, товарищи ваши, там, над головой, мертвые лежат, необрунные, землей не засыпанные. И мы — мертвые! Мертвые бой ведем, давно уж сто раз убитые немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали, — пулеметам. Дети от жажды с ума сходили, а мы — пулеметам! Только пулеметам! Чтоб стреляли! Чтоб немцев, немцев не пустить!.. А вы отсиживались?.. — Он вдруг вскочил.— Сволочи! Расстреляю! За трусость, за предательство! Я теперь право имею! Я право такое имею: именем тех, что наверху лежат! Их именем!..

Он кричал, кричал в полный голос и тряся, как в ознобе, а они молчали. Только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко лязгнул затвор автомата.

— Ты нас не сволочи.

Рыхлая фигура качнулась навстречу, полные руки ласково и властно обняли его. Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней заросшей окровавленной щекой и заплакал. Он плакал гром-

ко, навзрыд, а ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал:

— Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты и вернулся. Домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек.

«Вот я и вернулся,— устало подумал Плужников.— Вернулся...»

Часть третья

1

Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх — путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них — впереди, и пути их надолго разошлись.

Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые, метровой кладки, стены, склад заваливало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол, вырыли его, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать: они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра.

Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья — все шестеро — и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению.

Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо. И неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы.

— Хана,— прохрипел Федорчук.

Тетя Христя плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мирра прижалась к ней: от трупного смрада ее душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор.

— Аня! — окликнул Степан Матвеевич.— Куда ты, Аня?

— Дети.— Она на секунду обернулась.— Дети там. Мои дети.

Анна Ивановна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье.

— Разведка нужна,— сказал старшина.— Куда идти, где они, наши?

— Куда разведку-то, куда? — вздохнул Федорчук.— Немцы кругом.

А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и взошла на мост — еще скользкий от крови, еще заваленный трупами — и упала здесь, среди своих, в трех местах простреленная случайной очередью. Упала, как шла: прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых.

Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземельях, ни тем более лейтенант Плужников.

Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад — тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников,— и он увидел новенькие, тусклые от смазки ППШ, полные диски и запечатанные, нетронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией.

К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение

и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой: каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца Степана Матвеевича. Женщины оставались здесь.

— Вернемся,— сказал Плужников.

Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто — с уважением и готовностью, кто — со страхом, кто — с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке.

Только раз старшина негромко вмешался:

— Убери все. Сухарь ему и кипятку стакан.

Это когда сердобольная тетя Христя выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол.

— Убирай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Теперь понемногу надо. Живот надо заново приучать.

Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся.

Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, ляг оружия. Но здесь было тихо.

— За мной. И не спеши: слушай сначала.

Они облазали все воронки, проверили каждый завал, ощутили каждый труп. Сальникова не было.

— Живой,— с облегчением сказал Плужников, когда спустились к своим.— В плен увели: наших убитых они не закапывают.

Все же он чувствовал себя виноватым: виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль, и то, что в мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимостью. Но, понимая, что он не мог спасти Сальникова, что он должен был, обязан был — не перед собой, нет! — перед теми, кто послал его в этот поиск,— попытаться уйти и ушел, Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везучий, неунывающий Сальников

выживет, выкрутится, а может быть, и убежит. За дни и ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца. И Плужников вздохнул облегченно:

— Живой.

Они натаскали в тупичок под щелью много оружия и боеприпасов: прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим за раз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернется, но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нервничать. Оставалось решить еще один вопрос, решить безотлагательно, но как подступиться к нему, Плужников не знал.

Женщин нельзя было брать с собой на прорыв: слишком опасной и трудной даже для обстрелянных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять их здесь на произвол судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни прикидывал, выход был один.

— Вы останетесь здесь, — сказал он, стараясь не встретиться взглядом с девушкой. — Завтра днем — у немцев с четырнадцати до шестнадцати обед, самое тихое время, — завтра выйдете наверх с белыми тряпками. И сдадитесь в плен.

— В плен? — тихо и недоверчиво спросила Мирра.

— Еще чего выдумал! — не дав ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христя. — В плен — еще чего выдумал! Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочка? — Она обняла Мирру, прижала к себе. — С сухой-то ножкой, на деревяшке?.. Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать, будет!

— Не дойду я, — еле слышно сказала Мирра, и Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен.

Поэтому он сразу не нашелся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин.

— Ишь чего выдумал! — иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христя. — Негодное твое решение, хоть ты и командир. Вовсе негодное.

— Нельзя вам тут оставаться, — неуверенно сказал он. — И был приказ командования, все женщины ушли...

— Так они вам обузой были, потому и ушли! И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Миррочкой помешаем, в норе-то нашей? Да никому, воюйте себе на здоровье! А у нас и место есть, и

еда, и никому мы не в обузу, и отсидимся тут, покуда наши не вернутся.

Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий.

— Девчонка-то жидовочка,— вдруг сказал Федорчук.— Жидовочка да калека: прихлопнут они ее как пить дать.

— Не смейте так говорить! — крикнул Плужников.— Это их слово, их! Фашистское это слово!

— Тут не в слове дело,— вздохнул старшина.— Слово, конечно, нехорошее, а только Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации.

— Знаю! — резко оборвал Плужников.— Понял. Все. Останетесь. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь.

Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше внутренне протестовал, но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуρο отдал команду, хмуρο пообещал вернуться за боеприпасами, хмуρο полез наверх вслед за посланным в разведку тихим Васей Волковым.

Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны — ужас заживо погребенного,— он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших и внезапное появление лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его, Волкова, жизнь.

Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы.

А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лазарца цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников, как ни вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то

бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен.

— Волков со мной, старшина и сержант — замыкающие. Быстро вперед.

Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска к «дегтярю». И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди.

— Подорвали! — крикнул Плужников. — Немцы стену подорвали!

На голос ударил пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился:

— Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись!

— Пусти! Там ребята, там патронов нет, там раненые...

— Куда пустить-то, куда?

— Пусти!..

Плужников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться.

— Поздно уже, товарищ лейтенант, — вздохнул он. — Поздно. Послушай.

Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы: то ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как Плужников ни вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа.

Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать.

— Обходят. — Федорчук подергал старшину. — Отрежут еще. Убили этого, что ли?

— Помоги.

Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, — и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала:

— Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните?

Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре. Шинель,

которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.

Он не знал, сколько суток лежит вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили жировые плашки, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен.

С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они — все погибшие по его вине — поступали именно так: он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно.

Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собирался с силами: это было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потом — уже мертвый — он продолжал прикрывать Плужникова от пуль, и его загустевшая кровь была Плужникову в лицо, как напоминание.

А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и — не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так же, как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрал в небо обе руки. Так же, как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя.

Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал: просто считал долги.

Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это — закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаключений: он открывал

его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни.

— Тронулся лейтенантик,— говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или нет.— Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина.

Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто — жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, неизвестное немцам подземелье.

— Ослаб он,— вздыхал старшина.— Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна.

Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть — не знал.

И только Мирра знала, что ей делать: ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.

— Ну, чего ты там грохочешь? — ворчал Федорчук.— Обвалов давно не было, соскучилась? Тихо жить надо.

Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.

— Вот! — радостно сказала она, притащив его к столу.— Я помнила, что он у дверей стоял.

— Вон чего ты искала,— вздохнула тетя Христя.— Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло.

— Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только — зря,— сказал Степан Матвеевич.— Ему бы забыть все впору: и так слишком много помнит.

— Рубаха лишняя не помешает,— сказал Федорчук.— Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь.

Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать: белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыв кривую продавленную крышку.

— Это — ваши вещи. Ваши,— тихо сказала Мирра.

— Я помню.

И отвернулся к стене.

— Все,— вздохнул Федорчук.— Теперь уж точно — все. **К**ончился паренек.

И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.

— Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой какой?

— Чего решать? — неуверенно сказала тетя Христя. — Решено уж: дождемся.

— Чего? — закричал Федорчук. — Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю?

— Красной Армии дождемся, — сказала Мирра.

— Красной?.. — насмешливо переспросил Федорчук. — Дура! Вот она, твоя Красная Армия: без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это?

Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать.

Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плашек две погасили на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.

Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.

Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти.

Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев: здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал: кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво: Федорчук потрудился на славу.

Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, но его лишили этой возможности. Значит, им придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. Придется, потому что заваленный выход насколько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам вынес себе.

Подумав так, он достал пистолет, передернул затвор, мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди: все-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Лево́й рукой он нащупал сердце: оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце...

— Коля!..

Если бы она крикнула любое другое слово — даже тем же самым голосом, звонким от страха. Любое иное слово — и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, опустил, чтобы глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать.

— Коля! Коля, не надо! Колечка, милый!

Ноги не удержали ее, и она упала, изо всех сил вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью рукав гимнастерки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом тепле, он не нажмет на курок.

— Брось его. Брось. Я не отпущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня.

Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце.

— Зачем ты здесь? — с тоской спросил он.

Мирра впервые подняла лицо: свет факела дробился в слезах.

— Ты — Красная Армия, — сказала она. — Ты — моя

Красная Армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?

Его не смутила красивость ее слов: смутило другое. Оказывается, кто-то нуждался в нем, кому-то он был еще нужен. Нужен как защитник, как друг, как товарищ.

— Отпусти руку.

— Сначала брось пистолет.

— Он на боевом взводе. Может быть выстрел.

Плужников помог Мирре встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель, спустил курок и сунул пистолет в карман. И взял факел.

— Пойдем?

Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась:

— Я никому не скажу. Даже тете Христе.

Он молча погладил ее по голове. Как маленькую. И загасил факел в песке.

— Спокойной ночи! — шепнула Мирра, ныряя в лаз.

Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чадила плошка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и — заснул. Крепко и спокойно.

Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрал все со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку.

— На поправку повернуло, товарищ лейтенант? — недоверчиво улыбаясь, спросил старшина.

— Вода найдется? Кружки три хотя бы.

— Есть вода, есть! — засуетился Степан Матвеевич.

— Польете мне, Волков.— Плужников впервые за много дней содрал с себя перепревшую гимнастерку, надетую на голое тело: майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана смену белья, мыло, полотенце.— Мирра, пришей мне подворотничок к летней гимнастерке.

Вылез в подземный ход, долго, старательно мылся, все время думая, что тратит воду, и впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся и так же молча, тщательно и неумело побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растер одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мирра, туго затянулся ремнем. Сел к столу — худая мальчишеская шея торчала из воротника, ставшего непомерно широким.

— Докладывайте.

Переглянулись. Старшина спросил неуверенно:

— Что докладывать?

— Все.— Плужников говорил жестко и коротко: рубил.— Где наши, где противник.

— Так это...— Старшина замаялся.— Противник известно где: наверху. А наши... Наши неизвестно.

— Почему неизвестно?

— Известно, где наши,— угрюмо сказал Федорчук.— Внизу. Немцы наверху, а наши — внизу.

Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной как со своим заместителем и всячески подчеркивал это.

— Почему не знаете, где наши?

Степан Матвеевич виновато вздохнул:

— Разведку не производили.

— Догадываюсь. Я спрашиваю: почему?

— Да ведь как сказать. Болели вы. А мы выход заложили.

— Кто заложил?

Старшина промолчал. Тетя Христя хотела что-то пояснить, но Мирра остановила ее.

— Я спрашиваю, кто заложил?

— Ну, я! — громко сказал Федорчук.

— Не понял.

— Я.

— Еще раз не понял,— тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта.

— Старший сержант Федорчук.

— Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободен.

Днем работать не буду.

Через час доложите об исполнении,— повторил Плужников.— А слова «не буду», «не хочу» или «не могу» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы — подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего.

Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту — минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял умывание, переодевание, бритье: он думал и готовился к этому разговору. Готовился продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний. Все осталось там, во вчерашнем дне, пережить который ему было суждено.

В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова: путь наверх стал свободен. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами: Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук — со старшиной. Крепость еще жила, еще огрызалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Мухавцом, и наладить с кем-либо связь тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих.

— Одни побитые,— вздыхал Степан Матвеевич.— Много побито нашего брата. Ой, много!

Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников отошли в глухие подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказывалась попросту бессмысленной.

Он сам ходил в эту разведку. Добрался до Тереспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота: регулярно, каждое утро, в одно и то же время. И вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась: они уже не стремились атаковать, а обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали огнеметчиков. Да и ростом эти немцы казались пониже тех, с кем до сих пор сталкивался Плужников, и автоматов у них было явно поменьше: карабины стали более обычным оружием.

— Либо я вырос, либо немцы съезжились,— невесело пошутил Плужников вечером.— Что-то в них изменилось, а вот что — не пойму. Завтра с вами пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы тоже поглядели.

Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие и разгромленные коробки казарм 84-го полка: Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами: Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот.

Утро было ясным и тихим: лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то на Кобринском укреплении, возле внешних валов. Внезапно вспыхивала, столь же внезапно прекращалась, и Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников крепости.

— Товарищ лейтенант! — напряженным шепотом окликнул старшина.

Плужников перебрался к нему, выглянул: совсем рядом строилась шеренга немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя — манера бывалых солдат, которым многое прощается, — все было вполне обычным. Немцы не съезились, не стали меньше, они оставались такими же, какими на всю жизнь запомнил их лейтенант Плужников.

Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй вытянулся, командир доложил шедшему первым: высокому и немолодому, видимо старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следом шли офицеры: один держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам.

— Ордена выдает, — сообразил Плужников. — Награды на поле боя. Ах ты, сволочь ты немецкая, я тебе покажу награды...

Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной — очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, замершие в парадном строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат.

Короткие очереди ударили почти в упор, с десятка шагов. Упал старший офицер, выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали недаром: растерянность их была мгновенной, и не успела смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам из всех автоматов.

Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми: немцы расвирепели, никого не боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготней и сумятицей, они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще простреливали каждый закуток в развалинах казарм.

— Не изменился немец. — Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться. — Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось туго.

— Про ту дверь в полку только старшины знали, — вздохнул Степан Матвеевич. — Вот она, значит, и пригодилась.

Он с трудом стащил сапог: портянка набухла от крови. Тетя Христя закричала, замахала руками.

— Пустяк, Яновна, — сказал старшина. — Мясо зацепило,

чувствую. А кость цела. Кость цела, это главное: дырка зарастет.

— Ну, и зачем это? — раздраженно спросил Федорчук. — Постреляли, побегали — а зачем? Что, война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война. Война, она в свой час завершится, а вот мы...

Он замолчал, и все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны победного торжества и боевого азарта, и спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось.

А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волянил, и Плужникову пришлось прикрикнуть.

— Ладно, иду, иду, — проворчал старший сержант. — Нужны эти наблюдения, как...

В секреты уходили на весь день: от темна до темна. Плужников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на расвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плужников решил искать невесть куда сгинувшего старшего сержанта.

— Автомат оставь, — сказал он Волкову. — Возьми карабин.

Сам он шел с автоматом, но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно, и Плужников все время шипел на покорного Волкова, чтобы он не брякал и не высовывал ее где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за винтовки, а из-за того, что никаких следов старшего сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить.

Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тереспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта. Живого, раненого или мертвого, но — обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего.

Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолгу всматривался в каждый, пытаясь издалека определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением.

— Немцы...

Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его потому лишь, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул.

Немцы — человек десять — стояли на противоположном берегу, у моста. Стояли свободно: галдели, смеялись, размахивали руками, глядя куда-то на этот берег. Плужников вытянул шею, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что так боялся увидеть.

От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках в такт грузным, уверенным шагам. Он шел в плен так спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами.

— Товарищ Федорчук, — удивленно сказал Волков. — Товарищ старший сержант...

— Товарищ?.. — Плужников, не глядя, требовательно протянул руку: — Винтовку.

Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулко.

— Зачем?

— Винтовку! Живо!

Федорчук уже подходил к немцам, и Плужников торопился. Он хорошо стрелял, но именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он чересчур резко рванул спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост, и до немцев ему оставалось четыре шага.

Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слышали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел был его выстрелом: выстрелом, которого ждала его широкая, вмиг вдруг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гогоча и веселясь, пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками.

Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще кричал что-то дико и непонятно. И немцы еще ничего не успели понять, еще хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому

что три следующих выстрела Плужников сделал как на училищных соревнованиях по скоростной стрельбе.

Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянный Волков уже были внизу, в пустых разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько мин. Волков попытался было забиться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневичком.

— Вот так, — задыхаясь, сказал Плужников. — Гад он. Гадина. Предатель.

Волков глядел на него круглыми перепуганными глазами и кивал поспешно и непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же:

— Предатель. Гадина. С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки, у тети Христи, наверно, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все. И нас бы с тобой продал. Гадюка. С платочками, а? Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько шел, обдуманно.

Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и никогда не чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он не чувствовал угрызений совести, застрелив человека, с которым не один раз сидел за общим столом. Наоборот, он ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил.

А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае сорок первого, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней — самых страшных дней в своей короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одном каземате. Этот человек ворчливо учил его оружейному делу, поил чаем с сахаром и позволял немножко поспать во время скучных армейских нарядов.

А сейчас этот человек лежал на том берегу, лежал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков считал, что у старшего сержанта Федорчука могли быть свои причины для такого поступка, и причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант — худой, страшный и непонят-

ный, — этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивать оружием.

Думая так, Волков не испытывал ничего, кроме одиночества, и одиночество это было мучительным и неестественным. Оно мешало Волкову почувствовать себя человеком и бойцом, оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плужниковым. И Волков уже боялся своего командира, не понимал его и потому не верил.

Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота: много, до взвода. Вышли строем, но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тереспольским воротам отсеки кольцевых казарм: вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи огнеметных залпов. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там тоже загрохотали взрывы и тяжело заухали огнеметы.

Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить, но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелья, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костелом.

Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову, но он не стал терять время на расспросы. Боец был без оружия (его винтовку сам же Плужников бросил еще там, в башне), чувствовал себя неуютно и, наверно, побаивался. И чтобы ободрить его, Плужников подмигнул и даже улыбнулся, но и подмигивание и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и более отважного, чем Волков.

— Ладно, добудем тебе оружие, — хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав улыбаться. — Пошел вперед. До следующей воронки.

Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно, можно было передохнуть и осмотреться.

— Здесь не найдут, не бойся.

Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Сальникове. И вздохнул.

Где-то за развалинами — не сзади, где остались немецкие

поисковые группы, а впереди, где никаких немцев не должно было быть,— слышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по звукам, людей там было много, они не скрывались и уже поэтому не могли быть своими. Скорее всего сюда двигался еще какой-то немецкий отряд, и Плужников насторожился, пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них.

— Сиди здесь,— сказал Плужников.— Сиди и не высовывайся, пока я не вернусь.

И опять Волков промолчал. И опять глянул странными напряженными глазами.

— Жди,— повторил Плужников, поймав этот взгляд.

Он осторожно крался через развалины. Пробирался по кирпичным осыпям, не сдвинув ни одного обломка, перебегал открытые места, часто останавливался, замирая и вслушиваясь. Он шел на странные шумы, и шумы эти теперь приближались, делались все яснее, и Плужников уже догадывался, кто бродит там, по ту сторону развалин. Догадывался, но еще сам не решался поверить.

Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Вы искал убежище, заполз, перевел автомат на боевой взвод и выглянул.

На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в глубокие воронки полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей, песком. Не осматрив, не собирая документов, не сняв медальонов. Неторопливо, устало и равнодушно. И, еще не заметив охраны, Плужников понял, что это — пленные. Он сообразил это еще на бегу, но почему-то не решался поверить в собственную догадку, боялся в упор, воочию, в трех шагах увидеть своих, советских, в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже отдаленных от него, кадрового лейтенанта Красной Армии Плужникова, зловещим словом «ПЛЕН».

Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают: безостановочно и равнодушно, как автоматы. Смотрел, как ходят: ссутулившись, шаркая ногами, точно вдвое вдруг постарев. Смотрел, как они тупо глядят перед собой, не пытаясь даже сориентироваться, определиться, понять, где находятся. Смотрел, как лениво поглядывает на них немногочисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу. Плужников не находил этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уколы, которые и превращают вчерашних активных бойцов в тупых

исполнителей, уже не мечтающих о свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека.

Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеют и сочувствуют тяжело заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискал его среди тех, кто работал, не нашел и — обрадовался. Он не знал, жив ли Сальников или уже погиб, но здесь его не было, и, значит, в покорного исполнителя его не превратили. Но какой-то другой знакомый — крупный, медлительный и старательный — здесь был, и Плужников, заметив его, все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой.

А рослый пленный, как назло, ходил рядом, в двух шагах от Плужникова, огромной совковой лопатой подгребая кирпичную крошку. Ходил рядом, царапал своей лопатой возле самого уха и все никак не поворачивался лицом...

Впрочем, Плужников и так узнал его. Узнал, вдруг припомнив и бой в костеле, и ночной уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец этот был приписником, из местных, что жалел, добровольно пойдя на армейскую службу в мае вместо октября, и что Сальников утверждал тогда, что он погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников вспомнил очень ясно и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его норе, позвал:

— Прижнюк!

Вздрыгнула и еще ниже согнулась широкая спина. И замерла испуганно и покорно.

— Это я, Прижнюк, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле?

Пленный не поворачивался, ничем не показывал, что слышит голос своего бывшего командира. Просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго обтянутую грязной изодранной гимнастеркой. Эта спина была сейчас полна ожидания: так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижнюк с ужасом ждет выстрела и что спина его — огромная и незащищенная спина — стала сутулой и покорной именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение ждала выстрела.

— Ты Сальникова видел? Сальникова в плену встречал? Отвечай, нет тут никого.

— В лазарете он.

— Где?

— В лазарете лагерном.

— Болен, что ли?

Прижнюк промолчал.

— Что с ним? Почему он в лазарете?

— Товарищ командир, товарищ командир...— воровато оглянувшись, зашептал вдруг Прижнюк.— Не губите, товарищ командир, богом прошу, не губите вы меня. Нам, которые работают хорошо, которые стараются, нам послабление будет. А которые местные, тех домой отпустят, обещали, что непременно домой...

— Ладно, не причитай,— зло перебил Плужников.— Служи им, зарабатывай свободу, беги домой — все равно не человек ты. Но одну штуку ты сделаешь, Прижнюк. Сделаешь, или пристрелю тебя сейчас к чертовой матери.

— Не губите...— В голосе пленного звучали рыдания, но Плужников уже подавил в себе жалость к этому человеку.

— Сделаешь, спрашиваю? Или — или, я не шучу.

— Ну, что могу я, что? Подневольный я.

— Пистолет Сальникову передашь. Передашь и скажешь, пусть на работу в крепость просится. Понял?

Прижнюк молчал.

— Если не передашь, смотри. Под землей найду, Прижнюк. Держи.

Размахнувшись, Плужников перебросил пистолет прямо на лопату Прижнюка. И как только звякнул этот пистолет о лопату, Прижнюк вдруг метнулся в сторону и побежал, громко крича:

— Сюда! Сюда, человек тут! Господин немец, сюда! Лейтенант тут, лейтенант советский!

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда опомнился, Прижнюк уже выбежал из сектора его обстрела, к норе, грохоча подкованными сапогами, бежала лагерная охрана, и первый сигнальный выстрел уже ударил в воздух.

Отступить назад, туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было невозможно, и Плужников бросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому что немцев было много, он хотел оторваться от преследования, забиться в глухой каземат и отлежаться там до темноты. А ночью отыскать Волкова и вернуться к своим.

Ему легко удалось уйти: немцы не очень-то стремились в темные подвалы, да и беготня по развалинам их тоже не устраивала. Постреляли вдогонку, покричали, пустили ракету, но ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала.

Теперь было время подумать. Но и здесь, в чуткой тем-

ноте подземелья, Плужников не мог думать ни о расстрелянном им Федорчуке, ни о растерянном Волкове, ни о покорном, уже согнутом Прижнюке. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неотступно думал совсем о другом и куда более важном: о немцах.

Он опять не узнал их сегодня. Не узнал в них сильных, самоуверенных, до наглости отчаянных молодых парней, упрямых в атаках, цепких в преследовании, упорных в рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого дрался, не выпустили бы его живым после крика Прижнюка. Те немцы не стояли бы в открытую на берегу, поджидая, когда к ним подойдет поднявший руки красноармеец. И не хохотали бы после первого выстрела. И уж наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улизнуть после расстрела перебежчика.

Те немцы, эти немцы... Еще ничего не зная, он уже сам предполагал разницу между немцами периода штурма крепости и немцами сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные «штурмовые» немцы выведены из крепости, а их место заняли немцы другого склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска и откровенно побаиваются темных стреляющих подземелий.

Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом обнаглел. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде: пошел к выходу в рост, не скрываясь и нарочно грохоча сапогами.

Так он и вышел из подвала: только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев у входа не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упростило положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выработать новую тактику сопротивления. Новую тактику их личной войны с фашистской Германией.

Думая об этом, Плужников далеко обошел пленных — за развалинами по-прежнему слышалось унылое шарканье — и подошел к месту, где оставил Волкова, с другой стороны. Места эти были ему знакомы, он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятал Волкова. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни подле нее не оказалось.

Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу, излезил соседние развалины, заглянул в каждый каземат, рискнул даже несколько раз окликнуть пропавшего молодого необстрелянного бойца со странными, почти немигающими гла-

зами, но отыскать его так и не смог. Волков исчез необъяснимо и таинственно, не оставив после себя ни клочка одежды, ни капли крови, ни крика и ни вздоха.

3

— Стало быть, снял ты Федорчука, — вздохнул Степан Матвеевич. — А парнишку жалко. Пропадет парнишка, товарищ лейтенант, больно уж с детства он напуганный.

Тихого Васю Волкова вспомнили еще несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили. Словно не было его, словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мирра спросила, когда остались одни:

— Застрелил?..

Она с запинкой, с трудом произнесла это слово. Оно было чужим, не из того обихода, который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах и о картошке. И еще — о болезнях, которых всегда хватало.

— Застрелил?

Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея и ужасаясь тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести: только усталость.

— Боже мой! — вздохнула Мирра. — Боже мой, твои дети сходят с ума!

Она сказала это по-взрослому горько и спокойно. И так же по-взрослому спокойно притянула к себе его голову и трижды поцеловала: в лоб и в оба глаза.

— Я возьму твое горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья.

Так говорила ее мама, когда заболел кто-либо из детей. А детей было много, очень много вечно голодных детей, и мама не знала ни своего горя, ни своих болезней: ей хватало чужих хвороб и чужого горя. Но всех своих девочек она учила сначала думать не о своих бедах. И Миррочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом:

— А тебе век за чужих болеть: своих не будет, доченька.

Мирра с детства свылась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым сестрам. Свылась и уже не горевала, потому что ее особое положение — положение увечной, на которую никто не позарится, — тоже имело свои преимущества, и прежде всего — свободу.

А тетя Христя все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари. И шептала при этом:

— Двоих нету. Двоих нету. Двоих нету.

В последнее время она ходила с трудом. В подземельях было прохладно, у тети Христи отекли ноги, да и сама она без солнца, движения и свежего воздуха стала рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и втайне решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна. Без материнской руки и женского совета.

Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще во младенчестве, муж уехал на заработки да так и сгинул, дом отобрали за долги, и тетя Христя, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в прислугах, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная Армия. Эта Красная Армия — веселая, щедрая и добрая — впервые в жизни дала тете Христе постоянную работу, достаток, товарищей и комнату по уплотнению.

— То — божье войско, — важно поясняла тетя Христя непривычно тихому брестскому рынку. — Молитесь, панове.

Сама она давно не молилась — не потому, что не верила, а потому, что обиделась. Обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратила всякое общение с небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил сдерживала себя, хотя очень хотелось помолиться и за Красную Армию, и за молоденького лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И все делала по многолетней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в каземате.

— Считаете, другой немец пришел?

От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла и горела непрерывно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упрямо верил в собственное здоровье, а поскольку кость у него была цела, то дырка обязана была зарости сама собой.

— А почему они за мной не побежали? — размышлял Плужников. — Всегда бегали, а тут — выпустили. Почему?

— А могли и не менять немцев, — сказал старшина, подумав. — Могли приказ им такой дать, чтоб в подвалы не совались.

— Могли, — вздохнул Плужников. — Только я знать должен. Все о них знать.

Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. Вновь ползал, задыхаясь от пыли и трупного смрада, звал, вслушивался. Ответа не было.

Встреча произошла неожиданно. Два немца, мирно разговаривая, вышли на него из-за уцелевшей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и только она до сих пор спасала его.

А второго немца спасла случайность, которая раньше стоила бы Плужникову жизни. Его автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени. И покорно ждал, пока Плужников вышибет застрявший патрон.

Солнце давно уже село, но было еще светло: эти немцы припозднились что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мертвый, перепаханный снарядами крепостной двор. Не успели, и теперь один уже перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковым на коленях, склонив голову. И молчал.

И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени противника, но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешало все тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боец: почему немцы стали такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени. Он не считал свою войну законченной, и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ — не предположения, не домыслы, а точный, реальный ответ! — ответ этот стоял сейчас перед ним, ожидая смерти.

— Комм,— сказал он, указав автоматом, куда следовало идти.

Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь, но Плужникову некогда было припоминать немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в узкие штатские плечи.

Так они перебежали через двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на сутулого, насмерть перепуганного и далеко не молодого врага.

— «Языка» добыл,— сказал Плужников и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру.— Вот сейчас все задки и выясним, Степан Матвеевич.

Немец опять заговорил громким плачущим голосом, за-

хлебываясь и глотая слова. Протягивал вперед дрожавшие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову.

— Ничего не понимаю,— растерянно сказал Плужников.— Тарахтит.

— Рабочий он,— сообразил старшина.— Видите, руки показывает?

— Лянгзам,— сказал Плужников.— Битте, лянгзам.

Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, вскрикнув, вновь сорвался на лихорадочную скороговорку.

— Испуганный человек,— вздохнула тетя Христя.— Дрожмя дрожит.

— Он говорит, что он не солдат,— сказала вдруг Мирра.— Он — охранник.

— Понимаешь по-ихнему? — удивился Степан Матвевич.

— Немножечко.

— То есть как так — не солдат? — нахмурился Плужников.— А что он в нашей крепости делает?

— Нихт зольдат! — закричал немец.— Нихт зольдат, нихт вермахт!

— Дела,— озадаченно протянул старшина.— Может, он наших пленных охраняет?

Мирра перевела вопрос. Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной тирадой, как только она замолчала.

— Пленных охраняют другие,— не очень уверенно переводила девушка.— Им приказано охранять входы и выходы из крепости. Они — караульная команда. Он — настоящий немец, а крепость штурмовали австрияки из сорок пятой дивизии, земляки самого фюрера. А он — рабочий, мобилизован в апреле...

— Я же говорил, что рабочий! — с удовольствием отметил старшина.

— Как же он — рабочий, пролетарий,— как он мог против нас... — Плужников замолчал, махнул рукой.— Ладно, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части, или их уже отвели.

— А как по-немецки боевые части?

— Ну, не знаю... Спроси, есть ли солдаты.

Медленно, подбирая слова, Мирра начала переводить. Немец слушал, от старания свесив голову. Несколько раз уточнил, что-то переспросив, а потом опять зачастил, затараторил, то тыча себе в грудь, то изображая автоматчика: «ту-ту-ту!»

— В крепости остались настоящие солдаты: саперы, автоматчики, огнемечки. Их вызывают, когда обнаруживают

русских: таков приказ. Но он — не солдат, он — караульная служба, он ни разу не стрелял по людям.

Немец опять что-то затараторил, замахал руками. Потом вдруг торжественно погрозил пальцем Христине Яновне и неторопливо, важно достал из кармана мягкого мундира черный пакет, склеенный из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол.

— Дети,— вздохнула тетьа Христя.— Детишек своих кажет.

— Киндер! — крикнул немец.— Майн киндер! Драй!

И гордо тыкал пальцем в неказистую узкую грудь: руки его больше не дрожали.

Мирра и тетьа Христя рассматривали фотографии, спрашивали пленного о чем-то важном, по-женски бестолково подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, завтраках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя:

— Придется вам, товарищ лейтенант: мне с ногой трудно. А отпустить опасно: дорогу к нам знает.

Плужников кивнул. Сердце его вдруг заныло, заныло тяжело и безнадежно, и он впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта възвала в нем физическую дурноту: даже сейчас он не годился в палачи.

— Ты уж извини,— виновато сказал старшина.— Нога, понимаешь...

— Понимаю, понимаю! — слишком торопливо перебил Плужников.— Патрон у меня перекошило...

Он резко оборвал, поднялся, взял автомат:

— Комм!

Даже при чадном свете жировиков было видно, как посерел немец. Посерел, ссутулился еще больше и стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии все время выскальзывали на стол.

— Форвертс! — крикнул Плужников, взводя автомат.

Он чувствовал, что еще мгновение — и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые, дрожащие руки.

— Форвертс!

Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошел к лазу.

— Карточки свои забыл! — всполошилась тетьа Христя.— Обожди.

Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Немец стоял, покачиваясь, тупо глядя перед собой.

— Комм! — Плужников толкнул пленного дулом автомата.

Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущимися руками все обирая и обирая полы мягкого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади.

А Плужникову предстояло убить его. Вывести наверх и в упор шарахнуть из автомата в эту вдруг вспотевшую сутулую спину. Спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же этот немец не хотел воевать, конечно же не своей охотой забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно нет. Плужников все это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед:

— Шнелль! Шнелль!

Не оборачиваясь, он знал, что Мирра идет следом, припадая на больную ногу. Идет, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернется сюда, и здесь, в темноте, они встретятся. Хорошо, что в темноте: он не увидит ее глаз. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так муторно на душе.

— Ну, лезь же ты!

Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он скатывался назад, на Плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло: даже Плужников, притерпевшийся к вони, с трудом выносил этот запах — запах смерти в еще живом существе.

— Лезь!..

Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом автомата, немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер.

Мирра стояла в подземелье, смотрела на уже невидимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было.

В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почувствовал, что она стоит рядом.

— Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека.

Прохладные руки нащупали его голову, притянули к себе. Щекой он ощутил ее щеку: она была мокрой от слез.

— За что нам это? За что, ну, за что? Что мы сделали плохого? Мы же сделать ничего еще не успели, ничего!

Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников немело погладил ее худенькие плечи.

— Ну, что ты, сестренка? Зачем?

— Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика.— Она вдруг крепко обняла его, несколько раз торопливо поцеловала.— Спасибо тебе, спасибо, спасибо. А им не говори: пусть это будет наша тайна. Ну, как будто ты для меня это сделал, ладно?

Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не застрелил этого немца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что.

— Они не спросят.

Они и вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам: тетя Христя вдвоем с девушкой, старшина — на досках, а Плужников — на скамье.

И эту ночь тетя Христя не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топочут в темноте крысы, как вздыхает Мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христя давно уж не вытирала их, потому что левая рука ее очень болела и плохо слушалась, а на правой спала девушка. Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым.

Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце, и тетя Христя думала сейчас, что скоро умрет, умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того чтобы увидеть это солнце, ей следовало уходить, пока есть еще силы, пока она одна, без чужой помощи сможет выбраться наверх. И она решила, что завтра непременно попробует, есть ли у нее еще силы и не пора ли ей, пока не поздно, уходить.

С этой мыслью она и забылась, уже в полусне поцеловав черную девичью голову, что столько ночей пролежала на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лаз в подземный коридор.

Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умывался — благо воды теперь хватало,— и Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил: Плужников сердился, а девушка смеялась.

— Куда вы, тетя Христя?

— А к дыре, к дыре,— торопливо пояснила она.— Подышать хочу.

— Может, проводить вас? — спросила Миррочка.

— Что ты, не надо. Мой своего лейтенанта.

— Да она балуется! — сердито сказал Плужников.

И они опять засмеялись, а тетя Христя, опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христю.

«Может, не сегодня уйду. Может, еще денечек погожу, может, еще поживу маленько».

Тетя Христя была уже возле самой дыры, но шум наверху услышала первой не она, а Плужников. Он услышал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, толкнул девушку в лаз:

— Скорее!

Мирра нырнула в каземат, не спрашивая и не медля: она уже привыкла слушаться. А Плужников, напряженно ловя этот посторонний шум, успел только крикнуть:

— Тетя Христя, назад!

Гулко ухнуло в дыре, и тугая волна горячего воздуха ударила Плужникова в грудь. Он задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разинутым ртом, успел нащупать дыру и нырнуть туда. Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг осветив кирпичные своды, убегающих крыс, присыпанные пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христи. А в следующее мгновение раздался страшный, нечеловеческий крик, и объятая пламенем тетя Христя бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, а тетя Христя еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, уже сгорев в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно растаяв, и стало тихо, только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как кровь.

Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым все равно пахло. Горелым человеческим мясом.

Откричавшись, Мирра примолкла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь; тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сейчас она отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между нею и мужчинами было передаточное звено: тетя Христя. Тетя Христя согревала ее ночами, тетя Христя кормила ее за столом, тетя Христя ворчливо учила ее ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее, и Мирра спала спокойно. Тетя Христя помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя

Христя грубовато прогоняла мужчин, когда это было необходимо, и за ее широкой и доброй спиной Мирра жила без стеснения.

Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была одна и впервые ощутила тот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от сознания этой физической беспомощности всей тяжестью обрушился на ее худенькие плечи.

— Значит, засекли они нас, — вздохнул Степан Матвеевич. — Как ни береглись, как ни хоронились.

— Я виноват! — Плужников вскочил, заметался по каземату. — Я, один я! Я вчера...

Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плужникова существовала и она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик «Коля!..», который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тети Христи. Для него уже существовала их общая тайна, ее шепот, дыхание которого он почувствовал на своей щеке. И поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром привел огнеметчиков. Это признание уже ничего не могло исправить.

— А в чем ты виноват, лейтенант?

До сих пор Степан Матвеевич редко обращался к Плужникову с той простотой, которая диктовалась и разницей в возрасте, и их положением. Он всегда подчеркнул признавал его командиром и разговаривал так, как этого требовал устав. Но сегодня уже не было устава, а было двое молодых людей и усталый взрослый человек с заживо гниющей ногой.

— В чем же ты виноват?

— Я пришел, и начались несчастья. И тетя Христя, и Волков, и даже этот... сволочь эта. Все — из-за меня. Жили же вы до меня спокойно.

— Спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спокойствии нашем развелось. Не с того ты конца виноватых ищешь, лейтенант. А я вот, например, тебе благодарен. Если б не ты — немца бы ни одного так бы и не убил. А так вроде убил. Убил, а? Там, у Холмских ворот?

У Холмских ворот старшина никого не убил: единственная очередь, которую успел он выпустить, была слишком длинной, и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось в это верить, и Плужников подтвердил:

— Двоих, по-моему.

— За двоих не скажу, а один точно упал. Точно. Вот за

него тебе и спасибо, лейтенант. Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут...

В этот день они не выходили из своего каземата. Не то что они боялись немцев — немцы вряд ли рискнули бы лезть в подземелья, — просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила огнеметная струя.

— Завтра пойдем, — сказал старшина. — Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздать бы тебе к дыре той... Значит, через Тереспольские ворота они в крепость входят?

— Через Тереспольские. А что?

— Так. Для сведения.

Старшина помолчал, искоса поглядывая на Мирру. Потом подошел, взял за руку, потянул к скамье:

— Сядь-ка.

Мирра послушно села. Она весь день думала о тете Христе и о своей беспомощности и устала от этих дум.

— Ты возле меня спать будешь.

Мирра резко выпрямилась.

— Зачем еще?

— Да ты не пугайся, дочка. — Степан Матвеевич невесело усмехнулся. — Старый я. Старый да больной и все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крыс отгонять, как Яновна отгоняла.

Мирра низко опустила голову, повернулась, ткнулась лбом. Старшина обнял ее, сказал, понизив голос:

— Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет. Скоро ты одна с ним останешься. Не спорь, знаю, что говорю.

В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина говорил и говорил, Мирра долго плакала, а потом, обессилев, уснула. И Степан Матвеевич к утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи.

Забылся он ненадолго: передремал, обманул усталость, и уже на ясную голову еще раз спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. Все уже было решено, решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто уточнял детали. А потом осторожно, чтобы не разбудить Мирру, встал и, достав гранаты, начал вязать связки.

— Что взрывать собираетесь? — спросил Плужников, застав его за этим занятием.

— Найду. — Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос: — Ты не обижай ее, Николай.

Плужникова знобило. Он кутался в шинель и зевал.

— Не понимаю.

— Не обижай,— строго повторил старшина.— Она маленькая еще. И больная, это тоже понимать надо. И одну не оставляй: если уходить надумаешь, так о ней сперва вспомни. Вместе из крепости выбирайтесь: пропадет девчонка одна.

— А вы... Вы что?

— Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. Помирать, так с музыкой.

— Степан Матвеевич...

— Все, товарищ лейтенант, отвоевался старшина. И приказания твои теперь недействительны: теперь мои приказания главней. И вот тебе мой последний приказ: девочку сбереги и сам уцелей. Выживи. Назло им — выживи. За всех нас.

Он поднялся, сунул за пазуху связку и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его: главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазе.

— Так, говоришь, через Тереспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. Живите!

И вылез. Из раскрытого лаза несло горелым смрадом.

— Утро доброе.

Мирра сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза.

— Чем это пахнет так...

Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужников вдруг схватил автомат.

— Я наверх. К дыре не подходи!

— Коля!

Это был совсем другой выкрик: растерянный, беспомощный. Плужников остановился:

— Старшина ушел. Взял гранаты и ушел. Я догоню.

— Догоним.— Она торопливо копошилась в углу.— Только — вместе.

— Да куда тебе...— Плужников запнулся.

— Я знаю, что я хромая,— тихо сказала Мирра.— Но это от рождения, что же делать. И я боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна, я лучше сама вылезу.

— Идем.

Он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком густом смраде нечем было дышать. Крысы возились у груды обгорелых костей, и это было все, что осталось от тети Христи.

— Не смотри,— сказал Плужников.— Вернемся, зарю.

Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом ог-

немета. Плужников вылез первым, огляделся, помог выбраться Мирре. Она лезла с трудом, неумело, срываясь на скользких, оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий случай придержал:

— Подожди.

Еще раз осмотрелся: солнце еще не появлялось, и вероятность встречи с немцами была невелика, но Плужников не хотел рисковать.

— Вылезай.

Она замешкалась. Плужников оглянулся, чтобы поторопить ее, увидел вдруг худенькое, очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и напряженно. И молчал: он впервые видел ее при свете дня.

— Вот ты какая, оказывается.

Мирра потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, заботливо обтянув платьем колени. Она поглядывала на него, потому что тоже впервые видела его не в чадном пламени коптилок, но поглядывала украдкой, искоса, каждый раз, как заслонки, приподнимая длинные ресницы.

Вероятно, в мирные дни среди других девушек он бы просто не заметил ее. Она вообще была незаметной — заметными были только большие печальные глаза да ресницы, — но здесь сейчас не было никого прекраснее ее.

— Так вот ты какая, оказывается.

— Ну, такая, — сердито сказал она. — Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я опять залезу в дырку.

— Ладно. — Он улыбнулся. — Я не буду, только ты слушайся.

Плужников пробрался к обломку стены, выглянул: ни старшины, ни немцев не было на пустом развороченном дворе.

— Иди сюда.

Мирра, оступаясь на кирпичах, подошла. Он обнял ее за плечи, пригнул голову.

— Спрячься. Видишь ворота с башней? Это Тереспольские.

— Я знаю.

— Что-то он про них меня спрашивал...

Мирра ничего не сказала. Оглядываясь, она узнавала и не узнавала знакомой крепости. Здание комендатуры лежало в развалинах, мрачно темнела разбитая коробка костела, а от каштанов, что росли вокруг, остались одни стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете.

— Как страшно, — вздохнула она. — Там, под землей, все-таки кажется, что наверху еще кто-то есть. Кто-то живой.

— Наверняка есть, — сказал он. — Не мы одни такие ве-

зучие. Где-то есть, иначе стрельбы не было бы, а она случается. Где-то есть, и я найду где.

— Найди,— тихо попросила она.— Пожалуйста, найди.

— Немцы,— сказал он.— Спокойно. Только не высовывайся.

Из Тереспольских ворот вышел патруль: трое немцев появились из темного провала ворот, постояли, неторопливо пошли вдоль казарм к Холмским воротам. Откуда-то изда-лека донеслась отрывистая песня: словно ее не пели, а выкрикивали доброй полусотней глоток. Песня делалась все громче, Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней входит сейчас под арку Тереспольских ворот.

— А где же Степан Матвеевич? — обеспокоенно спросила Мирра.

Плужников не ответил. Голова немецкой колонны показалась в воротах: они шли по трое, громко выкрикивая песню. И в этот момент темная фигура сорвалась сверху, с разбитой башни. Мелькнула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев, и мощный взрыв двух связок гранат рванул утреннюю тишину.

— Вот Степан Матвеевич! — крикнул Плужников.— Вот он, Мирра! Вот он!..

Часть четвертая

1

Весь день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали, они всячески избегали друг друга, насколько это было возможно в подземелье. Если один оказывался у стола, второй отходил в угол, а если и садился за стол, то — подальше, на противоположный конец. Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их случайно встретятся в темноте.

После гибели старшины Мирра ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и плакала, а встревоженные взрывом немцы вновь прочесывали развалины, забрасывая подвалы гранатами и прожигая огнеметными залпами. Их много сбежалось во двор, они расползлись по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них, а она кричала и билась на обломках кирпичей, и Плужников никак не мог ее успокоить. Ему уже казалось, что он слышит крики немцев, топот их сапог, лязг их оружия, и тогда он схватил Мирру в охапку и потащил к дыре.

— Пусти.— Она вдруг перестала биться.— Сейчас же пусти. Слышишь?

— Нет.

Она оказалась очень легкой, но сердце его неистово забилось от этой гибкой и теплой ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание и, боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. А она в упор смотрела на него, и в ее глубоких темных глазах был молчаливый и непонятный для него страх.

— Пусти,— еще раз очень тихо попросила она.— Пожалуйста.

Плужников отпустил ее только возле дыры. Оглянулся в последний раз, действительно услышал отчетливый шорох шагов, шепнул:

— Лезь.

Мирра замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее протезе, понял, что она не сможет спрыгнуть на пол там, под землей, и остановил:

— Я первым.

— Нет! — испугалась она.— Нет, нет!

— Не бойся, успеем!

Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал:

— Иди! Скорее!

Мирра сорвалась на скользких кирпичках, но Плужников подхватил ее, на секунду прижал к себе. Она покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо, а потом вдруг рванулась, оттолкнула его и быстро пошла по коридору, волоча ногу. А он остался в темноте у дыры, но слушал не шумы наверху, а гулкий стук собственного сердца. А когда вернулся в каземат, уже не решался заговорить. Хотел этих разговоров, удивлялся сам себе и — не заговаривал. И прятал глаза. И все время чувствовал, что она — здесь, рядом и что, кроме их двоих, нет никого во всем мире.

Противоречивые чувства странно переплетались сейчас в нем. Горечь от гибели тети Христи и Степана Матвеевича и тихая радость, что рядом — хрупкая и беззащитная девушка; ненависть к немцам и странное, незнакомое ощущение девичьего тепла; упрямое желание уничтожить врага и тревожное сознание своей ответственности за чужую жизнь — все это жило в его душе в полной гармонии, как единое целое. Он никогда еще не ощущал себя таким сильным и таким смелым, и лишь одного он не мог сейчас: не мог протянуть руку и коснуться девушки. Очень хотел этого и — не мог.

— Ешь,— тихо сказала она.

Наверное, наверху уже зашло солнце. Они промолчали

и проголодали весь этот день. Наконец Мирра сама достала еду и сказала первое слово. Но ели они все-таки на разных концах стола.

— Ты ложись. Я не буду спать.

— Я тоже не буду,— поспешно сказала она.

— Почему?

— Так.

— Крыс боишься? Не бойся, я их буду отгонять.

— Ты каждую ночь решил не спать? — Мирра вздохнула.— Не беспокойся, я уже привыкла.

— Завтра я разведу дорогу и отведу тебя в город.

— А сам?

— А сам вернусь. Здесь — оружие, патроны. Есть чем воевать.

— Воевать... — Она опять вздохнула.— Один против всех? Ну, и что ты можешь сделать один?

— Победить.

Плужников сказал это вдруг, не раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так. И повторил упрямо:

— Победить. Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя. А фашисты — не люди, значит, я должен победить.

— Запутался! — Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех: таким неуместным показался он в этом темном, мрачном и чадном каземате.

— А ведь это правда, что человека нельзя победить,— медленно повторил Плужников.— Разве они победили Степана Матвеевича? Или Володьку Денищика? Или того фельдшера в подвале: помнишь, я рассказывал тебе? Нет, они их только убили. Они их только убили, понимаешь? Всего-навсего убили.

— Этого достаточно.

— Нет, я не о том. Вот Прижнюка они действительно убили, навсегда убили, хоть он и живой. А человека победить невозможно, даже убив. Человек выше смерти. Выше.

Плужников замолчал, и Мирра тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а — для себя, и гордясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому что единственным выходом, который он себе оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом, он приговаривал себя к ней искренне и взволнованно, и, подчиняясь непонятному ей самой приказу, Мирра встала, подошла к нему и обняла за плечи. Она хотела быть рядом в эту минуту, хотела разделить его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала, что быть вместе — это просто прикоснуться к нему.

Но Плужников вдруг отстранил ее, встал и отошел на другой конец стола. И сказал чужим голосом:

— Завтра разведу дорогу, а послезавтра ты уйдешь.

Но Мирра и слышала и не слышала эти слова. Все в ней разом оборвалось, потому что его поведение вновь напомнило ей, что она — калека и что он не забывает и не может этого забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на нее, она опустила на скамью и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки.

— Ты что это? — удивленно спросил Плужников. — Почему ты плачешь?

— Оставь меня, — громко всхлипнув, сказала она. — Оставь и иди куда хочешь. Только не надо меня жалеть. Не надо, не надо!

Он неуверенно подошел к ней, постоял, неумело погладил по голове. Как маленькую.

— Не трогай меня! — Мирра резко встала, сбросив его руку. — Я не виновата, что оказалась здесь, не виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня хромая нога. Я ни в чем не виновата, и не смей меня жалеть!

Оттолкнув его, она прошла в свой угол и ничком упала на постель. Плужников постоял, послушал, как она всхлипывает и вздыхает, а потом взял бушлат старшины и накрыл ее плечи. Она резко повела ими и сбросила бушлат, и он снова накрыл ее, а она снова сбросила, и он снова накрыл. И Мирра больше уже не сбрасывала бушлата, а, жалобно всхлипнув, съежилась под ним и затихла. Плужников улыбнулся, отошел к столу и сел. Послушал, как тихо дышит пригревшаяся Мирра, достал из полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать ее, соображая, как провести завтрашнюю разведку. И не заметил, как уронил голову на стол.

— Ты прости меня, — сказала утром Мирра.

— За что?

— Ну, за все. Что ревела и говорила глупости. Больше не буду.

— Будешь, — улыбнулся он. — Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая.

Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отозвалась в ней, захлестнула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть ему, чтобы прикоснуться и приласкаться, потому что сердце ее уже изнемогало без этой простой, мимолетной, ни к чему не обязывающей ласки. Но она опять сдержала себя и отвернулась, и он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушел, и она опять ти-

хо заплакала, жалея его и себя и мучаясь от этой жалости.

То ли немцев напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились сегодня куда больше обычного. Возле Тереспольских ворот велись работы по расчистке территории, повсюду ходили усиленные патрули, а пленных, к которым Плужников уже привык, не было ни видно, ни слышно. У трехарочных тоже что-то делали, оттуда долетал шум моторов, и Плужников решил пробраться в северо-западную часть цитадели: посмотреть, нельзя ли там переправиться через Мухавец и уйти за внешние обводы.

Он не имел права рисковать и поэтому шел осторожно, избегая открытых мест. Кое-где даже полз, несмотря на то что патрулей видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в перестрелку и беготню, он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно было бы проскользнуть. Проскользнуть, вырваться из крепости, добраться до первых людей и оставить у них девушку.

Плужников ясно понимал, что старшина был прав, завещав ему сделать это во что бы то ни стало. Понимал, делал для этого все от него зависящее, но втайне боялся даже думать о том времени, когда останется один. Совсем один в развороченной крепости. Конечно, он мог бы уйти вместе с Миррой, раздобыть гражданскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, где почти наверняка остались отбившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной Армии. И это не было бы ни дезертирством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких списках, он был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где были боеприпасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не знал.

Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти за излучину Мухавца. Там немцы, тракторы которых грохотали у трехарочных ворот, не могли его видеть, и он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь многочисленные проломы и дыры.

— Стой!

Плужников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что скомандовали-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь его уперся автомат:

— Бросай оружие.

— Ребята...— От волнения Плужников вскрикнул.— Ребята, свои, милые...

— Мы-то милые, а ты какой?

— Свой я, ребята, свой! Лейтенант Плужников...

Остановили его на переходе в тяжелом подвальном сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел, кроме неясной фигуры впереди. И еще кто-то стоял сзади, в нише, но того он вообще не видел, а только чувствовал, что там кто-то стоит.

— Лейтенант, говоришь? А ну, шагай к свету, лейтенант.

— Шагаю, шагаю! — радостно сказал Плужников.— Сколько вас тут, ребята?

— Сейчас посчитаем.

Их было двое: заросших по самые брови, в рваных, грязных ватниках. Представились:

— Сержант Небогатов.

— Ефрейтор Климков.

— Какие планы, лейтенант? — спросил Небогатов после короткого знакомства.— Наши планы — рвать в Беловежскую пушу. Давно бы туда ушли, да патронов нет: я тебя на голом нахальстве останавливал.

— Ну, для страховочки я за спиной стоял,— хмуро усмехнулся Климков.— А у меня — ножичек гитлеровский.

На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах.

— Вместе рвать будем.— От радости, что встретил своих, Плужников сразу забыл о своем решении сражаться в крепости до конца.— Патроны есть, ребята, чего-чего, а патронов хватает. И еда имеется, консервы...

— Консервы? — недоверчиво переспросил ефрейтор.— Шикарно живешь, лейтенант.

— Веди сперва к консервам,— усмехнулся сержант Небогатов.— Уж и не помню, когда ели-то в последний раз. Так, грызем чего-то, как крысы.

Плужников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, мало приметную для непосвященных, рассказал об огнемётной атаке и гибели тети Христи. А про немца, что навел на них огнемётчиков, рассказывать не стал: объяснять этим ожесточенным, черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было бессмысленно.

— Мирра! — еще в подземелье закричал Плужников.— Мирра, это мы, не бойся!

— Какая еще Мирра? — насторожился сержант.

Он первым пролез в каземат, и не успели еще Плужников

с ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал:

— Миррочка, ты ли это? Глазам не верю!

— Небогатов?..— ахнула Мирра.— Толя Небогатов? Живой?

— Дохлый, Мирра! — смеялся сержант.— Копченый, сушеный и вяленый!

Светясь от радости, Мирра тащила на стол все, что припрятывала. Плужников хотел было запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлен, шутил с Миррой, а ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку настороженно и, как показалось Плужникову, недружелюбно.

— Житье тебе тут, лейтенант, прямо как беловежскому зубру.

Плужников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра отошла от стола, спросил угрюмо:

— Она что, тоже с нами пойдет?

— Конечно! — с вызовом сказал Плужников.— Она хорошая девчонка, смелая. Только крыс боится!

Но Климов не намерен был сводить разговор к шутке. Переглянувшись с Небогатовым, и, по тому, как сержант опустил глаза, Плужников понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями.

— Хромая она.

— Ну и что? Не настолько уж она...

Плужников запнулся. Отрицать хромоту Мирры было бессмысленно, но даже если бы она была абсолютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой: это Плужников сообразил сразу.

— Я и сам собирался довести ее до первых домов...

— До первой пули! — жестко перебил Климов.— Где дома, там и немцы. Нам обходить дома нужно, да подальше, а не переть к ним в военной форме.

— Станный разговор! Не оставлять же ее, правда?

— Пусть сама выбирается. Только после нас, а то на первом же допросе продаст ни за понюшку. Чего молчишь, сержант?

— Брать с собой нельзя,— нехотя сказал Небогатов.

— А бросать можно? Я тебя спрашиваю, сержант: бросать можно?

В гулком пустом подвале далеко разносились звуки, и Мирра слышала каждое слово. Тем более что теперь они уже не сдерживались, забыли о ней, словно решали сейчас не ее судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для

Мирры самым важным была сейчас не ее судьба, хотя сердце ее замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее тут. И, несмотря на весь этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на все их аргументы. Съежившись в самом дальнем и темном углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мирра слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее собственной судьбы.

— Ну, ты сам посуди, лейтенант, куда нам такая обуза? — приглушенно говорил Небогатов. — За внешним обводом — поле, там по-пластунски километра два ползти придется. Сможет она ползти?

— С хромой-то ногой! — вставил ефрейтор.

— О чем вы говорите! — громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев. — О себе вы все время говорите, только о себе! О своей шкуре! А о ней? О ней подумать вы способны?

— Тут думай не думай...

— Нет, будем думать! Обязаны думать!

— Не подойдешь ты к домам, — со вздохом сказал сержант. — Ну, никак не подойдешь, понимаешь? Совались мы, пробовали: везде патрули, везде охрана. Что ночью, что днем. До сих пор оцепление вокруг крепости держат, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты говоришь: думать.

— Мы — Красная Армия, — тихо сказал Плужников. — Мы — Красная Армия, это вы понимаете?

— Красная Армия?.. — Ефрейтор громко, зло рассмеялся. — Ты еще комсомол вспомни, лейтенант!

— А я его не забывал! — крикнул Плужников. — Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью!

— Нету больше Красной Армии! — заорал Климов, и непрочное пламя коптилок забило, заметалось над столом. — Нету Красной Армии, нету никакого комсомола! Нету!

— Молчать!

Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся:

— Командуешь?

— Не командую, а приказываю, — сдерживаясь, негромко сказал Плужников. — Как старший по званию. Приказываю провести разведку, найти возможность пробраться в город и доставить туда девушку. А потом будем думать о собственной шкуре.

— Такой, значит, разговор? — продолжая улыбаться, спросил Небогатов. — А если не подчинимся? Доложишь по команде? Рапорт напишешь?

— Подожди, Толя,— перебил Климков.— Глупо ссориться: нужны ведь друг другу.

— А мы не ссоримся...

— Ближайшая задача: переправить Мирру в город. Все остальное — потом.

— Не пойму, кто ты: дурак или контуженый?

— Тихо, Толя! — Ефрейтор перегнулся через стол.— На кой хрен тебе эта калека, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял: жалко товар. А эту колченогую...

Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников коротко, не замахаясь, ударил в него кулаком. Ефрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил автомат, рывком взвел затвор:

— Руки на стол!

Ефрейтор медленно отпустил рукоять, сел, положил перед собой большие жилистые руки. Плужников знал, что диски автоматов пусты, но их было двое, а он — один.

— Сволочь,— тяжело дыша, сказал Климков.— Дерьмо ты, лейтенант. Окопался тут с бабой... Войну переживаешь?

— Выходи по одному через лаз,— резко скомандовал Плужников.— Предупреждаю, что не шучу: автомат у меня заряжен.

Он повел стволом в сторону заваленного выхода, коротко нажал на спуск. Сухие выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали.

— Мы не можем уйти без оружия,— тихо сказал Небогатов.

— Берите свои автоматы.

Они молча подняли пустые ППШ. Климков первым подошел к лазу, потоптался, хотел что-то сказать, но не сказал и вылез из каземата.

— Выход наверх — направо, в самом конце,— сказал Плужников сержанту.

Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил.

— Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры.

— Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из крепости.

Плужников молчал.

— Будь человеком, лейтенант,— умоляюще сказал Небогатов.— Мы же сдохнем здесь без патронов.

Плужников прошел в темноту, ногой придвинул к сержанту непечатую цинку. Металл нестерпимо резко проскрипел по кирпичному полу.

— Спасибо.— Небогатов поднял ящик.— Мы уйдем этой ночью, слово даю. А только ты все равно дурак, лейтенант.

И нырнул в лаз.

Плужников машинально поставил автомат на предохранитель, сунул его на обычное место — он всегда оставлял его возле лаза, вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. Он не думал, что Климов и Небогатов, зарядив в подземелье оружие, ворвутся в каземат, но на душе его было тяжело. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи сменилась тупым отчаянием, и переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг словно обессилел. Словно эти двое украли, вырвали из него и унесли с собой часть его веры, и эта потеря была ощутима до ноющей физической боли. Гнев его прошел, осталась смутная, гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце.

Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову: рядом стояла Мирра.

— Ушли, — вздохнул он. — Я патронов им дал. Хотят этой ночью из крепости вырваться.

— Я не могу встать на колени, — дрожащим, словно натянутым голосом вдруг сказала она. — Я не могу встать на колени, потому что у меня протез. Но я встану, когда сниму его. Я встану на колени, я...

Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их, а она схватила эту руку и начала испуленно целовать ее. Он испуганно рванулся, но она не отпустила, а крепко, двумя руками прижала к груди. Как тогда, в подземелье, только тогда эта его рука держала взведенный пистолет.

— Я боялась, я так боялась.

— Что я пойду с ними?

— Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты — не такой.

— Какой — не такой?

— Не тот, кого я люблю. Молчи, пожалуйста, молчи! Я помню, какая я, не думай, что я могу забыть это. Меня всю жизнь жалели: и дети и взрослые — все жалели! Но когда жалеют, отдают половинку, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты прогнал этих, ты не бросил меня, не оставил тут, не отправил к немцам, как они тебе предлагали! Я же слышала все, каждое слово слышала!

Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как в ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливость, и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему

об этом, излить всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь.

— Я же никогда, никогда в жизни и помечтать-то не смела, что могу полюбить! Мне же с детства, с самого детства все-все только одно и твердили, что я — калека, что я несчастная, что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом говорила, потому что жалела меня и хотела, чтобы я привыкла к тому, что я — такая, привыкла и не страдала бы больше. И я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят, а я что могла построить, о чем помечтать? Я, может быть, глупости сейчас говорю и даже наверное глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, я боюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я — дура набитая, что нашла время влюбиться. А разве мы виноваты, что время такое, разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь, боюсь в тишине остаться, боюсь того, что ты скажешь сейчас...

Плужников обнял ее, нежно и бережно поцеловал в дрожащие распухшие губы. И почувствовал кровь.

— Это я губы грызла, чтобы не закричать. Когда они уговаривали тебя.

— Больно?

— Меня никто никогда не целовал. А наверху — война. А я такая счастливая, такая счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется.— Мирра прильнула к нему, говорила еле слышно, почти беззвучно.— Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись, а я рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам осталась...

2

Теперь они говорили и говорили и никак не могли наговориться. Лежали рядом, укрывшись шинелью и бушлатами, согреваясь общим теплом, и сердца их бились одинаково бурно или одинаково устало.

— А твоя сестра похожа на тебя?

— Наверно, нет. Она похожа на маму, а я — на отца.

— Значит, у тебя был красивый папа. А это очень важно.

— Почему?

— Счастливый внук всегда бывает похожим на деда.

— А счастливая внучка?

— Тоже. Скажи... Только — честно, слышишь? Обязательно честно.

— Честное-честное-пречестное?

— Честное-пречестное.

Она помолчала, повозилась, поплотнее укрывая его.

— Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня?

По тому, как робко, приглушенно прозвучали эти слова, он понял, как важен для нее ответ. И еще крепче обнял ее.

— Моя мама будет очень любить тебя. Очень.

— Ты обещал говорить честно.

— Я говорю честно. Они будут очень любить тебя. И мама и Верочка.

— Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать.

— В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу. Самому лучшему. Может быть...

— Нет. Ничего не может быть. Может быть только протез.

— Сделаем протез. Самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя больная нога.

— Какой ты худенький.— Она нежно провела рукой по его заросшей щеке.— Знаешь, мы не сразу поедem в Москву. Мы сначала поживем в Бресте, и моя мама немножечко тебя растолстит. А я буду кормить тебя морковкой.

— Я похож на кролика?

— Морковка очень полезна. Очень, потому что мама говорила, что в ней есть железо. И когда ты растолстеешь, мы поедem в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль. И Мавзолей.

— И метро.

— И метро. И еще мы обязательно поедem в театр. Я никогда не была в настоящем театре. К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он съехал со своего места. Понимаешь?

— Ну конечно. Мы все посмотрим в Москве. Все-все. А потом уедem.

— В Брест?

— Куда пошлют. Ты забыла, что твой муж — кадровый командир Красной Армии?

— Муж...— Она тихо, радостно засмеялась.— Как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, муж мой. Крепко-крепко.

И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а было двое. Двое на Земле: Мужчина и Женщина.

— Ты когда-нибудь видела аистов?

— Аистов? Каких аистов?

— Говорят, они белые-белые.

— Не знаю. В городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг спросил о них?

— Так. Вспомнил.

— Тебе не холодно?

— Нет. А тебе?

— Нет, нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту, последнюю ночь сказал мне, что ты застыл.

— Как застыл?

— Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь, и только женщина может тогда отогреть. А я не знала, что я — женщина и тоже могу кого-то отогреть... Я отогрела тебя? Хоть немножечко?

— Я боюсь растаять.

— Ну, ты смеешься.

— Нет, я говорю правду: я боюсь растаять возле тебя. А поверху ходят немцы, по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют: начали расчищать площадку возле Тереспольских ворот. И сейчас мы встанем, и я пойду наверх.

— Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя.

— Нет, Миррочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей крепости.

— Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернешься ты или...

— Я вернусь. Я просто ухожу на работу. Ведь уходят же мужья на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа.

Еще не успев подняться наверх, Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля: трактора стакивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плужников поначалу решил не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он все-таки двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одинокий патруль, а на большее он и не мог сейчас рассчитывать.

Прошлый раз он ходил левее: его тогда интересовал берег за поворотом Мухавца. Но сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с Миррой, — сейчас сама мысль эта была для него ужасна, — и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог подобраться к трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог напомнить им, кто хозяин этой крепости.

Теперь он шел осторожно: куда осторожнее, чем тогда,

когда уперся грудью в автомат Небогатова. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить поверху, могли услышать его шаги или увидеть его самого сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места, а в темных нишах подолгу останавливался, настороженно вслушиваясь.

Он услышал близкие шаркающие шаги именно в одной из таких глухих беспросветных ниш. Кто-то шел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь приглушить шум. Плужников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрягся, ожидая того, кто так беззаботно топал по подвалам, достаточно светлым от бесчисленных дыр и проломов. Вскоре совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и озабоченно:

— Озяб я. Озяб.

Плужников готов был шагнуть из ниши, потому что сказано это было так по-русски, что никаких сомнений уже не могло оставаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг запел. Запел жалобным детским голосом бессмысленно и тупо:

Васька-савраска,
Шурка-каурка,
Ванька-буланка,
Сенька-гнедой...

Плужников замер. Что-то страшное и беспросветно безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же:

Васька-савраска,
Шурка-каурка,
Ванька-буланка,
Сенька-гнедой...

Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал в луч света совсем рядом с Плужниковым, выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его, узнал сразу, несмотря на длинные, свалявшиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал и шагнул навстречу:

— Волков? Вася Волков?

Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, тупо глядя безумными отсутствующими глазами.

— Волков, да очнись же! Это я, Плужников! Лейтенант Плужников!

Шурка-каурка...

— Вася, это же я, я!

Васька-савраска...

— Да очнись же ты, Волков, очнись! — Плужников схватил его за грудь, встряхнул. — Это я, я, лейтенант Плужников, твой командир!

Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только промелькнуло в голове Плужникова; спросил он о другом:

— Ты почему ушел тогда, Волков?

Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий необъяснимый ужас, который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плужникове.

— Вася, успокойся. Вася...

Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задохнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что хранил еще его воспаленный разум:

Васька-савраска,
Шурка-каурка...

Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над его головой.

Шурка-каурка...

— Хальт! Цурюк!

Ванька-буланка...

Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск.

Он не разобрал, попал ли в кого — хотелось думать, что попал! — смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко исполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в разва-

линах. Отдышался в глубокой дальней воронке, ужом переполз открытый участок и нырнул в свою дыру.

Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он долго — дольше обычного — стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова, понимал, что Волков испугался его — не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова, — но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике.

Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя дорогу. Нашупал лаз, беззвучно нырнул в него и — замер: впереди, в тускло освещенном каземате, тихонько звучал тонкий девичий голос:

Очаровательные глазки,
Очаровали вы меня.
В вас столько жизни, столько ласки,
В вас столько неги и огня...

Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением, которое так трагически оборвалось, и этим — задумчивым, нежным, девичьим — был слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с трудом сдержался, чтобы не застонать.

Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь под облака,
Я дам тебе все, все земное —
Лишь только ты люби меня...

Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война все выворачивала наизнанку: даже их первую любовь.

Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А потом понял, что хотел заплакать, и — улыбнулся. Слез не было.

Все-таки он звякнул автоматом, и она сразу замолчала. Он шагнул к столу, и Мирра нежно потянулась к нему, потянулась вся — доверчиво, тепло и наивно.

— Сейчас я тебя покормлю.— Она прошла в темноту, к стеллажам.— Знаешь, эти противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко.

— Откуда ты знаешь эту песню?

— Меня научил дядя Рувим: его к Первому мая премировали патефоном с пластинками. Он — замечательный скрипач...— Она засмеялась: — Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима.

— Знаю?

— Конечно, знаешь.— Мирра притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила.— Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда, представляешь, какой ужас? Боже мой, от чего иногда зависит счастье... Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда...

— Если бы я тогда не захотел есть,— усмехнулся он.

— Или если бы вдруг сел на другой поезд.

— А я и сел на другой поезд,— сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату.— А знаешь, почему я сел на другой поезд?

— Почему? — Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись слушать.

— Я был влюблен. Целых тридцать шесть часов.

И он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула.

— Должно быть, эта Валя — очень хорошая девушка.

— Почему ты так решила?

— Потому что она была в тебя влюблена,— сказала Мирра, полагая, что этой характеристики вполне достаточно.— А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет мака — это еще не голод. Голод, когда нет хлеба.

— Хлеба? — Плужников достал вычерченную старшиной схему.— Ты не помнишь, где была пекарня?

— Пекарня — за Мухавцом. А вот здесь был продклад и столовая.— Мирра показала на кольцевые казармы, что шли по берегу Мухавца.— Я ходила туда с тетей Христей.

— Вот где он брал еду...— задумчиво сказал Плужников.

— Кто?

Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому:

— Я о сержанте вспомнил. О Небогатове.

И Мирра не стала спрашивать.

Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при

жизни тети Христи Плужников нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой, и женщины целый день радовались тогда этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти: расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрадовала его.

Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками: уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укрепрайонах, патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выжигая огнеметами и забрасывая гранатами особо подозрительные и темные казематы. Как-то Плужников издалека видел, как из развалин, лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, немцы вывели троих без оружия — заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости.

— Никакого хлеба, — категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочесывать развалины. — Обойдемся.

— Придется обойтись, — сказал Плужников. — Но поглядеть я все-таки вылезу: интересно, что это они так заматались.

— Обещай, что будешь осторожен.

— Обещаю.

— Нет, ты поклянись! — сердито сказала она. — Скажи: чтоб я так жива была.

— Ну, клянусь.

— Нет, ты скажи!

— Чтоб ты так жива была, — послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался наверх.

В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды их маршировали по дорогам, повсюду виднелись патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры, хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затевает противник.

Полз он долго и осторожно, терпеливо отлеживаясь в воронках. Полз, как не ползал уже давно, скользил по земле, обдирая локти и колени, царапая щеки о кирпичные обломки. Где-то совсем рядом бродили немцы, он слышал их голоса,

стук их сапог и лязг оружия. Он только чуть приподнимал голову, чтобы оглядеться и не потерять направления, и, даже добравшись до костела, не вбежал в него, а вполз и замер, забившись в ближайшую нишу.

Тяжелый смрад от неубранных трупов слоился в костеле. Зажав нос и с трудом удерживая судорожные спазмы, Плужников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку — они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету, — и он разглядел разбитый станковый пулемет у входа и семь трупов вокруг: почти все они были с зелеными петличками пограничников на гимнастерках. Видно, держались ребята до последнего патрона, потому что вокруг них не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулемет стоял на том же самом месте, где когда-то стоял его пулемет, только пролом стал еще более широким.

Все это Плужников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мучило от тяжелого вязкого запаха, спазмы сжимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Он добрался до разрушенной, заваленной обломками лестницы и полез наверх. На площадке лежало еще два полуразложившихся трупа, он миновал их, не задерживаясь и поднимаясь все выше и выше.

Так он взобрался на самый верх: здесь дул ветерок, он смог отдышаться и передохнуть. Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну: из него должен был открываться вид на южную часть цитадели и Тереспольские ворота.

По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела, раздались гулкие шаги. Плужников замер, вжимаясь в стену: позиция была неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы — а в том, что в костел вошел немецкий патруль, у него не было ни малейшего сомнения, — если бы немцы поднялись по лестнице только на один поворот, они бы в упор увидели его. Увидели в положении, в котором он физически не мог принять бой.

Снизу раскатисто и гулко доносились голоса: слов разобрать было невозможно, да Плужников и не пытался понять, о чем говорят немцы. Он стоял, затаив дыхание, замерев в неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркнула зажигалка, запах паленой тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его: немцы палили тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеревались

пробираться в глубину костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, приглушенно звучали только голоса: видно, патрульные расположились у входа, решив зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плужников осторожно перевел дыхание и огляделся.

Карниз был узок, засыпан битой штукатуркой и осколками кирпичей, но у Плужникова уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, так другие, более выносливые или более старательные немцы рано или поздно обнаружили бы его. А там, в глубокой оконной нише, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал сегодня жизнью.

Мучительно долго Плужников пробирался по карнизу. Цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стенку, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под его ног с шумом осыпалась штукатурка, он замирал, но внизу по-прежнему глухо бубнили голоса. Наконец он добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу.

Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту Буга за ним, разрушенные здания на том берегу. Дорогу, которая вела от моста возле Тереспольских ворот, сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжелыми артиллерийскими системами. И на дороге, и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев, только на дороге они были построены по обеим сторонам, вдоль обочин, образуя коридор, а на площадке выдерживали правильное каре, и в центре этого каре стояло несколько фигур, вероятно, офицеров. Это строгое построение было непохоже на то, когда раздавали кресты, и которое они разогнали вместе со старшиной. Это было куда эффективнее и торжественнее, и Плужников никак не мог понять, для чего немцам понадобился весь этот парад.

Откуда-то донеслась музыка: он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры: одна из них была в темном плаще, вторая — покрупнее первой и потолще — в странном полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шло еще несколько человек, в которых Плужников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, что шли впереди, на генералов не были похожи, но почести, которые оказывались им, музыка, игравшая в честь их прибытия, — все это убеждало его, что немцы принимают здесь, в его крепости, каких-то очень важных гостей.

Ох, как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейка, пусть без оптического прицела! Он хорошо стрелял и даже если бы и не попал на таком расстоянии в одного из этих гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает воевать. Но винтовки у него не было, а затевать стрельбу из автомата на таком расстоянии было бессмысленно. И он только шепотом выругал себя за несообразительность, стукнул кулаком по кирпичам и продолжал наблюдать.

Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских ворот. А миновав башню, появились снова: уже в крепости, в четком четырехугольнике, образованном замершими солдатами. Музыка смолкла, один из офицеров, печатая шаг, пошел навстречу прибывшим и отдал рапорт. Плужников не слышал этого рапорта, но видел, как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский строй, а затем отошли к выстроенным в линию артиллерийским системам. Они стали внимательно осматривать их, а рапортовавший офицер почтительно давал пояснения.

Плужников не знал и никогда не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета сорок первого года. Не знал, иначе выпустил бы весь диск в сторону фашистского парада. Не знал, что видит сейчас уменьшенную расстоянием крохотную фигурку того, чей личный приказ обрушил 22 июня в три часа пятнадцать минут по местному времени первый залп на эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и дуче итальянских фашистов Бенито Муссолини.

3

Много дней Плужников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что он боялся привлечь шумом патрули — после того парада, свидетелем которого он оказался, немцев в крепости стало значительно меньше, — а потому, что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон амуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться и, подняв кирпич, некоторое время держал его на весу, прежде чем положить. Он перекопал множество развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов и разбитого оружия. Ничего похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились

сахари, кончались концентраты, оставалось совсем мало сахара, а мясные консервы Мирра уже ела с трудом. И поэтому он упорно, каждый день перекаладывал с места на место эти проклятые кирпичи.

Ранняя осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, но за день ватник промокал насквозь, а высушить его было негде. Правда, он раздобыл еще четыре ватника. Мирра строго следила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже поселилась в каземате и незаметно, день ото дня, все росла и росла, и теперь он чистил оружие два раза в сутки.

А немцев все-таки стало значительно меньше. Правда, днем они по-прежнему патрулировали по крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали, а те двое, что как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать: Плужников снял их одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы всполошились и бросились прочесывать развалины, но он отлежался в глухом каземате, а ночью вернулся к Мирре.

— Не стреляй,— умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого и измученного.— Если бы ты только знал, как я боюсь за тебя. Как я боюсь!

Появились в крепости и гражданские: они прибывали целыми группами, даже с лошадьми. Разбирали завалы, вывозили трупы и кирпичи. Плужников сам видел, как они расчищали костел, как грузили на телеги то, что осталось от тех семерых пограничников. Он попытался было наладить с ними контакт, но немцы охраняли их очень бдительно и постоянно торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за Белым дворцом, откуда он шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды группу женщин. Их тоже стерegli: они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль дороги. Под вечер пришли машины, женщины погрузили кирпич, машины уехали, а женщин построили в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро они опять появились и снова принялись разбирать кирпичи. Он наблюдал за ними целый день, но выяснил только, что у них есть получасовой перерыв на обед. А поговорить с ними, окликнуть, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день ловил такую возможность. Мирра очень волновалась тогда:

— Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жива!

Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни жен-

щинам и оставил пустые попытки. Сначала надо было найти хлеб.

Он уже глубоко залез в вырытую им же самим яму, высоко обложился кирпичами и теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто выглядывая поверх кирпичей, чтобы не нарваться на какую-либо неожиданность. Он теперь и мерз быстро, и уставал быстро, и задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный ритм и начинало стучать, выламывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, терпеливо ожидая, когда все войдет в норму.

Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными: белый порошок просыпался из них на землю. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал. И вздрогнул: душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери.

— Пудра,— улыбнулась Мирра, когда он принес ей единственную уцелевшую коробочку.— Неужели на свете еще есть женщины, которые пудрятя, красят губы, завивают волосы? Может быть, и мне в первый раз в жизни напудрить нос?

— Там много. Хватит и на лоб, и на щеки.

— Много? — Она нахмурилась, что-то старательно припоминая.— Подожди, подожди. В столовой был ларек военторга. Был, был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом.

Он рыл в этом месте с ожесточением, порой забывая об опасности. Рыл, задыхаясь, ломая ногти, в кровь разбивая пальцы. Отбрасывал в сторону какие-то черепки, битые бутылки, обломки ящиков. И где-то под кирпичами, еще не видя, нащупал грубую ткань мешковины.

До глубокой ночи на ощупь он отрывал этот мешок. Дважды осыпались кирпичи, заваливая его работу, и дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И наконец сумел вытащить его — целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нащупал толстые шершавые квадраты стандартных армейских сухарей.

Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытащил сухарь, поднес к лицу: не видя, ощутил запах — густой дух ржаного хлеба. Он жадно вдыхал его, не чувствуя, что весь дрожит, дрожит не от холода, а от счастья. Он лизнул этот сухарь, уловил влажную соленую точку, не понял, лизнул снова и только тогда сообразил, что на

корявый армейский сухарь капают его слезы. Слезы, от которых он отвык настолько, что перестал их ощущать.

Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был едва ли не самый радостный день в их жизни. И Плужников был счастлив, что смог доставить Мирре эту радость. Последнее время он частенько заставлял ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, пыталась шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мирра никогда не жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно ласкала его, задыхаясь от слез, любви и отчаяния. Плужников подозревал, что виной тому однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту. Он хотел бы отыскать для нее что-либо иное, чем консервы, но не знал где и не знал что.

— Ну, а если помечтать? Давай вообразим, что я — волшебник.

— А ты и есть волшебник, — сказала она. — Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника?

— Вот и загадай волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть это будет самое невозможное.

— Фаршированной щуки. И большой соленый огурец.

В нем мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного: еще в темноте.

— Не ходи сегодня, — робко попросила Мирра. — Пожалуйста, не ходи.

— Выходной кончился, — попробовал отшутиться Плужников.

— Не ходи, — с непонятной тоской повторила она. — Побудь со мной, я так мало вижу тебя.

— Все равно не увидишь, даже если останусь.

Они сэкономили жир и зажигали теперь только одну плочку. Густая черная мгла плотно обступала их со всех сторон: они давно уже жили ошупью.

— И хорошо, что ты меня не видишь, — вздохнула Мирра. — Я сейчас страшная-страшная.

— Ты — самая красивая, — сказал он, поцеловал ее и вышел.

Чуть светало, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушался, ничего не расслышал, кроме монотонно морозящего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. Благополучно миновал дорогу и через кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья.

Кажется, где-то здесь в первые часы войны прятали раненых. Здесь умирал старший лейтенант, в чью смерть ему

когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже вытащили, но стойкий запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте, и Плужников шел осторожно, словно боялся наткнуться на того, кто лежал здесь с первых часов войны. Он искал бойницу, укрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Дыры, проломы и щели во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпичи, поставил рядом автомат и приготовился к долгому ожиданию.

Странно: он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым, но постоянные опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застыв в животной неподвижности. Он вспомнил, как когда-то — давным-давно, еще до войны — ждал, когда его примет начальник училища. Вспомнил свое молодое нетерпение, надраенные сапоги, уютную, мягкую, чистую гимнастерку. «Через год вызовем вас в училище...» Через год! С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год... Вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить.

И еще он думал о маме и Верочке. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут взять Москву. Они могли прорваться за Минск, могли даже вести бои где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная Армия продолжает вести ожесточенные бои, перемалывая фашистские дивизии, был убежден, что перемелет и пойдет вперед и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны была еще целая вечность, но он твердо рассчитывал дожить. Дожить, встретить своих, доложить, что крепость не сдана, отправить Миру к маме в Москву и вместе с Красной Армией идти дальше. На запад, в Германию.

Наконец-то он услышал шаги: не солдатские — четкие, словно собранные воедино, а гражданские — шаркающие, словно рассыпанные. Выглянул: к Белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади, и по трое с каждой стороны этой нестройной, шаркающей колонны. Только у первых и замыкающих он разглядел автоматы, а те конвоиры, что шли по бокам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это — наши винтовки с прикнутыми четырехгранными штыками. Разглядел и понял, что женщин стерегут не только немцы, но и дошедшие до немцев федорчуки.

Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвоиры разошлись по постам, а женщины направились к развалинам, прямо на него, и Плужников отпрянул в темноту. Негромко переговариваясь, женщины отдыхали перед началом работы: кто присел на кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными, одинаково озабоченными, а кроме отрывочных русских фраз слышались и белорусские, и какие-то иные, совсем непонятные: то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать. Он отложил это до следующего раза, до того времени, когда изучит этот подвал и найдет безопасные пути отхода.

Светлое пятно его бойницы вдруг стало темным. Сначала он не понял, что произошло, и качнулся назад, еще глубже уходя во мрак. Но бойница опять просветлела, хотя и изменила свои очертания. Он взгляделся: в нише лежал узелок. Обычный женский узелок из головного платка, связанного концами: кто-то из женщин сунул его сюда, в подвальное окошко, в защищенное от тусклого осеннего дождя место.

Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпич. Развязал платок, развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся: никогда еще ему так не везло. Никогда. Шесть варенных в мундире картофелин, луковица и щепотка соли лежали в этом узелке.

Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, согбенные фигуры женщин, мокнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не зная об этом, сделала сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских сухаря, завязал, как было, четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой и луковицей спрятал за пазуху и ушел в самый дальний, глухой отсек подвала. И до ночи сидел там, грыз сухарь и думал, как обрадуется сегодня Мирра.

— Ты действительно волшебник?

Он рассказал ей о подвалах Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином.

— Ты как будто не рада?

— Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю.

— Это — тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу.

— Глупый, — с какой-то странной болью выдохнула она. — Боже мой, какой ты еще глупенький у меня.

Она приникла к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала. Слезы капали в недоодевшую картошку.

— Что с тобой, Миррочка? Да что же с тобой?

Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее лицо, он видел огромные, полные тоски глаза: в слезах дрожал робкий фитилек копилки.

— Миррочка...

— Мы должны расстаться, — тихо, словно через силу сказала она. — Родной мой, муж мой, мой единственный, мы должны расстаться с тобой.

— Расстаться? — Он ничего не понимал. — Как расстаться? Почему расстаться? Зачем? Ты заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай!

— У нас будет маленький.

— Маленький? Как маленький?..

Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума леденящий страх одиночества.

— Видишь, я — нормальная женщина. — Странная и неуместная нотка гордости прозвучала в голосе Мирры. — Я — нормальная женщина, и случилось то, что должно было случиться. Вероятно, это — счастье, даже наверное это — огромное счастье, но за счастье надо платить.

— Не уходи, — с тупым отчаянием сказал он. — Только не уходи.

Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние, Мирра медленно покачала головой.

— Нельзя.

— Да, да, я понимаю, понимаю.

Он уже отстранялся от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она придвинулась еще ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим впалым щекам, целовала: он сидел, не шевелясь, словно окаменев.

Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что он тоже должен свыкнуться с этим, как свыклась она. А Плужникову хотелось кричать, хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить в немцев все снаряженные диски, хотелось погибнуть, потому что боль, которую он испытал сейчас, была страшнее смерти. Но он сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что

все пройдет: он уже мог вынести все, что возможно, и что невозможно, мог вынести тоже.

Наконец он вздохнул и шевельнулся, Мирра ждала этого вдоха и сразу заговорила тихим, печальным голосом, словно уже прощаясь навсегда:

— Если бы не маленький, если бы не он, Коля, я бы никогда не оставила тебя. Я думала, что так и будет, что я умру немножечко раньше, чем ты, и умру счастливой. Ты — моя жизнь, мое солнышко, моя радость, все — ты, ты все, что у меня есть. Но маленький должен родиться, Коля, должен: он ни в чем не виноват перед людьми. И должен родиться здоровеньким, обязательно здоровеньким, а здесь... Здесь я каждую секунду чувствую, как убывают его силы. Его силы, Коля, уже не мои, а его! Каждой женщине бог дает немножечко счастья и очень много долга. А я была счастлива. Я была так счастлива, как не может быть счастлива никакая другая женщина во всем мире, потому что это счастье дал мне ты, ты один и только мне одной. Дал вопреки войне, вопреки немцам, вопреки моей судьбе, вопреки всему на свете! Я знаю, что тебе тяжелее, чем мне: ты остаешься один, а я уношу с собою кусочек твоего будущего. Я знаю, что сейчас идут самые страшные часы нашей жизни, но мы должны, мы обязаны пережить их, чтобы жил он, наш маленький. Ты не беспокойся, я уже все обдумала. Ты только поможешь мне пробраться к этим женщинам, а уж они выведут меня из крепости.

— А там?

— Там — мама, не беспокойся! Там — мама и родственники. Столько родственников, сколько у евреев, не бывает ни у кого на свете.

— Женщин водят строем.

— Кто заметит лишнюю бабу? Не беспокойся, милый, все будет хорошо! Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, дождинки пойдут по четвергам. Так говорит дядя Михась: помнишь, он вез нас когда-то в крепость? Мы еще смотрели столб на дороге, и там я впервые наткнулась на твою руку...

Она говорила, улыбаясь изо всех сил, а из глаз неудержимо катились слезы. Они капали на руку Плужникову, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние слезы упали на ржавый армейский сухарь, и больше слез уже не осталось. И вероятно, поэтому его пекло внутри, будто сердце обложили горящими угольями.

— Ты должна идти, — сказал он. — Ты должна добраться до своей мамы и вырастить сына. И если только я останусь в живых...

— Коля!

— Если я останусь в живых, я найду вас,— строго повторил он.— А если нет... Ты расскажешь ему о нас. О всех нас, кто остался тут под камнями.

— Он будет молиться на эти камни.

— Молиться не надо. Надо просто помнить.

Они вышли в темноте и благополучно добрались до развалин Белого дворца, хотя Мирре это было трудно. Она очень ослабела, отвыкла ходить, да и дорога была не для ее протеза. Местами Плужников нес ее на руках, и ему было не тяжело: таким исхудалым и легким было это родное, теплое тело. И там, в подвале, когда он уже разведал выход и показал ей, откуда он будет смотреть на нее в последний раз, он усадил ее на колени, укутал и не отпускал уже до конца. Здесь они в последний раз попрощались, и Мирра осторожно вышла из подвала.

Она была в ватнике, как многие женщины, так же, как они, повязана платком, и на нее действительно никто не обратил внимания. Все молча занимались делом, и она тоже начала работать.

— Ну, чего ты тут мучаешься? — ворчливо спросила какая-то женщина.— Нога, что ли, болит?

А вторая вздохнула горько:

— Господи, и хромушку взяли, изверги. Ты поменьше ходи. Поди вон кирпич складывай.

Кирпичи складывали у дороги, и Мирре не хотелось уходить туда, потому что это было далеко от Плужникова. Но она не стала спорить, втайне радуясь, что женщины считают ее своей. Стараясь хромать как можно незаметнее, она отошла, куда велели, и стала укладывать целые кирпичи друг на друга.

Плужников видел, как она шла к дороге и укладывала там кирпичи. А потом поле зрения перекрыли другие женщины, он потерял Мирру, нашел снова и снова потерял и больше уже не мог определить, где она. Не мог, но все смотрел и смотрел, приходя в отчаяние, что больше не увидит ее, и не подозревая, что судьба на сей раз уберегла его от самого жестокого и самого страшного.

Вечерело, когда появились конвоиры. До этого Мирра видела их лишь в отдалении: они либо грелись у костра, либо жались к уцелевшим стенам. Сейчас они появились и забегали: здоровые, продрогшие от безделья.

— Становись! Быстрее, быстрее, бабы!

Старшими были немцы, но они не торопились уходить от костра, а колонну строили старательные охранники в серо-зеленых бушлатах, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Они исполнительно суетились

вокруг медленно строившихся женщин, отдавая команды на русском языке.

— Разберись по четыре!

Мирра старалась забраться в середину колонны, но женщины, выстраиваясь по четверкам, невольно выталкивали ее, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четверки, и снова отодвигали туда, где никаких четверок не было, а была она одна.

— Почему толкотня? — сердито закричал рослый конвоир: он и старался больше всех, и кричал чаще, чем остальные. — Разобраться по своим четверкам! Живо, бабы, живо!

— Мы разобрались, — сказал чей-то недовольный голос. — Да тут одна лишняя оказалась.

— Какая лишняя? Откуда лишняя? Не может быть лишних. Разберись лучше!

— Да вот...

Сердце Мирры забилося стремительно и отчаянно. Конвоир шел вдоль строя, приближался к ней, и она заулыбалась ему из последних сил.

— Ты откуда взялась? — удивленно спросил конвоир, остановившись против нее.

— Из города. Не узнаете, что ли?

— Из города?

— Ну, пойдемте же, пойдемте! — с отчаянием выкрикнула Мирра, думая сейчас только о том, что Плужников все видит. — Пойдемте, разве на ходу нельзя выяснить?

— Правда, идти пора! — недовольно зашумели женщины. — Весь день на холоду! И чего к девчонке пристал: не убыль ведь, а прибыль.

— Прибыль?.. — озадаченно повторил конвоир. — Прибыль, значит? А откуда ты взялась тут, прибыль?

Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя: Мирра едва устояла на ногах.

— Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?.. Господин обер-ефрейтор! Ах, зараза, ах, стерва, выползла на божий свет? Господин обер-ефрейтор!

— Пойдемте, — задыхаясь, бормотала Мирра, а он тряс сильной рукой за ватник, и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону. — Пойдемте. Прошу вас. Пожалуйста...

— Откуда взялась? Откуда?

Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому неторопливому немцу, что шел к ним от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плужникова.

— Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишняя. Из подвалов, видать, вылезла.

Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого обер-ефрейтора, и это такое обычное усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще верила во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не этот — с красным замерзшим носом, а — тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками перебиравший фотографии собственных детей.

— Юде! — закричал немец, уткнув в нее худой узловатый палец. — Юде! Бункер! Юде! Бункер!

— Ну, чего к девчонке привязались? — кричали женщины, а конвоиры бегали вдоль строя, угрожающе покачивая штыками. — Идти пора, застыли! Девчонку-то оставьте, наша она! Да нет, не наша! Наша... Не наша...

— Юде! Бункер! Юде! Бункер! — выкрикивал немец, пятась, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти подальше от той бойницы.

Кажется, женщин все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в ушах ее стоял звон, сквозь который прорывалось лишь два страшных слова: «Юде! Бункер!», «Юде! Бункер!». Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, шла, шла вперед, все дальше оттесняя немца.

И даже когда ее ударили — ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой, — она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и казалось, не было силы, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался сзади, и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча закрепленную в протезе ногу.

Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет полыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом беспощад-

ном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напрягаясь в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь.

Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а — еще живую, торопясь — заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца.

Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий отсвет давно закатившегося солнца нехотя высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и наспех заваленную воронку. Высветлил и исчез, и небо вновь затянуло серыми, осенними тучами.

Часть пятая

1

Он опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сухари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытье, приходил в себя и снова пил. А потом добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. Ел, насилуя себя, потому что болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги.

Он потерял счет дням и поэтому не удивился, когда увидел снег. Стояла глубокая ночь, в черном небе горели звезды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив.

Вернулся почти здоровым, только шатало от слабости. Вскипятил на толовых шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился под все свои бушлаты. Теперь он опять верил в свои силы, опять вел счет дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число.

Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего участка, давно не охотился за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и радостный азарт. Он был жив и по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом Брестской крепости.

Но кроме этой основной задачи существовала задача более узкая и более личная. Он думал о ней, словно втайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так, будто высокий поверяющий постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, задумал самовольно и уходил исполнять это тайное желание словно в самоволку от самого себя.

Он вдруг решил найти, обязательно, непременно найти свой собственный пистолет. Не оружие вообще, а именно тот, номер которого был записан в его удостоверении. Свое первое личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что тот страшный немец с выбитой нижней челюстью являлся к нему в бреду, снова тянул его за ногу, снова улыбался мертвым оскалом, а Сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит его от этого кошмара. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно первый день: встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой. И то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет.

Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись, перед тем как исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражен открытием, грозившим самыми тяжелыми последствиями. Хотя снега выпало мало и он старался идти по кирпичам, за ним все-таки тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в костел, но возвращаться было еще опаснее: след оставался следом. Поколебавшись, он решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что — может быть! — к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки.

Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки: он не чувствовал уже того смрада, что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему дотемна пришлось сидеть наверху, в оконной нише: уже давно закончился па-

рад, гости удалились, а солдат увели. Он пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда сошло, но теперь веселый радостный снег был союзником его врагов.

Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище: до него доносились и шум машин, и свежие скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного. И чем больше он приглядывался, тем все неумолимее, все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях.

Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это: то, второе, он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки, он выбрал сам, сам струсил перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается: он не был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника.

Но это было потом. Потом, а тогда он ввалился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет... До этого или после? Нет, до: его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очухался, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стреляными гильзами.

Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные флаги, винтовки с разбитыми ложами и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов — мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он один, в немом одиночестве, но немота прорвалась и одиночество отступило, и он понял вдруг, что прошлое — его собственность, его достояние и его гордость. И что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое. Самая горькая и самая звонкая доля его жизни.

— Смерти нет,— вслух сказал он.— И все-таки смерти нет, ребята.

Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле. Проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Он замер, прислушиваясь, словно провожая этот звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то шум, что чуть доносился снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать: немцы тихо оцепляли костел.

Они еще не замкнули кольцо и — может быть, нарочно, а может, второпях — оставили ему единственную щель: через пустырь к развалинам Белого дворца. Темная фигура на снегу среди ясного дня: шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансы, он хотел жить, а если и умереть, то — свободным. И выпрыгнул из окна.

Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь: ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полпути услышал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натываясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше в нем не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешено стучавшего сердца.

Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги — еще далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая куда, а желая лишь уйти от этих голосов и этого топота.

Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследование, а потом заболел и с той поры, как проводил Мирру, не был здесь ни разу. И бежал сейчас вслепую, натываясь на тупики и завалы и все время слыша за собой топот преследователей.

Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно прочесывали подвалы.

За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то ни стало прорываться в развалины кольцевых казарм, потому что казармы немцы оцепить не могли. Но тот, свой, знакомый ему участок казарм был уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район цитадели.

Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту: он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно

искал смерти. И опять смерть пощадила его: немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль казарм наперерез бегут люди. Бегут, не стреляя, надеясь взять живым.

Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы оглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плясал в обессиленных руках, он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене, под кирпичи, бросился в соседнее помещение.

Это была конюшня: ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу, у стены, и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, лихорадочно разгребая верхний смерзшийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу. И замер только тогда, когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении.

Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным: натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал, весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что он никуда отсюда не ушел.

Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь, рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипенье звук, не понял и тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел: немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грузные шаги и понял, что немец, коловший его штыком, сошел на пол конюшни.

Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила рана на боку, он чувство-

вал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту немоту, что постепенно завладевала телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одеревенел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело.

Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка присохла, и он не стал разглядывать, что там: перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел: ноги не слушались, а в одеревеневших мышцах началась такая боль, что он грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти, надо было добираться до своего каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег.

Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрал до выхода, нашел за кирпичами свой автомат и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски, но сегодня взял и снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны — всего-то восемь штук — и сунул их в карман, а диск положил за кирпичи, где прятал автомат.

Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий.

Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толовые шашки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало о Мирре.

Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он видел ее у дороги: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она — там, среди женщин, которые приняли ее как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытался и в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-

таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было: только те, что уже прошли.

Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: перед ним лежали чистые, не запорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом.

А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды: все было погребено под вывороченными кирпичами. Все, вся его прошлая жизнь и все надежды на будущую.

Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском, восемь патронов в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше ничего, и колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось.

А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм.

2

Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам.

Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались: наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы — калибр к калибру — и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу.

Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари, — впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил, как у новой, только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою: он заново

набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь: первый он изгрыз еще ночью.

Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услышал голоса. Далекie, чужие и непонятные. Подошел к пролomu, выглянул: невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом и сложением.

Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком.

При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану в боку: тупо заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим, родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о ней немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним: виноваты были руки, что повернули этот штык против него.

Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого, зрение его всегда было отличным, и все же он сразу все понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.

Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.

Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется

принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда и теперь предпочитал не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы.

И все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться: уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, пролом, сквозь которые можно было бы выбраться назад или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли.

Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом сразу за уступом подвальной стены в переходе настолько коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода: ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно как в могиле и как в могиле тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора: он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он сейчас лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей.

Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подходят к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе.

Топот немецких сапог замирал в его теле: удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель.

— Пронесло гадов?

Он резко повернулся: голос звучал из темноты. Хриплый, задышающийся. Сердце его забилося в бешеном ритме.

— Кто?

— А ты-то кто?

— Свой!

— Ну, а я еще больше свой. Сколько вас?

— Один.

— Последний?

— Не считал. Да где ты тут?

— Обожди, свет зажгу. Свечей мало осталось; берегу, но ради такого случая...

Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую длиннопалую руку, клок черной, с густой проседью, бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему на ящике огарку, и, когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутом ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестящие глаза и руку, которая тянулась к нему. И бросился к этой руке.

— Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай. Вот так. И замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толком, ни огнеметами. Не взяли, не взяли!..

Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся, дрожал и все говорил и говорил:

— Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да и ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной, какие муки вынес, как стерпел-то все?

— Стерпел,— сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седобородый.— Значит, один ты?

— Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом — четверо. А три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился.

— Кто будешь?

— Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?

— Для немцев — правильно. А я-то свой, лейтенант Плужников.

— Какого полка?

— В списках не значился,— усмехнулся Плужников.— Что, моя очередь рассказывать?

— Выходит, твоя.

Плужников рассказал о себе — без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по тому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного.

— Теперь можно и познакомиться, — сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. — Старшина Семишный. Из Могилева.

Семишный был ранен давно: пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмидали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его ухаживали и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась три дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега.

— Ты зарядку делай, лейтенант, — сказал Семишный на следующее утро. — Нам с тобой распускать себя не годится: одни остались, без санчасти.

Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя гнулся, разводил руки, пока не начинал задыхаться.

— Да, похоже, что одни мы с тобой, — вздохнул Плужников. — Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его, война бы еще летом кончилась. Здесь, у границы.

— Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? — усмехнулся старшина. — Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы, знаешь? Тыща. И на каждой версте такие же, как мы с тобой, лежат. Не лучше и не хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а — присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени. — Он вдруг по-суровел и кончил жестко, почти зло: — Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убьешь немца — возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даю: такой у меня закон.

Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестели в робком пламени свечи.

— Что ж не спрашиваешь, почему тобой командую?

— А ты — начальник гарнизона, — усмехнулся Плужников.

— Право я такое имею, — тихо и очень веско сказал Семишный. — Имею право на смерть вас посылать. Ступай. И задул свечу.

В этот раз он не выполнил приказа старшины: немцы ходили далеко, а стрелять просто так, не наверняка он не хотел. Он явно стал хуже видеть и, беря на прицел далекие

фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб.

Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это женщины, те самые, с которыми Мирра вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о Мирре и передать ей, что он — жив и здоров.

Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз, в подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за ним от кольцевых казарм до этих развалин тянулся след, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии.

Он с трудом пробрался по загроможденной кирпичами лестнице, с трудом протиснулся вниз, в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усеян кирпичами с рухнувшего свода, идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекали его след. Было почти темно, он пробирался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту: вправо вел ход. Он пролез в него, сделал несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат: сверху, в узкую щель проникал свет. Он огляделся: каземат был пуст, только у стены прямо против бойницы на шинели лежал иссохший труп в изорванном и грязном обмундировании.

Он присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. На черепе еще сохранились волосы, густая черная борода покоилась на полуистлевшей гимнастике. Сквозь разорванный ворот он увидел тряпье, туго намотанное на груди, и понял, что солдат умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов, но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны.

Он хотел встать и уйти, но под скелетом лежала шинель. Вполне еще годная шинель, которая могла сослужить службу живым: старшина Семишный мерз в норе, да и самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще поколебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью, и мертвому была не нужна.

— Прости, браток.

Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата.

Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыжее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и труп в углу, и остатки черной бороды. И сказал дрогнувшим голосом:

— Здравствуй, Володька.

Постоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от Володьки Денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата.

— Мертвым не холодно,— сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о находке.— Мертвым не холодно, лейтенант.

Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а — умирает.

— Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь.

С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем отдавая смерти каждый миллиметр своего тела.

— Стонать начну — разбуди. Не буду просыпаться — пристрели.

— Ты что это, старшина?

— А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им будет.

— Этой радости им хватает,— вздохнул Плужников.

— Этой радости они не видели! — Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе.— Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай.

— Ничего не понимаю. Чего — святого?

— Придет время — скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем говорю это, верь. Отдохнул? Автомат в руки и — наверх. Наверх, лейтенант! Чтоб знали: крепость жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться!

Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил: в нем давно уже ничего не

было, кроме ненависти, но ненависть эта, в отличие от ненависти Семишного, была холодной и расчетливой.

В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных бездонных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил наповал, из хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела вьюга, и следы его не взяла бы и самая опытная собака.

Он увел погоню подальше от норы: почти к Холмским воротам. Тут немцы окончательно потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе: доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет.

Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя, дрожал в смертном ознобе, и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле.

— Видно, не дожить мне, — с глубокой тоской сказал он, придя в себя после очередного приступа. — Видно, тебе придется.

— Что придется?

— Помирать буду — скажу. Что, война кончилась?

— Не похоже.

— А чего сидишь? Патроны есть?

— Есть, — сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро.

А сейчас было вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков.

Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в крошечной тьме нашарил последний огарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это — конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал провозжать людей, устал сражаться и устал жить.

Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плужников подумал, что это — конец. Но старшина открыл глаза.

— Я кричал?

— Кричал.

— Почему не разбудил? — Плужников промолчал, и Се-

мишный вздохнул.— Понятно. Себя жалел? А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери нашей чужие сапоги...

Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались, и жили только глаза.

— Мы честно выполняли долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй убивать себя раньше, чем умрешь. Только так. Только так, солдат. Смертию смерть поправ. Только так.

— Сил нету, Семишный,— тихо сказал Плужников.— Сил больше нету.

— Сил нету? Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Грудь расстегни. Ватник, гимнастерку — все. Расстегнул? Сунь руку. Ну? Чуешь силу? Чуешь?

Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. И ощутил грубыми обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шелк знамени.

— С первого дня на себе ношу.— Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его рыдания.— Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил, смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя — родины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант.

— Не запятнаю.

— Повторяй: клянусь...

— Клянусь,— сказал Плужников.

— ...никогда, ни живым, ни мертвым...

— Ни живым, ни мертвым...

— ...не отдавать врагу боевого знамени...

— Боевого знамени...

— ...моей родины — Союза Советских Социалистических Республик.

— Моей родины — Союза Советских Социалистических Республик,— повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины.

— Когда помру, на себя наденешь,— сказал Семишный.— А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу.

Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников сказал:

— Двоих я сегодня убил. Метель на дворе, удобно.

— Не сдали мы крепость,— тихо сказал старшина.— Не сдали.

— Не сдали,— подтвердил Плужников.— И не сдам.

Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и Плужников еще долго сидел рядом, думая, что он жив, а он уже был мертвым.

Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время — и когда хоронил Семишного, и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами.

Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится — ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее: свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибала. Важным было одно: звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это — прочно и вечно.

А поверху мела метель. Белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдивших городов.

Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа.

Еще не было Хатыни и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И предверием этого ада была Брестская крепость.

Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику. И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему. К непокоренному сыну непокоренной родины...

3

Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, разьеженной колесами и гусеницами обочине дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло в ветровых стеклах.

Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и груди его тускло желтела боль-

шая шестиконечная звезда: знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела на нем, как проклятье, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несуразно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась еще больше, каждую секунду ожидая удара, тычка или пули.

Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад.

Рядом резко затормозила машина. Его большие, чуткие уши безошибочно определили, что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать — тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками.

— Юде!

Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблучки. Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор.

— Говоришь по-русски?

— Так точно, господин майор.

— Садись.

Свицкий покорно сел на самый краешек заднего сиденья. Здесь уже сидел кто-то: Свицкий не решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это — генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места.

Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу, и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съезжился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась.

— Выходи!

Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский «хорьх» стоял среди развалин. В этих развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру, и два накрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше — за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых — женщины разбирали кирпич; охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный «хорьх».

Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошел к генералу с рапортом. Он докладывал гром-

ко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подzemелье, находится русский солдат: утром он застрелил двух патрульных, но погоне удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода. Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору.

— Юде!

Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется.

— Там, в подвале, сидит русский фанатик. Спустишься вниз и уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним — вас сожгут огнеметами, если выйдешь без него — будешь расстрелян. Дайте ему фонарь.

Оступаясь и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась: начался заваленный кирпичом коридор. Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос:

— Стой! Стреляю!

— Не стреляйте! — закричал Свицкий, остановившись. — Я — не немец! Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня!

— Освети лицо.

Свицкий покорно повернул фонарь, моргая подслеповатыми глазами в ярком луче.

— Иди прямо. Свети только под ноги.

— Не стреляйте, — умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. — Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь...

Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом.

— Погаси фонарь.

Свицкий нащупал кнопку. Свет погас, густая тьма обступила его со всех сторон.

— Кто ты?

— Кто я? Я — еврей.

— Переводчик?

— Какая разница? — тяжело вздохнул Свицкий. — Какая разница, кто я? Я забыл, что я — еврей, но мне напомнили об этом. И теперь я — еврей. Я — просто еврей, и только. И они сожгут вас огнем, а меня расстреляют.

— Они загнали меня в ловушку, — с горечью сказал голос. — Я стал плохо видеть на свету, и они загнали меня в ловушку.

— Их много.

— У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши?

— Понимаете, ходят слухи. — Свицкий понизил голос до

шепота.— Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили.

— А Москва наша? Немцы не брали Москву?

— Нет, нет, что вы! Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете?

В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкому стало не по себе от этого смеха.

— Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помогите мне, товарищ.

— Товарищ! — Странный, булькающий звук вырвался из горла Свицкого.— Вы сказали — товарищ?.. Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова!

— Помогите мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слушаются. Я обопрюсь на твое плечо.

Костлявая рука сжала плечо скрипача, и Свицкий ощутил на щеке частое прерывистое дыхание.

— Пойдем. Не зажигай свет: я вижу в темноте.

Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом.

— Скажешь нашим,— тихо сказал неизвестный.— Скажешь нашим, когда они вернутся, что я спрятал...— Он вдруг замолчал.— Нет, ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусть ищут. Пусть как следует ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я — последняя ее капля... Какое сегодня число?

— Двенадцатое апреля.

— Двадцать лет.— Неизвестный усмехнулся.— А я просчитался на целых семь дней...

— Какие двадцать лет?

Неизвестный не ответил, и весь путь наверх они проделали молча. С трудом поднялись по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отпустил плечо Свицкого, выпрямился и скрестил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел, кого он вывел из глухого каземата.

У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову, и не отрываясь смотрел на солнце ослепшими глазами. И из

этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы.

И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал.

— Назовите ваше звание и фамилию,— перевел Свицкий.

— Я — русский солдат.

Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чем-то спросил.

— Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию...

Голос Свицкого задрожал, сорвался на вскрип, и он заплакал и плакал уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам.

Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд. И густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке:

— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?

Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел. Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и два санитары с носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине.

Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги.

И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул». И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке.

А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти.

Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за другой они падали на колени в холодную

апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли ему, последнему защитнику так и не покорившейся крепости.

А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел.

Возле машины.

Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертью смерть поправ.

Эпилог

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы: меньше суток идет поезд. И не только туристы — все, кто едет за рубеж или возвращаются на родину, обязательно приходят в крепость.

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела.

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь.

А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени — единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась, и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга.

Крепость не пала. Крепость истекла кровью.

Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат.

Много, очень много экспонатов хранит музей крепости.

Эти экспонаты не умещаются на стендах и в экспозициях: большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца — так называли защитники крепости здание инженерного управления.

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул.

Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита:

С 22 ИЮНЯ
ПО 2-е ИЮЛЯ 1941 ГОДА
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ
(фамилия неизвестна)
И СТАРШИНЫ
ПАВЛА БАСНЕВА
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
ГЕРОИЧЕСКИ
ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ

Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в почетном карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв: «НИКОЛАЙ».

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы объявляют, что пассажиры не должны забывать билеты, гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина.

Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли.



кажется,
со **МНОИ**
пойдут в
разведку..

КАЖЕТСЯ, СО МНОЙ ПОЙДУТ В РАЗВЕДКУ...

1

— Проклятушая у нас работа,— позевывая, говорит Федор.— Ни тебе отгулов, ни тебе двух выходных. Каторга!..

Он лениво переворачивается, подставляя солнцу могучую грудь, густо заросшую упругим ржавым волосом. Под левым соском видна чуть расплывшаяся наколка: орел, терзающий голую женщину. И надпись: «Не забудь Севастополь. 1960 год».

Мы лежим на берегу тихой, задумчивой речки. Купаемся, жаримся на солнце, дремлем и снова купаемся до синевы. Жарились вчера, жаримся сегодня, и неизвестно, сколько суток нам предстоит еще жариться на этой сонной речушке.

Вездеход, который мы испытываем, третьего дня ушел на завод: потекло масло из вентилятора. На базе остались вещи, горючее, запчасти. Никто на них не покушается, но для порядка решили держать караульчиков, и выбор пал на второй экипаж. Второй экипаж — это мы: Федор и я. Федор — водитель, я у него на побегушках, хоть и числюсь по ведомости слесарем. Правда, оставался с нами еще Славка — третий член экипажа, помощник Федора. Но не успела осесть пыль, поднятая вездеходом, как Славка, подмигнув Федору, торопливо зашагал к речке: на том берегу, прямо от воды, начинались огороды деревни.

— Куда это он? — удивился я.

— К бабе,— лениво пояснил Федор.— Баба у него в деревне.

Когда при мне говорят «баба», я оглядываюсь, нет ли вблизи женщин. Оглянулся я и тогда, но вокруг не было ни души, только приبلудный пес Фишка задумчиво искал блох. Вот с того дня мы и валяемся на берегу втроем: я, Федор и Фишка. Славка как ушел, так и сгинул: там, конечно, интереснее, чем у нас...

— Труд есть необходимость,— вдруг изрекает Федор.— Так, что ли, Москвич?

Москвич — это я. Обычно Федор зовет меня по имени: Генкой, но когда хочет позлить, прибегает к ироническому: «Москвич». Сначала я очень сердился, когда меня так называли, а потом сообразил, что надо терпеть. В моем присутствии все только и делали, что под разными предложениями поносили эту машину.

— Ну, объясни: труд — необходимость или обходимость?

— Ну, необходимость...

— Значит, блох кормить ты по необходимости при- был? — лениво продолжает он.

Он все делает с этакой артистической ленцой: лениво говорит, лениво переворачивается на другой бок, лениво ест, спит, пьет, работает. Точнее, это не лень: это расчетливое отсутствие торопливости.

А блох действительно уйма. То ли их поставляет Фишка, то ли они размножаются в геометрической прогрессии. Первое время я не мог спать, но потом меня научили класть под себя полынь: блохи, оказывается, ее терпеть не могут...

Я молчу. Молчу изо всех сил.

— И какая у тебя была необходимость рвать когти от папы с мамой, не понимаю. Пользы от тебя, как от Фишки, а разговоров!.. «Мы — строители коммунизма! Мы — добровольцы. Мы — молодые энтузиасты. Мы, мы, мы!..» Вот и мыкайся теперь, товарищ идейный слесарь. Мыкайся и воображай, что без тебя всем нам будет сквозная дыра.

Ну, что я могу ему сказать? Что весь десятый класс мы до хрипоты спорили, как жить дальше? Что тираж «Комсомолки» раскупается в две минуты? Что хочется уважать себя не только за пятерки в аттестате? У Федора на все один ответ:

— Мало отцы ремней излохматили о ваши задницы, энтузиасты. Мало!..

А меня отец вообще никогда не бил. Только страдал, когда я что-нибудь выкидывал. Страдал, страдал, а потом сгинул. И остались мы с мамой и с Наташкой: ей тогда только-только год исполнился...

— Если бы тебя на БАМ занесло или, скажем, на Нурекскую ГЭС, я бы понял, — продолжает Федор, не обращая внимания на мое упорное молчание. — Там — передний край, газеткой пахнет, слава опять же. А у нас, друг милый, работенка незаметная: мотай километраж, пока не посинеешь, да дефекты строчи в ведомость. Однако ты почему-то к нам завернул. Соображения у тебя какие были или так, от легкости ума?

Интересно, сколько дней он будет потешаться, если я расскажу, каким образом оказался здесь?..

Я ехал совсем в другую сторону. Ехал, выдержав мамины слезы после того, как срезался на приемных экзаменах в МЭИ.

Но маме-то я не сказал, что сознательно срезался: с той поры, как отец ушел, она отказалась от алиментов и волокла нас с Наташкой на одну зарплату. А Наташка — почти артистка, ей учиться надо, все говорят. А у меня нет никакого таланта, я и поработать могу, чтоб маме полегче было и чтоб Наташка во ВГИК могла поступить. Вот я и наврал, что срезался. Тогда списались с дядькой, купили мне билет, нагрузили до отказа советами и сунули наконец в купе до Новосибирска.

Попутчиков было двое: молодой парень и невероятно интеллигентный старичок в золотых очках. От парня паховало пивом, и мама начала обстоятельно разьяснять старичку, как нужно приглядывать за мной.

Как только поезд тронулся, старичок надел домашнюю куртку и ушел в соседний вагон играть в преферанс. С той минуты мы видели его только по ночам: он являлся ровно в половине двенадцатого, а утром, наскоро проглотив чай, удалялся «доигрывать пульку». В этом постоянстве было что-то мистическое, и все относились к старичку с огромным уважением.

А мы с парнем до Ярославля проторчали в коридоре у открытого окна. Парень оказался офицером. Он возвращался из отпуска и говорил только о подводной охоте. Перед Ярославлем он похлопал по карманам, извлек рубль и послал меня на вокзал за сигаретами.

Когда я вернулся, я увидел ее. Увидел в самый невыгодный для женщины момент: в момент какой-то удивительно сосредоточенной раздраженности. Лейтенант только что водрузил ее чемодан наверх и повернулся к ней с улыбкой, с которой принято заговаривать с молодыми женщинами. Она равнодушно посмотрела на него и обратилась ко мне:

— Это ваше место? — Глаза у нее были шоколадные. Я никогда не встречал глаз такого цвета и такой бездонной глубины, онемел и едва успел кивнуть, как она заявила: — Вам придется уступить его мне.

Я молча перетащился на этаж выше. Проводница принесла белье, и новая пассажирка принялась стелить постель с таким ожесточением, что мы сразу вышли в коридор. Лейтенант закурил, протянул пачку мне:

— Н-да, очаровательное создание...

Почему-то я закурил тоже. Закурил третий раз в жизни, держа сигарету, как свечку. Пассажирка выглянула в коридор:

— Дайте закурить.

Лейтенант с неестественной торопливостью щелкнул зажигалкой. Женщина прикурила, вернулась в купе и села возле столика.

Мы молча стояли у окна: лейтенант спиной, а я боком к полуоткрытой двери. Я смотрел в окно, но уголком глаза все время видел ее. Она достала книгу, положила на столик и закинула ногу на ногу. Узкая юбка натянулась, соскользнув с круглого колена, но она не заметила. Сидела, глядя в книгу отсутствующими глазами, держала сигарету кончиками пальцев, и я сразу догадался, что курить она не умеет. Вдруг она повернула голову, и я увидел слезы на ее лице. Я невольно вздрогнул, а она, вскочив, с лязгом захлопнула дверь...

Утром я проснулся от незнакомого звонкого голоса:

— Подъем, юноши!..— Она стояла в дверях, сунув руки в карманы халатика, и... улыбалась.— Пять минут на одевание! — скомандовала и закрыла дверь.

Мы молча смотрели друг на друга.

— Н-да...— Лейтенант поскреб затылок.— Женщины, брат,— существа непостижимые.

В этом вопросе я мог опираться только на семнадцатилетний опыт жизни с мамой и тринадцатилетний — с Наташкой и поэтому промолчал. Мы пошли умываться, а когда вернулись, на столике стояли шесть стаканов с чаем.

— Доставайте провизию, у кого что есть,— сказала она.— У меня нет ничего, но зато я буду за вами ухаживать.

Уничтожая мамины пирожки, мы узнали, что пассажирку зовут Владленой Ивановной...

А потом лейтенант встретил однополчанина и надолго перекочевал в другой вагон. Мы остались одни. Выбегали на станциях пить фруктовую воду, покупали семечки и поразительно невкусный шашлык, нанизанный на рубленные топором лучины. Где-то за Кировом ей пришлось в голову раздобыть вареной картошки и огурцов. Мы раздобыли и долго бежали по перрону за последним вагоном.

Я почти не говорил, только смеялся, большей частью невпопад. Зато она болтала за двоих, и скоро я узнал, что она инженер, ездила в Ярославль в командировку, а сейчас возвращается на завод. Узнал, что резина на катках вездехода никуда не годится, что вентилятор еще не отработан, что мотор перегревается на тяжелых грунтах, что... Словом, я узнал все, кроме того, что случилось в Ярославле и почему она плакала вчера вечером.

По-моему, потом я уже ничего не соображал. Я смотрел

в ее шоколадные глаза, слушал, как бьется мое сердце, и думал, что такой красивой женщины я никогда еще не встречал. Даже знаменитая Ирка из 9-го «Б», в которую была влюблена вся школа, теперь казалась мне просто смазливой ломакон.

Пришел лейтенант. Он страшно радовался, что едет в гражданском и может плевать на патруль. Спать он не желал, но Владлена все-таки уложила его. Мы с нею вышли в коридор и, вероятно, простояли бы там до утра, если бы проводница не предупредила Владлену:

— Через час ваша остановка.

— Жаль, — сказала Владлена и пошла в купе укладывать вещи, а я остался.

Я ни о чем не думал. Просто слушал, как стучат колеса, и смотрел в темноту, подставив лоб ночному ветру. Было очень грустно и тревожно, и я чувствовал, что сейчас сделаю либо непоправимую глупость, либо шаг навстречу счастью. Я прошел в купе и снял сверху два чемодана: ее и свой...

Поезд ушел. Мы стояли на маленькой, скудно освещенной платформе. Было два часа пятнадцать минут.

— Если бы ты был хоть на пять лет совершеннее, я бы, пожалуй, влюбилась в тебя, — сказала Владлена. — Пойдем в зал: первый автобус на завод только в пять утра...

Прошел месяц, и вот я лежу на горячем песке рядом с опытейшим водителем завода. Он хороший парень, и я готов терпеть его насмешки. Готов не спать ночей или валяться на песке, когда вездеход отправляют на ремонт. Готов жевать черствый хлеб, запивая водой, когда «мотают километраж» и нет времени даже на то, чтобы перекусить в какой-нибудь придорожной забегаловке. Готов махать кувалдой до оранжевых кругов перед глазами, соединяя тяжелые траки гусеницы. Ко всему этому я подготовился, когда стоял один в коридоре вагона и слушал, как стучат колеса. Но к одному я оказался не готов — к тому, что я и Владлена будем работать на расстоянии двухсот километров друг от друга: она осталась на заводе, а меня сразу же послали на испытания...

Фишка поднимает лохматые уши. Пес он деликатный и никогда не позволит себе залаять, если хозяева молчат. Только поднимает уши и чуть слышно ворчит.

Я тоже прислушиваюсь: из-за кустов доносятся неразборчивые голоса. Федор садится, обняв голые колени.

— Кто-то пожаловал. Поинтересуемся?

Не ожидая ответа, он встает и, пригнувшись, идет к кустам. Он умеет ходить так, что не дрогнет ни одна ветка.

Фишка бежит впереди, прижав уши и оглядываясь. Я поднимаюсь, когда оба скрываются в кустах.

Я хожу, как всякий нормальный городской житель: спотыкаюсь на ровном месте и цепляюсь за кусты. Исцарапавшись и вдоволь наломав веток, выдираюсь наконец на простор.

Противоположный берег скрыт песчаным косогором. Мне не видно, что там происходит, но голоса слышны отчетливо: молодые девичьи голоса. Федор лежит на вершине, замаскировавшись кустами лозняка. Фишка расположился рядом. Пыхтя и отступая в сыпучем песке, поднимаюсь к ним. Федор грозит кулаком:

— Тихо!..

Сдерживая дыхание, тяжело плюхаюсь на горячий песок. Устроившись, осторожно выглядываю.

До противоположного берега можно спокойно добросить камень. Он рядом: узкая полоска песка, с трех сторон зажатая непролазными зарослями ольшаника. На кустах белеют полотенце, платье и что-то еще, а у самой воды — две девушки. Толстуха сидит лицом к нам, подняв колени и скручивая на затылке волосы. Сначала мне кажется, что на ней белый купальник, но потом понимаю, что ничего на ней нет, а то, что я принял за купальник, — просто куски незагорелого тела. Улыбаясь, она что-то говорит второй, но слов не разобрать: рядом журчит протока.

Вторая — тоненькая, с покатыми плечами и прической, какую можно соорудить только в городе, — стоит возле. Она уже сняла платье, и то, что пока осталось на ней, невесомо и не предназначено для пляжа.

— Кино... — беззвучно шепчет Федор. — Как это называется?

Я знаю, как это называется: стриптиз. Я никогда не видел его, но наврал ребятам, что однажды попал в Дом кино на закрытый просмотр французского фильма, где под музыку раздевалась героиня. А на самом-то деле я впервые вижу девушку не в купальнике, и сердце стучит так, словно я второй час подряд машу полупудовой кувалдой.

Засмеявшись, она отводит руки за спину и, шевельнув плечами, сбрасывает лифчик. Размахнувшись, бросает лифчик к кустам, но он не долетает и мягко ложится на песок. А она вертится по берегу, приплясывает, и размахивает руками, и смеется, закинув голову. Белая девушка в розовых трусиках на желтом песке. Она танцует и поет, и сквозь безостановочное журчание воды я слышу, что она поет. Сейчас она снимет последнее, что на ней надето. Снимет, поскольку не знает, что мы лежим за кустами. Снимет и станет еще беззащитнее. И тут вдруг я подумал, что кто-то вот

так же тайком подглядывает за Владленой, видит, как она раздевается, как поет и танцует для самой себя. Подумал, и мне стало жарко — кажется, я даже покраснел, — и что есть силы заорал то, что пела девушка:

— Пусть всегда будет мама!..

Что тут началось! Фишка залаял, девушки с криком бросились в кусты, а мы с Федором, пригнувшись, ринулись назад и остановились только у нашей заводи.

— Псих, — отдышавшись, говорит Федор.

Я ожидаю бури, но он молча натягивает штаны, закидывает на плечо майку и, не оглядываясь, идет к базе. Я остаюсь один.

Я понимаю, почему Федор злится: за всю жизнь я не слышал столько разговоров о «бабах», сколько наслышался за этот месяц. Все, кто приезжает к нам, словно с цепи срываются. Я слушаю всегда с замиранием сердца, ожидая, что вот-вот кто-то со вкусом, с разухабистой циничностью помянет Владлену...

И все-таки подглядывать подло. Пусть меня сколько угодно называют сопляком, мальчишкой, психом — я не играю в такие игры. Пусть я рискую навсегда потерять расположение Федора и других ребят, пусть так, но я не могу поступить иначе. Не могу и не хочу. Влажный нос тычется мне в плечо: вернулся Фишка, провожавший Федора до базы. Он очень привязан ко мне — вероятно, за то, что я первым назвал его Фишкой.

— Ну, что скажешь хорошего, пес?

Пес усиленно машет хвостом и пытается улыбаться. Конечно, было бы здорово обнаружить сейчас за ошейником записочку: «Прости, друг, ты абсолютно прав». Но с ошейником Фишка незнаком, а Федор никогда не напишет записки...

Я ложусь на спину и закрываю глаза. Солнце бьет в лицо, жаркие лучи проникают сквозь веки, и мне кажется, будто я плыву в густом розовом тумане. Он клубится, то рассеиваясь, то сгущаясь, и я сначала смутно, а потом все яснее и яснее вижу розовый песок, и розовые кусты, и розовую девушку, танцующую в розовых трусиках на розовом берегу... Я поспешно открываю глаза и сажусь: такие розовые видения мне совсем ни к чему.

Фишка чуть слышно скулит: время обеда, а за этим он следит с точностью хронометра. Я вспоминаю, что сегодня дежурю, и начинаю натягивать джинсы...

С питанием у нас дело поставлено на прочную ногу. Наш завхоз — тщедушный пожилой человек, поросший каким-то гагачьим пухом вместо волос, — привез из города бездну

свиной тушенки, а колхоз вдоволь снабдил картошкой. За-вхоза все зовут Ананьичем, и никто не знает, сколько ему лет. Раздобыв тушенку и картошку, Ананьич решил, что с него хватит хозяйственной деятельности, и ударился в длительный загул.

Ананьич исчез, а тушенка и картошка остались. Правда, среди ребят ходили слухи о каком-то мешке с макаронами, но мы с Федором мешка этого не нашли. Это навело Федора на здравую мысль, что хозяйственный Ананьич обменял макароны на самогонку. Мы прекратили розыски и стали три раза в день готовить картошку с тушенкой. Поскольку готовили мы с Федором по очереди, то, естественно, могли заимствовать опыт только друг у друга. В результате естественного отбора в нашем меню утвердилось два блюда: либо мы бухали тушенку прямо в кипящую воду и таким несложным путем вырабатывали суп, либо отварная картошка перемешивалась с тушенкой, и получалось второе. Как бы там ни было, а Фишка ни разу не отравился.

От речки до базы — три минуты ходьбы. Базу мы арендуем у колхоза: два дома, где живут отцы-командиры, и длинный сарай, в котором ночуем мы. Когда испытания идут полным ходом, народу у нас много: две смены экипажей, инженеры, техники, два контрольных мастера ОТК. Тогда из колхоза, приходит повариха тетя Настя, которая готовит то же самое, что и мы с Федором, но в больших количествах. А сейчас — тишина. Никого нет.

Обычно мы помогаем друг другу: один чистит картошку, другой растапливает печь. А сегодня все наперекосяк: Федор мрачно доедает тушенку, цепляя на хлеб желтые ломти застывшего жира. Он не обращает на меня внимания, нарочно чавкает и с хрустом ломает наш зачерствевший до твердости наждачного камня хлеб.

Ну, и черт с ним! Я вскрываю вторую банку, отваливаю порцию Фишке и сажусь напротив. Молча жуем, не глядя друг на друга: холодная война.

Закончив трапезу, Федор выволакивает из сарая тяжеленный танковый брезент: им мы должны накрывать вездеход, но с молчаливого согласия руководства накрываем сено, на котором спим вповалку. Брезент дьявольски тяжел и громоздок, и Федор тащит его по земле, оставляя за собой идеально подметенную дорожку.

В тени сарая он разворачивает его и заваливается читать.

Места на брезенте — на добрую роту, и в обычные дни мы валяемся рядом, но сегодня я ни за что не пойду на этот брезент. Сегодня — война, и тот, кто первым захватил территорию, тот и владеет ею вполне безраздельно. Я устраиваюсь

на крыльце и жду, когда Федор отложит книгу, повернется на правый бок и начнет храпеть. Тогда я реализую свой план — я составил его, пока Федор, демонстративно чавкая, опустошал банку.

Но сегодня он, как назло, не желает спать. Шелестит страницами, всякий раз обстоятельно мусоля пальцы. Я не верю, что он уж так увлекся; просто, вероятно, чувствует, что я готовлю ему какую-то пакость.

Наконец-то! Книга отложена, Федор — на правом боку. Для верности выжидаю еще минут десять, потом подзываю Фишку и шепотом отсылаю его к Федору. Фишка изо всех сил вертит хвостом, но идти не решается: ему строго-настро-го запрещено приближаться к брезенту. Борьба между долгом и условным рефлексом заканчивается в мою пользу — Фишка поджимает хвост и ползком подбирается к спящему Федору. Я со злорадством наблюдаю, что будет дальше. Сначала ничего не меняется в этой идиллической картине, и я уже начинаю подумывать, не растерял ли Фишка своих иждивенцев. Но тут Федор вздрагивает и начинает остервенело чесать босую ногу. Первое попадание.

Интересно, сколько времени он может выдержать? Пока не просыпается, но чешется уже всеми четырьмя конечностями. Пора отступить.

Ухожу за угол и, устроившись поудобнее, осторожно наблюдаю. Блохи атакуют Федора с беспощадностью пулемета. Через минуту он уже вскакивает, дико озираясь. Пока умудренный опытом пес, поджав хвост, улепетывает подалее, Федор с яростью срывает с себя штаны и начинает исследовать их, приплясывая от очередных укусов. Волосатые ноги его безостановочно почесывают одна другую, и со стороны похоже, что голый человек ни с того, ни с сего отплясывает в полном безмолвии загадочный танец.

— Ну, погоди, Москвич!..— кричит он, сообразив, кому обязан внезапным пробуждением.— Я тебе устрою карнавал!..

Теперь мне следует быть начеку: Федор оплатит чем-то неожиданным. По принятым у нас законам на такие вещи обижаться не полагается, и мне грозит только розыгрыш, а не затрещина. Поэтому я смело выхожу из-за угла:

— Звал, Федя?

Федор встречает меня уничтожающим взглядом: он еще не остыл, и шутить с ним пока не следует. Я молча отхожу в сторону, а Федор, вытряхнув одежду, напяливает штаны и вновь укладывается на брезент. Изредка почесываясь, изображает спящего, но я-то знаю, что он не спит, а злится.

До ужина я соблюдаю ультрабдительность. Но ничего не

происходит — проспавшись, Федор усаживается делать мундштук из разноцветных пуговиц и ручек от зубных щеток. Он прилежно пилит, с удивительной ловкостью обращаясь с инструментом. Что бы он ни взял — напильник или ножовку, гаечный ключ или зубило, — все эти железные предметы вдруг оживают в его руках. Толстые пальцы Федора, с такой неуверенностью орудующие карандашом, нежно и невесомо держат инструмент. Он никогда не бросит даже тяжелую кувалду («доктора», как называют ее ребята), а всегда бережно опустит на землю, словно она может расколоться или обидеться на него за грубое отношение.

Обычно я сажусь рядом и наблюдаю за его работой. Федор гордится своим мастерством, но не делает из него секрета, будучи убежденным, что овладеть им может всякий, у кого возникнет необходимость. Здесь он не признает никаких чудес и со вкусом издевается над теми газетчиками, которые оснащают производственные очерки словами о творчестве, искусстве и таланте.

— Еще один талантливо заколачивает гвозди, — сообщал он, просматривая газету. — А второй с творческим огоньком устанавливает сортиры для новоселов. Начитается таких статей какой-нибудь полудурок вроде нашего Москвича и прет сломя голову в рабочий класс, не узнав у папы с мамой, почем нынче колбаса...

Ужинаем мы опять врозь: каждый в обнимку с личной банкой тушенки. Это совсем невкусно — глотать холодную тушенку, но характер превыше всего.

Потом мы мрачно укладываемся спать подалеже друг от друга. Федор засыпает мгновенно, а я долго еще ворочаюсь и вздыхаю...

Месяц назад меня привез на испытания сам Юлий Борисович Лихоман — руководитель группы. Поставил перед ребятами и сказал:

— Парнишка ни черта не умеет, но хочет уметь. Сделать из него испытателя — ясна задача, второй экипаж?

Второй экипаж понял это распоряжение с некоторой поправкой, задавшись целью «сотворить из меня в кратчайший срок стопроцентного парня», как выразился Славка. В соответствии с этим меня начали проверять со всех сторон, а я, ощетинившись, начал врать. Ребята всему верили, но гнули свою линию, и сегодняшний случай на речке был из той же оперы. Федора ведь не столько интересовали купальщицы, сколько моя реакция, в которой он усмотрел чистоплюйство энтузиаста, приехавшего зарабатывать биографию, а не гроши на жизнь. Потому-то и был объявлен суровый бойкот. До этой мысли я добираюсь уже ошупью, и наваливается сон...

Ночью я просыпаюсь от нестерпимо колючей жажды: проклятая тушенка стала комом в горле, а в животе пламенеет пожар. В сарае — полный мрак, щедро озвученный могучими легкими Федора. Ощупью нахожу ведро: оно стоит на скамеечке слева от входа. Кружки нет, и я лакаю прямо из ведра, став на четвереньки.

Жажда была столь пугающа, что я, как выяснилось, отволоку ведро на брезент и оставил в ногах у Федора. Потом заполз на место и уснул мертвецким сном.

Не могу сказать, отчего я проснулся. Теперь мне кажется, что от грохота, криков, лая и холодной воды одновременно. В причинах этих была, конечно, своя последовательность, но тогда они разом обрушились на меня, я вскочил, кинулся к выходу, споткнулся о пустое ведро и лбом открыл дверь.

По сравнению с мраком в сарае на улице почти светло: огромная луница нагло уселась на коньке крыши, освещая голубоватую, уже остывшую землю. Крики и яростный лай не прекращаются и тогда, когда я, потирая лоб, поднимаюсь на ноги.

На площадке перед сараем топчутся, хрипя и ругаясь, пятеро парней. Полуголый Федор яростно отбивается от двоих сразу. На Славке разодрана рубашка, на одной ноге нет ботинка, а лицо залито кровью. Он дерется молча, задыхаясь и вяло отмахиваясь кулаками. Фишка носится вокруг, но никого не атакует, по собачьей простоте принимая все это за очередную глупую шутку.

Я драк не люблю, и по этой части опыта у меня мало. Просто мне как-то не очень понятно, зачем ребята чуть что сразу же лезут с кулаками. По-моему, всякое дело можно решить логически, без всяких завываний, хуков и ударов в солнечное сплетение. Дело от этого только выиграет, потому что, по моим наблюдениям, человек в драке глупеет и напроць забывает о той точке зрения, которой придерживался до начала потасовки. В школе у нас был кружок бокса и, говорят, неплохой, но я в него не записался. Я тогда занимался проблемой расселения полинезийцев.

Федор лихо отшвыривает одного из своих противников. Это здоровенный детина с челюстью, как у Щелкунчика. Он приземляется всей спиной сразу и некоторое время лежит без движения, а потом переворачивается на живот и медленно поднимается на ноги. Не выпрямляясь, шарит руками по земле и вдруг рывком бросается к Федору, подняв над головой узловатую дубину.

Я кидаюсь вперед. От волнения и страха я не бью, а всей тяжестью с разбега толкаю парня в бок. Он отлетает к стене сарая, а я падаю на него и что есть силы молочу

кулаками. Некоторое время мы ковыряемся на земле, а потом я каким-то чудом успеваю вскочить первым. Он поднимается следом, но ему уже некогда брать жердь. Некогда!.. Это последнее, что я успеваю сообразить, когда вдруг все озаряется передо мною дружелюбными фестивальными огнями и я лечу куда-то очень долго и совершенно не чувствую боли.

Мысли отсутствуют напрочь. Свет сужается до узкого коридора, в центре которого возвышается фигура моего врага. Чувства мгновенно атрофируются, и я теряю все болевые ощущения. Единственное, что я испытываю,— ненависть, жгучую, как серная кислота...

Потом я пытался подсчитать, сколько раз я летал на землю от кулака Щелкунчика. Это была явно двузначная цифра, но в нокаут он меня так и не послал, потому что я тут же вскакивал и вновь спешил получить очередную порцию. Зачем я так тогда торопился, этого я никогда объяснить не смогу. Просто махал кулаками и лез на рожон...

— Да очнись же, чудак!..

Это доходит, так как меня вдобавок трясут за плечи. По инерции я еще несколько раз тюкаю Федора в живот кулаками и выключаю двигатели.

Враг бежал, поле битвы осталось за нами. В рассветном тумане гулко разносится лай Фишки, преследующего противника. Судя по лаю, бой кончился не только-только, и, следовательно, последние две минуты я лупил Федора. Славка, скорчившись, сидит на земле. Голова разбита, а красивые волнистые волосы, которые он обычно расчесывает через каждые полчаса, залиты кровью.

— Генка, воды...— хрипит он.

Я бодро хватаю ведро и бегу к колодцу. Зачерпываю, не глядя, сколько набралось: сегодня мне не до насмешек. Федор отбирает ведро и поливает Славкину голову.

И тут я чувствую, что с коленями у меня происходит какая-то трясучка. Медленно опускаюсь на бревно, и боль вдруг наваливается на меня, словно только и ждала, когда я присяду. Болят лицо, голова, грудь, руки, живот — болит все, что способно болеть, даже волосы. Дыбом они вставали, что ли?..

— Генка, воды!..— это Федор.

— Не тронь его,— хрипит Славка.— Ему досталось не меньше нашего.

Федор идет к колодцу, а я удивляюсь настигшему меня приступу невесомости. Земная невесомость в отличие от космической имеет тенденцию к разделению тела на части: в то время как ноги наливаются ртутью, голова приобретает легкость и явно стремится ввысь. Словом, лечу я!..

Прихожу в себя, когда солнце светит вовсю. Я лежу в тени на брезенте, укутанный в два одеяла. Все у меня на месте, и закон всемирного тяготения вроде опять существует, но тело ломит так, будто я накануне слегка попал под грузовик.

— ...из армии вернулся. А я и не знал, что Верка до призыва с ним гуляла! Пошел, как телок на бойню...

Славка прерывает свой рассказ тихим и очень жизнерадостным смехом. Я выглядываю из-под одеял: мои наставники сидят на траве под полузасохшей березой. На расстеленной газете стоят бутылка, три стакана, нарезанная большими кусками нечищеная ставрида и обломки нашего давным-давно засохшего хлеба. Чуть в стороне — завернутая в телогрейку кастрюля, возле которой, пуская слюни, лежит Фишка.

— Захожу, а в избе полно ребят: дружки его. Выпивши уже здорово: бельма на меня выкатили. Ну, я сразу понял ситуацию и двинул в окно. Хорошо еще, дом современный — окна широкие. Ребята, конечно, за мной, но я рву вперед и пока лидирую, как Борзов на стометровке. Все-таки колом они меня пару раз по башке достали, но ноги я унес. Ботинок, правда, в речке утопил: жалко. Хороший был ботинок...

— Мало тебя, Славка, за баб, видно, били.

— Много! — радостно не соглашается Славка. — А что делать, если они меня любят? Разве женщине откажешь, Федя? Грубость это — женщине отказывать...

Он опять заливается беззаботным смехом. Он смеется всегда, в любых обстоятельствах, и за это ребята многое ему прощают.

— Давай быстрее, картошка стынет, — говорит Федор в ответ на мое «доброе утро», произнесенное довольно косноязычно по причине онемения нижней челюсти.

По этой же причине я и умываюсь весьма символически, так как проклятая челюсть не терпит, оказывается, никаких прикосновений. Осторожно промакиваю лицо полотенцем, о цвете которого лучше никогда не говорить маме, и, прихрамывая, подхожу к ребятам. При моем приближении на Славку нападает приступ смеха, но особенно всплескивать руками ему тоже не очень-то сладко. Он все время ойкает и хватается за разные места.

— В зеркало... В зеркало глянь!..

Федор серьезно подает мне зеркало. Да, портретик вполне модернистский: преобладают фиолетово-багровые тона...

— Выпей, — Федор разливает водку. — Сразу легче станет.

Оказывается, мне больно не только говорить, но и трести головой. Объединив то и другое, категорически отказываюсь.

— Дурак! — Славка искренне хочет, чтобы мне стало лучше. — Это же для лечения!

Лечение — порошки и пилюли. Ну, там, банки, компрессы, на крайний случай укол. А водка... Я бы сказал об этом ребятам, если бы мог, но шевелить челюстью выше моих сил. Я молча сажусь на траву и выбираю огромный ломоть ставриды: к счастью, аппетит мне не отбило... А рот не раскрывается. То есть раскрывается, но на такой крохотный кусочек, что туда ничего не всунешь. Вид, вероятно, у меня глупейший, потому что Славка от хохота не может проглотить свою водку.

— Есть хочешь? — спрашивает Федор.

Я осторожно — чуть-чуть! — наклоняю голову.

— Тогда придется выпить, брат, — улыбается Федор. — Водка боль снимет, поешь по-человечески.

Давясь, выцеживаю полстакана противной местной водки. В голове начинаются шум и звон, но челюсть действительно можно передвинуть и вверх и вниз, и боли почти нет. Сразу повеселел, наваливаюсь на ставриду, а тут Славка распаковывает кастрюлю, и горячий картофельный пар столбом поднимается в небо.

Интересно, что по поводу этого завтрака сказала бы моя мама?

2

Пыль вездесуща, как воздух: скрипит на зубах, жжет глаза, зудит на всем теле. Я убежден, что она выстлала мои внутренности тем же толстым бархатистым слоем, каким я покрыт снаружи.

Вторую неделю мы «мотаем километраж». Сторожевая служба кончилась, когда с завода вернулся вездеход. Мы приступили к нормальной посменной работе, но начальство приказало в кратчайший срок намотать двадцать пять тысяч километров. Техником-испытателем назначили Юрку Березина, интересы ОТК представляет Степан Смеляков, а командиром вездехода стал сам руководитель группы испытаний Лихоман.

Написать портрет с Лихомана очень сложно, потому что оперировать придется всего двумя красками: красной и оранжевой. Больше никаких оттенков Лихоман не отражает: он поглощает их, как голодный Федор тушенку. Оранжевой частью спектра наделила нашего командора природа-мать, красный — благоприобретение на тернистой стезе испытателя гусеничных машин. Дело в том, что при всем гвардейском

росте, любви к испытаниям и зычном голосе Лихоман не может ездить внутри вездехода. Его укачивает, как мало-кровную филологичку. Поэтому перед выездом мы укладываем наш чудо-брезент на передний надмоторный лист, и Лихоман возлежит там, как римский полководец. Говорят, что и зимой он путешествует на том же месте, только ребята дополнительно заворачивают его в тулуп.

Степан Смеляков, наоборот, возмутительно черен. Черен какой-то разбойной чернотой: не негритянской, не цыганской, а ночной. Плюс к этому он невероятно хитер и никогда не скажет ни «да», ни «нет», а всегда промычит так, что это мычание можно истолковать как угодно. Выбить из него подпись под каким-нибудь документом столь же сложно, как уговорить Фишку выкупаться в реке. Это обстоятельство стяжало Степану славу самого ценного работника отдела технического контроля.

По причине жары мы катаемся без тента. Лихоман лежит на брезенте и дремлет, когда дорога ровная, а машина работает нормально. Если Степан не за рычагами, он обычно сидит рядом, по-турецки скрестив ноги. Я и Славка болтаемся в пустом кузове — я стою на сиденье, чтобы все видеть; Славка либо глубокомысленно курит, либо ковыряется в походной рации: по совместительству он радист.

Юрка с нами не общается: он недавно кончил техникум и еще не привык к своему полувысшему образованию. Каждые десять минут он влезает на сиденье и через голову водителя заглядывает на щиток приборов. Это занимает в среднем минуту, остальные девять Юрка старательно записывает показания в журнал испытаний. Он очень аккуратен, степенен и важен, но все равно его никто не принимает всерьез.

Мы кочуем по пустынным, заброшенным проселкам, как моторизованные цыгане. Проселки часто упираются в речки или овраги; тогда вездеход останавливается, и все вылезает. Федор следует под мост изучать быки и стропила; Степан проходит на середину сооружения и начинает озабоченно топтать; Лихоман привычно окидывает взглядом окрестности, ища объезд. Мы с удовольствием разминаем затекшие ноги; Юрка, естественно, разминает их отдельно от нас.

Когда разведчики возвращаются, происходит следующий разговор.

— Выдержит, — бурчит Федор. — Сваи — во! В обхват.

— М-да... — вздыхает Степан. — Сваи — это точно. И настил...

— Там — укосины, — уточняет Федор.

— Укосины есть, — соглашается Степан. — Однако дерево.

— Ехать-то можно? — интересуется Славка.

— Можно.

— Кто его знает...

Лихоман молча переходит мост, на той стороне приседает, заглядывая под настил, и кричит:

— Давай в объезд!..

— А я говорю: можно!.. — орет Федор. — Чего мы там-то кувыркатся будем?.. Прошлый раз не послушали меня, а что вышло?

Прошлый раз мы сунулись в топь и потом часа четыре вытаскивали машину.

— А я говорю: давай!..

— А я говорю: опять в топь сунемся!..

— Да?..

— Я тебе говорю!..

Лихоман лезет под мост. Степан вздыхает:

— Баламут ты, Федор.

— Считаешь, мост не выдержит?

— Вообще-то... — Степан начинает прикуривать, и разговор обрывается.

Федор терпеливо ждет ответа, но спички у Степана гаснут ровно до того мгновения, пока из-под моста не появляется Лихоман:

— Давай, Федя, в мою голову!..

При такой команде мы не имеем права садиться в машину. Только водитель и техник-испытатель по долгу службы обязаны рисковать провалиться вместе с мостом. Юрке очень нравится эта особенность его должности. Он бросает на нас горделивый взгляд и небрежно говорит:

— Рискнем?

Мы переходим к Лихоману, а Федор осторожно вводит на шаткий мостик тяжелую машину. Приглушенно урчит мотор, шлепают о дерево гусеницы, а все сооружение немилосердно скрипит и раскачивается. Славка толкает меня:

— Гляди, Москвич, сваи-то, как ухваты, скрючились!..

Что-то зловеще трещит, но вездеход, победно рыча, уже выбирается на нашу сторону. Юрка воображает себя по меньшей мере Туром Хейердалом.

— Во-во, — говорит Степан. — Я же говорю: дерево. Оно кого хочешь выдержит. А объезд — дело ненадежное, Юлий Борисыч. Топь — это не для нас.

По деревням мы пролетаем с особенным шиком. Услышав рев нашего вездехода, наиболее сообразительные собаки забиваются в подворотни. Глупые, хрипя и страдая, скачут рядом, задыхаясь от злобы, страха, пыли и синих клубов газойля. Славка уверяет, что после такой пробежки они на

этом свете долго не заживутся, потому что стерпеть весь комплекс нашего страшилища могут только люди.

— Почему человек — царь природы, знаешь? Ты сейчас скажешь, что, мол, разум, дубину сделал да горшок из глины слепил? Чепуха: горшок и медведь слепить может, если захочет. Просто человек — самое терпеливое животное, вот и все. И дрессировать его куда проще, чем обезьяну. И все он стерпит, даже наш вездеход.

Я сомневаюсь. Но у Славки в запасе давно продуманный аргумент:

— Ты прикинь, что было бы со слонем, если бы его запихали в нашу коляску да помотали бы по проселкам полтысячи километров. Сдох бы тот слон как миленький. Откинул бы хобот, и вся игра...

Пока ребята высматривают место для обеденного привала и разводят костер, я иду в деревню за молоком и хлебом. Если покупок предполагается много, со мной идет Славка.

Я люблю эти походы. Люблю шлепать дырявыми кедами по нежнейшей пыли проселочных дорог и ждать, когда утихнет наконец застрявший в ушах грохот нашей колымаги. Через полчаса он идет на убыль, и сначала я слышу, как брякает пустое ведро, а потом — даже жаворонка в белесом от зноя небе... Впрочем, чаще мы ходим со Славкой, и поэтому вместо жаворонков я слышу его:

— ...если бы не было ледникового периода, не видать бы нам телевизоров, как своих ушей. Максимум, до чего бы доперло человечество, так это валить мамонта с одного удара. Соображаешь, почему?

Соображаю я туго, но, надеюсь, не от природы. Кроме того, на этот вопрос можно не отвечать: Славка все равно доскажет свою гипотезу до конца.

Он излагает новые гипотезы в среднем раз в три дня. Он вычитывает их в «Науке и жизни», «Технике — молодежи», «Знании — силе», «Вокруг света» и еще каких-то журналах. Журналы эти Славка покупает в букинистическом магазине оптом за весь год — не потому, что это дешевле, а по нетерпеливости характера. У него солидные знакомства в среде букинистов, где и оседает львиная доля Славкиной зарплаты. Начитавшись статей, он перемешивает их в своей голове и выдает порциями.

— Три причины. Во-первых, возникшие трудности в смысле жратвы заставили наших предков соображать насчет завтрашнего дня. Во-вторых, мерзнуть они стали, а холод последнего дурака заставит о шубе подумать. Шить начали, кроить, короче — заниматься начертательной геометрией. Опять же в холод без кипятку не проживешь, значит, хочешь

не хочешь, а физику познавать пришлось. Но самое главное — пункт третий: лед. Лед вошел в соприкосновение с человеком, и начал этот человек пить талую воду. А известно, что в талой воде дейтерия почти нет, и, следовательно, нет биологического тормоза для дальнейшего развития.

Он смотрит на меня победоносно, но мне лень реагировать. Жарко. Тело ломит от накопившейся за много дней усталости. Лицо стянуло от постоянного встречного ветра. Даже губы стали твердыми: их трудно растянуть в улыбку без того, чтобы не треснула кожа.

— Талая вода — сила, — бубнит Славка. — Если пить ее каждый день по два стакана...

Что будет, если пить талую воду каждый день по два стакана, я так и не узнаю, потому что Славка вдруг замолкает и достает расческу: за поворотом виднеются первые дома деревни.

Я не приспособлен для хождений по магазинам: вероятно, родители допустили какой-то пробел в моем воспитании. Очередь в десять человек всю жизнь приводила меня в уныние — я сразу же поворачивал домой и объявлял маме, что указанного продукта в магазине нет и быть не может. Мама вздыхала и сама шла на розыски.

Сейчас ситуация изменилась не в смысле очередей, а в смысле отсутствия мамы. Славку я считаю специалистом по молоку: ему очень нравится шляться из дома в дом, болтать с хозяйками и торговаться. Почему-то я всегда нарываюсь на очереди. В сельпо они носят принципиально другой характер: они добродушнее, короче и медлительнее городских и возникают не в силу товарного дефицита, а по причине старых знакомств и родственных отношений.

— Клавка моя письмо прислала. Пишет: посылают мужа в Африку.

— Ну?... — удивляется продавщица. — А сама-то поедет?

— Не решается. Жарища там, говорит, и картошки нигде не купишь.

Письмо переключивает за прилавок. Продавщица вытирает руки и достает из конверта два мелко исписанных листка.

— Вслух читай!.. — требует очередь.

— «Здравствуйте, дорогие мама, брат Валерий и сестра Тоня...»

Торговля прекращается. Очередь слушает обстоятельное письмо далекой Клавки, спрашивающей, ехать ли ей с мужем в Гвинею или отпустить его одного. Стоящий впереди меня бородатый мужик на скрипучем протезе закуривает, пряча папиросу в огнеупорную ладонь.

— Нет, мужа одного в Африку отправлять — непорядок, — басит он в паузу. — Негритянки тоже, знаешь, не дуры. Пляшут-то как, видала? Срамота, а он мужик видный и со специальностью.

— С них подписку берут, — говорит продавщица. — Чтоб ни-ни и не знакомились.

— Подписку... — ворчит мужик. — С подпиской спать не ляжешь...

Я тихо злюсь: голодные, усталые ребята ждут свежего хлеба. Злюсь и глупо торчу в замершей очереди. Все-таки если не телепатия, то какая-то чертовщина существует. Иначе как объяснить, почему я вдруг оглядываюсь?

Оглядываюсь и мгновенно гложу: в дверях стоит девчонка. Худенькая, с небрежно взбитой прической, в легком, явно городского покроя платье. Видно, влетела с разгону и не может со света понять, что за собрание происходит в полутемном магазине.

Это она, та, что танцевала на берегу. Правда, танцевала она на расстоянии добрых сорока километров отсюда, но это неважно. В конце концов география — наука не точная.

Девчонка сталкивается со мной взглядом. Это, конечно, глупо, но с пятнадцати лет я утратил способность играть с девчонками в гляделки. А на этот раз я задерживаю взгляд чуть дольше и успеваю заметить, как сердито съеживаются ее выгоревшие бровки. Девчонка вздергивает нос и стремительно вылетает из магазина, парашютом раздув широкое платье.

— «...у Наташеньки зубки режутся, и она тянет все в рот, — читает тем временем продавщица. — В наших краях и то врачи велют на это внимание обращать, а какую дрянь она в той Африке потянет, так это и представить себе невозможно...»

На крыльце громко звякает крышка, и в сельпо появляется Славка.

— Чего застрял?

— Очередь, — шепотом поясняю я.

— Очередь, очередь... — ворчит он и начинает медленно пробираться к прилавку. — Гвинея-Бисау!.. — вдруг громко объявляет он. — Знакомое местечко.

Очередь дружно поворачивается к Славке. Продавщица прекращает чтение.

— Здравствуйте, — весело говорит Славка, оттерев плечом какую-то пригорюнившуюся старушку. — Год в Судане инструктором работал. Как раз на границе с Гвинеей: мы туда за кока-колой по воскресеньям бегали.

Насколько я помню, Судан никак не соприкасается с

Гвинеей, но очередь, видимо, помнит географию еще хуже меня. Все смотрят Славке в рот.

— Жара кошмарная. Ну, конечно, змеи там, скорпионы, мухи цеце. Но вообще-то ничего, привыкаешь. Кто едет-то?

— Дочь,— всхлипывает стоящая впереди.— С детишками...

— Перебьются,— твердо говорит Славка.— Советую черных сухарей насыпать мешка четыре: хлеба там нет.

— Совсем нет? — поражается мужик на протезе.

— Ни крошки,— авторитетно заявляет Славка.— Кстати, а у вас-то хлеб свежий?

— Свежий.

— Ну, отпустите нам пока килограммов десять. Генка, давай мешок. Да, так насчет Гвинееи...

Через три минуты мы выходим из сельпо. Я волоку мешок с теплым хлебом. Славку провожают благодарственными возгласами и приглашениями погостить. На крыльце я останавливаюсь: нет, девчонки не видно. Что за чертовщина?..

— Давай мешок,— ворчит Славка.— Давай мне мешок, а сам попрешь молоко. Что ты головой вертишь?

— Шея онемела,— говорю я, беру ведро с молоком, и мы неторопливо идем по щедро усыпанной коровьими лепешками деревенской улице.

— Ну, и народ — наши славяне! — вдруг смеется Славка.— Чем хлеще врешь, тем больше верят...

А я не слушаю его. Я гляжу через плетень: у крыльца стоит она, та самая. Значит, не чертовщина, значит, она действительно существует!.. Я набираю полную грудь воздуха и начинаю очень громко петь:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо...

Кажется, она смотрит в мою сторону!..

Пусть всегда будет мама...

— Чего ты разорался? — удивляется Славка.— Мама ему понадобилась!

Она не только смотрит, она быстро идет к калитке, открывает ее и выходит на улицу. Значит, она — это она, та, что танцевала...

— Славка, бежим!..— кричу я, наступаю на свежую коровью лепешку, поскользываюсь и с ног до головы обдаюсь прохладным, отстоявшимся в погребе молоком...

Славка корчитя. Смеется девчонка, смеется какая-то женщина. А я весь мокрый и весь перемазанный. Видно,

встал не сразу, а побарахтался, ища ускользавшую точку опоры.

У Славки судороги от хохота. Он абсолютно лишился дара речи, а только показывает на меня пальцем:

— Ва... ва... ва...

Я брожу по молочной луже и никак не могу отыскать ведро. Не раздавил же я его, в конце концов!..

— Вот ведро! — кричит девчонка, давясь смехом. — Ты его за плетень забросил!..

Я молча поднимаю слегка погнутое ведро. Штаны, рубашка и кеды промокли насквозь и стали противно жирными: наверно, со стороны я похож на осеннего сома, сонного и жирного. Мне бы следовало подобрать ведро и уносить отсюда ноги, а я начинаю выпрямлять его на коленке.

— Балет!.. — выдавливает наконец Славка.

Я молча гну ведро в трех шагах от девчонки и чувствую, как от меня пахнет коровой.

— Иди умойся, — говорит она. — Волосы у тебя слиплись.

Я прекращаю попытки придать ведру прежнюю форму и, не поднимая головы, иду к мешку. Подхватываю его и вдруг замираю.

Вокруг слышится гнусное жужжание: зеленые толстые мухи нагло атакуют мои штаны. Славка отбирает мешок:

— Ты рассадник! Я с тобой и шагу не сделаю!..

Потом мы оказываемся во дворе. Я остаюсь в одних плавках, и Славка поливает мне из бадьи колодезной водой. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заорать, и все время лихорадочно ловлю ускользающий брусок колючего мыла. Девчонка стоит рядом и командует:

— Намыль голову еще раз. Уши забыл. Локти грязные.

— Сохни, — говорит Славка, обдав меня последней двухведерной порцией. Он берет ведро, к которому теперь никак не подходит крышка, и опять идет за молоком. Я стираю свое барахлишко в долбленной колоде. Девчонка сидит на срубе колодца и болтает ногами.

— А ты кто? — спрашивает она.

— Испытатель, — к сожалению, обстоятельства не позволяют вложить в это слово достойную долю гордости. — Вездехонд гоняем на гарантийный километраж.

— Эта такая вонючая машина?

— Почему вонючая?.. — уныло обижаюсь я.

— Не знаю почему. Вероятно, такую сделали. А сам откуда?

— Из Москвы.

Некоторое время она молчит. Потом объявляет:

— Смешно.

— Почему?

— Потому что я тоже из Москвы. Я в гости к бабушке приехала.

Сердце мое чуть бултыхнулось, но я все-таки спросил:

— Это бабушкин дом?

— Нет, это тетин. Бабушка далеко отсюда, в Бруснятах. Там, где ты за мной подглядывал.

Я мучительно краснею. Просто чувствую, как наливаюсь кровью.

— Я не подглядывал...

— Врешь, подглядывал, я тебя по голосу узнала; очень уж ты противно поешь. И вышла специально, чтобы сказать, что подглядывать подло. — Девчонка слезает с колодца, отряхивает платье и идет в дом. — Мыло не стщи.

Я собираю в охапку свои вещички, взваливаю на спину мешок с хлебом и в одних плавках выхожу на улицу. Выбираюсь из деревни и раскладываю на обочине одежду. Потом ложусь на живот в горячую пыльную траву. Горько, но справедливостью на свете и не пахнет. Я же действительно не подглядывал, я же случайно влип в эту историю, я же жертва, я не преступник. Наоборот, я нарочно заорал тогда, но как это ей докажешь? И вообще в этой девчонке, как выяснилось, ничего нет — только что розовой казалась, ну, так это просто оптический обман, разложение белого цвета на составляющие. Между прочим, черный цвет честнее белого: он ни на что не разлагается, а обладает собственным характером. Вот если бы мы видели черными лучами, а не белыми, так эта девчонка никогда бы не показалась мне розовой, а была бы такой, какая есть...

Весь день ребята потешаются надо мной, Юрка просто отвратительно смеется, и поэтому я очень на него злюсь. Если человек попал в смешное положение, над ним можно немного повеселиться, но зачем же элементарно тыкать пальцем и гоготать?

Возмездие наступает вечером. Впрочем, судьба перестаралась, и нам было совсем не до смеха.

Ежедневно с семи до девяти у нас урок вождения. Лихоман выбирает укромное местечко, и мы по очереди садимся за рычаги. Обычно машина ходит по кругу, и поэтому все, кому надоело трястись, слезают на землю. Остаются ученики — я и Юрка — и инструктор: Федор или Степан.

Сегодня инструктором Степан, а это значит, что замечаний будет в девять раз больше. Степан очень придирчив и дотошен:

— Носком дави на газ, носком!..

— Я знаю, — огрызается Юрка.

— Рычагами не дергай: не грабли.

— Знаю! — злится Юрка, во всем усматривая унижение своего среднего технического образования.

— Говорю, рычагами не дергай!..

Машина рыскает, как ищейка. Я болтаюсь на надмоторном листе, то приваливаясь к Степану, то откатываясь к правому борту. Мотор воев в такт дерганьям: у Юрки какая-то странная взаимосвязь между конечностями, и он не может не шевелить рукой, если двигает ногой. Это очень раздражает Степана:

— Что ты все дрыгаешься?

— Сам знаю! — привычно парирует Юрка, а машина по-прежнему выписывает вензеля.

Мы учимся на широченной полосе отчуждения высоковольтной линии. Полевая дорога петляет между опор, и Степан все время направляет Юрку подальше от них. Линия, наверно, не очень мощная, потому что опоры деревянные. Тысяч шесть вольт, не больше.

— Левый рычаг, левый!.. Левый!..

Бац!.. Машина с ходу бьет носом в опору. Столб трещит, провода раскачиваются, с них пригоршнями сыплются искры, а перед моим носом вдруг мелькают рыжие сапоги Степана.

Тишина, только мелодично позванивают медные провода. Подрубленный столб наклонился в нашу сторону, и непонятно, почему он до сих пор не падает. Степана рядом нет, а из люка водителя торчит Юркина голова.

— Где Смеляков?

— Не знаю.— Я гляжу, как над головой, сверкая на солнце, раскачивается толстый провод.— Как ты в столб угодил?

— Левый тормоз не держит,— говорит Юрка.— Я тяну, а он не схватывает.

— Не схватывает!..— кричит невесть откуда появившийся Степан.— Тебя бы так схватывало, раззява! А ну, вылазь из машины к...

Грудь, ноги и живот его в желтой пыли. Поскольку наши наряды всегда пропитаны маслом, пыль эта пристает раз и на всю жизнь.

— Вылазь!..

Юрка молча выбирается из машины. Степан с опаской подходит к столбу и, задрав голову, изучает его. Я слезаю и тоже задираю голову.

— На чем держится, а?

— На машине,— говорю я.— Видишь, провода не натянуты.

— Повезло,— вздыхает Степан.— Шесть тыщ — это тебе

не шутка. Упади провод на машину — было бы в ней три головешки.

— Две, — уточняю я. — Ты сиганул, как Володя Яценко.

— А я, брат, ученый. Отойди-ка...

Он осторожно, как к раскаленному, прикасается к наклонившемуся столбу. Юрка стоит в стороне, ковыряя носком ботинка рыжую траву. Осмелев, Степан дергает столб:

— Держится.

— Отъедем — упадет.

— Да-а... — Степан закуривает. Обстоятельства требуют решения, и это сильно беспокоит его. Ну-ка, техник, ноги в руки и рысью к Юлию Борисычу.

Юрка на этот раз слушается. Мы садимся на жесткую траву поодаль от машины. Степан никак не может успокоиться.

— Дурак чертов! Устроил бы головешки из людей. Закуривай.

— Я не курю.

— Ну?.. — приятно поражается Степан. — Это хорошо, что не куришь. Здоровье, значит, экономишь. А его, известно, на базаре не купишь...

Тут он начинает толковать про одышку, отсутствие аппетита и плохой сон. Все это он увязывает с курением, но, по моим наблюдениям, курение на него пока еще никак не действует, потому что спит Степан, как сурок, а ест за троих. Но Смеляков очень любит жаловаться:

— Бок болит. Как вертанешься влево, ну, прямо ножом...

— А ты не вертись влево.

— Дурак! — сердится Степан. — А еще докторский сын. Это же противоестественно, когда колет. Это же — явление ненормальное.

Насчет ненормальных явлений он дока, если эти явления происходят с машиной. Даже всезнающий, опытнейший водитель Федор не слышит и десятой доли тех нюансов, которые улавливает Степан своим большим, заросшим буйным цыганским волосом ухом: «А смазочку-то в планетарке менять надо, Федя». «Да я же менял! На прошлом техосмотре...» «Шестерни приработку кончили. Слышишь, как поют? Как Уральский хор «Рябинушку».

К машине быстро идут Лихоман, Федор и Славка. Сзади уныло плетется Юрка.

— Лихо ты в него врезал!.. — искренне восторгается Славка, разглядывая созданную Юркой конструкцию.

— Я ему кричу: левый, мол, левый!.. — поспешно и маловразумительно докладывает Степан. — А он...

— Знаю. Не зудит, — сквозь зубы говорит Лихоман, с силой раскачивая столб. — Шлем!..

Юрка поспешно срывает с головы шлемофон. Лихоман зло натягивает его, зачем-то застегивает под подбородком.

— Юлий Борисыч...— начинает Федор.

— Молчать!..

Черт возьми, мне это нравится! Именно таким металлом звенел, вероятно, голос зампотеха батальона Лихомана тридцать лет назад. Именно так, непререкаемо и резко:

— Всем отойти!..

Мы отходим молча, и это тоже ново, потому что до сих пор ни одно распоряжение еще не выполнялось без ворчливых комментариев. Лихоман лезет в люк, опускает сиденье водителя. Некоторое время он ковыряется там, потом по плечи высовывается наружу:

— Генка!..

Почему-то он выбрал меня. Выбрал разделить с ним смертельный риск и неминуемую славу. Сердце мое сладко ноет, пока я бегу к машине.

— Опустит люк. Поплотнее и без стука.

Только и всего. Я опускаю люк, возвращаюсь к ребятам. Все молча курят, не отрывая глаз от запечатанной наглухо машины.

Ревет мотор. Чуть звякают шестерни включенной передачи. Гул мотора падает, потом начинает медленно нарастать. Машина вздрагивает. Мы смотрим на провода. Раскачиваясь, они нестерпимо сверкают в заходящем солнце. Вездеход отползает почти незаметно, почти неуловимо для глаза, но просвета между ним и столбом все нет и нет, а это значит, что столб наклоняется. Федор, присев, напряженно ловит этот просвет.

— Есть!..— торжествующе кричит он.— Держится, Борисыч! Давай!

Лихоман увеличивает обороты. Все быстрее и быстрее отползает машина. Столб держится.

Резкий рывок, красивый разворот — на одной гусенице при точно дозированных оборотах мотора: предел моей водительской мечты. Со стуком откидывается люк. Лихоман вылезает, снимает шлем; кирпичная физиономия его краснее обычного на пять тонов.

— Пойдешь в деревню, скажешь, чтобы выключили напряжение,— говорит он Юрке.

Притихший Юрка уходит в деревню. Мы отгоняем машину в укромное место, расстилаем брезент. Степан, Федор и Славка шушукаются, вытаскивают из карманов смятые рубли. Потом Славка причесывается и следом за Юркой топают в деревню, а я иду за хворостом. Федор разводит ко-

стер. Степан, бормоча какие-то заклинания, варит картошку. Я бегаю за водой, мою посуду, таскаю хворост. Все происходит сегодня в полной тишине, потому что Лихоман молча лежит на брезенте.

Славка приносит водку. Степан наливает кружку, Федор держит наготове расплосованный надвое огурец и густо посыпанную солью горбушку.

— Борисыч! — торжественно провозглашает Степан.

— Ну?

— Выпей и, того, не журись. Починят они этот столб, чтоб он сгнил!..

Лихоман садится, берет кружку:

— Ну, за тех, кто в поле!

— За тех, кто в поле, Юлий Борисыч!..

Лихоман сквозь зубы цедит омерзительную жидкость, которую здесь гонят, по-моему, из квашеных калаш. Вторым пьет Степан. Он ревниво следит за Славкой:

— Еще чуть. Хорош... Ну, чтоб погода не подвела.

Федор выпивает молча. Славка произносит стандартное «будем здоровы», и Степан снимает с костра картошку, залитую тушенкой. Мы по очереди лазаем в ведро личными ложками и жуем, пока тишину не нарушает скрип ложек о дно. Тогда все откидываются на брезент и закуривают, а я начинаю мыть посуду.

— А ты зачем шлем надевал, Борисыч? — вдруг спрашивает Федор.

— Черт его знает. Вроде изоляция, — неуверенно говорит Лихоман. — Рукоятки у рычагов резиновые, прокладка на люке тоже. Если бы провод упал, все-таки, знаешь, шанс.

— Самообман это, а не шанс, — ворчит Федор. — Во-первых, напряжение большое, а во-вторых, днище-то все равно — металл.

Лихоман смеется:

— Точно, Федя!.. Знаешь, об этом не думалось...

Где-то в темноте, за светлым кругом костра, ржет лошадь. Все замолкают, прислушиваются. Нет, показалось...

— А вот мне монтер рассказывал — не знаю, может, врал... — начинает Степан.

К костру неслышно подходит Юрка:

— Юлий Борисыч, они акт требуют.

— Кто?

— Да председатель...

— Кретин! — бросает Лихоман и уходит в темноту — туда, где тепло и мирно вздыхает лошадь.

Мы молчим. Юрка виновато гроыхает ведром:

— Пожрать-то оставили?

— В миске,— говорит Славка.— Так что ты там насчет монтера?..

— А-а...— Степан садится: он не умеет рассказывать лежа.— Стало быть, вызывают его на линию — он линейным монтером работал.

— Геннадий!..— официально орет командор.— Садись. Поедешь со мной.

Мы залезаем в телегу. На передке возвышаются две фигуры, а мы усаживаемся сзади.

— Просил же я вас, Юлий Борисыч, звать меня просто Генкой. Поверьте, это не от инфантильности...

— Ладно,— обрывает Лихоман.— Напишешь объяснение, как это случилось. Вали все на ПМП.

ПМП? Планетарный механизм поворота?.. Какое же тут ПМП, когда во всем виновато Юркино упрямство? Если бы он слушал Степана... Я не выдерживаю:

— Юлий Борисыч, а при чем здесь ПМП? Это же Юрка...

— Вали все на ПМП,— чуть резче говорит он и, нахлывшись, замолкает.

Поскрипывает телега, о чем-то шепчутся фигуры в передке, неприступно молчит Лихоман, а я ничего не понимаю. Я же знаю, что Лихоман никогда не врет, какой бы горькой ни была правда. Знаю по рассказам ребят, по личному опыту, по интуиции, наконец, поскольку она существует. И вдруг — простое дело и... Я искоса поглядываю на начальство, нарочно громко вздыхаю, верчусь, но командор недвижим, как монумент.

— Юлий Борисыч...

— Ты зачем сюда приехал?

— Как? — растерянно переспрашиваю я.— То есть я хотел...

— Без трепана,— строго предупреждает Лихоман.— Врать сложнее, чем говорить правду.

Я молчу, собираясь с духом. Сейчас соберусь и все выложу. И про папу, который и вправду был врачом, да только сгинул бог весть когда. И про маму, которая из-за него, меня и Наташки так и не кончила институт и тянула нас на зарплату медицинской сестры да приработок от уколов, компрессов, банок и прочих процедур на дому. И про себя, который ехал зарабатывать деньги Наташке на ВГИК, а сюда попал из-за шоколадных глаз.

— Мода — всегда пошлость, потому что предусматривает обезличку,— не дождавшись, говорит Лихоман.— А мода на социальную принадлежность — пошлость в квадрате. Ты же из другой, элитной группы, тебя ничто не связывает с молотком и зубилом. Ничего, кроме лозунгов, моды и желаний

взлететь на волне. Следовательно, ты приехал сюда зарабатывать биографию. Так или не так?

— Не так,— говорю я.— Мне не справка нужна и даже не профессия, мне... Как бы объяснить? Уверенность, что ли...

— Рабочему легче сохранить внутреннюю гармонию.— Лихоман, как видно, и не нуждается в моих ответах.— Делай честно, что поручено, и тебе не придется ни ловчить, ни хитрить, ни изворачиваться. Рабочий свободнее всех, потому что у него нет подчиненных. И в этом его сила. Если так, то я тебя понимаю и приветствую, только не задавай мне никаких вопросов и вали все на планетарный механизм поворота.

Я неожиданно прозреваю, в голове образуется некий просвет, и в этом просвете я отчетливо вижу Юрку. Унылого пижона Юрку, с видом побитой собаки громыхающего пустым ведром: «Пожрать-то оставили?..» И как это я раньше не сообразил, что огненный Лихоман выручает его?!

Я с обожанием гляжу на рыжего командора. Есть валить все на планетарный механизм поворота, дорогой Юлий Борисыч! Полевое братство дороже истины!

Потом мы оказываемся в большой неуютной комнате, стены которой сплошь увешаны плакатами. Трое сумрачно настроенных мужчин уныло перечисляют наши грехи: поправки, разрушенные мосты, передавленных кур и какую-то сожженную скирду сена. Столб выплывает в конце, но Лихоман вцепляется в него хваткой утопающего и решительно отменяет все остальное. Глубокой ночью мы наконец приходим к соглашению, смысл которого до меня так и не доходит. Лихоман скрепляет сделку рукопожатием и уходит на почту, а я пишу акт.

Спать хочется до боли. Я изо всех сил таращу глаза и медленно ползаю пером по бумаге, напрочь забывая начала фраз. Но про ПМП я помню и, согласно директиве, все валю на него: если бы наш главный конструктор прочитал этот документ, его бы хватил удар. В полусне на меня снизошло вдохновение, и я предал ни в чем не повинный агрегат зловещей анафеме.

— Пе-эм-пе,— угрюмый мужчина в выцветшей рубашке разбирает мои довольно игривые строчки.— Шифр, что ли?

— Шифр.— Я мужественно проглатываю зевок.— Где мой начальник?

Второй угрюмый ведет меня по спящей деревне. Ноги заплетаются, я с наслаждением рухнул бы сейчас в крапиву.

На почте за украшенным чернильными пятнами столом

клюет носом девица в платке поверх накрученных бигуди. А у телефона мается Лихоман — кричит, надувая жилы, приседает, раскачивается и чуть ли не ныряет под стол:

— Что?.. Не слышу!.. Ни черта не слышу!.. Я говорю: ПМП!.. Планетарка барахлит, черт бы ее побрал!.. Планетарка!.. Тьфу, господи... Планет...

Ага, значит, во имя спасения бестолкового Юрки Лихоман врет самому главному. Разбудил в два часа ночи и громко врет по телефону:

— Что?.. По складам!.. По складам прошу, не слышу!.. Выезжать? На базу?.. Понял!.. Понял, говорю!.. Утром буду на базе!..

Он с треском вешает трубку и вытирает платком мокрое лицо.

— Поговорили? — сонно интересуется девица.

— Поговорили, — мрачно кивает Лихоман. — Министру бы в кабинет ваш телефончик...

Я ловлю его озабоченный взгляд и торопливо докладываю, что написал.

— Хорошо. Копию взял? Нет? Ладно, сам возьму. Крой, Генка, к нашим, скажи, чтоб собирались...

И вот я иду обратно по смутно белеющей полевой дороге. Луны нет, но, если присесть, видны темные полосы ячменя и четкие силуэты опор высоковольтной линии передачи. Чуть светлеет горизонт.

Я иду и улыбаюсь, потому что меня всю жизнь звали домой, как только начинало смеркаться. А теперь я шагаю по проселку, и кругом — глухомань, и ночь, и звезды, и прохладная пыль под ногами. Ау, мама! Жизнь вносит известные коррективы в твоё воспитание, но мне хорошо. Мне дьявольски хорошо живется, мама!..

3

— Ну, рассказывай, как дела? Как живешь, как устроился? Не жалеешь, что приехал сюда?

Я гляжу в ее шоколадные глаза и молчу, как сундук. Только улыбаюсь. До того деру рот, что начинает болеть за ушами.

— Почему ты молчишь? Не нравится?

— Нравится...

Я слышу свой голос со стороны: лохматый такой голос, неотутюженный. И вообще я словно вылез из самого себя и сию поодаль. И вижу удивительную, необыкновенную женщину, а против нее — худого, рукастого долдона в грязной

ковбойке без пуговиц. Его кидает то в синеву, то в зарево, язык не ворочается, ногти грязные, дурак дураком, и уши холодные.

А она аккуратна, прекрасна и уверена в себе, как богиня. Тугой свитер без единой морщинки обтягивает грудь. Эта грудь все время то поднимается, то опускается, и я вдруг делаю открытие: о н и дышат совсем не так, как мы. «Грудь ее вздымалась от волнения...» Теперь я понимаю, что это значит.

— А чего глаза прячешь?

Вот оттого-то и прячу. О, черт возьми, кажется, мне пора жениться...

Главное, что все случается вдруг, без всякой подготовки. В кино как-то по-другому: завязка, развязка, все ясно и логично. А вот в жизни...

Мы прибыли утром: петухи в Бруснятах с перепугу недокукарекали, но Фишка примчался в ту же секунду. Лихоман пошел в дом, а мы занимались машиной. Пока ее установили, пока проверили горячее, из дома повысыпала целая орава конструкторов. Всем страшно некогда, все чего-то требуют, и гвалт кончается тем, что нам предлагается дефектовать гусеницы.

— Добро,— говорит Федор.— Подписывайте наряд на сверхурочные.

Подписывать никто не хочет. Ведущий по ходовой части, румяный, как девушка, Виталий Павлович произносит короткую речь об энтузиазме, и я выволакиваю кувалду. Однако Федор отбирает ее и аккуратно кладет на траву:

— Не спеши, Генка.

— Вы срываете план! — кричит ведущий.— Юлий Борисович, прикажите своим работникам...

— Деньги на бочку, Витенька,— улыбается Лихоман.— И разметаем тебе гусеницы в лучшем виде.

— Но я же специально приехал...

— У экипажа выходной.

— Сверхурочные,— басит Федор.— Будут сверхурочные — проведем дефектовку, нет — подождем до завтра.

— Но, товарищи, я вас прошу!..— Виталий Павлович умоляюще прижимает руки к груди.— Ведь это же так важно, поймите, товарищи! Вездеход ждут в Антарктиде, в пустынях Монголии, на Крайнем Севере. Мы делаем государственное дело, товарищи!..

Он говорит так проникновенно, что мне делается стыдно за ребят. Крохоборы чертовы!..

— Правильно!..— кричу я.— Не хотят — не надо! Мы с вами, Виталий Павлович, вдвоем...

— Па-ачему машина грязная?! — вдруг бешено орет Лихоман. — Слесарь, а ну — тряпку в руки и марш! Выдраить до блеска от кормы до носа. Лично проверю!..

Я съезживаюсь от львиного рыка командора. Хватаю ведро, со всех ног бегу к колодцу.

Когда возвращаюсь, все уже уходит в дом. Только Юрка сверяет записи в журнале с показанием спидометра.

— Нарвался? — ядовито интересуется он.

Я молча скребу машину. Окатываю водой, снова бегу к колодцу, тру, окатываю и опять бегу за водой. Вездеход грязен, как мартовский кот.

— Давай тряпку.

Оглядываюсь: Славка. Притащил два ведра воды, драит борта. Я не выражаю восторга только потому, что это считается у нас дурным тоном: подумаешь, помог! Вот если бы не помог, тогда следовало пошуметь... Четверть часа мы добросовестно сопим. Потом Славка не выдерживает:

— Ловко ты дурачком прикидываешься.

— Почему?

— Талант, наверно.

— Нет, почему дурачком?

— Потому что здесь не комсомольский субботник.

Я запаздываю с аргументом: приходится делать вид, что не хватило воды. Пока иду к колодцу и обратно, сочиняю.

— Славка, но ведь есть же долг перед обществом? Есть?

— А кого считать обществом? Виталия? Группу ходовой части? Конструкторский отдел? Ну, так этому обществу мы ничего не должны. А если выше берешь, так и наше дело выше поставь. Вот тогда можно и про деньги забыть.

Я смутно улавливаю смысл его речи, хотя понимаю, что он прав. Но есть моральная сторона:

— Нехорошо быть алчным.

— Попугай ты! — кричит Славка. — Вызубрил слова и бормочешь без смысла. Тебе-то что, маменькин сын, а у Федора — семья, дети, мать беспомощная.

Семья?.. Об этом я никогда не думал. Я воспринимаю Федора как товарища, а у моего товарища никакой семьи быть не может. Но между нами разница почти в двадцать лет. Двадцать!.. Целое поколение.

— Славка, получается, что он — из отцов, а мы — из детей.

— Кто — он?

— Федор.

— А-а... Ну, и что?

— А мы на «ты»: Федор, иди жрать.

— Так мы же на работе, Генка. Тут не до этого.

— Я на него еще блох напустил...

— Каких блох?

Славкина тряпка замирает в воздухе, а я готов откусить себе язык. Нет, смеяться над Федором больше нельзя. Никак нельзя!

— Это в переносном смысле. Конфликта, значит, нет.

— Какого конфликта?

— поколений. Отцы и дети.

Славка подозрительно смотрит на меня.

— Болтун ты, Москвич...

Мы в последний раз окатываем машину и протираем насухо тряпками. Разгибаем затекшие спины и любуемся работой. Славка курит, сидя на перевернутом ведре.

— Знаешь, почему нет конфликта? — вдруг спрашивает он. — Потому что нет разницы. Соображаешь?

Я не соображаю. Вообще Славкины сентенции — по ту сторону нормального соображения: он мыслит зигзагом.

— Нет между нами разницы ни с какой стороны. И возраст поэтому тут ни при чем. Нету его у нас, возраста. Вообще нету.

Из дома выходит довольный Федор:

— Порядок, ребята: выходного не будет!..

Продефектовать гусеницу — значит разбить ее на траки, выпрессовать резиновые втулки — сайлентблоки, промыть в газойле, протереть и аккуратной стопкой сложить возле Виталия Павловича. Он старательно измерит все сочленения, сверится с технологическими картами и установит износ.

Кувалды летают в руках: вверх — удар, вверх — удар. Через полчаса уже не помнишь, хорошо ли ты позавтракал. Через час — ощущаешь голод. Через два — мечтаешь о могучем обеде. Чтоб мясо — кусищами, а хлеб — ломтями.

А потом все выветривается, даже голод. Полупудовая кувалда уже не просто восемь килограммов: восемнадцать. Двадцать восемь. Восемьдесят. Откуда берутся силы?.. Черт их знает, откуда. От предков, наверно. Они тоже хорошо вкалывали — и на князей и на Золотую Орду. Значит, передали и мне кое-что. А то бы опозорился. Упал бы мордой в траву — и обедом не подняли бы...

— Генка, с оттяжкой бей!.. Спишь?

Огрызаться нет сил. Пот заливает глаза. Во рту пересохло. Колени противно дрожат и подгибаются. Господи, хоть бы сломалось что!..

— С оттяжкой, Генка!..

Ну, почему я не студент? Слушал бы лекции, горланил в «Молодежном», провожал бы девчонок до последнего поезда метро. Даже на картошку с удовольствием бы ездил.

Первым. Абсолютно добровольно. «Вы студент, конечно?» «Безусловно. Будущий инженер или кандидат...» Звучит? Звучит. Не то что специалист по кувалде...

— Стоп!..

Швыряю кувалду в траву, падаю рядом. Сердце колотится уже где-то в горле: еще минута, и я свободно мог бы его пожевать...

— Гости,— ворчит Степан.— Главного нелегкая принесла.

И хорошо, что принесла. Вобремя...

Против меня разворачивается заводской «газик». Лихоман и конструкторская орава идут к нему. Ребята отступают к вездеходу: начальство — это не для нас.

— Здравствуйте, испытатели!..

Грузная фигура с усилием вытискивается из машины. А с заднего сиденья вдруг выпархивает некто в свитере и брючках:

— Привет, коллеги!..

Лихоман круто поворачивается к нам:

— На махновско-матросском диалекте не разговаривать впредь до особых указаний!..

И вот я сижу против Владлены, гляжу в ее шоколадные глаза и страдаю.

— Почему ты молчишь? Не нравится?

— Нравится...

— Приходи вечером. Поболтаем.

Поболтаем?.. Не тот глагол. В лучшем случае могу мычать. Или хрюкать.

И все-таки я жду этого вечера. Жду с ужасом и нетерпением. С отчаянием и надеждой: а вдруг во мне что-то сработает и я стану веселым и остроумным?

Но чем ниже солнце, тем больше страха. Кажется, я уже не хочу этого свидания. Я хочу работать. Выполнять что-нибудь сверхсрочное. Нарочно верчусь на глазах у Лихомана, но никаких заданий не поступает. Наконец меня ловит Федор:

— Пошли в баньку, Генка.

— Какую баньку?

— Нормальную. Славка в деревне организовал. Пошли, пошли!

Я слабо упираюсь, и он подталкивает меня сзади. А я ломаюсь, и что-то вру, и сам никак не могу уяснить, что мне нужно в данный момент. В конце концов вместо первого свидания я оказываюсь в бане. В натуральной сельской баньке с каменкой и полком под самой крышей.

— Поддай, Славка!..

Колючий пар взрывается под потолком. Воздуха нет и в помине. Разинув рот, я корчусь на полке под хлесткими ударами веника.

— Славка, поддай еще!..

Ну, все. Прощай, мама. Жизнь кончилась в этой чертовой баньке, потому что я сейчас умру. Я знаю это совершенно точно, и нет сил бороться. Федор с отяжкой хлещет меня веником, Славка поддает пару. Они давно вышибли из меня все мысли, чувства и силы, я пресмыкаюсь на горячих досках и медленно дохожу.

— Ну, куда, куда ползешь?

— Фе-е-е...

— Славка, поддай!..

Славка поддает такую порцию, что вся банька скрывается в облаке пара. Федор теряет меня, я куда-то ползу, извиваясь всем телом, и в конце концов падаю вниз, смачно, как жаба, плюхнувшись на дощатый пол.

— Здесь он!..— радостно кричит Славка.— Вывалился!..

И в ту же секунду сердце мое делает тройное сальто: Славка выплескивает на меня ведро колодезной воды.

— Сла-а... ва-ва-ва...

— Закаляйся! — смеется Славка и, взяв веник, лезет на полку к Федору.

Кажется, прихожу в себя. Выясняется, что сижу я на полу у двери, в щели которой тянет вечерним холодком. Все тело охватывает какая-то удивительно приятная усталость, голова — как у новорожденного, и хочется петь. Бодро вскакиваю и тут же с грохотом лечу под лавку, сшибая ногами ведро.

— Гляди, Федя, он под лавку полез!..— хохочет Славка.

— Скользко!..— весело поясняю я.— Пол как намыленный!

— Поддай, Генка!..

Теперь падаю я. С маху плещу водой на раскаленные камни, задыхаюсь в пару, что-то кричу, взвизгиваю, завываю. Потолочная пытка кончилась, в душе зреет совершенно необъяснимый восторг.

— Хорошо, Генка?

— Грандиозно!..

— Баня — сила, — басит Федор. Голой громадой он вышагает на лавке. Курит и философствует: — Организм полезно на режиме погонять, он этого требует. Клетки обновляются.

— Пивка бы, — мечтательно вздыхает Славка.

— Обещанное-то будет? — настораживается Федор.

— Порядок! — Славка смеется и как-то странно смотрит на меня.

Разомлевшие и ласковые, мы выходим из бани. Федор по-братски обнимает меня за плечи, что-то гудит в уши и направляет в сторону кособокого замшелого домика.

— Куда, Федя? Нам же налево.

— Точно! — хохочет Славка. — Ну, Генка, ты даешь!..

На крыльце стоит незнакомая женщина. Из-за большого количества упругих окружностей она кажется трехъярусной, как театр.

— С легким паром! — нараспев говорит она. — Закупались вы, соколики. Мы уже все жданочки поели.

Тут мне ловко дают под зад. Я метеором пролетаю мимо трехъярусной, минуя сени и вваливаюсь в комнату:

— Здравствуйте.

В комнате накрытый к ужину стол. За столом еще две женщины.

— Здравствуйте... — удивленно тянет одна из них.

Поспешно поднимаю сбитую при появлении табуретку и пытаюсь ретироваться. Но в дверях Федор. Ловит меня за плечи и раскланивается:

— Вот и мы! Это Генка-Москвич, любимец экипажа.

— Милости просим! — певуче отзывается третья женщина. — Славочка, со мной сядешь, со мной. Я тебе местечко нагрела.

Через минуту я уже сижу за столом, зажатый между Федором и второй женщиной. Передо мной тарелка с горой закусок и стакан.

— Мне не надо, Славка! Я же не...

И я все-таки пью. Пью, ничего не соображая. Ем, снова пью, что-то принимаюсь рассказывать. Славка хохочет, а соседка заботливо, совсем как мама, кормит меня с ложечки.

Потом мы поем песни. Я не знаю слов, но добросовестно ору, когда надо подпевать. Славка вылезает плясать и пляшет очень ловко. За ним пляшет Федор и первая женщина, а я сижу в углу и доказываю своей соседке, какие у нас в экипаже замечательные люди. Она смотрит в упор и кивает, соглашаясь с каждым словом. Потом вдруг все начинает плыть...

— Федя, где выход?

— Укачался! — смеется Славка.

Придерживая за плечи, Федор ведет меня во двор, усаживает на бревна:

— Что Генка, худо?

— Худо, — соглашаюсь я.

— Может, стравить?

Это предложено просто, как пирамидон. Но я отказываюсь:

— Водички бы...

— Сейчас. Только не упади.

Он уходит в дом. Хлопает дверь, и я ощущаю великую тягость. Встаю и, заметно пошатываясь, иду напрямик. Натыкаюсь на ограду, перелезаю, ковыляю по грядкам, утопая в ботве. Потом меня энергично выворачивает, и горизонт сразу светлеет. Я выбираюсь из огорода, попадаю в чужой двор и нахожу целый ворох восхитительно грязной соломы...

Просыпаюсь внезапно. Надо мной густое вечернее небо. Где-то брешет собака, где-то пиликает гармонь и въедливый женский голос выводит частушку.

Сажусь и долго соображаю, что к чему, с трудом соединяя разбежавшиеся под черепом обрывки: напилса, забрел в чужой двор и уснул. Стыд разливается во мне, как чернила. Брожу задами, отбиваясь от собак. Интуитивно выбираюсь к реке. Радостно лезу в нее, окунаюсь по шею, плыву и вылезая на незнакомый берег. Оглядываюсь, трясясь от озноба, и никак не могу сообразить, где база.

— Генка-а!..

Далекий призыв с того берега. По тенорку узнаю Славку.

— Москвич!..

Это Федор. Значит, ищут и, судя по охрипшим голосам, ищут давно. Имя мое в различных словосочетаниях еще некоторое время сотрясает вечернюю тишину, а я сворачиваю вдоль берега в надежде выйти на траверз нашей базы.

Слева тускло поблескивает река, и я продираюсь сквозь кусты напролом. Выхожу на откос и долго иду, утопая в песке. Скоро должны показаться огни базы.

И вдруг слышу голоса. Один бубнит толсто и недовольно, другой тонко и настойчиво насаждает.

— ...заладили: пе-эм-пе да пе-эм-пе! Как может инженер да еще испытатель решать априори судьбу трехлетней работы? — рокочет толстый голос.

— Слушайте, давайте начистоту, без кастовых заблуждений, — резко говорит тонкий. — Мы одни, и баки заливать некому. Сочинили в кабинете, хватанули премию, а теперь бьетесь за дерьмовую конструкцию с волчьим остервенением. Я гоняю машину двадцать тысяч километров, и всю дорогу из планетарок хлещет масло, как из рождественского гуся. Шестерни гремят, фиксаторы ни к черту не годятся, и только мои асы еще кое-как умудряются управлять... У вас, кажется, клюет.

— Черта тут клюнет, — вздыхает толстый. — Загнали меня в болото, где отродясь ничего не водилось.

— А червяка, между прочим, сожрали.

— Да?.. Темно, как в печке. Я сматываю удочки, Юлий Борисович.

— Что вы, Георгий Адамыч. Клев только начинается.

Теперь я соображаю, кто сидит под кустами: главный конструктор, которого ребята нелегально называют Жорой, и наш Лихоман. Я шагаю, но, услышав главного, вовремя останавливаюсь, а затем и сажусь.

— Слушайте, вы меня специально сюда заманили?

— Да. И не отпущу, пока не поговорим по душам.

— Ну-ну,— недовольно ворчит главный.— Между прочим, ваши методы, Юлий Борисыч, мягко выражаясь, неэтичны. Акт, столь вдохновенно сочиненный слесарем, оказался «липой». Да, «липой»! Я говорил с техником Березиным, и он сознался, что сам налетел на столб.

— Березина уволю к чертовой матери.

— За то, что говорит правду?

— За то, что глуп и путает причину со следствием. Вездеходом управлять сложно, а в условиях бездорожья и опасно... Клюет!..

— Разве?

— Клюет, тяните!.. Эх вы, рыбак. Сажайте нового червя: сожрали.

— Ни черта не вижу.

— Привыкнете. Я вам заявляю с полной ответственностью: пе-эм-пе надо менять коренным образом. Будете упираться — подам докладную. Откажете — напишу в министерство.

— Пугаете?

— Предупреждаю. Я испытатель, Георгий Адамыч. Вы отвечаете за конструкцию, я — за эксплуатацию... На червяка, между прочим, полагается плевать.

— Мистика.

— Примета. Дадите задание переделать планетарку?

— Я правильно плюнул?

— Сойдет. Да или нет?

— Ох, и настырный же вы мужик, Юлий Борисыч...— вздыхает главный.— Сказать «нет» в нашем деле труднее, чем сказать «да»...

— Генка!!! — со страшной силой гремит над моей головой. Вскокиваю и сталкиваюсь с Федором и Славкой.

— Ну, я. Чего кричишь?

Федор с размаху отпускает мне увесистую затрещину. Искры сыплются из глаз.

— Кто тут? — сердито спрашивает Лихоман.— Что за крик?

— Мы, Борисыч,— хмуро говорит Федор.

— Нашли время и место. Марш спать: в пять утра выезд!..

Спотыкаясь, шагаем через кочковатое болото к базе. Федор — впереди, не оглядываясь.

— Задал ты нам шороху! — тихо смеется Славка. — Всю деревню облазали, Федор в речку нырял...

Я обиженно молчу, придерживая рукой распухшее горячее ухо.

Полоса невезений оказывается куда шире, чем я мог себе представить. В пять утра, буквально за минуту до выезда, нарываюсь на восставшего от сна главного:

— Слух прошел, что вы кончили школу с золотой медалью.

— С серебряной.

— Надеюсь, четверка была не по русскому письменному?

— По пению, Георгий Адамыч.

Главный добродушно смеется, а я злюсь: ребята ждут. К нам идет Лихоман.

— Юлий Борисыч, я забираю этот молодой кадр, — говорит главный.

— Останешься, — приказывает Лихоман. — Поможешь с отчетом.

— Валить все на пе-эм-пе? — как можно наивнее спрашиваю я.

— Писать правду, — режет Лихоман.

Вездеход уходит без меня.

Целый день торчу в душной комнате, выписывая из журнала испытаний дефекты. От обиды на главного работаю столь добросовестно, что к обеду составляю список на сто восемьдесят три дефекта. Все, как полагается: с ссылками на километраж и время. Отдаю главному и с чувством исполненного долга иду на кухню, где орудует тетя Настя. Мы в приятельских отношениях, и моя порция соответствует широте ее души. Мы калякаем о всяческих житейских невзгодах, и не успеваю я управиться с первым, как в кухню влетает разъяренный главный:

— Слушайте, что это такое?..

Мой труд жирно шлепается на стол.

— Список дефектов...

— Список? Это смертный приговор машине, а не список! Сто восемьдесят три дефекта, полюбуйтесь!.. Сколько у вас было по арифметике?

— Пять.

— Вот на пять вы все и разделите. Сколько получится?

— Тридцать шесть и шесть десятых...

— Шесть десятых оставьте себе, а список извольте сократить до тридцати шести пунктов. И без вольностей, молодой человек!

Он поворачивается и идет к дверям.

— Ничего сокращать не буду.

Я это сказал или не я? Сказать-то сказал, но перепугался до потери аппетита. Главный грузно топает ко мне: брови сомкнуты, как белогвардейцы в психической атаке. Я встаю с застрявшим в горле куском.

— Что вы сказали?

Молчу. Проклятый кусок щекочет горло.

— Мне нужен список на тридцать шесть дефектов. Ясно? Тридцать шесть. Предел.

Он опять топает к дверям, а я, потев от страха, повторяю, как попугай:

— Ничего сокращать не буду...

Главный всем телом разворачивается ко мне и начинает наливаться кровью. Словно надувает большой красный шар.

— Смешки? Юмор? «Ну, заяц, погоди!»? Здесь работа, молодой человек! Правительственное задание! Отчет идет в министерство. Министерство, соображаете? Через час чтобы список был у меня!..

Он поворачивается к дверям, многократно переступая ногами.

— Ничего...

— Что? — гремит он.

— Ничего, ничего! — поспешно кричу я. — Ничего, говорю, не поделаешь! Сто-восемьдесят три — это сто восемьдесят три, а если разделить на пять, то тридцать шесть и шесть десятых. Нормальная температура...

Черт меня вынес с этой нормальной температурой. Главный вскипел, как молоко:

— Шуточки шутите? Мальчишка! Пойдете в цех, к станку! Вам не место на ответственной работе!..

Он кричит что-то еще, с криком убегает, и последнее, что мы слышим, носит уже характер обобщения:

— Распустили! Избаловали!

— Ох, напрасно ты, напрасно, — вздыхает тетя Настя. — Толстого нельзя сердить: кондрашка хватит. Да и незачем: толстые — они добрые.

— И Чингисхан тоже, да? — с обидой спрашиваю я и, не дообедав, иду на улицу.

Пес тычется в колени и машет хвостом. Я чешу его за ухом, он млеет от восторга, а я отсчитываю время ударами собственного сердца. Через час список из тридцати шести дефектов должен лежать у главного. Должен... А что должен делать я? Стоять на своем или исполнить приказ?

Сам я придумать ничего не могу. Взвешиваю так и этак,

делю на пять, умножаю на два, вконец запутываюсь и решаю все рассказать Владлене.

Владлене выделили крохотную каморку с окном, выходящим в поле. Долго прислушиваюсь: за дверью тишина.

— Кто там?

Боком вхожу в комнату. Владлена стоит у окна, скрестив руки, и взгляд у нее какой-то загнанный. Вместо отчетов на столе одеяло и утюг.

— Я на минутку, Владлена Ивановна.

— Я не работаю.

Голос у нее какой-то дистиллированный. Но я слишком озабочен собственными неприятностями и выпаливаю их с ходу.

— Делай, что говорят.

— Ага.

Вроде все стало на свои места. Не очень, правда, радостно сдавать позиции, но с мостика виднее. Благодарю, пячусь к двери.

— Подожди, Гена.

Застреваю. Владлена долго хмурится, покусывая губы:

— Ты не съездишь на станцию?

— Зачем?

— Надо встретить представителя шинного завода.

— А как я его узнаю?

— Седьмой вагон. Поезд Москва — Владивосток.

Странно: внутренне я ощетиливаюсь от этой просьбы. Вздыхаю, смотрю в пол. А глаза у нее тревожные, умоляющие:

— Сделаешь, Гена?

— А ехать на чем?

— На «газике», я договорюсь. Идем.

Увидев меня, Георгий Адамыч начинает сопеть. Но Владлена тут же укрощает его:

— Он все осознал, Георгий Адамыч. И поедет на станцию встречать Колычева.

— А почему он, а не вы встречаете Колычева?

— Я неважно себя чувствую.

— Да? Ну, дело ваше, пусть список сначала составит.

— Составлю,— покорно соглашаюсь я.— Тридцать шесть пунктов.

— Тридцать пять! — вдруг торжествующе кричит он.— Тридцать пять, я передумал!

Вечером еду на станцию. Сижу на командирском месте, и это несколько примиряет меня с жизнью.

— Кого встречаем-то? — интересуется шофер.— Андрей Сергеича, что ли?

— Колычева.

— Во-во. Его Владлена обычно встречает. Чирикают там, сзади.

— Чирикают?

— По резиновому делу. Катки, сайлентблоки. Ничего мужик, видный. Издалека узнаешь.

Узнаю действительно издалека: рост баскетбольный. Вертит головой мимо меня.

— Товарищ Колычев?

— Я.— Взгляд у него, как у мороженого судака.— А где Владлена?

— Ивановна? — глупо спрашиваю я.

— Естественно.

И вдруг я прозреваю. В упор смотрю на него и вижу купе вагона, лейтенанта в коридоре и слезы Владлены.

— Вы из Ярославля?

— Из Ярославля...— Он несколько озадачен моим агрессивным тоном. Ждет, что последует дальше.

— Идемте,— говорю я с интонацией постового.

Иду впереди, не оглядываясь. Распахиваю дверцу, откидываю сиденье, жестом приглашаю в машину. Он не торопится: шумно здоровается с шофером, угощает его папиросами, болтает о погоде. Наконец пробирается назад. Сажусь рядом с водителем, независимо хлопаю дверцей.

— Поехали.

Едем молча. Колычев пытается было завязать разговор, но с шофером беседовать трудно, а я покрепче стискиваю зубы.

Проселочная дорога лениво вьется среди хлебов, ныряет в березняки. За машиной шлейфом тянется пыль, и я думаю о ребятах. Темнеет — значит, организовали привал, расстелили брезент и устало ждут, когда сварится картошка. Славка, как всегда, что-нибудь травит насчет неандертальцев, Федор пилит свой мундштук, но слушает с интересом, а Степан все опровергает. И командор вставляет ехидные замечания...

Водитель раскатисто сигналист: впереди одинокая фигура. Пестрая косынка, чемодан в руке, босоножки заброшены за плечо. Голые ноги мягко топают по пыли. Машина сигналист, девушка сходит на обочину, и я что есть силы кричу:

— Стой!..

«Газик» тормозит. На ходу распахиваю дверцу, прыгаю.

— Девушка! Идите сюда! Идите, не бойтесь!

Не идет. Смотрит настороженно. Бегу к ней.

— Опять на деревню к бабушке? — И отбираю у нее чемодан.— Нам, кажется, по пути?

Мы идем к машине, и тут я жалею, что так необдуманно уселся на командирское место. Но не пересаживать же Колычева?.. Девушка пробирается назад, чемодан ее я беру на колени:

— Поехали!..

Машина трогается, и Колычев сразу начинает чирикать:

— Издалека едете?

— Да.

— К родственникам в гости?

— Да.

— А как вас зовут?

— Аня.

— Анечка! Прекрасное имя...

Я не выдерживаю. Кое-как разворачиваюсь на сиденье, чтобы оказаться к ним лицом, и переключаю разговор на себя:

— А знаете, что с нами было в тот вечер? Мы в высоковольтный столб врезались. Искры, грохот — ужас что творилось!..

— У нас неделю света не было.

— Вот-вот, из-за нас...

Утрись, долговязый товарищ Колычев!..

Удивительно все-таки у девчонок умение моментально осваиваться в новой обстановке! Ведь тихоней прикидывалась, а не проехали мы и десяти километров, и уже трещит, как сорока, и смеется, и швыряется своими глазницами, словно режется в пинг-понг со мной и Колычевым одновременно. А я бы на ее месте молчал всю дорогу, как удушенник...

У развилки Аня просит остановить. Я вылезая первым:

— Счастливо! — И очень эффектно хлопаю дверцей.

«Газик» отъезжает. Аня хмурится:

— Зачем это?

Но я вижу, что она довольна. Просто ее девичье естество диктует ей алогичные слова и логичные поступки. Молча подхватываю чемодан на плечо. Аня сердито фыркает и, вскинув голову, шагает впереди. Мы сворачиваем на тропинку. Уже темно. Босые ноги звонко топают по твердой земле.

Сейчас бы самое время заговорить. Рассказать что-нибудь смешное, захватывающее или умное. Мучительно ворочаю в голове чугунные болванки мыслей, потею, как шахтер, но ничего путного не подворачивается. Так, какая-то чепуха, вроде того, что сайлентблоки больше изнашиваются с внешней стороны.

Господи, что со мной происходит?..

— Знаешь, мы в столб врезались, — вдруг уныло начинаю я. — Искры, знаешь, треск...

Язык цепляется за каждый зуб в отдельности. С ужасом вспоминаю, что один раз об этом уже рассказывал, и не могу остановиться. Несет.

— А у нас свет погас, — насмешливо говорит она. — Ты что, на экзаменах провалился?

— Нет...

— А может, ты туняедец?

— Я слесарь-испытатель.

— А почему ты слесарь здесь, а не в Москве? Может быть, ты сирота?

— Ну, почему сирота? Просто захотел так, и все.

— Кто захотел?

— Я.

— Ты?.. — Она недоверчиво хмыкает. — И чего же ты захотел? Слесарем стать? Мечта всей жизни?

Молчу. Ну, как тут объяснишь? И почему это вообще надо кому-то объяснять? Почему если ты студент, то это само собой разумеется, а если слесарь, то изволь объяснить, как это случилось?

— Наверно, ты двоечник, — решает она наконец, и дальнейшие расспросы отпадают.

Опять идем молча, но теперь я уже не хочу ее развлекать. Я хочу ей ответить. Ответить не на конкретно поставленные вопросы, а на тот, невысказанный, который чувствовался все время.

— Ну, а ты кем хочешь стать?

— Я?.. — Она думает, но, по-моему, не над ответом, а над тем, стоит ли вообще отвечать. — Археологом.

— Это профессия. — Я нагоняю ее. — А я спрашиваю: кем?

— Я тебе сказала.

— А я не о том!.. — Я почти наступаю ей на пятки. — Если бы ты сказала, что хочешь найти библиотеку Ивана Грозного, я бы понял. Если бы ты мечтала расшифровать письменность этрусков или открыть Атлантиду, я бы тоже понял. А ты просто хочешь получить специальность, вот и все.

Она вдруг останавливается. Я чуть не налетаю на нее и снимаю чемодан с плеча.

— Ну, а ты кем хочешь быть? — наконец спрашивает она. — Слесарем? Испытателем? Это тоже только профессии.

— Я?.. — У меня перехватывает дыхание. — Я хочу, чтобы со мной пошли в разведку.

— Что-о?.. — с невероятным презрением тянет она. — Какая разведка? Болтун.

И опять гордо топает вперед. А я иду сзади и улыбаюсь. Мне кажется, что я нашел что-то звонкое и сверкающее, как горный хрусталь.

Тропинка выводит к речке. Аня останавливается:

— Снимай кеды и иди за мной.

Разуваюсь, вешаю связанные шнурками кеды на шею, подхватываю чемодан. Аня идет впереди, подобрав платье, и я все время смотрю на ее ноги. Понимаю, что глупо, но смотрю.

Джинсы намокают до колен, а конца этому броду не видно. Аня еще выше подбирает платье и вдруг останавливается:

— Иди вперед.

— Куда?

— На тот берег.

— А где он, тот берег?

— Ну, не дури! — строго говорит она. — Ты же разведчик? Вот и разведай. Шагай, шагай.

Шагаю, и то ли от холодной воды, то ли оттого, что не вижу больше, как она подбирает платье, а только понимаю, что не все объяснил.

— Ты умеешь печь хлеб?

— Хлеб? — Вопрос ошарашивает, и Аня не может сразу сориентироваться. — Какой еще хлеб?

— Черный, белый, орловский — неважно, какой. Умеешь?

— Хочешь предложить мне работу на ваших испытаниях?

— Хочу узнать, что мы можем, кроме сдачи экзаменов, интеллигентного трепа ни о чем и прыганья под музыку. И выясняю: ничего. Если нас забросить на необитаемый остров, мы либо элементарно помрем с голодухи, либо снова превратимся в обезьян. Ты не умеешь печь хлеб, а я не знаю, с какой стороны запрягается лошадь, — это примеры, не понимай буквально. Просто мы не умеем трудиться без примеров, планов, приказов, указаний. Сами трудиться, понимаешь? Мы ненадежные люди, с нами не то что в путешествие — с нами в турпоход ходить опасно.

— С тобой наверняка, — обиженно говорит она. — Ну, куда, куда ты в осоку лезешь?

Кое-как выбираемся на крутой берег. Обстоятельно шнурую кеды и внутренне торжествую, поскольку она молчит. Значит, я что-то все-таки доказал: зацепило. Подхватываю чемодан:

— Пошли?

Мимо громоздких сараев выходим на дорогу. На обочине стоит трактор. Две фигуры при свете переноски копаются в

моторе. Мы подходим, и они еще издали освещают нас переноской:

— Никак Анечка?

— Привет,— говорит она.

А я останавливаюсь: на меня в упор глядят маленькие глазки. Медленно двигается тяжелая, как у Щелкунчика, челюсть, и луч переноски обшаривает мое лицо.

— Знакомый, кажется?

Сердце мое сжимается, словно из него выпустили воздух, и жалким комочком летит вниз.

— Подержи-ка, Костя, переносочку.

Он отдает переноску, медленно сжимает кулак, и у меня мгновенно начинается чесаться челюсть. Зудит где-то внутри, точно предчувствуя, куда мне влепят. Сейчас влепят. Сию секунду...

— Ты что это кулачищи стиснул? — вдруг пронзительно кричит Аня и, шагнув, толкает парня в грудь. — А ну, отойди! Отойди, а то как дам сейчас!..

— Ну, чего, чего ты? — бормочет парень и пятится от расвирепешей Ани.

— Ладно, Леха, оставь,— басит второй, с переноской.— Мы его в другой раз встретим.

Они расступаются, и мы идем дальше. Молча проходим по тихой, уже уснувшей деревне и останавливаемся возле нового, в три окна дома.

— Вот здесь я и живу,— тихо говорит Аня.

Снимаю с плеча чемодан. Стоим, смотрим друг на друга.

— Спасибо тебе,— наконец говорит она.

И протягивает руку. Я держу ее за руку и опять молчу. Она мягко вытаскивает ладошку:

— Иди домой. Ну, иди же.

— Сейчас.

Я задерживаю дыхание, как перед прыжком, и беру ее за руку. Я держу ее руку двумя руками, и она не вырывает ее. Потом вдруг делает шаг вперед, бодает меня головой и шепчет:

— Ну, иди же, иди. Завтра.

— Где?

Она выдергивает руку:

— Там, где подглядывал.

— Я не подглядывал, Аня!..

— Ладно уж.— Она берет чемодан, идет к крыльцу.—

Гена...

Я бросаюсь к ней.

— Той дорогой не ходи. Изобьют. Пройди от магазина вниз. Там есть мостик. Ну, до завтра?

— До завтра.

— Иди. Иди, стучу. — И быстро, словно боясь передумать, стучит в окно.

Я отступаю в тень. Звякает крючок, дверь распахивается, Аня на секунду задерживается на пороге, оглядывается, поднимает руку. И дверь за нею захлопывается.

А что же будет завтра?

Честно говоря, я ни разу не целовался с девчонками. То есть, конечно, целовался, но не так. Дважды был на каких-то дурацких вечеринках, где гасили свет, но мне это не понравилось. Когда зажигают свет, все сидят красные и прячут глаза, и у тебя ощущение, что ты спер в трамвае полтинник и все об этом знают. Ну, а завтра все будет по-другому.

Все-таки здорово, что я сказал ей про разведку. Иногда я бываю умным, хотя об этой разведке и не думал. Просто сказалось как-то само собой, словно лежало внутри и вдруг вылезло, как шампиньон. И если разобраться, это-то и хорошо, что не думал, потому что такие вещи нельзя сочинять заранее. Они должны рождаться сами, как кристалл в насыщенном растворе. Это ведь не треп, это...

И тут я останавливаюсь как раз возле магазина, за который мне сворачивать к мостику. Останавливаюсь, потому что вдруг чувствую, что иду сейчас совсем не по той тропе. Она удобная и проторенная, и мостик есть, и морду здесь не набьют, и к базе, пожалуй, поближе, и тем не менее я не хочу по ней идти. Понимаю, что глупо, что все равно никого нет, что даже не расскажу никому, и все-таки не могу поступить по-другому. У меня такое чувство, будто сделаю шаг — и эта тропа станет моей на всю жизнь, и тогда то, что я говорил про разведку, — голая брехня. Я поворачиваюсь и со всех ног пускаюсь назад.

Пронoshусь по деревне, вылетаю за околицу и вижу трактор, огонек переноски под капотом и две фигуры. Останавливаюсь, чтобы передохнуть, а потом начинаю красться, как глупая кошка к индюку. К счастью, мне вовремя делается стыдно, я вызывающе кашляю и топаю напрямик к трактору. Щелкунчик с приятелем оглядываются, освещают меня переноской и замирают в крайней степени обалдения.

А у меня опять начинает чесаться челюсть. С трудом подавляю желание рвануть в темноту и неожиданно противным голосом спрашиваю:

— Нет ли у вас папирсочки?

Идиот некурящий, на кой черт тебе эта папирсочка?..

Парни одновременно лезут в карманы, Щелкунчик лично зажигает спичку. Прикуриваю, и меня тут же разбирает неудержимый кашель. Давлюсь, хриплю, глотаю слезы и за-

ываю, как припадочный. Не в силах ничего сказать, делаю парням ручкой и деловито ухожу в темноту.

— Эй, друг, погоди!..

Кажется, это голос Щелкунчика. Я подпрыгиваю и с места включаю вторую космическую. Мелькают сараи, кусты на берегу, и вода туго бьет в колени...

— Эй, друг, ты в дизелях разбираешься?..

Поздно: я уже на той стороне. Мокрый по горло и с папиросой в зубах. «Вот дурак-то,— сказала бы моя мама.— Вот дурачок, господи боже ты мой...»

4

На следующий день вместо того, чтобы спешить к Ане, я спешу совсем в другую сторону.

Оказывается, пока я рассуждал о профессиях, наши послали по рации «SOS»: лопнул вал подвески, именуемый торсионном. Вместе с валом решили отправить и меня, поскольку главный зеленел при упоминании моего имени. Но торсион-то в наличии был, а меня не было, и поездку отложили до утра: утром мне дали взбучку.

Грузовик трясет немилосердно, и торсионный вал, как взбесившийся, мечется по кузову. Я приглядываю за ним и вовремя уношу ноги, прыгая к другому борту. Иного способа уберечься нет, так как вал весь в смазке и скользкий, как налим.

Мы с ним вдвоем в кузове, а в кабине, кроме шофера, Виталий Павлович и Колычев. Изредка Виталий Павлович на ходу заглядывает в кузов:

— Ну, как тут у вас?

Он беспокоится о торсионе, поскольку это — его хозяйство. А я беспокоюсь о своих ногах, поскольку это — мое хозяйство. И вот скачу по кузову, а торсион скачет за мной, и победа достанется тому, кто перепрыгает. Он оказывается более выносливым, и я приезжаю весь в мыле и с синяком на ноге.

Ребята валяются на брезенте. Сломанный вал уже промыт в газойле и насухо протерт тряпками. Виталий Павлович коршуном вцепляется в него, Лихоман садится рядом, и они начинают спорить, по очереди колупая пальцами свежий излом. Я спрашиваю, где можно умыться, и Славка ведет меня к соседнему болоту.

— Ну, чего интересного?

— Ничего,— говорю я и чувствую, что промолчать не смогу.— Знаешь, я ее опять встретил.

— Кого?

— Ну, ту, помнишь?.. Ну, когда я молоком облился.

Славка начинает хохотать. Хохочет он долго, но я терпеливо жду, потому что мне хочется похвастаться. Наконец ему надоедает смеяться:

— Ну, и что?

— Аней ее зовут. Знаешь, я ее провожал.

— Потискал хоть на прощанье?

Мне сразу делается скучно. Молча вытираюсь, иду к машине.

— Ну, чего молчишь? Не далась?

— Знаешь, Славка, ты извини, но я на эту тему говорить не буду.

— Стесняешься?

— Это что — цель жизни, да?

— А ты как думал? — Славка даже останавливается. — Цветочки-василечки? Вздохи при луне? Это все мур. Мужчина должен себя заявить сразу, потому что он сторона нападающая, понятно тебе? Не нападешь — не завоюешь, вот и вся любовь.

— Какая же это любовь?

— Ох, и мусору в тебе, Генка! — сокрушенно вздыхает Славка. — И все от девственности.

— Ну, знаешь...

— Точно говорю. Природа требует, а ты ей теориейки подсовываешь. Как голодному — лекцию о гербицидах. А не сбежал бы тогда — и дышал бы сейчас по-другому.

Еще на подходе мы слышим повышенные голоса. Период тихого обмена мнениями кончился, и теперь Лихоман и Виталий Павлович вульгарно орут друг на друга.

— Дефект металла, Юлий! Протри глаза!

— Какой, к черту, дефект! Мал запас прочности...

Раньше я не разбирался в подобных спорах: считал, что каждый выгораживает себя. А потом понял, что к чему: конструктор рассчитывает, а испытатель проверяет. Тут дело не в чести мундира, а в принципах профессионального долга: помню, как радовался Славка, доказав, что крепление радиопередатчика не обеспечивает его сохранности при длительной тряске. А сегодняшняя поломка еще серьезнее: если торсионный вал лопнул из-за брака металла, надо просто поставить новый и гонять вездеход дальше; а если виноват не металл, а сама конструкция? Тогда наша обязанность доказать непригодность торсионов сейчас, на испытаниях, пока машина считается опытной и не пошла серийно в народное хозяйство. Вот потому-то они и орут друг на друга.

— Я категорически отрицаю, Юлий!

— А я утверждаю!

— А я тебе говорю, что во всем виноват металл, понятно? Я тебе цифры дам: посчитай сам, если еще не разучился.

— Ладно, стоп. Здесь испытатели, Витенька, их и спросим. Федор!

Федор калякает с Колычевым. Лениво оборачивается:

— Ну?

— Отчего лопнул торсион?

— Поломка. Вы радиус галтелей увеличьте, Виталий Павлович.

— Ну, простите...

— Точно,— с ленцой продолжает Федор.— Мал радиус перехода, вот и режет.

— Стоп! — командует Лихоман.— Степан!

— Вообще-то...— Степан начинает прикуривать.— Галтельки, конечно, увеличить не помешает.

— Вот,— с торжеством говорит командор.— Учитесь, товарищи конструкторы, у атакующего класса.

— Первый случай,— вдруг влезает в разговор Колычев.— Еще рано судить о конструкции.

— Первый? — Федор поднимается.— Хотите, сейчас второй сделаю?

— Не хвались, водитель, не хвались! — машет рукой Виталий Павлович.

— Спорим? — Широкая ладонь Федора выдвигается вперед, как совковая лопата.— Укажите, какой желаете: левый или правый.

— Новый! Тот, что привезли! — кричит Колычев.— Я спорю, и мне вас жалко!

Лихоман улыбается:

— Ну, добро, творцы, сейчас получите наглядный урок. Ребята, торсион на место. Быстро!

Мы ставим моего врага в машину. Работаем в десять рук, и конструкторы всячески острят в адрес Федора. Мне очень хочется, чтобы он победил, но Смеляков негромко вздыхает:

— Погорел ты, Федя.

— Считаешь, не сломаю?

— Вообще-то, конечно... Только новый он, между прочим.

Славка не участвует в аврале: ворча, снимает свою рацию:

— Растрясете все, паразиты.

И Юрка Березин чего-то куксится. Сидит под кустом, поджав колени. Постно вздыхает:

— Разрешите мне не ездить, Юлий Борисыч. Живот схватило.

— Ну, а кто поедет? — хмурится Лихоман.— Сачок ты, Березин.

— Я!..— кричу.— Я поеду, Юлий Борисыч! Я не хуже Юрки все запишу!..

— Это правильно,— улыбается Виталий Павлович.— Знаешь, Юлий, он главному подал докладную на сто семьдесят три дефекта..

Желающих присутствовать при поломке почему-то не оказывается, и мы выезжаем вдвоем. Я стою на месте Юрки, на сиденье позади водителя, и прямо передо мной торчит из люка Федорова голова.

Выезжаем на дорогу и едем, пока не кончатся хлеба. Здесь Федор вылезает и начинает детально изучать кюветы. Он долго топает сапогами на одном месте и наконец возвращается:

— Ну, держись крепче, Москвич.

«Москвич» — значит, не забыл еще, как ему пришлось нырять в речку, разыскивая мой труп..

Вездеход, покачиваясь, перебирается через кювет и идет по скошенному лугу. Федор разворачивает его носом к дороге и что-то кричит, но я записываю показания приборов и не слышу. Машина с ревом срывается с места, Федор беспощадно разгоняет ее, и дорога все ближе: сейчас, вероятно, он сбросит газ, но все происходит совсем не так. Он продолжает гнать, пока нос не нависает над кюветом, резко убирает обороты и неуловимо накреняет машину.

Я перестаю держаться и подпрыгиваю, чтобы самортизировать удар, но запаздываю, а когда возвращаюсь в исходное положение, меня со страшной силой подбрасывает встречным толчком. Я подлетаю выше борта, почему-то переворачиваюсь вверх тормашками и ныряю в люк впереди Федора. Башкой утыкаюсь в какое-то железо, застреваю, и Федор вместо дороги видит мой обтянутый джинсами зад.

— Говорил, держись крепче, раззява!..— орет он сверху, а я стою на собственной голове, двигаю ногами и не могу выбраться, потому что нас заклинило в люке насмерть.

— Вылезай!..— орет Федор.— И не дрыгай ногами: песок в глаза сыплется!..

— Ты вылезай! — глухо кричу я изнутри.— Мне некуда тут!..

— Да я же встать не могу, холера!..— бушует Федор.— Повис на мне, а еще командует!..

— Ну, некуда тут, Федя, некуда!.. Ты меня вверх тяни! За штаны, Федя!..

— Ты же мне руки прижал, балда!.. Чем я тебя за штаны буду тянуть? Зубами, что ли?..

Тут он начинает двигать своими ручищами, и моя голова вертится вместе с ними, как рулевое колесо.

— Тише!..— кричу.— Шею сломаешь!..

Федор перестает вертеть мою голову и начинает шевелить ногами. Он пытается поджать их, чтобы можно было встать вместе со мной, но ему мешают мои плечи. Пыхтит, тискает меня своими жердями, но толку из этого не получается. Я не выдерживаю:

— Не могу, Федя...

— А я могу? — огрызается он.— Даже покурить нельзя, и муха, гадина, шею жрет...

— Едем к нашим, Федя. Задохнусь я...

Федор размышляет, вздыхая. Потом говорит...

— Погоди, педали нашарю.

Пять минут пытки, и Федор наконец нащупывает рычаги. К счастью, мотор не заглох, и Федору удается, невероятно свернув мне шею, включить передачу.

— Задницу можешь убрать? — спрашивает он.

— Куда?

— Ну, вперед, что ли.

Я складываюсь, как перочинный ножик, свесив ноги на нос машины. В голове шумит от прилива крови.

— Только передачи не переключай.

— Ладно,— ворчит он.— Энтузиаст чертов, связался я с тобой...

Ползем невероятно медленно. Вокруг стоит адский грохот, поскольку я влип ухом в моторную перегородку. Не знаю, сколько времени мы так ехали, но я до гробовой доски буду считать это путешествие самым длинным в своей жизни.

Сознание я каким-то чудом сохраняю, хотя ухо зажарилось, как картошка. Слышу, как вдруг глохнет мотор, наступает пауза, а потом идиотский вопрос удивленного Славки:

— Что, Федя, уже сломал?..

— Что сломал, чертова дура?..— орет Федор.— Псих этот голову сломал, понятно вам?.. Вынимайте его из меня к такой-то матери!..

Но вынимать меня они не торопятся. Может, онемели от страха за мою жизнь? Чтобы успокоить их, я задираю ноги и несколько раз свожу и развожу их.

И тут слышится рев, визг и хрюканье, в жизни не слышал такого пошлого смеха. Они воют на все лады, Федор кроет их матом, а Колычев кричит:

— Не трогайте! Не трогайте их! Фотоаппарат возьму!..

Позируем под их восторженные вопли. Колычев отщелкивает пленку, и только после этого они выволакивают меня из люка. Ставят на ноги, но я тут же начинаю валиться,

как чурка, и они волокут меня в тень. Лихоман лично исследует мою голову:

— Все нормально, только шишка на темечке.

Пока он меня щупал, они из вежливости молчали, но как только изрек диагноз, все началось сначала. Я не злюсь потому, что понимаю: над Федором не похочешь. Славка, икая от хохота, приносит воду, я осушаю подряд две кружки и сажусь, хотя голова вроде еще не совсем моя. Федор мрачно курит возле машины; рядом крутится Степан:

— Расскажи, Федя. Ну, не скрывай, Федя...

Федор отсылает его подальше и, швырнув окурочек, лезет в машину.

— Куда, Федор? — интересуется командор.

— Куда, куда?.. На кудыкину гору! — ревет Федор.

— А техник на той горе не понадобится?

Федор угрюмо молчит. Я встаю, пытаюсь выпрямить шею, но она не поддается. Иду к машине лбом вперед, как бык на тореро.

— Слазь! — кричит Федор. — К чертовой матери!..

— Нет уж, Федя, — говорю я. — Принципиально.

— Вторая попытка! — объявляет Виталий Павлович, все веселятся, но Федор заводит мотор, и мы поспешно отъезжаем.

Все повторяется: Федор съезжает на луг, разворачивается и вдруг глушит мотор:

— Вылезай.

— Зачем?

— Вылезай, говорят тебе!..

— Не ори, я на работе.

Он привстает, пытаюсь меня схватить, но я предусмотрительно отступаю. Федор раздражается длинной руганью.

— Генка, не заводи меня!..

— Не слезу. Бить будешь — все равно не слезу.

Он яростно пялится на меня, но я выдерживаю этот взгляд. И вдруг вижу, что уголки его губ неудержимо ползут в стороны, и тоже начинаю улыбаться. Через секунду мы уже хохочем до изнеможения.

— Ну, номер!.. — стонет Федор. — Ну, ты даешь, Генка!

— Ты тоже хорош: чуть башку мне не открутил...

— Тогда держись!..

Он мог бы этого и не говорить: я вцепился, как клещ. Федор дал полные обороты, раскачал машину перед кюветом, повернул и всей массой ударил правым бортом о землю. Я на сей раз удержался, но все мои печенки-селезенки лихо поменялись местами. Федор вылез, критически осмотрел машину и плюнул:

— Крепкий, холера...

Я судорожно глотаю воздух, мучительно пытаюсь вогнать свои внутренности в места, предназначенные им от природы. Федор подозрительно смотрит на меня:

— Может, на травке посидишь?

Отрицательно качаю головой: слова куда-то провалились. Федор улыбается:

— Придется повторить.

Повторяем. Торсион цел, но в животе у меня такая боль, что вот-вот заору.

— Слез бы, Генка.

— Нет...— хриплю я.

— Молоток. Ну, сейчас хана этому торсиону.

Но хана приходит только на четвертом заезде. К этому времени я настолько ошалеваю от рева, ударов и боли, что Федор снимает меня с машины, как ребенка, и укладывает на траву.

— Ты, Генка, не тужься никогда,— наставляет он, покуривая с чувством выполненного долга.— Держи себя свободно, но в готовности. Соображаешь?

— Соображаю...

— От тужливых пот один, а толку — нуль. Потому, они все время не то напрягают: либо глотку, либо спину, либо еще что. А включать в себе надо только то, что требуется, но до упора. Болит?

— Немного.

— Ну, ничего, зато выиграли! — Он торжествующе смеется.— Чудаки! Борисыч, тот сразу смикитил, что я дело говорю, а этих никак не проймешь. Конечно, радиусы галтелек маловаты, это ж ясно. Потому мы с тобой и рвали тут животы, чтоб доказать. Лучше здесь двадцать торсионов сломать, чем хоть один где-нибудь в Антарктиде. Тут ты шишечку на темечке заработал, а там люди свободно головы терять могут. Это же ходовая часть, не шуточки. Борисыч, он голова...

Вечером у нас банкет с возлияниями за счет проигравших интеллектуалов. Ребята гогочут у костра и чокаются, а я лежу на брезенте. Аппетит мне отшибло надолго, шея не ворочается, и в животе свинцовая тоска.

Хорошо бы сейчас оказаться дома. Принял бы ванну, поужинал и смотрел бы телевизор. Никуда бы не пошел и никому бы не позвонил, честное слово. Просто сидел бы с мамой рядом, а она бы радовалась втихомолку. Я никогда с ней ничего не смотрел, разве только хоккей, а так все время улепетывал на улице или читал в своей комнате. Не

люблю я глядеть в этот ящик и слушать замечания, что Наташка сыграла бы не хуже, но мама это обожает, и ей, наверно, было бы очень приятно, если бы я торчал рядом...

Славка о девчонках травит. И все смеются. Выпивки сегодня хватает, и они будут мусолить эту тему до глубокой ночи...

— ...а она говорит: не обманешь? Обману, говорю. Ну, честно тебе говорю: обману. Лучше уходи. А она что делает? Она расстегивает свои пуговицы-крючочки...

Да, так о доме. В общем-то я неплохой сын, только невнимательный. Теперь я это понимаю, но тогда сама земля для меня вертелась, вот что отвратительно. Поддай, прими, купи... А на что купишь-то? Джинсы мои маме зарплату стоили, а у самой одни туфли. Старые туфли: Наташка из-за них в театр с ней идти отказалась. С подружкой пошла, а мама плакала. Сволочь я, если вдуматься...

Все-таки я правильно сделал, что снял тогда с полки свой чемодан. Не в том смысле, что без меня им тут была бы сквозная дыра, как говорит Федор, а в том, что мне эта самая дыра выпала бы наверняка. И не в энтузиазме дело: надо сперва понять, кто ты, для чего ты и зачем ты. Тогда и энтузиазм, я думаю, появится. Вот как у ребят, хоть их и коробит от этого слова...

Лихоман выцедил свою кружку и к водке больше не прикасается. Он мужик с характером, и ребята не настаивают. Виталий Павлович интеллигентно клюнул с донышка, очки у него сразу вспотели, и командор спешно уволок его в сторонку. Сидят там, что-то чертят и ругаются. Но пока вполголоса.

Зато Колычев разошелся. Чокаться с нашими надо через раз, это и ежу ясно, а его понесло...

— В очередь, в очередь!..— кричит он.— Федя, давай, исповедуйся!..

Федор что-то негромко и, кажется, не очень охотно бубнит. Рассказывать он не мастер, но слушатели в таком состоянии, что смеются авансом.

— Нет, Федя, не проник ты в женскую душу!..— бархатно рокочет Колычев.— А она стоит того. Стоит, друзья!..

Он уже дирижирует. Ребята терпят: они — народ снисходительный. Да и, по правде сказать, рассказывать он умеет.

— ...а в гостинице — отдельный номерок. Раз зашел: поговорили. Второй: опять поговорили. Ну, думаю, пора. А надо вам, друзья, сказать, что по психологии относится она к четвертому классу: любит опекать, и тут нельзя сразу лезть под юбку — свободно схлопочешь по морде. Таких берут охватом с флангов...

Колычев говорит легко, поигрывая голосом. Он слушает каждое свое слово и упивается этим, как тетерев.

— ...словом, припасаю трогательную историю. Мол, любил, боготворил — ну, в этом духе...

Я поднимаюсь. Не могу объяснить, почему я это делаю, а только встаю. Шея у меня не выпрямляется, и я шагаю к ребятам, уставя лоб. И слушаю во все уши.

— ...два часа заливал! Зубами скрипел, по комнате метался, слезу выжимал — все, как полагается. И чувствую, тает. Раньше все о резине говорили, о катках да сайлент-блоках, а тут...

Я хочу крикнуть и — не могу. Сип какой-то вместо голоса. И Лихомана, как назло, принесло к костру прикуривать...

— Ну, у меня, естественно, коньячок нашелся: горе залить. Выпили мы за мою нескладную жизнь и — поцеловались. Для начала целомудренно, как брат с сестрой, а уж на втором заходе я осмелел. Грудь-то у нее, сами знаете, как у Джинны Лоллобриджиды: ослепнуть можно. И вот, значит, кладу я на эту божественную возвышенность свою лапшу...

Я хватаю его за волосы, разворачиваю к себе лицом и наотмашь бью по щеке. Он падает на Славку, глядит рыбьими глазами, а на щеке — моя пятерня. Точная пятерня: со всеми мозолями. Секунду все молчат, а потом Колычев совсем по-звериному рычит:

— А-а-а!..

Он пытается вскочить, но Славка дергает его за рукав.

— Пусти!.. — хрипит тот. — Убью!.. Гад!..

Лихоман встает и, невозмутимо покуривая, идет к Виталию Павловичу. Рядом со мной оказывается Степан. Меня колотит, и он обнимает меня за плечи:

— Давно я, понимаешь, хотел спросить, чего это у меня под ложечкой по утрам холодит? Натощак, знаешь...

— А ну, пусти!.. — рвется Колычев. — Пусти, говорю!..

— Сиди, — тяжело, как булыжник, роняет Федор.

Колычев все-таки вскакивает. Славка бросается ко мне, но Колычев, наткнувшись на Степана, вдруг сворачивает к начальству.

— Это возмутительно! Мальчишка! Он ударил меня!..

— Кто ударил? — спокойно спрашивает Лихоман. — Геннадий? Вам показалось.

— Это что, круговая порука? Вы ответите, Лихоман! Я подам докладную...

— Не забудьте в ней указать, сколько вы сегодня выпили.

— Ну, я этого так не оставлю! Не на того напали! Я еще... А мальчишку этого...

Федор неторопливо, враскачку идет прямо на него и Колычев замолкает.

— Все понял? — спрашивает Федор. — Ну, молодец. Соображаешь.

— Нет, не все!.. — вдруг рубит Степан. — Вы, гражданин конструктор, делайте свои замеры, и чтоб завтра к вечеру духу вашего тут не было. Борисыч, это я всерьез: или мы, или он.

— Ультиматум? — смеется Лихоман. — Вот банда у меня, Витенька. Мне бы молоко получать за вредность...

— Мы без дураков, Борисыч, — басит Федор. — Работа — работой, но у костра с этой дешевкой сидеть ты нас не заставишь.

— Ладно, разберемся, — сухо говорит Лихоман. — А сейчас спать, ребята. Завтра до солнышка подниму.

К утру нам привозят новый торсион, мы ставим его и выезжаем. До обеда безропотно гоняем вездеход согласно указаниям молчаливого, как схимник, Колычева. Он терпеливо трясется в кузове, а на остановках долго замеряет нагрев резиновой ошиновки катков. Пишет, что-то высчитывает, потом лезет в машину, буркнув:

— Грунт — булыжник.

— Давай, Федя, на Сибирский тракт, — приказывает командор.

Сегодня Лихоман не торопится с обедом. Нас давно уже протрясло до полного вакуума, но в ответ на все намеки командор роняет:

— Перебьетесь.

К пяти часам заканчивается наша трясучка. Колычев заносит в блокнот последние цифры, щелкает пижонской шариковой ручкой:

— У меня — все.

— Федя, на станцию. Аллюр — три креста.

С грохотом врываемся в пристанционный поселок, распугивая кур. Федор лихо разворачивается возле приземистого вокзальчика.

— Прошу, — говорит Лихоман Колычеву.

— В каком смысле?

— В непосредственном. Работа закончена, счастливого пути. До базы доберетесь поездом.

Колычев медленно собирается. Ищет свой «Киев», проверяет чемоданчик с приборами. Мне кажется, что он сочиняет речь.

Ребята ведут себя так, будто он не родился на свет.

Степан и Славка идут в привокзальный магазин, Юрка пишет заново в журнале, командор и Виталий Павлович калякают на переднем листе, а Федор с головой ныряет в люк водителя и грохочет там железяками. Только мне нечем заняться, и я стараюсь не смотреть на Колычева. Честное слово, мне его жалко. Если бы я влип в такую историю, я бы, наверно, покончил с собой.

Наконец Колычев вылезает из вездехода и подходит к носу, на котором восседает наша научная мысль.

— Ну, спасибо,— сквозь зубы цедит он.— Не забуду гостеприимства, товарищ Лихоман.

Лихоман продолжает невозмутимо болтать с Виталием Павловичем. Колычев, потоптавшись, быстро идет к вокзалу.

— Ну-ка, Федя, посигналь нашим,— говорит командор.— Обедать пора.

Свирепая сирена разрывает сонную тишину безлюдного поселка.

Вот и все, инцидент исчерпан. И все молчат, будто ничего не произошло. А я весь день хожу съезжившись, и в душе словно треснуло что-то и — царапает. Сто раз мою руки и не могу отмыть режущее прикосновение потной щеки.

Я жду трудного разговора. Сознательно верчусь на глазах, пристаю с вопросами: Лихоман ровен и невозмутим, как всегда. И когда я с облегчением решаю, что все миновало, он подзывает:

— Объясняйся.

— А что объяснять, Юлий Борисыч? — при разговоре присутствует Виталий Павлович, и мне легче.— Сами все слышали.

— Слышал. Но бить не торопился, как ты мог заметить.

— Хотя следовало,— осторожно вставляет Виталий Павлович.

Золотце ты мое румяное!

— Не ломай педагогику, Виталий,— хмурится командор.— Кулак — это что, единственный аргумент?

— Нет, но... С такими, Юлий Борисыч, лучше кулаком.

— В присутствии ребят, которые пальцем тебя тронуть не дадут?

— А при чем тут ребята? При чем?.. Вы думаете, я без ребят испугался бы, да?

— Ну, и измолотил бы он тебя.

— Ну, и пусть!..

— Прав он, Юлий,— улыбается Виталий Павлович.

— Ну, ладно, прощаю,— великодушно говорит командор.— Ситуация оправдывает. Но если ты еще раз выкинешь такой фортель — спишу с испытаний. Запомнил?

— Запомнил.

— Иди. Стоп! Вождением будешь заниматься сегодня со мной. Скажи, чтобы готовили машину. Березин не поедет.

Выезжаем втроем. Находим простор, и Лихоман вылезает из машины. Насвистывая, бродит по высохшему болоту и втыкает в кочки ольховые ветки.

— Что это он строит? — интересуется Виталий Павлович. Лихоман возвращается:

— Можете отдохнуть на грешной земле.

Слезаем. Лихоман занимает место водителя и трогает машину. Не снижая скорости, проходит по болоту, аккуратно объезжая натыканные в шахматном порядке ветки. Вдали разворачивается и точно так же возвращается к нам.

— Слалом! — улыбается Виталий Павлович.

— Почти. Геннадий, давай.

Первая передача, как назло, включается с поросычьим визгом, но я все-таки трогаюсь. С грехом пополам перехожу на вторую, минуя ветку, тяну рычаг и никак не могу уловить фиксацию плавного поворота. Дергаю, понимаю, что опоздал, сбрасываю скорость и разворачиваюсь на тормозах, как трактор. Да, красиво не получилось, и до Лихомана мне еще далеко. Медленно проползаю дистанцию, ломаю три ветки и возвращаюсь.

— Не так уж плохо, — великодушно говорит Лихоман. — Только почему на тормозах разворачивался?

— Фиксатор никак не поймал, Юлий Борисыч.

— Ага! Ну, Витенька, с богом...

У Виталия Павловича получается то же, что и у меня: ползет с черепашьей скоростью, дергает машину и ломает ветки. Вылезает смущенный:

— Черт знает что. Фиксация плавает, пе-эм-пе практически пользоваться нельзя.

— Вот! — с торжеством говорит Лихоман. — Уразумел, конструктор? Так поддержи меня в святом бою с Жорой.

Они усаживаются обсуждать планетарный механизм поворота, а я до позднего вечера гоняю машину по болоту. Под конец у меня даже начинает что-то получаться, но командор приказывает сматывать удочки.

— Я поведу, Юлий Борисыч! Я!..

— Ну, давай.

Начальство заваливается на передний лист, а я веду машину к лагерю. Настоящую машину по настоящему шоссе, мама!..

«Дорогой Геночка!

У нас огромная радость: Наташеньку приняли в Молодежный театр. Это такое счастье, такая удача, что я заплакала. Правда, Наташенька теперь каждый вечер там, и я осталась одна, но для нее это — широкая дорога на сцену».

Ананьич сидит напротив и терпеливо ждет, когда я кончу читать. Маленькие глазки его ласково туманятся, и легкое амбре витает над нами, как дух, отделившийся от брэнной оболочки Ананьича. То ли он проспиртовался до предела дней своих, то ли уже успел где-то перехватить.

«...На днях встретила Сережу и Валерия. Они оба учатся: Сережа — в Бауманском, а Валера — на биофаке педагогического...»

Вот номер: Валерка и биофак. За всю жизнь этот Валерка не пропустил ни одной кошки, чтобы не шмякнуть в нее камнем, а теперь будет учить детей любить природу.

«...Боже мой, мне все время кажется, что ты калечишь свою жизнь! Подумай, ведь ты был таким уравновешенным мальчиком. У тебя, наверное, тоже есть какие-то способности, и не развивать их — просто преступление...»

Развиваю, мама, не волнуйся. Вожу машину и «пальцы» в гусеницы загоняю со второго удара, не хуже Славки.

«...Учиться все равно придется, но не забудь, что осенью тебя призовут в армию. Я понимаю, что это важно и нужно, но чем ты восполнишь такой пробел в будущем? Потерять два года и остаться без образования, без специальности...»

Ну, почему же без специальности? Все уже решено: я иду в танковые войска. Два года практики в вождении — это не шутка. Сам Лихоман обещал, что возьмет меня после этого в испытатели.

«...Как ты питаешься? Не похудел ли? Старайся пить молоко...»

Молоко у нас, мама, все больше от бешеной коровки, но я его не пью. В этом смысле ты можешь быть абсолютно спокойна.

«...Как у тебя со стиркой? Неаккуратный человек вызывает в людях антипатию, помни об этом. И не ходи в неглаженных брюках...»

Вообще без брюк скоро буду ходить. Джинсами можно ловить рыбу, а комбинезонов почему-то не дают. Может, у Ананьича спросить?

«...Следи за ногтями, сынок. Работа у тебя грязная, но опускаться нельзя. Мой руки как можно чаще, а чтобы кожа не сохла, втирай на ночь глицерин...»

Вот глицерина мне сильно не хватает. Представляю, как повеселились бы ребята...

«...И еще, сынок, один очень серьезный вопрос. Я знаю, что ты уже взрослый, живешь на собственный заработок и справедливо гордишься этим. Знаю, что у тебя нашлись прекрасные друзья — ты писал нам о них. Но ты ни слова не пишешь о своих сердечных делах. Я не верю, чтобы у тебя не было привязанностей: возраст требует своего, и я не против, но твое молчание настораживает. Может быть, ты просто не считаешь нужным писать об этом? Будь осторожен, сын: к сожалению, в жизни встречаются плохие женщины...»

Мне бы хоть плохую, мама, а то ведь никакой нет. Появилась было Аня, но ты же знаешь, как мне иногда не везет.

«...Крепко целуем тебя, сынок. Береги себя. И пиши. Ради бога, пиши!..»

— Ну, что пишут-то? — с любопытством спрашивает Ананьич. — Как в Москве с продуктами?

Больше всего на свете его мучает продовольственный вопрос. Позитивные ответы он выслушивает с откровенным недоверием, но стоит сказать, что в Камышине трудно с арбузами, как глазки Ананьича мгновенно загораются:

— Во-во!.. Нахозяйничали..

Мы только что вернулись на базу для техосмотра. Главный уже укатил, и Лихоман с Виталием Павловичем отправились на почту докладывать ему. Представляю, как они орут там в два голоса.

Ребята пошли мыться, а меня перехватил Ананьич с письмом. Пока я читал, он сидел рядом и нежно дышал спиртом. Я хочу спросить его насчет спецодежды, но не знаю, как к нему обратиться. Он что-то бормочет насчет голода в 1930 году, а я сочиняю обтекаемую фразу. Запутываюсь в витиеватых предложениях и брякаю:

— Ананьич, комбинезоны у нас есть?

— А ты не получал?

— Нет.

— Ну, дык, найдем. Ну, дык, не пропили же их.

Мы идем к сарайчику, в котором Ананьич хранит свое барахло. Он продолжает развивать свою теорию, и тут из дома выходит Владлена. А я-то думал, что она уехала с главным!..

— Здравствуйте!..— кричу я и сияю улыбкой по привычке.

Она сухо кивает и манит меня пальцем. Я иду к ней, продолжая улыбаться, хотя смутно догадываюсь, что улыбка уже неуместна. Мы обходим дом и останавливаемся на пустыре.

— Рассказывай.

— Что рассказывать, Владлена Ивановна?

— Все!..

Это «все» как удар прорезает воздух. Внутри делается пусто и тоскливо, как осенью в Сокольниках, но я по-прежнему оптимистично улыбаюсь:

— Да вы же все знаете...

— Знаю. И спрячь свою дурацкую ухмылочку! Ударить человека старше себя — подло. Ударить, сговорившись с приятелями...

Что она плетет?..

— ...подло вдвойне!..

Теперь уже мне не до улыбок, но я улыбаюсь. Как буржуй на карикатурах Бор. Ефимова.

— Сейчас пойдешь и извинишься. Андрей Сергеич еще не уехал.

— А он перед вами извинился?

Она молча смотрит на меня и начинает краснеть. Краснеет густо, неудержимо и, вероятно, ненавидит себя за это.

— Как ты смеешь!..

Сейчас она или отвесит мне пощечину или заревет. Но мне не жалко ее. Мне просто противно, если говорить честно.

— Ну, так вот, по классификации вашего Колычева вы относитесь к четвертой категории. Вас нельзя атаковать в лоб, а нужно применять обходные маневры. Жалостливые истории, коньяк...

— Замолчи!..

В злых шоколадных глазах копят слезы. Она отчаянно сдерживает их: слезы дрожат на ресницах, и я убираю улыбку.

— Я буду молчать. Только вы ему скажите, чтобы он тоже молчал.

Владлена закрывает лицо руками и отворачивается. Плачет она беззвучно, только вздрагивают плечи.

— Что ты понимаешь?..— тихо говорит она.— Что они понимают?.. Животные. Двуногие животные...

— Я пошел, Владлена Ивановна, — говорю я, потому что мне совсем не хочется выслушивать этот бред.

— Ты извинишься.

— Мне не в чем извиняться.

Она вдруг хватает меня за руки. На щеках у нее слезы, а глаза — в пол-лица:

— Гена, я прошу, прошу тебя, слышишь? Я очень прошу, Гена.

И опять мне делается тоскливо и как-то все равно. Только немного стыдно за нее — мечту с шоколадными глазами...

— Ладно.

Она жалко улыбается, поспешно вытирает слезы и, проходя, вскользь чмокает меня в щеку. Я дергаюсь, а она берет меня под руку:

— Ты умница.

Так под руку мы шествуем мимо удивленного Ананьича и входим в дом. Я пытаюсь что-то сообразить, сочинить подходящую к этой мерзкой ситуации фразу, но ничего не сочиняется. Пусто.

Входим. Колычев сидит на смятой постели, а на столе среди блокнотов недопитая бутылка вина и два стакана.

Владлена плотно прикрывает дверь. Колычев глядит на меня пустыми глазами, а я вижу эту постель и скомканную нейлоновую рубашку, бутылку и два стакана, и молчу.

— В чем дело? — сквозь зубы спрашивает он.

Владлена подталкивает меня. Я оглядываюсь и вижу ее бегающие глаза и заискивающую улыбку.

— Так в чем дело? — еще резче спрашивает Колычев.

— Вы подлец и гадина, — громко говорю я, чувствуя, как бешено колотится сердце.

Он бледнеет, как простыня, и медленно поднимается. Во мне все напряжено, но я не чувствую страха. Я даже хочу, чтобы он ударил меня, потому что после этого буду бить сам. Бить бутылкой: я уже прикинул, как схвачу ее.

Но бьет не он, а она. Визжит, бьет по спине и выталкивает из комнаты. Я лечу в сени и утыкаюсь в Лихомана.

— Вот это хорошо, — говорит командор. — Вовремя ты вывалился. Найди Березина и выпиши из журнала все наши замечания по управлению вездеходом.

Полдня просидеть с Юркой — это хуже, чем пытка: он нуден и туп.

— Цифры положено писать в середке колонки.

— Кем положено?

— Положено, и все.

Техник, диплом имеет. А Славка ушел с третьего курса:

надо было кормить семью. Где же логика, как спрашивалось в одном бородатом анекдоте?..

— Юрка, давай напишем, что пе-эм-пе надо переделать?

— Ты что?..— Юрка пугается, долго моргает рыжими ресницами.— Наше дело маленькое.

— Это почему же, интересно, оно маленькое?.. Оно — ого! Не меньше, чем у министра.

Завести Юрку ничего не стоит, но спорить сегодня я не могу. Клякса в душе. Огромная жирная клякса...

Они уезжают перед обедом. Слышу, как преувеличенно веселым голосом она прощается с ребятами, как Лихоман бубнит что-то насчет управления, и не выхожу. Мне стыдно. За нее...

Весь день пытаюсь разобраться, что произошло, и не могу. Она уехала в слезах из Ярославля — это понятно. Не захотела его встречать — тоже понятно. Он подлец из подлецов, подонок и пижон. «Дешевка», как сказал Федор, и это тоже понятно. Я дал ему по морде — яснее ясного. А она вдруг вступилась. Почему?.. Вот тут-то и начинается нечто такое, чего я никак не могу уразуметь. Любит? Тогда зачем ревела? Не любит? Тогда почему дерется?..

— Ну, дык, комбинезон-то пойдешь получать?

Ананьич. Ласково помаргивает детскими глазками и источает спиртовой дух.

Не знаю, какие гиппопотамы шили эти комбинезоны: в каждую штанину можно запихать боксера полусреднего веса. Ананьич советует затянуться потуже ремнем, я расписываюсь в ведомости и иду в столовую, громыхая комбинезоном, как латами.

— Завтра выходной,— объявляет Лихоман.— Резвитесь, соколы.

После обеда ребята выволакивают брезент и укладываются, а мною вдруг овладевает какое-то беспокойство, и я куда-то бреду. Если бы меня спросили, куда я направляюсь, я бы, наверно, принялся сочинять, но никто меня не спрашивает, себе врать не имеет смысла, и я иду к реке. Прогдираюсь сквозь кусты и поднимаюсь на песчаный бугор.

Вот оно, место, с трех сторон огражденное ольшаником. Ничего не белеет на кустах, и никто не танцует на берегу, но я сажусь на песок.

Грустно. Так мне сегодня грустно, что хочется завывать. Даже в горле першит.

Берег пуст и холоден, небо серое, как асфальт, и ветер гоняет рябь по реке.

Интересно, приходила она в тот день, когда мы с Федором ломали торсион?..

Я раздеваюсь и плыву на ту сторону. Вода холодная и жесткая: совсем забыл, что уже август. Вылезаю и, дрожа, долго хожу по песку, но на нем — только мои следы...

Ну, и правильно: я знаю, что никому не нужен. Ни плохим женщинам, ни хорошим девчонкам. Нужен я только маме с Наташкой да, пожалуй, Славке с Федором. И я иду к ним.

Все как полагается: Федор пилит мундштук. Это уже третий по счету: первый он подарил Лихоману, второй потерял. Степан чинит сапог, а Славка вдохновенно травит:

— ...в Югославии, между прочим, парень без сна двадцать пять лет живет. И ничего, нормально. Женился, детишек завел, а спать так и не выучился. А это значит...

— Врут, поди, — сомневается Степан.

— Ну, почему — врут? Официально заявлено. А это значит...

Я подсаживаюсь к Федору. Гляжу, как он пилит.

— Что, Генка, смурной? — спрашивает он. — Живот болит?

— Нет.

— А чего притих?

— Так...

— По дому заскучал?

— Ну, что ты!..

— А что? Нормальное дело. Я, например, скучаю.

— Это оттого, Федя, что поздно ты женился, — говорит Степан. — А я со своей двадцать лет прожил. Все знаю насквозь, и открытий не предвидится.

— Что же это за жизнь без открытий, Степа?

— Нормальная жизнь.

— Скучно, — вздыхает Федор. — Нет, брат, я так не могу. Я, знаешь, все ждать чего-то должен, нового чего-то. После армии на завод пошел и — не мог. Каждый день одно: одна деталь, один станок, одна технология, один режим. Сбежал через полгода.

— Куда? — интересуется Славка.

— Поколесил маленько. Лес валил на Печоре. На Каспии рыбачил. Дорогу в Сибири строил. Даже золотишко на Вилюе мыл. Все никак к месту прикипеть не мог: мотало меня, как сорванный буюк.

— А на завод обратно все-таки примотало? — спрашивает Степан.

— Случай! — улыбается Федор. — Пофартило нам с ко-решем на Вилюе, и подались мы этот фарт на шикарную жизнь менять. Ну, сам понимаешь, Сочи. Рестораны, море, девочки и денег — вагон. Прокутились — обратно уж в жестком едем. И встречаю я в этом жестком мужика. Насто-

ящего мужика: поговорили мы с ним, и снял я с полки свой чемодан. Так на завод вдвоем и прибыли.

— Борисыча, что ли, встретил? — уточняет Славка. — Да, Борисыч — это мужик.

— Все равно, шататься — это не дело, — строго говорит Степан. — Человек на своем месте должен сидеть.

— Да что я, гриб? — обижается вдруг Славка. — Торчи, где вылез, да?

— Я почему к Генке пристаю? — улыбается Федор. — Хочу, чтоб он сам понял, на своем он месте или нет. Если на своем, все нормально: включай прямую и — полный газ. А если нет, отрывайся, брат, пока не поздно.

— Отрывайся!.. — сердится Степан. — Ишь, какие все искатели! Все ищут, шастают по стране и найти ничего не могут. Потому, что за рублем шастают, вот и все. И ты за рублем гонялся, Федор, легкой жизни искал. А ее нет на свете, нету!..

— Нет, Степа, я за рублем сроду не гонялся, — говорит Федор. — Рубль никогда меня особо не интересовал, а вот дело... Не работа, понимаешь? Ну, как бы тебе объяснить?.. Работа — это когда ради денег вкалываешь, а дело — это не то. Это твое, понимаешь? Твое, кровное, где ты себя на месте чувствуешь. Ну, вот я, к примеру. Я и слесарь, и токарь, и шофер, и тракторист, и лесоруб, и механик, и это все работа. Честно я ее выполнял, не вольтнил, норму давал и все, что положено, а душа была холодная. Мог бы и успокоиться, наверно: многие с такой вот холодной душой работают. Да не смог. Я дело искал. И вот оказалось, я испытатель. Здесь мое место. Здесь я по шестнадцать часов буду вкалывать, если нужно, бесплатно буду вкалывать. Потому что это — мое дело.

— Ну, ладно, — сдаваясь, ворчит Степан. — Только шастать — это ни к чему, знаешь. Сиди, где сидишь, и доводи до совершенства то, что поручено. Это правильнее.

— Эх, Степан, до чего бы все просто да серенько было, если бы люди, как пеньки, на одном месте сидели!

— А ты сложного хочешь?

— Я хочу, чтоб всем дело по душе доставалось. Пусть ищут, пусть от папы с мамой драпают — вон, как наш Генка. Из таких как раз что-то и выходит...

— Летуны из таких выходят! Летуны да рвачи!

Спорят они до позднего вечера. Я понимаю Степана: он любит порядок, ясность и ламинарное течение жизни. Федор — сторонник турбулентного ее течения, и наши со Славкой симпатии целиком на его стороне...

Утром ребята поднимают невероятный гвалт: кому-то

пришла идея пойти на охоту. Все трое остервенело чистят свои ружья, которые до сих пор мирно хранились у Ананьича под замком, спорят насчет тайных троп и травят охотничьи истории. У Степана и Славки — новенькие «ижевки», а у Федора — старенькая, порыжевшая двустволка, но он-то как раз и охотник, а остальные купили свои пищали месяц назад, зато орут больше всех.

У меня ружья нет, но ребята великодушно приглашают меня в качестве собаки. Я отказываюсь, и вакантное место с восторгом занимает Фишка. В связи с этим они не кормят его, а сами съедают по три порции. Я управляюсь раньше них, проношу Фишке контрабандой пяток приличных костей, и он наедается до отвала.

После завтрака все трое отправляются в путь. Все, как полагается: пес — впереди, ружья — за спинами. Прут почему-то в самую безлесную сторону, и фигуры их бесконечно долго маячат на горизонте. Когда они скрываются, я иду к реке. Вода холодная, и Аня, конечно, не придет, но я все-таки перебираюсь на ту сторону и ложусь на песок.

Вообще-то я торчу здесь зря, это ясно. Она уехала в Москву, потому что скоро занятия. Уехала, считая меня подонком, способным подглядывать. Мысль эта не вызывает во мне сомнений, но я продолжаю бревном лежать на песке. Солнце греет во все лопатки, никуда мне не надо торопиться и не торопиться тоже особо некуда. И почему я не пошел с ребятами?

Кажется, я засыпаю. Ну, не вполне засыпаю, а впадаю в некую прострацию, как крокодил. Лежу, не шевелясь, ни о чем не думаю, ничего не хочу и ничего не ощущаю, кроме солнца. А потом чувствую шаги. Не слышу, а именно чувствую. Поднимаю голову и вижу толстую аборигенку; она идет прямо на меня и несет в руке босоножки.

— Привет! — говорю я и сажусь.

Аборигенка роняет босоножки и начинает визжать. И на визг из кустов выбегает Аня. Решительная и сердитая. Значит, не напрасно я не подался в собаки! Нет, не напрасно!.. Все выясняется: толстуху зовут Ниной. Аня поначалу дуется, но я ей быстренько все объясняю, и мир восстанавливается.

Настроение у меня что надо, и я рассказываю им, кто такие командос и как с ними надо сражаться, где полагается носить пистолет и как берут языков. Ношусь по песку, падаю, переползаю, и сегодня все получается здорово.

— Врешь ты все, — сонно говорит толстуха. — Сочиняешь.

И сразу делается так нудно, что я элементарно скисаю. Даже начинаю подумывать, не переплыть ли мне на свою сторону...

— Что танцуешь? — интересуется Аня.

Что танцевать! Мои пижоны, с которыми я прошлепал по Москве не одну сотню километров, выучили меня по всем правилам. Но поскольку вы просите показать...

— Во, дает!..— говорит толстуха.

Аня вскакивает и начинает выкрикивать что-то темповое. Мы скачем, пока она не выдыхается.

— Хорошо прыгаешь,— признает она.

— Современный танец есть процесс самовыражения через темпоритм. Скажем, я мечтаю.

У толстухи впервые загораются глаза:

— Покажи!

До обеда учу девчонок танцевать. Аня более или менее знакома с малым джентльменским набором, но квалификация ее довольно низка. А Нина сроду не танцевала ничего, кроме доисторического фокса.

Кстати, эта самая Нина здорово нам мешает. Я набираюсь смелости и сообщаю это Ане.

— А что я могу поделывать? — шепчет она.— Приходи сюда к восьми.

Вот это разговор! Природа опять начинает улыбаться...

— Ты когда уезжаешь?

— Дней через десять, если дедушка поправится.

— А если не поправится?

— Не болтай чепухи!..

Значит, сегодня в восемь! Я прощаюсь с девочками и по возможности эффектно плыву на свой берег. Кажется, кроль вышел неплохим... Девочки что-то кричат и машут руками. Я салютую им, напяливаю комбинезон и топаю на базу.

На подходе меня встречает Фишка. Вид у него виноватый: хвост поджат. Я пытаюсь выяснить, что случилось, но он только вздыхает и прячет глаза.

Часа через полтора возвращаются охотники. У Степана на лбу шишка величиной с картофелину. Славка заметно хромает и волочит ружье за ремень, потому что у ружья пополам переломана ложа. Подойдя, он первым делом замахивается на Фишку и ругается длинно и заковыристо.

— Счастлив твой бог, Генка,— говорит Федор, улыбаясь.

— Ну, как охота? — интересуется Лихоман.

Славка опять заворачивает матом, швыряет свою бывшую двустволку и идет в сарай.

— Надо бы у него из задницы дробь повыковырять,— вздыхает Степан.— Заражение может быть.

— Ананьич, йод и толстую иглу! — командует Лихоман.— Давай, Федя, излагай существо.

— Ну, поначалу этот идиот Фишка шпарил впереди всю

дорогу и лаял как нанятый. Еле-еле домой его спровадили и тут как раз зайца подняли,— Федор закуривает.— Давай, Степа, продолжай.

— Продолжай!..— вздыхает Степан.— Черт этого Славку на мою дорожку вынес. Вижу в кустах что-то шевелится, ну, я и стрельнул. А он вылетает из этих кустов да как звезданет мне прикладом...

— Перестрелять ведь друг друга могли!..— сердится Виталий Павлович.

Командор смеется. Ананьич приносит толстенную иглу-цыганку и склянку с йодом, и мы с Лихоманом идем в сарай. Славка поначалу кобенится и отсылает нас подальше, но командор урезонивает его, и Славка снимает штаны.

— Паршивая кучность,— объясняет Лихоман.— Всего девять пробоин.

— С меня хватит,— сквозь зубы говорит Славка.

— Ну, тогда терпи.

Я держу наготове йод, а Лихоман беспощадно ковыряется в Славкиных дырках. Славка скрипит зубами и ругается, по белому телу течет кровь. Командор деловито орудует иглой.

— Ох!.. Борисыч, ну, прямо до хребта...

— Глубоко сидит. Терпи, Славка.

Наконец экзекуция заканчивается. Командор присыпает раны пенициллином и обильно смазывает йодом. Славка орет, и я, присев, дую на его изрешеченный зад.

— Лежи,— говорит Лихоман.— Авось, к утру затянёт.

Мы идем обедать. Я отношу Славке его порцию, но у него напрочь пропал аппетит. Степан бежит в магазин, но командор перехватывает его:

— Вы мне трезвые нужны: Соколов приезжает.

Заместителя главного конструктора Соколова все побаиваются. В отличие от крикливого и отходчивого Жоры зам сух, замкнут и корректен.

— Надо с управлением что-то решать,— продолжает Лихоман.— У меня ощущение, что гоняем мы откровенный брачок, ребята.— Тут он поворачивается ко мне и с ходу обдаёт ледяной водой: — Ты чтоб шагу за ворота не смел ступить, слышишь? Основной мой козырь.

— Я не могу,— растерянно бормочу я.— Я никак...

— Что ты бубнишь? — сердится он.— Сказано быть здесь, и точка!

И точка. Я все никак не могу осознать этого.

Зам приезжает в восемь на собственных «Жигулях».

— У меня два часа. Где нам поговорить?

— Люди ждут в столовой, Анатолий Петрович.

— Вы считаете, следовательно...

— Считаю, — сухо перебивает Лихоман.

— Как угодно, — пожимает плечами Соколов.

Вначале я так расстроен, что ничего не соображаю. Гляжу на ребят, на начальство, а вижу Аню на пустынном берегу среди скучного августовского ольшаника. Потом до меня начинает доходить, что Лихоман и Виталий Павлович яростно поносят управление, что Федор их поддерживает, а Степан не говорит ни да, ни нет. Соколов упорно и неторопливо добирается до истины; я и Юрка на этом совете никак не котируемся, а Славка лечит свои дырки в сарае.

— Без горячки, товарищ Лихоман, — скучно говорит Соколов. — Техника любит нормальную температуру. Водили вездеход люди обычной квалификации? До сих пор я слышу только мастеров.

— Я водил, — высовывается Виталий Павлович.

— Ваше умение мне известно, Виталий Павлович. Кроме того, мне известна и ваша девичья влюбленность в руководителя группы испытаний.

— Ну, это недозволенный прием! — смеется Лихоман.

— У нас деловое совещание, а не занятия по вольной борьбе, и, следовательно, эта терминология здесь неуместна, — холодно режет Соколов. — Есть у вас водители обычной профессиональной выучки? Так сказать, то среднее, на что мы обязаны ориентироваться?

— Все у нас есть, — говорит Лихоман.

Юрка начинает кхекать и пыжиться, но командор останавливает взгляд на мне:

— Слесарь Крутиков. Овладел машиной на испытаниях.

— Что скажете, товарищ Крутиков?

Что скажу?.. А что надо? Я не слушал их спора и не знаю, что должен свидетельствовать.

— Овладел, — говорю я.

— Что овладел? — хмурится Соколов. — Меня интересует ваше впечатление об управлении вездеходом.

— Управление легкое, — говорю я, с ужасом соображая, что порю не то, что следует. — Если направо, то правый рычаг, а если влево...

— Балда! — не выдерживает командор. — Тебя о чем спрашивают?

— Без эмоций, товарищ Лихоман, — улыбается Соколов. — Насчет сена-соломы мы можем опустить, но свидетельство о легкости управления говорит не в вашу пользу.

— Да он не понял, — басит Федор. — Он у нас малость с придурью.

— Что не понял? — обижаюсь я. — Я же овладел...

— Садись! — машет Лихоман. — Козырный туз...

Они опять принимаются спорить, а я лихорадочно сочиняю речь. Я уже все понял, и мне плохо. Я подвел Лихомана, подвел ребят. Я готов признаться, что я идиот, но пусть мне дадут слово. Я расскажу про слалом, который устроил для нас Лихоман, расскажу, почему Юрка ударился в столб...

Но слова мне не дают. Я поднимаю руку, даже встаю, но Юрка тянет меня за рукав:

— Молчи уж, грамотей.

Слово берет Соколов:

— Я готов признать, что система управления еще не доработана. Но я не вижу причин, чтобы ставить на ней крест...

— Испытывать машину опасно! — кричит Лихоман. — Я заявляю это официально и сегодня же напишу соответствующий документ!

— Теперь об опасности, — невозмутимо продолжает зам. — Имея такой экипаж, я бы постеснялся говорить об этом.

— Демагогия! — взрывается командор.

— Ваших водителей можно показывать в цирке. Но дело не только в этом. В конце концов если вы настаиваете, мы, конечно, прекратим испытания. Но при этом не выполним программы. Естественно, что рассчитывать на премиальные в этом случае бессмысленно. — Он делает паузу, и ребята начинают шушукаться. Лихоман молчит. Виталий Павлович что-то шепчет ему, но он только отмахивается. — Я думаю, что при этой ситуации решать судьбу испытаний должен экипаж, — продолжает Соколов. — Докажите, что управление вездеходом несовершенно, и мы немедленно примем меры. При этом мы будем считать испытания законченными, и премиальные останутся в силе. Речь, таким образом, идет лишь о продлении испытаний с упором на проверку системы управления.

— Значит, покупаете нас? — яростно кричит Лихоман. — Ну, добро, решайте, ребята. Только думайте, думайте, черт возьми!..

— А чего тут особо думать, Борисыч? — лениво спрашивает Федор. — Я понял, что от нас одно требуется: гонять, покуда не докажем, что управление хреновое. Правильно?

— Правильно, — подтверждает Соколов.

— Стало быть, договорились, — говорит Степан.

— Ты, Борисыч, сам посуди, что получается, — размышляет Федор. — Либо нам бесплатно прекращать испытания, либо — за плату. Так уж лучше за плату, а?..

Соколов уезжает довольным: испытания будут продолжены. А я сломя голову бегу к реке. Нет, я уже ни на что не

рассчитываю. Просто мне нужно удрать от Лихомана... Тишина, и никого нет: ни на том берегу, ни на этом. Сажусь, обняв колени, и бессмысленно гляжу в темную воду.

Не волнуйся, мама, я на необитаемом острове. И Пятниц здесь нет: сплошь одни понеделеньки...

6

Пятые сутки идет дождь, и нежнейшая пыль проселочных дорог превратилась в тяжелую, вязкую грязь. Мы таскаем эту грязь в вездеход, ляпаем на сиденья, размазываем по бортам. От нее невозможно избавиться, и даже Степан перестал ворчать, обнаруживая ее в собственной кружке.

— Ничего, ребята, злей будем!..— смеется Лихоман.

На его красной физиономии грязь почти не заметна, зато мы выглядим весьма эффектно. Бритвы затупились, и ребята окончательно перестали бриться. Странное дело: чем тяжелее нам, тем веселее смех. Мы давно промокли насквозь, давно дрожим каждой косточкой, но все шутят, словно на улице солнечное лето.

А машину теперь водят только Федор и Степан. Даже командор не рискует братья за рычаги, потому что фиксации поворотов нет и в помине, и наши асы управляют вездеходом совершенно необъяснимым способом. Лихоман каждый день проводит тщательнейший осмотр и хмурится все больше, но его уговаривают потерпеть:

— Еще бы тысчонку, Борисыч.

Едим на ходу, спим урывками и гоняем, гоняем, гоняем. От бесконечного жесткого грохота у меня чешутся зубы. Все время чешутся, даже когда ем. Юрка совсем ополоумел и наконец перестал спать.

— Лечить тебя надо,— авторитетно сказал Степан и вкадил Юрке полный стакан того средства, которым ребята лечатся от всех напастей.

Юрка враз окосел и свалился с сиденья. Мы со Славкой уложили его и укутали в тулуп. Потом завалились сами и мгновенно уснули под барабанный рокот дождя, а Юрка начал стонать. Стонал он довольно долго, а потом вдруг поднялся и начал душить Славку. Славка спросонок заорал так, что мы сразу проснулись и кинулись их разнимать.

Утром командор провел расследование, но Юрка ничего не мог вспомнить. Славка считал, что он прикидывается, и требовал применения санкций, но Лихоман справедливо решил, что Юрка укатался, и отправил его домой, а все заботы о бортовом журнале поручил мне.

Так мы остались впятером. Вездеход еще кое-как ковылял, и ребята уговаривали Лихомана докатать его до точки. Но вскоре ПМП окончательно забастовал, и Федор с трудом отвел машину в кусты.

— Все,— сказал Лихоман.— Генка, запиши показания и подведи черту.

Ребята с этим не соглашаются и лезут регулировать, а Лихоман начинает бриться. Я «подвожу черту»: подсчитываю пройденный километраж и составляю черновик акта. Славка с грустью разглядывает в зеркальце свою физиономию, расцарапанную Юркиными ногтями.

— Вот псих ненормальный,— вздыхает он.— И почему он на меня бросился, интересно? Борисыч рядом спал, так он почему-то через него перелез и в меня вцепился.

— Есть! — торжествующе орет Федор.— Схватывает, холера!..

— Все, Федя,— говорит Лихоман, за неимением одеколона смачивая истерзанное бритвой лицо остатками водки.— Никаких холер.

— До круглой бы цифры докатать,— хрипит давно простуженный Степан.— Сколько до нее, Генка?

— Сто семьдесят семь. Будет ровно девятнадцать тысяч.

— Докатаем, Борисыч? Премияльные-то, между прочим, с тысяч платят...

Лихоман не соглашается, но ребята насаждают. В конце концов он машет рукой:

— Черт с вами, катайте. Под твою, Степан, ответственность.

— Добро, Борисыч!..

Кое-как придав себе человеческий облик, командор торжественно прощается с нами и пешком топает на железнодорожную станцию. Славка провожает его и возвращается с бутылкой: испытания закончены, и ребята тихо празднуют это событие. Оставшиеся километры — пустяк: за сутки мы докатаем их, и вездеход уйдет на полную дефектовку с приятной цифрой на спидометре. А мы вернемся на завод, будем писать отчет и ждать, когда цех соберет следующий образец.

Всем чуточку грустно. Славка бродит вокруг обреченной машины и чокается с честно послужившими агрегатами:

— Прощай, старушка!

— Плюнь, Славка,— требует суеверный Федор.

Славка демонстративно плюет на планетарный механизм поворота.

— Уродина! Дотерпеть не могла!..

— На Щеголиху поедем,— хрипит Степан, разглядывая карту.— Кольцевая трасса ровно восемьдесят километров.

— Там овраги.

— Подем обойдем, по стерне. Хлеба убрали.

— Думаешь?

— Круг, Федя. Удобство.

— Ну, давай.— Федор зевает.— Спать, ребята. В семь выезд.

Утром дождя нет, и кое-где даже проглядывает солнышко. Мы тарактим по раскисшей дороге, сползая в кюветы и осторожно перебираясь через мосты. Рычаги «схватывают», как выражается Федор, но даже в его руках машина движется зигзагом.

К полудню тент просыхает, и мы со Славкой снимаем его. Кататься, конечно, не жарко, но все же лучше, чем задыхаться в грохочущем чреве.

Вечером выбираемся за Щеголиху — довольно грязную деревеньку с неисчислимым количеством собак. За околицей Федор уступает рычаги Степану:

— Про овраги помни.

— Я по стерне.

Стерня отлично держит машину, и Степан гонит вовсю. Ревет мотор, плавно покачивается кузов. Я стою на сиденье, вцепившись в борт, и через голову Степана слежу за приборами. Федор и Славка стоят рядом. Славка что-то кричит, но ветер уносит слова.

Слева поле круто обрывается: там знаменитые Щеголихинские овраги. Когда наш вездеход был юн, как жеребенок, мы испытывали его на этих склонах.

Спидометр деловито отщелкивает цифры. Еще двадцать километров, и покажется заветная девятнадцатая тысяча.

Впереди — темно-серая прогалина: здесь разворачивался трактор, содрав гусеницами дерн. Я кричу об этом Степану, но он не сбрасывает скорость. Мы вылетаем на разъезженное место, и нас резко тащит влево.

— Тормози!..— кричит Славка.

Поздно: левая гусеница, сорвав край обрыва, ползет вниз, и вездеход тащит и тащит, и я уже стою на сиденье как-то боком, потому что все перекошилось. И тут Федор рывком сдергивает меня на пол и наваливается сверху.

Сразу смолкает мотор, и мы начинаем медленно, как во сне, валиться набок. Движение ускоряется, Федора отбрасывает в сторону, меня стучает о сиденье, я за что-то хватаюсь, а ноги продолжают летать по кузову. Гусеницы с оглушительным лязгом бьют по бортам, что-то гремит и грохочет, и вдруг все замирает. Я открываю глаза и вижу, что вишу на стоящем вертикально днище, вцепившись в

стойку сиденья. Славка висит рядом, изогнувшись в три погибели. А Федора нет.

— Приехали! — улыбаясь, объявляет Славка.

Я отпускаю руки и съезжаю на борт: он теперь вместо пола.

— Все живы? — глухо кричит из отделения водителя Степан.

— Все, — говорю я и выбираюсь из машины.

— Рожу всю раскровянил, — жалуется Степан. — Сунуло, понимаешь, рылом о щиток...

И тут я вижу Федора. Он лежит ничком рядом с машиной, как-то неестественно выгнувшись.

— Федя, ты что?

— Рука... — Федор скрипит зубами. — Руку бортом...

Правая рука его по локоть накрыта вездеходом. Я хватаю борт, тяну, тяну так, что трещит спина, и кричу:

— Степан!.. Славка!.. Степан!..

— Отойти! — Славка силой отдирает меня от борта. — Восемь тонн, дура!..

— Копать надо, — говорит Степан. — Славка, лопату! Ты как, Федя?

— Давай живей, что за разговор, — сквозь зубы цедит Федор.

Я уже копаю. Копаю пальцами, сдирая ногти. Славка с другой стороны роет лопатой. Степан лихорадочно отгребает землю.

— Как же ты, Федя?

— Ладно, Степа, после...

Я знаю, как, но расскажу это потом, через неделю, на общем собрании всего нашего отдела. Он спасал меня, понятно? Спасал, потому что я стоял на сиденье, когда вездеход начал падать. Спасал и не успел уцепиться, и его вынесло из кузова.

А сейчас я только рою и всхлипываю, и меня всего трясет. И Славка роет, роет как помешанный, и Степан гребет землю окровавленными руками, потому что у него рассечен лоб, и кровь идет не переставая.

— Держись, Федя. Держись, друг.

— Держусь, Степа. — Федор вдруг охает и глухо матерится. — Шевельнуть невозможно.

— Генка, тащи его руку!..

Я тащу. Тащу осторожно, а она вся липкая от грязи и крови, и я чувствую, как ходят под моими пальцами острые осколки костей. Федор скрипит зубами и ругается.

Потом мы со Славкой бегаем по полям и ищем палки, чтобы сделать шину. А места здесь голые, как блюдце. На-

конец Славка натывается на какую-то загородку, ломает ее, и мы бежим назад.

Федор сидит, опершись спиной о машину, и курит. Рука лежит рядом на свернутом брезенте, словно чужая: нелепо и страшно вывернута распухшая окровавленная ладонь. Степан стоит рядом и рвет на куски полотенца, рубахи, майки: все, что отыскал.

— Славка, воды. В оврагах ищи: дождь неделю шел.

Славка убегает за водой, а я стою с наломанными палками, понимаю, что мне предстоит, и никак не могу убить в душе страх. Я ни разу не видел, как накладывают шины, но ведь я докторский сын.

— Палки обстругайте, — тихо говорит Федор. — С сучками ведь приволокли.

Степан стругает палки. Славка приносит воду, и я долго мою руки. Потом становлюсь на колени.

— Ты кости не собирай, — говорит Федор. — Стяни их и ладно. В больнице разберутся.

Я выбираю обструганные палки и начинаю осторожно подсовывать их под руку. Федор дышит глубоко и часто.

— Сейчас, Федя, сейчас. Степан, помоги.

Мы обкладываем руку палками, и я бинтую. Федор бледнеет, откидывается на спину. Славка держит его за плечи и поит водой. Наконец, все. Закрепляю ленту, делаю петлю и подвешиваю запеленатую, как кукла, руку Федора на грудь. Никогда не думал, что у меня хватит на это пороха.

— Ну, как, Федя? — спрашивает Степан.

— Мозжит, холера.

— Двигай вместе с Генкой в Щеголиху.

— В Щеголиху, Степа, ни к чему. — Федор говорит тихо, с перерывами. — В Щеголихе больницы нет. Надо в Брусняты.

— Двадцать километров.

— Дойду. Передохну только. Славка, чайку бы.

Славка выволакивает канистру с маслом, поливает ветошь, вешает чайник. Потом долго ковыряется в рации, вздыхая:

— Хана передатчику, ребятки.

А Федор в упор смотрит на меня. Смотрит, словно требует чего-то или проверяет.

— Ты что, Федя? Рука болит?

— Акт. Точный километраж, обстановка, причины аварии, показания приборов.

— До того ли сейчас, Федя? — вздыхает Славка.

— Он — испытатель, Славка. А испытатель не на себя

работает и даже не на нашу контору. Он на государство работает. На тех, кто следом пойдет. Составляй акт, Генка.

Темнеет. Дождя нет, но низкие косматые тучи сплошь заволокли небо. Пока я составляю акт, перевязываю Степана, пока Федор пьет чай, опускается такая глухая мгла, что в трех шагах с трудом различаешь черную громаду лежащего на боку вездехода.

— Курево возьми, Федя.

— А вам?

— Перебьемся.— Степан достает карту.— Гляди, Генка, вот дорога. Она не накатана, так что не сбейся.

— Знаю я дорогу,— недовольно говорит Федор.

Мы долго идем по шуршащей стерне. Я часто оглядываюсь и вижу далекий красный огонек нашего костра. Он делается все меньше и меньше, превращается в точку, а потом совсем растворяется в тяжелой влажной темени. Похрустывает под ногами солома, а обещанной Степаном дороги все нет и нет. И Федор молчит.

— И чего он не тормознул? — вздыхаю я.

— Кто?

— Да Степан. Гнал, как на новой.

— Зажги-ка мне спичку.— По тону чувствую, что Федор недоволен.— Мы — испытатели. Забыл? Мы ни машины, ни себя жалеть права не имеем: работа у нас такая. Кто-то должен проверять, Генка, на себя прикидывать. Чтобы потом люди в нашей машине спокойно себя чувствовали.

— Но ведь перевернулись.

— Так мы же перевернулись! — с раздражением перебывает Федор.— Ну и хорошо: доказали, что механизм поворота — дерьмо...

Он замолкает, глубоко затягивается.

— Болит, Федя?

— Болтай, Генка,— глухо говорит он.— Давай, звони что-нибудь.

— Что?

— Что хочешь, только не молчи. Книжки травы, кино, анекдоты.

Я понимаю, что Федору нужно как-то отвлечься от мучительной боли, перестать думать о руке, и ничего не могу с собой поделывать. Я вдруг перезабыл все книги, анекдоты и фильмы и плету что-то бессвязное только потому, что мне нельзя молчать.

Не знаю, слушает ли меня Федор. Он по-прежнему грузно шагает сбоку, придерживая левой рукой ноющую правую, и курит папиросу за папиросой.

А дороги все нет и нет. Стерня кончилась, пошли какие-

то кочки, потом и они пропали, и под ногами зачавкала луговина. А дороги не видно. Впрочем, ничего не видно, даже руки, если поднести ее к самому носу. Сколько времени мы идем? Мои часы встали навеки после верчения в вездеходе, а у Федора... Да нет, часы ведь носят на левой руке.

— Федя, сколько времени?

— Давай, Генка, травы, — сквозь зубы говорит он. — Травы без остановки.

Что я только ему не рассказывал в ту жуткую черную ночь! Книги и фильмы, и всю свою жизнь, как она есть, без вранья, и даже то, как я познакомился с Владленой и почему оказался здесь. Мы все-таки вышли на какую-то дорогу и долго шли по ней, а потом опять сбились, пересекли луг и угодили на бесконечное картофельное поле. Спотыкались в глубоких бороздах, путались в ботве, а я все говорил и говорил, пока вдруг Федор не остановил меня:

— погоди, Генка. Слушай. Или это в ушах у меня шумит?..

Я напряженно прислушиваюсь и наконец улавливаю далекий собачий лай.

— Собаки, Федя! Собаки лают!..

— Да, да... — тихо и безразлично говорит Федор. — Это хорошо. Брусняты, значит...

— Ура! — кричу я. — Тут чуть-чуть, Федя! Километра три...

— Иди, Генка. Я сейчас. Передохну только...

И он медленно опускается в ботву. Я подхватываю его, пытаюсь приподнять, но он стал куда тяжелее, чем обычно.

Я долго уговариваю его, тяну, волоку, от страха не понимаю, что он потерял сознание. Потом оставляю эти бесплодные попытки и сажусь рядом, тупо глядя на него.

— Федя! Федь, ты слышишь меня?..

Он не отвечает. Лежит в борозде, вытянувшись во всю длину. Может быть?.. От страха я сразу покрываюсь потом, осторожно прикипаю к нему и слушаю, слушаю... Дышит!..

Лихорадочно срываю с себя куртку, свитер. Курткой накрываю его до подбородка, свитер подсовываю под голову. Это все, что я могу для него сделать. Нет, не все: я должен привести людей. И я, задыхаясь и путаясь в ботве, бегу через бесконечное поле на собачий лай, а впереди по-прежнему не видно ни зги. Я спотыкаюсь о борозды, падаю и снова бегу, пока не натыкаюсь на плетень.

Здесь я останавливаюсь. Пот застилает глаза, в уши часто и тупо тукает сердце, и я уже не слышу никакого собачьего лая. В глазах какая-то пелена и яркие точки, и ни черта

не видно. Потом различаю что-то темное, соображаю, что это дом, и мешком переваливаюсь через плетень.

Почему-то я не стучу в этот дом, а пересекаю двор и выхожу на улицу. Я выглядываю огонек, но избы безглазо смотрят на пустынную улицу. И тут я замечаю новый, в три окна дом и дряхлую березу у крыльца. Я прятался под нею, когда Ане открывали дверь. Стучу кулаком. Грохот отдается по всей улице, но я все равно стучу. Наконец старческий глухой голос спрашивает:

— Кто там?

— Несчастье! — кричу я. — Человеку плохо! Мы испытатели!

— Какие испытатели?

— Ну, машину испытываем! Рядом с вами, через речку!.. И вдруг слышу какой-то разговор.

Дверь распахивается:

— Ты, Гена?

На пороге Аня. Белая рубашка, плечи прикрыты платком. За нею — костлявый старик в кальсонах и какая-то женщина.

— С Федором плохо. Лежит на поле, без сознания.

— Входи. Я оденусь.

Вхожу в избу. Старик зажигает свет и остается стоять, во все глаза глядя на меня. Из-за занавески плятятся женщина. Аня уходит за эту занавеску:

— Рассказывай.

Сажусь на лавку и начинаю рассказывать. Дед буравит меня глазами. За занавеской что-то бормочет женщина.

— Ну, все! Замолчали! — резко обрывает ее Аня.

Она выходит уже в брюках и свитере, деловито поправляя волосы:

— Ты почему в одной рубашке?

— Федору оставил.

— С ума сойти! Деда, дай кожушок.

Дед покорно приносит что-то вроде овчинного пиджака. Я надеваю его, вслед за Аней иду к дверям.

— Анечка! — растерянно кричит женщина. — Ночь ведь!..

— Ладно! — сердито говорит Аня. — Не одна ведь иду.

Мы оказываемся на улице. Старик и женщина смотрят из дверей. Кажется, женщина плачет.

— Не дотащим, — соображаю я наконец. — Он тяжелый.

— Да?.. — Она сердито покусывает нижнюю губку. — Пошли.

— Куда?

— Пошли, пошли. Лешка сегодня дома.

Мы поднимаем Лешку — того самого, с могучей челюстью. Лешка бежит за Костей, и мы, стуком и криками

разбудив полдеревни, уходим в бескрайнее картофельное поле. Бродим, кричим, зовем, и наконец Костя натывается на Федора. Он все так же лежит в борозде, не слышит и не видит, но сердце у него все-таки бьется. Ребята несут Федора в деревню, а я второй раз рассказываю, что случилось. У околицы они осторожно кладут Федора, закуривают, и Щелкунчик у меня спрашивает:

— Тебе на базу надо?

— Надо. Но сначала в больницу.

— В больницу мы без тебя его отволокем. Крой, друг, на свою базу, а заодно доктора подними. Он возле магазина.

— Я с ним пойду,— объявляет Аня.— Он напутает.

Мы будим врача и по мостику перебираемся на другой берег. База встречает нас гробовым молчанием: даже Фишка куда-то пропал. Мы долго колотим в дверь, и в конце концов на стук выползает сонный Ананьич:

— Ну, чего надо? Чего?..

— Ананьич, это я! Несчастье, Ананьич!

— Ну, чего надо?..

Ананьич пьян. С трудом выясняем, что база ликвидирована, и завхоз ждет только нас, чтобы увезти на вездеходе остатки имущества. На изложение этих новостей Ананьич затрачивает последние силы и бездыханно падает в мои объятия. Я запикиваю его в дом и прикрываю дверь:

— Что делать?

— На почту! — решает Аня.— Сейчас девочек подниму.

Мы бежим назад, стучимся в чьи-то темные окна. Объясняем, ругаемся, отбиваемся от собак. Люди спросонок ничего не воображают, но мы находим телефонистку и идем на почту.

— Белоярка!.. — певуче кричит в трубку телефонистка.— Давай область! Область давай: срочный вызов!..

На линиях все спят здоровым служебным сном, путают включения, лениво отругиваются. Аня сменяет благодушную телефонистку и начинает энергично поносить всех подряд. Мне становится не по себе, но связь налаживается, и уже я ору в трубку:

— Георгий Адамыч! Это Крутиков! Слесарь! Авария у нас! Перевернулись возле Щеголихи! Щеголихи!.. Что?

Голос главного — точно с того света, но я ору свое. Мне надо, чтобы он понял, чтобы принял меры, чтобы к вечеру Степану и Славке была оказана помощь. Наконец он, видимо, что-то воображает. Кажется, спрашивает о Федоре и уточняет место катастрофы. Ору по складам, убеждаюсь, что он понял, и с облегчением вешаю трубку.

— А деньги? — интересуется телефонистка. — Срочный ведь...

Денег у меня нет: я отдал их Славке на котловое довольствие. Объясняю, но девушка очень расстраивается.

— Я заплачу, — говорит Аня. — Выписывай на меня.

С почты мы бежим к больнице. В окнах — свет, на скамейке у входа — Щелкунчик и Костя.

— Порядок!..

Я ломлюсь в дверь, но меня не пускает сердитая пожилая сестра. Рвусь, и на шум появляется доктор:

— Утром приходите.

— Вы только скажите: плохо, да?

— Утром! Не раньше десяти! Все!

Я возвращаюсь к ребятам. Лешка предлагает сигарету. Я автоматически беру ее и тут же роняю.

— Готов? — сочувственно спрашивает Костя. — Иди-ка ты спать.

А я не могу встать. Не могу говорить, двигать руками: так я еще никогда не уставал. Никогда в жизни...

— Обопрись на меня. — Аня обнимает меня за плечи. — Сильней, не бойся. Я крепкая.

Кое-как поднимаюсь. Колени дрожат и подгибаются, я почти вишу на Ане.

— Мы тут будем, — говорит Лешка. — Может, ему кровь понадобится.

Я обнимаю Аню за плечи, и мы медленно бредем по тихой улице. Чуть светает.

— Ну еще шажочек, — приговаривает она. — Ну еще...

Я ковыляю, как робот: перетаскиваю каждую ногу в отдельности. В голове — шум, глаза слипаются, и если бы Аня сейчас оставила меня, я бы просто рухнул. Но она нежно и требовательно командует, и только поэтому я кое-как передвигаюсь.

Наконец мы останавливаемся возле ее дома. В окнах света нет. Аня оглядывается:

— Знаешь что? Не будем их беспокоить, а? Пойдем на сеновал: кожушок у нас есть.

Она бесшумно открывает калитку, машет рукой, и я плетусь следом. Пересекаем двор, входим в сарай.

— Лезь! — шепчет она.

Я нащупываю лестницу, лезу и сваливаюсь в мягкое, душистое сено. Все сразу начинает куда-то плыть, качаться...

— Ты где? — шепчет Аня. — Погоди, я дерюжку нашла.

Она возится где-то рядом, разгребая сено, а я из последних сил борюсь со сном. На сеновале темнотища, хоть глаз коли.

— Давай кожушок.

По крыше начинает редко постукивать дождь. Это действует убийственно: у меня уже нету сил пялить в темноту глаза. Но тут неожиданно прямо подо мной орет петух. Орет таким противным хрипатым голосом, что я сразу просыпаюсь.

— Иди, — шепчет Аня. — Я постелила. Ну, где ты? — Она находит меня, укладывает, заботливо накрывает. — Спи.

Кажется, что-то теплое, нежное вскользь касается моей щеки. Кажется — потому что я сразу же проваливаюсь в глубокий сон...

Не скажу, что сразу вспоминаю о Федоре, как только просыпаюсь. Нет, я не забывал о нем ни на мгновение, я помню, что он в больнице, что ему плохо, но думаю не о нем. Я пишу сейчас правду: после этой ночи я ничего не хочу выдумывать. И я, помня о друге, пытаюсь вспомнить, был тот скользкий поцелуй в темноте или мне это только показалось. Вот, о чем я думаю, и мне не стыдно, потому что я ничего не сочиняю. Я больше не хочу прикидываться лучше, чем я есть, сочинять себе биографию и врать кому бы то ни было. Не хочу и не буду. Хватит.

Где-то Аня сейчас? Может быть, уже уехала, и больше мы никогда не увидимся? С этими мыслями я спускаюсь по лесенке и... вижу Аню. Прикрывшись каким-то коротеньким, дырявым половичком, она сладко спит на охапке соломы рядом с курятником. Ей холодно, она скорчилась, подтянув коленки к подбородку, а половичка все равно не хватает.

Я сажусь и смотрю на нее, и мне так спокойно и так хорошо, как никогда еще не было. Я не разглядываю ее, хотя вижу всю: и ноги, и рассыпанные в сонном беспорядке пшеничные волосы, и удивительное, розовое, чистое-чистое лицо. Я ничего не разглядываю, я просто люблюсь ею, и, наверно, поэтому сердце мое не стучит, а нежно, до сладкой боли замирает в груди. Я вижу, как чуть вздрагивают ее ресницы, как шевелятся пухлые, по-детски оттопыренные губы, и чувствую себя сильным. Настолько сильным, что могу взять ее на руки, прижать к себе и нести всю жизнь.

Она просыпается вдруг, сразу же садится и смотрит на меня круглыми, испуганными глазами.

— Ты... давно здесь сидишь?

— Нет.

— А зачем?

— Боялся разбудить.

— Я лохматая?

— Ты красивая.

Она вспыхивает, отворачивается, приводит себя в порядок. Говорит, не оборачиваясь:

— Опять подглядывал? — В голосе ее звучит нежность, я чувствую ее и улыбаюсь. И знаю, что она тоже улыбается, хотя не вижу ее лица. — Я тебе нравлюсь?

— Очень, Аня.

— И ты не врешь?

— Нет. Я говорю правду. Я мог бы сказать, что влюбился...

— Не надо! — Она резко поворачивается, глаза ее сияют. — Пойдем в больницу?

И протягивает мне руку. Так, взявшись за руки, мы выходим из сарая. И носом к носу сталкиваемся со стариком: он в упор смотрит на нас тяжелым коровьим взглядом.

— Доброе утро, — растерянно бормочу я.

Старик молчит. И Аня молчит тоже, только крепко сжимает мне руку и идет прямо на деда. Он отступает, пропуская нас, и тут я замечаю, что из-за плетня на нас смотрят две бабы. И тоже молчат. И мы идем, как сквозь строй.

Мы проходим двор, перед калиткой Аня оказывается впереди, и только теперь я вижу ее измятые брюки и соломинки в волосах.

На улице, уже отойдя от дома, мы останавливаемся. Аня по-прежнему держит меня за руку, но смотрит в сторону, чтобы я не видел ее глаз.

— Вот. — Она мучительно улыбается. — Доброе утро, товарищи.

— Аня, что ты? — Я знаю, что с ней. Знаю, что с нами, и все равно говорю: — Что случилось, Аня?

— Ничего. — Нижняя губа ее начинает произвольно дрожать. — Пойду домой.

— А... мы же хотели в больницу.

— И ведь ничего же не объяснишь, — вдруг горько говорит она. — Ничегошеньки не докажешь и не надо же ничего доказывать.

— Но это же... Это же нехорошо.

— Ох, Гена, Гена, не знаешь ты нашей деревни! — почти со стоном произносит она и решительно высвобождает руку. — Хорошо, что я сегодня уезжаю.

— Но мы увидимся?

— Обязательно. Я приду на почту: мне телеграмму отправить надо.

Она поворачивается и медленно, словно преодолевая себя, идет назад. Но чем ближе подходит к дому, тем все решительнее делается ее шаг и выше поднимается голова. И я горжусь ею.

В больницу меня пропускают сразу. У доктора измученное лицо, огромные мешки под красными глазами.

— Проходите в палату.

Федор лежит у окна. Глаза закрыты, и сначала мне кажется, что он спит. Я долго гляжу на его осунувшееся, небритое лицо, но тут он открывает глаза и улыбается:

— А, Генка. Садись, друг.

Я сажусь в ногах на табуретку.

— Ну как, Федя?

— Бывает хуже. Сообщил на завод?

Я смотрю на его забинтованную руку и никак не могу сообразить, что с ней произошло. Она уменьшилась, став вдвое короче, и я наконец понимаю, что ее просто-напросто отняли почти по локоть...

— Да, брат,— тихо говорит Федор.— Такие дела...

Я кусаю прыгающие губы, а слезы уже бегут по щекам. Я всхлипываю, размазываю их, скриплю зубами и реву. Реву, как мальчишка...

— Ничего, сынок, реви, не стесняйся.— Федор улыбается.— Это последние твои слезки. Потом и захочешь поплакать, да не выйдет ничего.

Я вытираю слезы и рассказываю, что звонил главному, что Ананьич пьян в стельку, что с базы все уехали и что сейчас я опять пойду звонить на завод, потому что боюсь: напугают.

— Деньги возьми,— говорит Федор.— Бери, бери: и звонить надо, и есть надо.

Приходит сестра и просит меня уйти: Федора везут на перевязку. Я сую деньги в карман и иду, но Федор останавливает меня.

Подхожу. Левой рукой он протягивает мне что-то маленькое:

— Возьми, сынок. На память.

Мундштук. Последний, который сделал Федор. Самый последний, больше не сделает...

Я иду на почту, заказываю завод. Пока жду соединения, пишу письмо: его отвезет Аня.

Я пишу о Федоре: ни о чем другом я не могу сейчас писать. Пишу о самом дорогом моем друге и мечтаю стать хоть чуть-чуть похожим на него.

Прости, мама, я кончаю письмо: за окном мелькнул наш газик. Кажется, приехал Лихоман...



ПРОК
НЕВОСТРЕ:
БОВАННЫЙ

ПРАХ НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ

Пролог

Начало этой истории — истории, как эти письма попали ко мне, и истории тех, кто их писал, кто мечтал и надеялся, верил и ждал, любил и сомневался давным-давно, еще до великих потрясений своей Родины — все это вместе случилось в апреле 1986 года. Вместе с режиссером Иосифом Ефимовичем Хейфицем я писал сценарий фильма «Подсудимый» в Доме Творчества Союза Кинематографистов в Москве. Иосиф Ефимович свято соблюдал режим работы, я старался не огорчать мастера, а потому на прогулки мне оставалось лишь время до завтрака. Я гулял по соседним улицам и переулкам, обнаружив вскоре самую тихую неподалеку от нашего Дома: в конце ее стоял блочный дом, в небольшом садике которого всегда грелись на солнышке старички да старушки. Я грустно люблю этот возраст, потому что в нем — мое будущее, тогда как у детей — будущее вообще, их будущее, а свое всегда ближе общего, как бы к этому ни относиться.

Так вот в то утро я добрал до серого холодного Дома Престарелых в момент, когда из распахнутого окна 3-го этажа летели во двор кофты и книги, тряпки и пустые коробки, старые вещи и старые безделушки, которые дороги только тому, кому что-то напоминают, для кого что-то хранят, а когда этот «кто-то» уходит, оказываются ненужным хламом, поскольку не содержат в себе никакой абсолютной ценности. С горечью и печалью глядел я на этот способ избавления от собственной истории, столь характерный для нашего образа жизни «только раз», пока не перестали швырять в никуда, в мусор, в забвение людскую память, боль и надежду, а потом, набравшись смелости, прошел в чахлое подобие садика.

Два молчаливых старичка с непременно орденскими планками на потертых пиджачках да три пригорюнившиеся старушки смотрели в свой завтрашний день со строгой серьезностью людей, уже осознавших приговор.

— Преставилась, — тихо сообщила одна из старушек.
— А почему вещи выбрасывают?
— Наследников нет, — пояснил ветеран в шляпе.
— Можно посмотреть?
— Смотри, пока дворника нет. Это теперь его. Сортирует, что куда.

Я прошел к жалкой кучке разлетевшихся старушечьих вещей и вещиц, и первой попалась на глаза красная картонная коробка от довоенного печенья фабрики «Рот-Фронт», перетянутая резинкой. Я поднял ее, сдвинул резинку: там лежали пожелтевшие письма.

— Дворник!.. — отчаянно зашептала какая-то старушка.

Сунув коробку под куртку, я успел выйти за ограду. А после ужина не пошел в кинозал и почти до рассвета читал старые письма.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«24 декабря 1915 года.

Хорошая славная Варвара Николаевна!

Да простится мне ради праздника столь вольная форма обращения! Сейчас сижу в караульном помещении, только что сменившись с поста. Для Вас, по всей вероятности, это непонятно — «караульное помещение», «пост»? Но Вам, конечно, случалось видеть где-нибудь часового, т. е. солдата, обряженного в громадный овчинный тулуп, в неуклюжие валенки и с медвежьей грацией прогуливающегося на протяжении каких-либо 10 шагов; в руках у него винтовка, заряженная четырьмя боевыми патронами. На его обязанности лежит охранение казенного имущества, причем малейшее отступление от установленных уставом правил карается очень строго... уж это я увлекся! Так вот, таким охранителем казенного имущества и являюсь я с 12 ч. дня 24-го по 12 ч. дня 25-го декабря.

Два часа разгуливать у дверей патронного склада, лениво таская винтовку за ремень. А ночь дивная! Настоящая рождественская ночь! Морозно, тихо, небо усеяно мириадами звезд. Сейчас 11 ч. 40 мин. ночи. Тихо, тихо кругом, словно в природе нарождается какая-то великая тайна... Я человек с довольно вольным взглядом на сущность религии, но мысль, что около 2000 лет тому назад в такую же ночь (хотя не морозную) родился человек, бросивший миру героически-

красивую мысль о всепрощении и любви, заставила меня забыть о патронных складах и взглянуть на небо другими глазами. Неправда ли, какое чудовищное по нелепости противоречие? Все мы считаем себя добрыми христианами, построили тысячи церквей и часовен, в которых сгорают миллионы пудов масла и воска, торжественно и шумно празднуем дни, принесшие нам божественные идеи, но в то же время ухитряемся побольше отправить к праотцам таких же добрых христиан и неизвестно, какой запах сильнее чувствуется теперь — запах ли пороха или запах горящих перед алтарями свечей и лампад?!. Нет, серьезно, я, несмотря на весь свой оптимизм и готовность быть кем или чем угодно, иногда прихожу в бешенство и, кажется, с величайшим удовольствием дал бы всему человечеству презвонкую пощечину, в том числе, конечно, и самому себе. Вы не думайте, Варвара Николаевна, что бывший Федрик спятил съума от всяческих противоречий жизни. Сейчас около часу ночи, наступило Рождество, даже поэтам разрешается городить чепуху. Только бывшему Иг. Северянину нет такой льготы: у него круглый год — Рождество. Смотрите, как бы не прочитала этих строк Елена Антоновна, а то мне при случае влетит за такое вольное суждение о ее кумире.

Ну, спешу закончить сие послание — скоро итти опять охранять казенное имущество, черт бы его взял! (Извиняюсь!) Имею честь поздравить Вас и всех Вас окружающих с праздником и посылаю с любовью низкий поклон. Если будет минутка свободного времени, черкните, как Выживаете, часто ли наслаждаетесь игрою Радина и получили ли каталог для составления библиотеки с красивыми переплетами? Ну-ну, не сердитесь! Помните, что как часовой, я — лицо неприкосновенное!

Ах, да, забыл было советом! Пользуюсь случаем, чтобы и Вас не обойти просьбою. Если будет время и охота, то сходите, пожалуйста, в Канцелярию Александровского училища и справьтесь, что, мол, в каком положении вопрос о приеме в училище ратника 237 пехотного запасн. баталиона Крюкова: документы были отосланы 11—12 декабря. Хорошо бы, если бы я получил от Вас весточку до 30 декабря, а то, в случае приема, я должен быть в Москве вечером на Новый год.

До свидания!

Федра.

г. Шуя, Владим. губ. 237 пехот. запас. баталион, Команда особого назначения, А. Ф. Крюкову.

Ах, как мне хочется видеть Вас всегда!»

Привет и поздравления всем!
Дорогая Варвара Николаевна!

Прежде всего поздравляю Вас с Новым годом и от всей души желаю Вам счастья, здоровья и любви. Сегодня получил Ваше письмо, которое меня, ей-Богу, страшно обрадовало. Вам сказали в Александровском уч., что я принят и что мне послано известие. Черт возьми, не везет мне с получением всякого рода казенных бумаг! И вот, дорогая и милая Варвара Николаевна, опять я с тою же просьбою.

Я знаю, Вы, прочитавши эти строки, поморщились: вот, дескать, человек-то! И чего привязался, бессовестный? Нет, нет! Я настолько уверен в Вас, что снова прошу Вас съездить в училище и справиться, когда именно отправлено мне извещение и когда мне назначена явка? Вы, может быть, не знаете, что мы, нижние чины, не имеем права наводить какая-либо справки? Эх, горька ты, солдатская доля! И смотрят-то на тебя как на материал, из которого... А, впрочем, все это ерунда! Это письмо пришлось писать совершенно неожиданно — Вы видите, что его принес Вам солдатик, невзрачно одетый, но, право, хорошенький. Он товарищ мой по Команде и принят в Александровское уч.; у него нет никого из знакомых и родственников, которым он мог бы оставить на время свою шинель. Ради Бога, не делайте больших глаз! Это — хамство, свинство, мародерство с моей стороны, но все равно — семь бед, один ответ! Когда буду в Москве, обязуюсь при каждом удобном случае развивать перед Вами столь понравившуюся Вам свою философию и добыть Вам все имеющиеся в Москве каталоги книг с крас... т. е. нет! Я не то хотел сказать. Завтра буду писать Вам огромное письмо — хочется душу отвести. Буду откровенен, как бывало редко, если только буду здоров: сегодня чувствую себя отвратительно. Ах, да, забыл сказать, что податель сего Емельянчик, учитель, человек интересный, большой любитель музыки и, в особенности, пения. Нет, серьезно, милая Варвара Николаевна! Вы, смотрите, не рассердитесь на меня, в самом деле. Если хотите, Емельянчик Вам немного расскажет про наше солдатское житье-бытье, хотя он, кажется, привык уже вполне — служит давно.

Крепко, крепко жму Ваши ручки и... советую подольше говорить шепотом! Ах, если бы Вы знали, как мне хочется позлить Вас лично!

До завтра! А Емельянчик, наверно, теперь стоит и краснеет?..

Больше, чем уважающий Вас

Федра.»

«3 января 16 г.

Милая Варвара Николаевна!

В прошлом письме я обещал разразиться огромнейшим посланием, но, к сожалению, исполнить этого обещания не могу прежде всего потому, что сейчас я нахожусь в больнице нашего батальона (сильнейшая катаральная ангина) и пребываю в преотвратительнейшем самочувствии. Всякая охота «философствовать» парализуется болью, но это, однако, не мешает мне быть «практическим» человеком, и поэтому прошу внимания!

Вам дежурный адъютант Александровского училища сказал, что я принят и что мне послано об этом известие. Получивши Ваше письмо, отправляюсь в батальонную Канцелярию, спрашиваю. Говорят: ничего, мол, не знаем! Но по плутовским физиономиям вижу, что дело нечисто. Взятку просят глазами и туманными намеками... Пусть глупо, пусть «непрактично» (а я ведь человек «практический»), но дать взятку — ни за что. Если б Вы только знали, что эти писаришки проделывают с нашим братом солдатом! А теперь опять просьба: съездите, пожалуйста, в Александровское уч. и справьтесь возможно точнее — 1) принят ли я? 2) если принят, то когда мне являться? 3) если я уже опоздал к явке, то как устроить поступление в следующий прием, который будет, кажется, 20 янв.? Вот видите, сколько я наговорил. Ей-Богу, удивительно! Никогда такого не просил и вспыхивал от уязвленной гордости, когда предлагали мне какое-либо содействие. Не говорите, пожалуйста, своим об этой просьбе, а то мне стыдно.

Простите, милая Варвара Николаевна, что ограничиваюсь написанным: пишу ведь украдкой от врачебного персонала.

Федра.

Сведения для справки: ратник 2-го разряда из 237 пехот. зап. батальона, образовательный ценз 1-го разряда, документы высланы 10—12 декабря».

«5 янв. 16 года. Шуя.

Ох, и скучно же в этой проклятой больнице, дорогая Варвара Николаевна! Пахнет иодоформом, карболкой и всякою проч. гадостью; фельдшера и санитары в грязных халатах, из открытой двери несет какую-то кислятиной... Брр!..

Продолжаю. Соблюдал перерыв — голова кружится. Если хотите порадовать меня, то познакомьте с тою «рискованною, но крайне интересною пьесой», которую Вы видели в Драматическом — я говорю про «Графиню Хелию». А Стринберга для меня не существует: нам позволяют читать только ус-

тавы да такие шедевры, как напр. «Как солдат спас знамя», «Подвиг рядового Рябова» и тому подобные высокоталантливые и, главное, назидательные произведения. Это у нас называется «Военная литература».

Ну, ставлю точку и крепко жму Ваши ручки.

Федра».

«12 января 16 г. Шуя.

Тысячу раз благодарю Вас, дорогая Варвара Николаевна, за Ваше письмо, только что полученное мною. И знаете, чем оно, главным образом, обрадовало, именно «обрадовало» меня? Тем, что Вы, по Вашему собственному выражению, хотите «заполнить свою жизнь настолько, чтобы не осталось свободной минуты для философствования», и тем, что Вы записались на лекции к Шанявскому. Ах, какая же Вы скрытная! И мне до сих пор ни словечка. Ну да ладно. В свое время Вам попадет от меня за эту скрытность. Честное слово, меня это радует, не знаю, почему, но все то, что Вы переживаете, словно в зеркале отражается в моем сердце и душе. Неважно, что Вы ходите на лекции к Шанявскому, неважно, что Вы, быть может, научились многому, а важно то, что в душе Вашей загорелся новый огонек, который только и дает человеку право называть себя «человеком». Конечно, это ничуть не значит, что я от «человека» требую беспрестанного бегания по лекциям, библиотекам и прочим местам, заставляющим кандидата в «человеки» таять, как свеча. Нет! Жизнь многогранна, многогранна и человеческая душа, и нужно, чтобы душа отражала всеми своими гранями поток жизни, иначе в результате «человек» будет однобоким. Страдайте, тайте, подобно свече, худейте не по дням, а по часам, но не поддавайтесь засасывающему омуту спокойного мещански-добродетельного существования; не уподобляйтесь и мотыльку, легкомысленно перепархивающему с цветка на цветок и, во имя протеста против «мещанской» добродетели, оскверняющему благороднейшие порывы души. Можно любить, можно наслаждаться жизнью, но не забывать при этом, что главная мудрость и трудность жизни — совместить личное счастье с деятельностью, хотя и скромною, на благо общества. Трудно, но возможно! Да и кроме того, суть вся не в достижении этой цели, а в стремлении к ней. Вы ведь, дорогая, понимаете, что я хочу сказать? При тех условиях, при каких я пишу Вам, трудно что-либо выразить удовлетворительно — кругом шум, крики, песни, балалайка, свист: одним словом, казарма! Ангина сжалилась надо мною, и я выписался из больницы 11 января.

Елена Антоновна меня ревнует к Вам или, как это го-

ворится? Вас что ли, ревнует ко мне? Видите ли, дорогая, скажу откровенно, я — неудачный семьянин, имеющий законную жену. Я не из слабых волей, но, ей-Богу, трудно быть вечно в борьбе с самим собой. Приехал в Москву, попал к вам: новая обстановка, хорошие, отзывчивые люди — сердце-то и размякло. А там — театр, интимность и некоторая вольность в обращении — я почувствовал себя птицей, выпорхнувшей из клетки. И сказал Лёле (то есть Елене Антоновне) то, чего не следовало бы говорить. Не потому, что я... Нет! Мы с Лёлей слишком разные люди, и поживи я еще немного в Москве — иллюзия любви исчезла бы, яко дым от лица огня. Собственно, я и тогда не обманывался относительно прочности своих переживаний, но мне так хотелось перечувствовать весну, обман был так красив, что я впервые изменил себе. Больше пока ничего не скажу, а то... неправда ли, лучше об этом после поговорить?

Кстати, мой взгляд на любовь таков: любовь только тогда счастлива, когда спайкой служит не столько любовь, сколько общность интересов, взглядов, стремлений и взаимное уважение...

Сигнал на занятия. До свидания, дорогая! Крепко жму Ваши ручки. При первой возможности напишу еще — ведь можно? Жаль, что, по незнанию дня Ваших именин, не поздравлю Вас. Пишите мне, хорошая, славная Варвара Николаевна!

Федра».

«14 января 16 г. Шуя.

Неправда ли Вы, дорогая Варвара Николаевна, удивлены таким усердным корреспондированием Вам, но дело в том, что сегодня я урвал минуту свободного времени и наспех прочитал новые произведения Арцыбашева: «Закат дикаря», «Война» и «Ревность» (том VIII). Во всех этих произведениях идея одна — «женщина, прежде всего, самка». Я грубо формулирую основную мысль, но делаю я это отчасти умышленно — прочитайте, если есть желание, сами и напишите, пожалуйста, Ваше мнение — Вам, как женщине, этот вопрос ближе, но только — чур! Высказаться откровенно, отбросив в сторону всякую жеманность и ложную скромность кисейной барышни. Меня лично Арцыбашевский взгляд заинтриговал, хотя впрочем, разрешите мне мое личное высказать после Вас: я мужчина, мне труднее избрать правильную точку зрения.

За последнее время русская литература изо всех сил изобличает женщину, отнимает у нее все, что делало ее прекрасною и ничтоже сумняшеся, забрасывает ее грязью.

Насколько права литература — судить пока не берусь: военная служба сделала из меня «неграмотного» человека. Но Вы имеете возможность ознакомиться с этими сочинениями и потому — читайте скорее и пишите. Потом, если Вас это не затруднит и если Вы не сочтете мою просьбу нескромным влезанием в чужую душу, то признайтесь откровенно — интересуют ли Вас лекции, удовлетворяют ли они Вас хоть немного, или эти лекции — только соломинка для утопающего? Ей-Богу, не дождусь, когда приеду в Москву — так хочется поговорить с Вами о многом, многом! А свободного времени осталось только пять минут...

Крепко, крепко жму Ваши ручки и, если позволите, то и целую. Можно? Ведь я — не «кавалер» и, если хочу поцеловать Вашу руку, то по причинам более глубоким. Пишите — для меня праздник, когда я получаю от Вас письмо.
Федра

«18 января 1916 года. 1 час 10 минут ночи.

Дорогая Варвара Николаевна!

Спокойного сна! Вы сейчас, конечно, поживаете сном праведным и мне, право, немножко завидно. Эти проклятые караулы надоели хуже горькой редьки. Вот в настоящий момент второй час ночи, а я, поспавши 2 часа с винтовкою в руках у денежного ящика, до 3-х ч. спать не имею права; затем до 5 ч могу уснуть; с 5 ч. до 7 ч. опять на часах, потом опять два часа бодрствования и т. д. в течение целых суток — утомительно немного!

Когда будете писать мне, то сообщите, пожалуйста, что читали ли Вы после моего отъезда что-либо по психологии или, может быть, слушали у Шанявского? А то меня сейчас интересует учение индусов о психической природе человека (читаю всего по 8—10 стр. в день — некогда!), и если Вы ознакомлены уже с элементарной психологией, то напишу о своей книге, т. е. я хотел сказать, которую читаю сейчас.

До свидания, милая, славная Варвара Николаевна! Жму Ваши ручки и... боюсь, рассердитесь! Или — можно? Пишите!
Федра.

Привет всем. Сегодня написал Варваре Васильевне».

«22 января 16 года. Шуя.

Знаете, дорогая Варвара Николаевна, всего только неделю я не получал от Вас письма, и уж мне кажется, что Вы серьезно заболели, что Вы на меня рассердились и т. д. и т. п. Неправда ли, какая смелая требовательность? Нет, право, слушайте, сердитая девушка! Мне хочется получить от Вас весточку, ну хоть самую малюсенькую. Или Вы огор-

чены, что голосовые связки Шаляпина начинают что-то подозрительно часто пошалить? Не огорчайтесь, милая Варвара Николаевна: он, наверное, сколотил себе миллиончик и теперь может смело ораторствовать о безкорыстном служении святому искусству. То-то аплодисментов будет! А впрочем, причем тут «Малый», когда речь о том, что я соскучился по Вашим письмам. Если не напишете, то влетит же Вам, и во всяком случае не позже... а вот узнайте, когда я приеду в Москву? Ах, да знаете, мне сегодня один офицер сказал, что в Александров. уч. отпусков в город почти совсем не дают, и это мне ничуть не нравится — ведь этак и не удастся Вас позлить немного, а стоило бы!

Нет, серьезно, мне «ужасно» хочется повидать Вас — Вы ведь теперь такая серьезная, хмурая, рассеянная, как и подабают студентке, да еще конспиративной студентке. Ну подождите же, я Вам принесу книгу, от одной фамилии автора которой можно притти в восторг, а уж название самого произведения — безподобно! Можно целый год раздумывать, что оно значит, и все-таки не додуматься. Внимайте: «Рама-чарака Йога». Как дивно звучит: вроде того словечка, которое, помните, мы прочитали в каталоге китайско-сиамско-корейской выставки? Кончаю этот сумбур в надежде, что Вы освободитесь от черной меланхолии и напишете мне ругательное письмо.

Крепко жму Ваши ручки и (даже многоточия не ставлю: теперь уж не боюсь!). А все-таки буду ждать от Вас письма. Уж этого-то Вы мне не можете запретить. До свидания!

Федра

«1 марта 16 года.

Не буду называть Вас в этом письме «Варвара Николаевна». Холодно, чуждо звучит такое обращение. Просто: «Дорогая!»

Итак, дорогая, спешу использовать несколько свободных минут, чтобы сказать хоть самую незначительную часть того, что хочется и что необходимо сказать Вам. Не буду гимназистом, не буду учитывать Вашего отношения к тому, что я скажу, не буду изошряться в красноречии, а напишу только одно короткое слово: «люблю!» Фу-ты, какая скверная психология человека: написал, и как-то странно сделалось. Да, дорогая, люблю! Я уж не мальчик, заблуждаться или ошибаться относительно своих переживаний не могу, я не хочу пока заглядывать вперед и робко спрашивать: «А к чему это приведет?» И смело, гордо говорю: люблю! Вы меня поймете, дорогая... Вот досада! Сигнал, а хочется писать и писать...

Но надеюсь, что в прятки играть больше не будем. Зачем?

Я открыл свои карты. А что касается Вас, то у меня достаточно мужества, чтобы выслушать какой угодно ответ.

До свидания, дорогая моя королева!

Ваш А. Крюков.

В воскресенье приду, если что-нибудь непредвиденное не помешает мне!»

Без даты.

«Дорогая! Вот уж три дня, как стараюсь урвать у занятий полчаса, чтобы сказать Вам хоть незначительную часть того, что нужно сказать, что накипело в душе, что просится так настойчиво наружу. Если бы Вы знали, дорогая, как опротивела та ложь, та фальшь, которая опутывает наши отношения, которая должна замаскировывать, затемнять самое светлое, хорошее, весеннее в моей душе. Хочется пасть к Вашим ногам, долго-долго смотреть в Ваши глаза, хочется поведать про то, что творится в душе, но кругом чужие глаза, сторожко следящие за каждым движением, старающиеся поймать и учесть каждый неосторожный жест, каждую невольно вырвавшуюся фразу — и тускнеет в душе горящий порыв! Досадно, больно и обидно за потерянный день. Вот было воскресенье, были даже в Сокольниках. Чего же, кажется, лучше? Но судьба в лице прекрасного дуумвирата решила иначе! Хотя эта прогулка имеет свою хорошую сторону — она была «пробным камнем». Когда мы ехали в Сокольники, то мне в глаза бросилась рекламная вывеска: «Духи и папиросы «Искушение». Да, это было искушение, и я рад, что оно было: ведь нет ничего сильнее для мужчины, чем власть женского тела...

Дорогая, я благословляю судьбу, столкнувшую нас, я благословляю ее, что она дала миг пережить и переживать прекрасные минуты, когда в сердце расцветает весна и забывает о всем тяжелом и горьком в жизни... Но, дорогая, почему у меня больно сжимается сердце, когда я подумаю о будущем? Предчувствует ли оно, что нить, нас теперь связывающая, оборвется, другое ли предчувствует — не знаю. Но только я иногда боюсь думать о будущем! Неужели опять та же молчаливая мука одиночества, та же беспросветная однообразная (может быть, и несколько полезная) жизнь? Неужели опять с тоской и тайной завистью смотреть на чужое счастье, чужую любовь?! Нет, страшно и думать об этом! Лучше смерть, чем возврат к прошлому. Может быть, Вам, дорогая, понятно теперь, почему я иногда говорю про свое желание отправиться прямо на фронт. Это не ложь, не фраза, не рисовка, а — путь, которым я закрываюсь от возврата к прежней жизни. Неужели в самом деле судьба

захотела поставить меня в положение узника, которому на мгновение показала свободу, солнце, весну и снова хочет запрятать в мрачное, холодное подземелье? А как больно, мучительно больно сжимается сердце, когда только подумаешь о возможности потерять Вас! Вы в воскресенье ушли, не попрощавшись со мной, Вы рассердились, что я не успел одновременно с Вами — и вся неделя для меня испорчена, я изнервничался... но эти проклятые согладатаи! Увидишь Вас — и нужно быть опять спокойным, сдерживать нужно то, что рвется быть высказанным. Хотел бы много сказать, но... не могу писать — мертвые слова только! Не сердитесь, дорогая, больно мне.

Когда вернулся из отпуска, то получил письмо жены на трех листах, полное упреков, угроз и жалоб. Спрашивает, почему я не пишу больше месяца, догадывается о причинах этого молчания. Что я могу ответить на это? Написал тут же короткое, но довольно внушительное письмо, может быть, откровенней, чем нужно теперь, но все равно. Рано или поздно, а нужно же когда-нибудь разрубать этот мертвый узел. Я и так уж долго разыгрываю, может быть, и «благородную», но жалкую роль жертвы. Что обязывает меня отказываться от личной жизни ради какого-то донкихотства — ведь это даже не жертва, не самоотречение, а — трусость. Почему она меня не жалела, когда видела мое одиночество, мои муки, мое отчаяние, мое постоянное самоотгораживание от жизни и ее радостей? Разве для меня не светит солнце, не существует любви? Что готовит мне будущее — счастье ли, новые ли муки — я буду одиноко благословлять Вас, дорогая, как виновницу моего прозрения, моего избавления от цепей, которые я покорно носил до сих пор. Ну, кончаю — сигнал на занятия. До свидания, мое дорогое «Ясное дело!» Относительно воскресенья боюсь что-либо сказать. Что мне хочется притти к Вам, об этом, конечно, и говорить нечего, но дело в том, что, когда я уходил в воскресенье, Варвара Васильевна была, очевидно, недовольна почему-то мною, и я уже не решаюсь приходить в субботу.

Крепко, крепко целую Ваши ручки. До свидания, дорогая!
Ваш К.»

Без даты. Записка карандашом.

«Дорогая!

Как видишь, обстоятельства ускоряют ход событий. Сегодня будет генеральное сражение, но, уж конечно, не здесь.

Почему ты не приходишь сюда?

Я удивляюсь своему спокойствию и, пожалуй, даже доволен приезде моей бывшей жены.

Безумно любящий тебя. Твой А. Кр.»

Записка без даты. Аккуратный девичий почерк.

«Ход моих мыслей:

бенефис, кислое молоко, Кенигсберг, кивер, пилюли, Гималайская гора, Никопополион Галактионович, самооплевывание, туннель, стеариновые свечи, Людовик 14-й, индиго, лед, Брюссель, ухват, чернила, Мон-Блан, замухрышка, лицемерие, жаровня, удав, мифология, туфли, рыба, разочарование, обои, палка, сон в летнюю ночь, масло, городничий, рудники, квартет, земля, спички, акула, шарлатан, щи, порт, щипцы, хан, безупречность, Дарвин, коробка, зразы, кондуктор, порицание, республика, гаванские сигары, Тангейзер, вишни, каменщик, приложение, Агафья Тихоновна, Самарканд, квадратура круга, пыль, уважение, ячмень, забвение, Архипов, усталость —

Люди счастье жертвуют дружбе, дружбу приносят в жертву любви, любовь — эгоизму, эгоизм — голоду.

Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, глупость судит.
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть тому, что будет.
Живя, умей все пережить,
Печаль и радость и тревогу
(пропущена строка)
День пережит, и слава Богу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«27 мая 1916 года. 7 ч. 30 мин. утра.

Дорогая славная Женёк!

Вчера пришли из лагеря в 2 ч. ночи — утомлены до крайности, но твое письмо, ясное дело, подняло мое самочувствие. Дорогая любимая моя, повторяю тысячу раз и буду повторять — за мое чувство к тебе не бойся: никакие испытания, никакие страдания не смогут его уменьшить ни на иоту. Ты боишься, что в моем сердце может «человек запреобладать». Нет, дорогая, это настолько невозможно, что и говорить нечего. Я могу страдать, могут страдать все окружающие меня, могут плакать, падать в обморок, кончать самоубийством — все это не ослабит моей любви к тебе. Наоборот,

укрепит, так как в этой любви все мое счастье, мое утешение, в ней вся моя жизнь.

Так-то, моя милая Женёк! Не волнуйся, дорогая. Все эти перипетии борьбы за наше счастье мало-помалу пройдут, и уж тогда мы будем пользоваться полной мерой счастья, на которое дает нам право наша любовь.

Все это устроится постепенно. Острота горя у «нее» уляжется. Ах, Господи, я припоминаю теперь все мелочи, все детали моего объяснения с нею и все более убеждаюсь, что для нея самое страшное — это внешняя материальная сторона вопроса. Да! Никогда я так остро не был обеспокоен этим вопросом, как теперь, и никогда не был так беспомощен в этом отношении, как теперь. От денег, выдаваемых при производстве, у меня останется одно воспоминание (нас буквально грабят), жалования учительского лишили, жалование офицерское только 20 мая и я — в дурацком положении.

Завтра приду между 5—6 ч. в. А пока до свидания, моя дорогая Женёк! Крепко, крепко целую тебя. Буду ждать и сегодня от тебя весточки по возвращении из лагеря, куда идем через час. А, знаешь вопрос-то о квартире для меня остается еще открытым — придется несколько дней по окончании училища просидеть в первой попавшейся гостинице!

До свидания, Женёк! Твой навсегда

Федра»

«23 мая 1916 г.

К чему и ради чего вся эта трагикомедия с прятками, умышленным уходом из комнаты наверх? Ты ли это, моя дорогая разлучница? Все это так непохоже на тебя, что я прямо поражаюсь. Разве ты обязана кому-нибудь отчетом в своих поступках? Что касается меня, то я так же независим, как ветер полевой. Я сжег свои корабли. Что нам до людей, разве они сделают нас счастливыми? Они для этого слишком бессильны, как бессильны помешать тому, что так необходимо для нашего счастья. Скажу прямо: если ты будешь прятаться от меня, я уничтожу причину этого прятания — т. е. скажу бывшей жене Клавдии Ивановне, что люблю именно тебя. Ведь не могу же я подумать, что ты боишься Кл. Ив. Ты пришла и бросаю писать!»

(Без подписи и обращения).

«31 июля 16 года.

Женек, знаешь, что? Только не смейся надо мною — помолись, чтобы я вернулся к тебе невредимым.

Здравствуй, моя милая, дорогая Женёк! Сейчас только

пришел из Офицерской столовой, где вкусно поужинал. Впрочем, начну по порядку.

Как ты сама видела, в вагоне теснота была ужасная, и я, сидя, соснул не более часу. До «З» ехали безупречно, куда мы прибыли в 9 ч. 30 м. утра. Пошли к нач-ку бригады, он нас вдруг назначил в 266 пех. зап. баталион, стоящий здесь же. Пришли к баталионному командиру, представились; всех нас разбили по разным ротам: меня в 3-ю, Емельянчика в 4-ю; роты стоят в деревне, но моя и Емельянчика роты на расстоянии не более полуверсты друг от друга. Скучно нам показалось здесь — опять занятия. Большинство стараются задержаться. Стоило ли из-за этого мне разставаться с тобой — милым, хорошим светлым солнышком? И мы, т. е. я и Емельянчик завтра подаем рапорта об отправлении нас на передовые позиции в первую очередь. Поймешь ли ты меня, дорогая, в этом упорном стремлении все ближе и ближе к огню, может быть, и к смерти? Сердце кровью обливается, когда мелькнет мысль, что я, я, безумно, бесконечно тебя любящий, сам ускорил нашу разлуку, но, дорогая, что-то фатальное, что-то вне меня стоящее влечет меня туда, вперед, где кровь, страдания, слезы. Это — экзамен нашей судьбы, страшный экзамен, на который не каждый добровольно согласится, но если мы его выдержим, я окончательно поверю в Бога, и тогда, дорогая Женёк, какая красивая счастливая жизнь у нас впереди! Дорогая моя, только теперь я начинаю понимать, как глубоко, как сильно я люблю тебя, мое светлое солнышко. Люби и ты меня, Женёк — ведь в тебе вся моя жизнь, все мое счастье!

Безумно хочу спать. Привет Оле.

Твой Федра».

«2 августа 16 г.

Дорогая Женёк!

Вчера мы с Емельянчиком пошли в деревню, где расположены наши роты. Отошли этак версты полторы, слышим вверху шум пропеллера — высоко в небе плавно кружит немецкий «Фарман». До сих пор невидимая наши батареи, расположенные кругом «З», заговорили: один разрыв шрапнели, другой — все ближе и ближе к немцу. В ответ в версте от нас взрыв бомбы, брошенной с «Фармана». Как-то легко, радостно было на душе, немного сильнее билось сердце, когда аэроплан прошумел над нашей головой: вот бы здесь ахнул!..

Да потом вот что, Женёк, денег мы здесь не получили, а у меня осталось что-то около 50-и рб.; если тебе это не так противно, то вышли, пожалуйста, «ей» рублей 40—50.

Как получу, то вышлю тебе. Прости, Женёк, что обращаюсь к тебе с такою просьбою, но кроме я ничего не мог придумать. Адрес: ст. Измалково Юго-Вост. жд. «Кл. Ив.». Относительно развода написал ей и как получу ответ, то немедленно напишу тебе, а ты уж, Женёк, действуй, ради Бога. На тебя вся надежда. Береги, дорогая, нервы и здоровье для нашего будущего.

Безумно любящий тебя *Федра.*»

«2 августа 16 г. 9 ч. 15 м. вечера.

Дорогая Женёк! Сегодня пишу тебе второе письмо, хотя спать хочу так, как хочет всякий, исколесивший в течение дня, по крайней мере верст 13 — девять часов без перерыва был на ногах: бегал, как угорелый, от бригадного к баталионному, от баталионного к ротному и т. д. Ну, одним словом, в результате всей моей беготни я назначен командиром маршевой роты, отправляющейся завтра на фронт, а куда именно, написать не могу — не полагается, Женёк! Конечно, по прибытии в полк мою роту могут разбить по другим ротам, но в конце концов это неважно.

Прости, Женёк, глаза слипаются, завтра вставать в 5 ч. утра на смотр. В 4 ч. веч. молебен, а часов в семь отправляемся — вечером идем потому, что необходимо скрыть перемещение от воздушной разведки.

Настроение пока превосходное — чувствую, что живу, и, интересно, никогда с таким наслаждением не думал о тебе, как теперь. Пиши мне чаще, ведь это будет такою большою радостью — получить от тебя весточку. Нумеруй свои письма, чтобы определить, какие пропали, я тоже буду нумеровать.

Федра.»

(В конверте с адресом: «Ярославль, угол Петропавловской и Ильинской, собст. ц. Ея Превосходительству Варваре Ивановне Гвоздаревой. Из действующей армии).

«4 августа 16 года.

№ 4

Дорогая Женёк! Вчера вечером выехал с ротою из «З». Верст 70 (до границы) ехали по железной дороге, а потом от одного пограничного местечка пошли пешком. Втягиваюсь в походную жизнь — приходится только слюнки глотать, как вспомнишь о твоих обедах, а тут еще солнце печет немилосердно. Но все это конечно ерунда! Я отлично учитываю, на что иду. Да ведь, собственно говоря, чем трудней поход, тем слаще отдых! А интересно зато как! Не так давно в

этих самых местах были австро-германцы — сохранились еще их надписи на домах, указатели дорог, вывески магазинов, их окопы. Сейчас наши роты обедают, а потом через часик двинемся дальше: итти придется всего верст 9—10 до одного довольно большого австр. города, где заночуем. Вот видишь, колодочка, я и заграницей!

Ну, до свидания, моя дорогая, любимая Женёк! Крепко, крепко тебя целую, моя беляночка, моя снегурочка и моя колодочка.

Привет Абрамовым и Оле. Написала ли ты Сергею Артем.?

Еще раз целую тебя и твои ручки.

Твой Федра.»

«6 августа 16 г.

№ 5

Дорогая Женёк! Теперь поделюсь с тобой последними новостями: я назначен в 22-й Сибирский стрелковый. Полк боевой в самом полном значении этого слова — сам командир полка всегда впереди всех идет в атаку и его Бог хранит: только одна царапина в руку, между тем, офицерский состав почти полностью меняется после каждого боя. Женёк, все наше счастье, все наше будущее, которое обещало быть таким красивым — все поставлено на карту ради долга, ради чего-то высшего, находящегося вне нашей воли.

Женёк, моя милая дорогая Женёк, я в тебе уверен больше, чем в себе самом: я знаю, ты никогда не упрекнешь меня в том, что я отказался от личного счастья, что я ушел из нашего милого уголка, где я был так счастлив. Кто знает, может быть, судьба нарочно нас соединила, чтобы, поманив счастьем, радостью, любовью, безжалостно разрушить наши мечты. Ты, моя дорогая, как-то сказала мне, что ты — «русская женщина», так будь же ею до конца, не ропщи на судьбу, на Бога, если ты веришь в его существование; неведомыя силы руководят нами и, примирившись с настоящим, будем верить, что наше счастье — впереди.

Я — в полосе огня, хотя пока в резерве (в 4-х верстах от пр-ка), и ежеминутно нахожусь под Дамокловым мечом, но чувствую себя отлично: спокоен больше, чем ожидал.

Емельянчик в одном полку со мною — мы с ним пока в одной избе — в данный момент раскладывает пасьянс. Да, Женёк, уж нужно сознаться перед тобою: публика тут неважная в смысле образования, воспитания и бывшего своего социального положения — впрочем, это я стал заговаривать зубы! Одним словом, от скуки, нет, вернее не от скуки, а чтобы дать хоть какой-нибудь выход нервному напряжению, здесь офицеры «дуются» в карты; вчера я не вытерпел, при-

сел было на минутку, а просидел до 4-х утра — в результате меня обчистили порядком. Мне денег, конечно, не жаль, но эта картежная игра опасна в том отношении, что в нее можно втянуться, а мне, наоборот, хочется очистить свою душу от всего мелочного, пошлого, обыденного, и если суждено умереть, то умереть с ясною душою и чистым сердцем. Поэтому, Женёк, даю тебе слово, что больше играть не буду, пока не увижу тебя.

Адрес: «Действующая армия, 22-й Сибирский стрелковый полк, прапорщику Крюкову». Крепко тебя целую, моя беляночка!

Твой Федра.»

«6 августа 16 года. 10 ч. вечера.

№ 6

В нашей халупе опять картежная игра чуть ли не с 4-х часов: шум, крик, в воздухе — табачный дым и отборная ругань. Опускаются здесь люди, дичают, не видя общества женщин: понятия о приличии, воспитанности, а подчас и вежливости, просто понемногу атрофируются. Пошел гулять в поле — так хорошо кругом, тихо; кузнечики трещат, из деревеньки, из леса (здесь лес кругом) доносятся песни, сдержанный говор солдат, оркестр порядочно играет какой-то марш; небо ясно, чисто, звездами усыпано; изредка набегаёт ветерок, а впереди отчетливо раздаётся трескотня ружейной перестрелки. Небо в стороне противника время от времени озаряется ракетами, а иногда ночную темноту хлестнет луч прожектора, порывается по опушке леса, по нашим окопам, метнется дальше к нам в тыловые части — и еще гуще темнота.

Чисто и ясно в небе, чисто и ясно на душе. Грустно как-то: плакать хочется, хочется прижаться к тебе, моя беляночка, и открыться в беседе душе. О чем? И сам не знаю: все липкое, грязное наносное смывается с души дыханием рыскающей здесь смерти. Рядом с нашей халупой — братское кладбище: простой деревянный крест, холмик, обложенный дерном — вот все, что осталось от молодых жизней. Да, Женёк, только здесь вдумчивый, с чуткою душою человек сможет понять себя, только здесь он может проникнуть в глубь своей души и заставить звенеть струны, доселе молчавшие. Люблю я тебя, беляночка, и мечтаю, знаешь, о чем? О том, как я возвращусь к тебе, как мы устроим свою жизнь, как хорошо после будет... Но, Женёк, ты не будь такою пассивною, каким быть вынуждают меня обстоятельства, а действуй: я надеюсь, что ты разведешь меня, хоть и стыдно немного сознаваться в том, что без тебя я вряд ли смог бы освободиться, вырваться из клетки. Я думаю, что будет так, как мы хотим.

Ну, до свидания, Женёк. До свидания, моя дорогая. Крепко тебя целую и прошу беречь нервы и здоровье. Передай привет Абрамовым и Оле. Пиши, дорогая! *Твой Федра.*

Действующая армия, 22 Сибирский стрелковый полк. Пришли, Женёк, папирос, сухарей и плитки 3—4 шоколада.»

«8 августа 16 г. Окопы.

№ 7

Вчера в 9 ч. вечера я в первый раз попал в окопы. В 6 ч. веч. меня вызвали из резерва в штаб полка и направили на передовую линию. В нескольких десятках шагов от окопов — богатый, обшарпанный замок какого-то магната. Я сегодня утром был в нем — массивные стены, лепные потолки, опирающиеся на колонны; почти все комнаты украшены картинами, добрая половина которых испорчена осколками снарядов по стенам, по полочкам, окаймляющим стены, на кронштейнах — кабаньи, медвежьи головы, искусно сделанные чучела птиц; очевидно, было и оружие, но его частью увезли при отступлении, а частью растащили при занятии замка. Зашел я в библиотеку — шкафы разбиты, книги (многие в очень богатых переплетах) разбросаны, порваны; коллекция старинной фарфоровой посуды разбита: часть еще сиротливо ютится на полках, а остальное — на полу в тысячах осколков.

На сегодня у нас предполагается атака, но начавшийся еще с раннего утра огонь помешал этому; теперь идет оживленная артиллерийская перестрелка; через наши головы ежеминутно проносятся с каким-то характерным свистом снаряды; вот сейчас ударил снаряд в двадцати шагах, другой... сердце сильно забилося и рука чуть-чуть дрожит. Сижу, прижавшись к стене. Ничего, нужно привыкать, нужно тренировать себя, может быть, и пригодится эта тренировка.

Жду деньщика, который должен принести сюда обед (если только не струсит). Это письмо отправлю с ним, ему же я дал твой адрес на всякий случай. До свидания, Женёк. Некогда писать.

Твой Федра.»

«10 августа 16 г.

№ 8

Дорогая Женёк! Начну с того, что Емельянчик получил три раны в правую ногу с раздроблением бедра — возможно, что ногу отнимут.

Последнее письмо я не успел окончить, потому что нас вызвали на линию огня. Добрался где бегом, где ползком до хода сообщения: грязь, жидкая вонючая грязь до колен (все время перед этим шел дождь). Пули, как раздраженные пчелы, жужжат кругом, с каким-то чмоканьем впиваясь в землю.

Снаряды звенят в воздухе и поднимают при своем разрыве громадные столбы комков земли, пыли, осколков. Разыскал командира батальона. На 2 ч. дня назначена атака: началась артиллерийская подготовка. Дрожь пробегает по спине при одном воспоминании об этих минутах. Трудно, невозможно даже себе представить, что происходит перед атакой и в момент атаки на передовых позициях. Сплошной гул, треск, гром, вой — все тело бьет, как в лихорадке, во рту пересыхает, губы слипаются, в голове, в ушах какой-то звон, клочки мыслей, самых неожиданных иногда, абсурдных пронесаются в сознании. Я почему-то вспомнил нашу прогулку в Сокольники. Свисток — сигнал к атаке. Перевалились через бруствер окопа, замешательство среди стрелков... Буду краток: не хочется припоминать, воспроизводить в сознании переживания — так они ужасны! Скажу только, когда шли в атаку, Емельянчик был от меня в 15-и шагах. Разрыв снаряда, и осколком ему разбило бедро: меня только подбросило и ударило о землю. И теперь еще больно спину и ноги. Две другие раны Емельянчик получил уже, когда полз обратно к своим окопам.

Теперь наш полк сменили — мы, может быть, с недельку отдохнем, а там опять, что Бог даст. Да, Женёк, откровенно говоря, я не прочь вернуться бы в Ярославль — хоть на минутку, увидеть тебя, моя дорогая! Помолись когда-нибудь, Женёк, за счастливый исход моей боевой жизни: я тоже в душе ежеминутно молюсь. Стоишь здесь лицом к лицу со смертью и искренне веришь в Бога. Каким далеким прекрасным сном представляется наша ярославская жизнь. Ах, как хочется к тебе!..

Наш полк потерял в боях 8—9 авг. немного — приблизительно столько процентов, сколько твоей матушке лет. В бой вышло 33 офицера, вернулось 15. Сейчас над головою гудит австрийский аэроплан и корректирует стрельбу по нашему тылу.

Крепко целую тебя, Женёк. Передай привет
Абрамовым и Оле.

Твой Федра.»

«12 августа 16 г.

№ 10

Дорогая Женёк! Сегодня в 7 ч. вечера опять выступаем в окопы — надолго ли? Пока полное затишье, не слышно ни артиллерийской, ни ружейной перестрелки: очевидно на нашем боевом участке начинается позиционная война; опасности при такой войне, конечно, меньше, но нервы треплются, пожалуй, не меньше, чем в наступлении.

Мы после боев надеялись на более или менее продолжи-

тельный отдых, но вчера к нам прибыл командир корпуса. Выстроили остатки полка, корпусный поздоровался, сказал хвалебную речь, попросил, между прочим, прощения у стрелков, что не поддержал своевременно лихой атаки нашего полка, расцеловал командира полка и уехал на своем автомобиле, а об отдыхе и пополнении — ни звука. Подожди, Женёк, пообедаю, а то деньщик пристаёт.

Да, Женёк, я как-то просил тебя прислать мне папирос. Так вот, если будешь присылать, то не забудь прислать и карты. Ту колоду я потерял во время боя, а купить здесь негде: без пасьянса скучно!

Эти бои были очень тяжелы и опасны, а наград за них мы не получим, потому что наши атаки были отбиты. Что дальше будет, одному Богу известно. Иногда хочется получить легкое ранение, чтобы эвакуироваться отсюда месяца на два-три: повидать тебя, мое милое солнышко, поцеловать тебя и твои ручки, моя колодочка!

Сейчас лягу спать: постараюсь уснуть, а то эту ночь придется бодрствовать в окопе. Пока до свидания, дорогая моя Женёк. Не забывай твоего Федру. Привет Абрамовым и Оле. Да, Емельянчика эвакуировали куда-то вглубь России. Твой Федра.»

«13 августа 16 г.

№ 11

Дорогая Женёк! Пишу тебе, лежа на животе в двадцати шагах от своих окопов и шагах в полтораста от австрийских, и чувствую себя превосходно. Дело в том, что расстояние между нашими и австрийскими окопами настолько незначительно, что артиллерия ни наша, ни их пока не открывает огня, боясь вместо чужих влечь снаряд-другой по своим; ну, а ружейный огонь не так страшен, с ним быстро свыкаешься: прожужжит мимо уха пулька, да и только! То ли дело снаряд: еще далеко, а уже звенит зловеще, все ближе, ближе... невольно все в тебе сжимается, хочется уйти в землю, нервы натянуты как струна, и вдруг — бум!.. Задрожит земля, загудит, словно пораженная в сердце. Облегченно вздыхаешь, но это успокоение только на секунду: снова звенящий стон снаряда, опять то же мучительное ожидание, и так долго, долго. Живя в тылу, вдали от этого царства смерти, нельзя представить себе и миллионной доли того, что здесь переживаешь. Здесь смерть, вот здесь кругом витает, бросая железо, сталь, свинец, удушливый газ, и невольно приходит в голову, что ты присутствуешь при какой-то чудовищной пытке, кошмарно-ужасной казни человечества, и присутствуешь не в качестве зрителя, а в качестве осужденного, томящегося в ожидании своей очереди. А небо

такое же голубое, так же светит солнце и так же безмятежно говорят между собою листья дуба, под сенью которого я лежу. Наша позиция проходит по околице австрийской деревушки «Б» — сады кругом!

Крепко, крепко целую тебя и прошу быть спокойнее и увереннее в счастливом исходе. Привет Абрамовым и Оле. Пиши!

Твой Федра.»

«14 августа 16 г. 2 ч. ночи.

№ 12

В эти минуты, когда я пишу тебе вот это письмо, ты спишь спокойно, а я сижу в землянке, чутко следя за ружейной перестрелкой, но думаю о тебе, моя дорогая Женёк! Когда вчера я окончил письмо № 11, по телефону сообщили, что на соседний с нами полк австро-германцы готовят атаку. Тут началась артиллерийская подготовка — ты спросишь, что это значит? Словами трудно нарисовать хоть сколько-нибудь приблизительную картину: это что-то настолько ужасное, настолько действующее на человеческую психику, что все это нужно пережить, перечувствовать самому. Я когда-то говорил, что никогда не забуду Шаляпина в «Дон Кихоте». Гм, пожалуй, целую сотню Шаляпиных можно забыть, но никогда не забудешь этих милых часов артиллерийской подготовки. Длится она час, два, три, а иногда и целыми сутками. Но прошли те времена, когда нас, бедняг, засыпали снарядами и брали голыми руками. Нет, черт возьми, русского солдата не могла добить «сухомлиновщина» и «мясоедовщина», а не то, что ваша артиллерийская подготовка: соседним ротам приказано выдвинуться вперед на линию окопов нашей роты: бейте по пустому месту!

Ты спросишь, чего я не сплю, несмотря на то, что уж третий час ночи? Моя 12-я рота и 11-я рота составляют одну сводную и потому получилось два ротных командира. Без наблюдения стрелков оставить нельзя, и мы дежури́м ночью по три часа: пройде́шь по окопам, по блиндажам, помотришь, есть ли наблюдатели по бойницам, не спят ли стрелки, не заметно ли какого-нибудь движения в неприятельских окопах и т. п. Наша землянка в 3 арш. длиною в 30 шагах от передовых окопов, а между нашими и австрийскими окопами всего 120—150 шагов. У одной стены землянки спит наш батальонный командир капитан князь Друцкой-Соколинский, а к другой прижался командир 11-й роты; я же между ними сижу на цинковой коробке из-под патронов, светит мне свеча, вставленная в штыковую трубку: штык воткну́т в землю. Сейчас кончу это письмо и постараюсь, прижавшись в уголок, заснуть: скоро начнет светать. Теле-

фонист сейчас сказал, что далеко влево от нас сильный артиллерийский огонь — очевидно, австро-германцы решили во что бы то ни стало прорвать нашу линию. Хоть бы Бог помог нам отбить эти атаки и на австрийских плечах докаться до Львова.

Ну, спи спокойно, моя дорогая. Крепко целую тебя, моя милая Женёк!

Твой Федра.»

«17 августа 16 года. Окопы.

№ 15

Затишье продолжается: только вечером и ночью беспрерывно поддерживается огонь, не столько губительный, сколько нервующий — в течение пяти суток, как мы находимся в этих окопах, в нашей роте убито — 5, ранено — 7 и то большею частью они погибли от бомб, бросаемых из неприятельских окопов. Вчера вечером и сегодня утром несколько бомб разорвалось рядом с нашей землянкой, но все обошлось благополучно.

Откровенно говоря, уж надоело сидеть здесь, тем более, что вчера и третьяго дня шли дожди — по ходам сообщения грязь, липкая глинистая грязь. Спать приходится, согнувшись в три погибели — шинель служит матрацем, подушкой и одеялом: приходится изощряться. Уж семь дней прошло, как я не снимал сапог — ноги, извини за выражение, сопрели. Противно так!

Обед сюда носят деньщики: наш обоз стоит верстах в 9-и отсюда. И деньщикам достается, и обед холодный, потому что огонь разводить нельзя — от противника все видно и сейчас же обстреляют. У меня деньщиком — Федот Ткачев, лет сорока: хороший услужливый малый, относится ко мне с каким-то боязливым почтением: наверно потому, что я не употребляю «изящной литературы». Все положительно здесь ругаются и ругаются прямо-таки артистически, как может ругаться только русский. Спрашиваю одного офицера: «Почему и зачем вы совершенно беспричинно ругаетесь?» «А чего ж мне не ругаться? Что я, архиерей, что ли?» Вот и все — коротко и ясно. Ну пусть на здоровье ругаются — во мне слишком сильно отвращение к этому лексикону, чтобы соблазниться общим примером.

Писала ли ты Сергею Артемьевичу? Ты, Женёк, не откладывай нашего дела в долгий ящик и делай то, что можешь делать. Пиши, дорогая беляночка, не забывай безумно любящего тебя

Федру.»

Не знаю, что сегодня со мною — подействовала ли постоянная опасность, предчувствие ли какой-то перемены в твоей душе — не знаю! Но только какая-то тоска сжимает сердце — это не предчувствие опасности, не скука одиночества — нет, это боязнь за тебя, за твою любовь!

Вчера в 2 ч. ночи, когда я шел со своей ротой из окопов, мне пришлось остановиться среди поля, чтобы ориентироваться. Выслал вперед проводников, а сам лег под громадный каштан, стоящий среди нескошенной, наполовину вытоптанной ржи. Пахло пряным ароматом ночи, шальные пульки, тоскливо звеня, сочно впивались в отсыревшую землю, в темном небе ярко мерцали звезды. Я думал — вот ты сидишь, может быть, на веранде и так же, как я, молчаливо смотришь на эти же бесстрастно-холодные звездочки. Я думал — наши взгляды встречаются, я чувствовал тебя, но действительность безжалостно говорила, что ты далека. Женёк, милая, любишь ли ты меня, не охладело ли твое сердце? Что мне в сознании исполненного долга, когда я не вижу тебя? Знаешь, когда я случайно сказал о причинах, заставивших меня приехать сюда, то все на меня вытаращили глаза с таким обидным недоумением, что я почувствовал себя чужим. «Долг перед родиной? Вам стыдно было сидеть в тылу? Слепые, они, наверно, считают это рисовкой. Или, может, мой идеализм действительно смешон в наш «практический» век? И это сказал не прапорщик, не поручик, а полковник, всю жизнь отдавший военной службе.

Прости, Женёк, если это письмо доставит тебе несколько грустных минут — я не могу лгать! И знаешь, мне чертовски приятно, что там, где-то далеко, в Ярославле, есть близкая родная душа!

Теперь мы стоим в ближнем резерве, в лесу. От позиции всего 3 версты. Говорят, что простоим здесь дней пять, хотя это, конечно, зависит от обстоятельств. Во всяком случае продолжительного отдыха теперь быть не может — время не такое.

Ну, до свидания, моя дорогая Женёк! Крепко тебя целую и жду писем. Привет Абрамовым и Оле.

Твой Федра.»

«19 августа 16 г. Землянка в лесу у д. М...ль.

Ты меня простишь, Женёк, что я не сдержал данного тебе слова? Ты конечно в недоумении, какое и когда я давал тебе слово, но видишь ли, так скучно было, так придавило меня одиночество, что я не вытерпел и... играл в шмен-де-фер. Прощаешь, Женёк? Мне было приятно играть: играли

наш бат-ный кн. Друцкой, поручик (наш, александровец), два подпоручика и я. У таких людей приятно и выиграть (Я выиграл 75 рб).

Сегодня получил первое письмо от родителей. Особенного ничего в нем нет — благодарят за ту маленькую помощь, которую я оказал им при отъезде из «З». А что ж ты молчишь, противная колодочка? Мне так хочется хоть одним глазком заглянуть в Ярославль: посмотреть, как ты живешь, что делаешь, как себя чувствуешь. Хоть бы скорее получить твою фотографию — как сделается грустно, тоскливо — смотрел бы на нее, и думаю, что это помогло бы. Ты ведь уже послала мне ее?

У меня, Женёк, почему-то сегодня так хорошо, так светло на душе, что даже приятна ружейная трескотня, и пули-то, впиваясь в землю около землянки, как-то весело свистят.

Купался сегодня в реке «Г» (в газетах ежедневно встречается). Холодно, но чертовски приятно! И особенную окраску купанью придают рвущиеся в полуверсте снаряды — это «он» нащупывает наш резерв. Хоть и тяжело, хоть и опасно, но сколько жутких красивых минут переживаешь! Э! это уже «хуже»: недалеко упал снаряд. Сейчас тушу свечу и на боковую. Привет Абрамовым и Оле.

Твой Федра.»

«20 августа 16 г.

№ 18

Дорогая Женёк! Стоим еще в том же лесу и лично я — в той же землянке. Когда отсюда уйдем — неизвестно; сегодня к нам прибыло пополнение и возможно, что вместо обещанного нам отдыха в глубоком резерве нас пошлют снова прорывать фронт. А пока мы выжидательно смотрим и не предпринимаем крупных наступлений — война уж достаточно нас научила осторожности и благоразумию. И нужно побывать здесь, среди наших стрелков, послушать их, чтобы сравнить качество наших войск с достоинствами австро-германо-турецкого сброда, чтобы понять всю необыкновенность того пессимистического взгляда на конечный исход войны, с которым так часто приходилось сталкиваться там, в тылу. Для характеристики приведу такой случай. После второй вечерней атаки 8-го авг. я часов в 12 ночи пополз около неприятельских окопов, параллельно его проволочным заграждениям, чтобы определить, как много стрелков залегло в воронках и нельзя ли эти одиночные ячейки соединить в одну общую линию. Кругом свистели пули, с гулом разрывались бомбы — я как-то уже отупел и тем не менее удивился. Подползаю к одной ячейке, смотрю: лежит стрелок — голова в воронке, а все тело снаружи: со стороны

противника его голову защищает маленький бугорок земли да сверху положенный сноп ржи. Окликаю: «Какой роты?» Молчит. Подползаю: храпит, да так, что, наверное, в неприятельских окопах слышно. Насилу растолкал его: «Что же ты спишь здесь? Ведь это же опасно!» «Никак нет, Ваше Благородие, тут спокойней и ветерком продувает». Заметь, что это в 15—20 шагах от пр-ка, под сильнейшим огнем и это — не сон обезсиленного человека, а полнейшее пренебрежение опасностью. Конечно, не все наши стрелки таковы, но можно радоваться, если таких храбрецов в полку найдется сотня-другая.

Крепко целую тебя, до свидания. Привет Абрамовым и Оле. Пиши, Женёк!

Твой Федра.»

«21 августа 16 года

Дорогая, если можешь, пришли мне возможно скорее (если можно, телеграфом) рублей 200. Почему, зачем — не спрашивай. Такую гадость сделал! Господи, а ведь меня когда-то за чистоту моих помыслов и убеждений звали Сократом. Как мне стыдно, как мне больно, Женёк!

«22 августа 16 г. Та же землянка.

№ 19

Прости, дорогая, что прошлое письмо мое закончилось, мягко выражаясь, «странною» просьбою.

В голове страшно запутанный клубок мыслей, частью старых, уже познакомивших меня с своей грязью, частью только теперь ставших для меня ясными. Как бы мне хотелось увидеть тебя хоть на несколько часов, чтобы вылить перед тобою всю накопившуюся муть в душе. Начну с моей просьбы прошлаго письма. Я, увлекшись шмен-де-фером, проиграл деньги, которых я не имел ни нравственного, ни юридического права проигрывать. Я не понимаю, поверь, я говорю вполне искренне, не понимаю, как я мог допустить такую дряблость воли, такую, скажу прямо, пакость. Ведь я первый не подал бы руки и от всей души презирал бы человека, сделавшего то же самое. Не говорит ли это о том, что я ношу в своей душе много грязного, порочного, не обнаружившегося до сих пор только потому, что не представлялось случая? Видишь ли, дорогая, как бы тебе это выразить — ужас для меня в происшедшем, собственно, не в том, что я истратил чужия деньги. Ясное дело, это — преступление, но преступление такого свойства, которое, так сказать, не затрагивает той части моего «я», с каким неразрывно связана ты. Для меня новым и наиболее печальным событием является вот что: проигрывая и чувствуя, что я

делаю труднопоправимую подлость, я рассчитывал на... тебя! Откуда-то из таинственных уголков души выползла сперва робко, а потом все уверенней гаденькая мысль: «Ей напишу». Помнишь, ты меня провожала как-то поздно вечером после нашего гуляния в Александровское училище, и я не хотел тебе сказать, что мешало мне долго сознаться в моей любви к тебе? После, уже в Ярославле, я сказал тебе, что причиной моей долгой скрытности было то, что ты — богата. Я, конечно, с негодованием отвергаю все предположения, что я полюбил тебя за твое богатство, но почему я, будучи в Ярославле, так легко смирился с тем, что был, откровенно говоря, на твоём содержании? Почему, откуда родилась эта гаденькая надежда на тебя (я говорю о моей просьбе)? Мне противно писать об этом, но я не хочу, чтобы ты считала меня лучше, чем я есть. И мне бывает больно не потому, что ты богата, а потому, что у меня не хватает мужества сознаться в своей зависимости от тебя. Ведь я настолько безсилен, что не могу без твоей помощи получить необходимой нам свободы: ведь не я отвоевываю себя, а ты — меня. Ну, довольно об этом. Никогда, кажется, не писал с таким трудом.

Обещанного нам отдыха до сих пор нет. Вчера и сегодня читаю 1-ю часть Мережковского «Христос и Антихрист». Если будешь иметь возможность прочитать, то советую. У нас стоят прохладные дни. Под ногами шуршат желтые листья, грустное впечатление производит лес с вырубленными и исковерканными снарядами деревьями; во всем лесу никогда не услышишь птичьего свиста — все живое бежало, спасаясь от снарядов и людского шума.

Вчера по случаю праздника в лесу была отслужена обедня. На небольшой поляне среди выстроенных рот был поставлен походный столик; на нем Евангелие и крест. В стороне кучка солдат-певчих. Солнце играло на золотой ризе священника и переливалось в большой миске со святою водою. Я с офицерами стоял на маленьком бугорке. Кругом, словно рожь, колеблемая ветром, кланялись стриженные головы. Тихий задушевный голос священника чуть слышно долетал до нас. Грустно и как-то светло было на душе: чувствовалась искренняя глубокая мольба к Богу; смерть, может быть, близкая казалась печальною, но красивою необходимостью, смерть за тех, кто там, дома молится за нас. «И упокой, Господи, души убиенных воинов, положивших живот свой на поле брани» — и чаще кланяются головы, слышны скорбные вздохи, и голубой дымок ладана, струящийся в высь, кажется чистою молитвою за тех, кто так недавно был с нами. Тихи, грустны и серьезны у всех лица.

Вот только здесь познается величие смерти за родину, а не там, на полях, где дым, смрад, свист пуль, гул снарядов, крики, стоны, кровь. Только здесь чувствуешь себя человеком, а не кусочком пушечного мяса. Да упокой, Господи, души их!

До свидания, любимая. Крепко, горячо тебя целую. Привет Абрамовым и Оле. Прости, дорогая Женёк, своего безвольного

Федру.»

«23 августа 16 г. Тот же лес у д. «М»

№ 20

Дорогая Женёк, не надоел ли я тебе со своими письмами? Ну-ну, не хмурь брови — знаю, что тебе приятно мое усердие. Но почему от тебя так давно нет писем? С каждым днем меня все больше мучает мысль: «Почему?» Не сердись за эту глупую боязнь, ведь я не виноват в ней — ты так мне дорога!

Болван! Это относится к одному подпоручику, который сейчас сидит в трех шагах от меня. Он глядел, глядел на меня да и спрашивает: «Слушайте, чего вы так блаженно улыбаетесь?» Право, болван! Неужели я на самом деле, когда пишу тебе, то «блаженно» улыбаюсь? Черт возьми, точно шестнадцатилетний гимназист!

Сегодня с наступлением темноты наш батальон пойдет в одну деревню в верстах восьми отсюда в баню. Возвращаемся завтра вечером: днем никакая передвижения невозможны. На нашем фронте все тихо и спокойно, или, как пишут в газетах — «без перемен».

Пиши, Женёк! До свидания, крепко, крепко тебя целую. Привет Абрамовым и Оле. Когда собираешься в Москву? Заранее сообщи о времени твоего отъезда из Ярославля. Еще раз целую.

Твой Федра.»

«24 августа 16 г. Деревня «Ож.»

№ 21

Пишу это письмо в садике австрийского крестьянина. Вчера часов в 8 вечера вышли из «М» и уже к 11-и часам были здесь: Земским Союзом в одной из халуп устроена баня и сюда поочередно приходят полки нашей дивизии.

Пыльно и тяжело было итти: дорога вся изрыта снарядами, по сторонам глубокия канавы, что мешало свернуть с известкового шоссе. Проводника не было, дороги перекрещиваются и переплетаются самым причудливым образом, ночь темная — и мы прошли лишних несколько верст, попав не на ту дорогу. «12-я и 11-я роты кругом марш!» — отку-

да-то из темной дали доносится голос. Повернули — суматоха, толкотня, крики, неизбежные при малейшей сумятице в ночных походах. Наконец, попали на правильную дорогу. Узкой колыхающейся лентой вытянулась наша колонна по извилистым переулкам деревушки. Кругом сады, исполинские каштаны: корни их обнаружили на дороге, спотыкаясь на каждом шагу, слышна сдержанная ругань стрелков. Почему-то остановились, расселись на траве по обе стороны дороги; тяжело отдуваются, вытирают пот с пыльных грязных лиц. Видимо, быстрый шаг и 2-х пудовое походное снаряжение утомили людей. Вот тебе и баня! И в воздухе душном и тяжелом повисла озлобленная брань. То тут, то там загорелись огоньки сигарок, махоркой потянуло, задвигались огоньки, поднялись, двинулись дальше. Через 10—12 минут 11-я и моя роты перелезли через какой-то плетень, на каждом шагу спотыкаясь, пересекли огород — легко было догадаться по сильному пряному запаху огурцов, укропа. Еще плетень, и мы — на большом гумне: огромная скирды хлеба, хозяйственные постройки; в десятке саженой серебром блеснула не то река, не то ручей. На этом гумне наши роты и расположились. В одну минуту сброшены шинели, снаряжение; натаскали соломы, накрывши их полотнищами палаток. Мы — четверо офицеров и 8 стрелков (наша связь) — пошли искать нашу батальонную двуколку (на ней возятся наши вещи) и заодно какую-нибудь халупу, в которой можно было бы расположиться на ночлег. Зашли на первый огонек. Полумрак, низкий потолок, земляной пол; по стенам скамьи, большой стол посередине. На полу на каком-то тряпье — куча детишек. В углу висит люлька, около нея — две пожилые русинки. Безучастным взглядом посмотрели на нас. Воздух тяжелый, спертый; маленькая висючая лампа не столько светит, сколько коптит. Грустная жалкая картинка из альбома войны. Я молча вышел, за мной другие. Идем дальше по тихим пустынным улицам. Мимо, заполняя всю ширину улицы, медленно проскрипела огромная арба, доверху нагруженная снопами: очевидно, один из немногих здесь оставшихся крестьян везет с поля свой хлеб. Днем работать опасно: заметит свой же австрияк с аэроплана и, приняв его за солдата, сбросит бомбу. Я видел в поле убитаго шальной пулей русина, около него валялся кнут: не во время ли уборки хлеба, политого его же потом, его сразил маленький кусочек свинца?

Из-за низкого плетня, обвитаго плющом, выглянули стены белого хорошенького домика. Вошли: на скамье спал хлопец лет 15-и, та же затхлость, та же вонь крестьянской избы. Я решил прекратить поиск и спать на соломе около

своих стрелков. Два офицера все-таки соблазнились халупой и остались в ней, а я с остальными пошел к своим ротам. Живо натаскали нам соломы, разостлали шинели, и мы, не раздеваясь, легли. Хорошо спится на свежем воздухе! Я проснулся в 3 утра — прозяб немного. Спать уж не хотелось, стал думать о тебе, и знаешь, дорогая, почему-то мне вспомнилась твоя фраза. Помнишь, я как-то сказал тебе, что в моих отношениях к тебе, даже тогда, когда я хочу тебя, нет ничего грязного, ничего мутного. Ты прильнула ко мне и каким-то особенно хорошим сердечным тоном тихо сказала: «Как я счастлива!» Дорогая, как мне хочется, чтобы ты такие минуты переживала всегда!

Сегодня перечитал «Голод» Гамсуна. Читала ли когда-нибудь его? Один из наиболее любимых мною писателей. До свидания, Женёк, крепко тебя целую. Привет Абрамовым и, конечно, Оле.

Твой Федра.»

«25 августа 16 г. Лес у д. М...ль.

№ 22

Дорогая Женёк, вчера ночью возвратились на свое старое место. Стрелки шли бодро, подшучивая над баней, о которой я писал тебе в предыдущем письме. Я ехал на своей лошади (я, кажется, тебе писал, что с 10-го авг. командую 12-ю ротой). Сегодня проснулся только в 9 часов; пошел к роте, которая уже занималась. Здесь несмотря на близость противника занятия идут полным ходом: приходит пополнение, солдаты с довольно посредственной подготовкой, и мы, не вводя их сразу в бой, спешим хоть немного познакомить их с боевой обстановкой.

Сейчас только от меня ушли офицеры других рот — мечтают вслух о том, чтобы получить в бою легкое ранение и эвакуироваться в Россию месяца на два: таким раненым завидуют и называют их счастливыми. Неправда ли, это несколько странно звучит для ушей мирного обывателя? Да, здесь приходится сталкиваться с совсем другой логикой. Ты меня, Женёк, извини, если письма мои безсодержательны, если в них ты найдешь много повторяющегося — ведь, в конце концов, впечатления здесь очень однообразны: сегодня так похоже на вчера, что иногда затрудняешься сказать, какое число нынче, а уж о днях недели и спрашивать нечего — календаря нет, да и чем у нас воскресенье отличается, скажем, от пятницы? Достал из чемодана немецкую грамматику и иногда от нечего делать просматриваю. Как мне теперь жаль моих прошлых лет — «клетка» виновата! Если до зимней стоянки не попаду в число «счастливых», то рассчитываю тогда более или менее регулярно за-

няться немецким — не могу я так сидеть, безделье изводит.

Крепко, крепко целую тебя, моя колодочка.

Твой Федра.»

«28 августа 16 г. Лощина у молочной фермы на берегу реки «С».

Дорогая Женёк, вчера и третьего дня не успел тебе написать: днем шли усиленные занятия, а вечером писать не мог за неимением свеч — купить ничего негде. Вчера ночью нас отодвинули несколько верст назад, но не для отдыха, а чтобы обезопасить от артиллерийского огня. Сейчас сижу на меже картофельного поля: рота моя занимается. Вечером 31-го или в крайнем случае 1-го сентября мы выступим на позицию, где, по всей вероятности, пробудем недели две, а то и больше. Конечно, если не пошлют в наступление.

Самочувствие последние дни у меня отвратительное: чувствуешь себя совершенно одиноким; от тебя ни одной строчки, публика вокруг такая, что не с кем по душам и слова сказать, читать нечего, грязи, лжи больше, чем где бы то ни было, а тут еще из дома получил письмо: отец уже давно болен, служить не может, то, что было, уж прожито, дело дошло до распродажи вещей. А чем я могу ему помочь? И если бы не ты, дорогая Женёк, то стоило ли жить?

Сейчас некогда, а в следующем письме расскажу тебе о своем посещении разрушенного монастыря. Был там на днях и интересно: в алтаре почти около престола нашел один немецкий роман берлинского издания. Взял его — буду в свободные минуты читать: кстати, словарь и немецкая грамматика у меня есть.

Ну, пока до свидания, дорогая Женёк. Привет Абрамовым и Оле.

Твой Федра.»

«29 августа 16 года.

№ 24

Дорогая Женёк, сейчас только получил из Измалково письмо, по смутным намекам которого догадался, что Кл. Ив. была в Ярославле, видела тебя и, вероятно, устроила скандал. Только теперь я начинаю понимать, почему ты мне не писала ни строчки до сих пор. Она оскорбила тебя? Или, может быть, разжалобила, и это, так или иначе отразилось на наших отношениях? Я теряюсь в догадках, предположениях и больно мне, больно! Неужели какой-то неинтеллигентной сварливой бабе порвать нить, связывающую нас? Неужели та заря счастья, которую мы пережили, померкнет, не разгоревшись? Мне бесконечно жаль тебя, дорогая, сколько мук, сколько горьких минут пришлось тебе пережить

из-за меня. Я даже не знаю, что сказать тебе? Я буду принадлежать только тебе, только тебе одной или никому. Что бы ни случилось — разлюбишь ты меня, отпугнет ли тебя от меня боязнь людского суда, оскорбит ли тебя борьба — все равно к ней я не вернусь никогда. Я верю в счастье, я не боюсь смерти и спокойно смотрю в глаза судьбы. Или ты, или — никто! Лгать и преувеличивать здесь, где не можешь быть уверенным, что в следующую минуту ты не отпавишься к праотцам, лгать здесь невозможно!

Пиши! Не могу писать — темно.

Твой Федра.»

«29 августа 16 года.

№ 25

Сегодня утром получил твое письмо № 4, а первые три письма, очевидно, оказались полнейшими шляпами, так как не дошли до меня, но я не теряю надежды получить их, дорогой мой Женёк!

Исполняя свое обещание, расскажу тебе о своем посещении костела в «З». Стояло прекрасное августовское утро, пробежал прохладный ветерок и, странно, почему-то навевал какие-то смутно-далекия, грустные воспоминания. О чем? Право, не знаю! Но сидеть в полутемной землянке, с потолка которой сыпался песок за ворот, уже не хотелось, и я пошел бродить по опушке леса. Жалко смотреть на взрытое снарядами поле, потоптанную рожь: сиротливо и, как мне показалось, беспомощно-робко выглядывали васильки. Старые окопы с осыпавшимся бруствером, изрезанные проволочные заграждения, огромные воронки от снарядов, пустые жестяные банки из-под консервов, патроны, кое-где снаряжение с кровавыми пятнами — все говорило за то, что недавно здесь витала смерть в вихре стали и свинца. А теперь тихо. Где-то далеко в прозрачной лазури щелкали кроншнепы — начался перелет птиц. На пригорке белели чистенькие халупы и чудовищной нелепостью являлись бросаемя сюда время от времени гостинцы противника. Зловеще звенят, стонут, поют — огромный столб земли, осколков, и снова безмятежная тишина. Пересек лощину, поднялся на пригорок и передо мною, как на ладони, местечко «З», в трех-четырёх верстах от того замка, у которого 8 авг. у нас был бой. В стороне под тенью столетних дубов и лип приютилась древняя церковка. Колокольня как раз посередине надломлена снарядом и каким-то чудом держится совершенно перпендикулярно к нижним этажам. В куполах зияют огромные дыры, паперть и боковые пристройки совершенно разбиты. Подошел ближе, через горы обломков, досок, камней и балок пробираюсь к входу. Спотыкаясь и балансируя по груде развалин, вошел

внутри. Нога, чувствую, наступила на что-то мягкое. Глянул: с мягкого шелкового полотна на меня смотрели добрые со страдальческой укоризной глаза Спасителя, из-под тернового венца стекали, казалось, настоящие капли крови. Быстро отдернул ногу — и наступил на хоругвь. Иконы, хоругви, богослужебные книги, церковная утварь — все это на полу, в огромных кучах щебня и обломков. Невольно руки потянулись к фуражке. Иконостас почти невредим. Осторожно, боясь наступить на что-нибудь, пробрался в алтарь. Престол почти в полном порядке. Положенные чьей-то заботливой рукою искусственные цветы попрежнему обвивают запрестольную икону Божьей Матери. Но Дароносица — на полу. Направо — дверь; заглянул: там была ризница. Шкапы разбиты, по полу — целая вороха одежд, риз, покровов, нот. Из-под них выглядывает бритая голова папы Пия X, рядом с ним какая-то книга в желтом переплете. Поднял: немецкий роман («Наследство консула Мёллера»). Взял — буду читать в свободное время. Наверно ксендзу надоели требники да Часословы. Чу! Свист снаряда: трах!.. Где-то вблизи: сверху посыпались обломки. Поспешно убегаю.

Я уже писал тебе, что мы стоим в ближнем резерве. Пока с обеих сторон полное затишье, прерываемое по временам артиллерийской дуэлью, занимаемся: учим солдат атакам, бросанию бомб, обращению с противогАЗами. Но еще многим не успели выдать маски. Вчера вечером, по обыкновению, спокойно улегся спать. Дул чуть заметный ветерок от противника к нам. Я быстро уснул. Долго ли спал, не знаю. Какой-то шум, беготня, необычная суматоха разбудили меня. «Ваше Благородие, где командир батальона?» — прерывающимся от волнения голосом спрашивает какой-то стрелок. — «Газы идут!» Через несколько секунд все на ногах. Беру свой противогАЗ и спешу в роту: в таких случаях возможна паника и присутствие начальника необходимо. Испуганно, растерянно смотрят на меня стрелки, с надеждой смотрят. У большинства только что прибывших еще нет противогАЗов. «Как их спасти? Что предпринять?» — мучительно сверлит голову мысль и стыдно становится за свой, висящий на груди противогАЗ. Еще так недавно я картинно расписывал им ужасы газовой атаки и убеждал беречь маски, которых они еще не получали.

К счастью, тревога оказалась ложной, но долго еще каждый внимательно внюхивался — не чувствуется ли запаха хлора?.. Ох, не дай Бог попасть в газы. Хуже самого губительного огня.

До свидания, милая Женёк, крепко тебя целую. Привет Оле.
Твой Федра.»

Прости, Женёк, что несколько дней тебе не писал: командиром полка мне было поручено составить «Инструкцию о мерах противодействия газовым атакам». Работа спешная и ответственная, мне не хотелось ударить лицом в грязь, и я работал в течение шести дней. А сейчас только получил твои письма за №№ 5—6, а также посылку: нет карт! Но все равно благодарю и целую 13 раз. Довольно!

Сидим в окопах на расстоянии 120 шагов от противника — огонь ужасный, но у нас позиция превосходная: землянка на глубине 6 аршин под землей — безопасно! Скоро идем на «Л», понимаешь? Такие-то дела. А все-таки ты напрасно называешь меня «несовершеннолетним психологом». Психолог-то я очень даже совершеннолетний, но не всегда сознаюсь в том, что мне подсказывает моя «теория». Лучше на все смотреть оптимистически — это, говорят, увеличивает число кровяных красных телец и, следовательно, энергии. Окрылять нужно себя надеждами, а не пригибать безжалостным провидением в будущем «Блажен, кто смолоду был молод!» А молодости свойственно хоть ошибочно, но бодро и радостно глядеть в глаза жизни! Ну да об этом еще поговорим, я сейчас страшно утомлен.

Карты не забудь, смотри! Емельяничик в Ярославле, в 104 сводном эвакуационном госпитале — может, навестишь?

Крепко тебя целую. Привет Павлу Ник. и Оле.

Твой Федра.»

Наконец-то я вырвался из пекла живым и невредимым, Женёк. Не помню, писал ли я тебе в предыдущем письме, что мы идем в бой. В течение трех недель мы часу не были в безопасности, нас перебрасывали с одного боевого участка на другой, а 17 и в особенности 18-го сент. мы попали в изрядную переделку (посмотри в газетах сообщения о действиях армии С.). Нас бросили в прорыв темною ночью густым, труднопроходимым лесом, к тому же часто оплетенным колючей проволокой и заваленным засеками. Медленно продвигались мы к противнику, который под нашим натиском отходил, бросая пулеметы, снаряжение, раненых. Часа в три ночи мы окопались на берегу одной речушки. Дождь лил, как из ведра, промокли, холодно, дрожь пронизывает все тело. Неудержимо хочется спать, но нельзя — противник с трех сторон. С разсвета австро-германцы повели наступление; с трудом, но мы держались. К 10—11 час. дня разведка выяснила, что мы со всех сторон окружены. Моя рота — ближайшая к противнику, в 20-и шагах вижу синия шинели.

Легкое замешательство, пулеметы со всех сторон, люди падают десятками. Нужно прорываться. «Ура!» — и вперед. Опрокинули первые цепи, целые группы поднимают руки, а брат пленных не мог: понимаешь, что это значит? Вот немецкий офицер — у него ранена нога. Револьвер к носу — и вопрос: где и как расположился противник? Выражение нечеловеческого страха в глазах: видно, правду говорит. Приказываю не трогать его. Каску с черным орлом снял: помнишь, я тебе обещал ее? Бинобль тоже. Из походной сумки этого офицера моя связь после извлекла две колоды немецких карт, очень оригинальных. Все это постараюсь сохранить.

Упорный бой кончился только к ночи. Мы вырвались из кольца. Прости, Женёк, что скупю пишу: у «куцаго орла» порядком потрепались нервы. В следующем письме более подробно опишу события последних дней. Твои письма 10, 11 и копию № 7 получил.

За бой 8—9 августа представлен к ордену Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», а за последний бой к высшей боевой награде — Золотому Оружью. Конечно, возможность неутверждения этих представлений не исключена, но это бывает не так часто.

Федра.»

«29 сент. 16 года.

№ 28

Крепко, крепко тебя целую, дорогая! Сейчас отдыхаем, выражаясь высоким штилем «после жатвы нивы кровавой». Сижу со своим младшим офицером в землянке, в «печке» (углубление в земле, выложенное кирпичами) весело потрескивает огонек. Игриво мелькает пламя свечи — неправда ли, уютно? Вспоминается далекий Ярославль и хочется семейного уюта, ласки, близости любимой женщины. А на дворе сейчас дождь, грязь, сыро и туманно. Щелкают выстрелы, вот бомбу бросили — землянка задрожала, а не пугает уж почти. Да и что это значит после последних наших боев? Вот там — да! Да, дорогая, я все забываю тебя предупредить, чтобы ты не волновалась, когда долго не получаешь писем. Ведь если что-нибудь случится со мною, то полк тебя немедленно известит. Кроме того, мы, офицеры, перед боем обмениваемся адресами.

Теперь несколько слов по поводу содержания твоего 7-го письма. Ты сетуешь на то, что не встретила во мне настолько сильного волей человека, какого бы тебе хотелось. Что ж? Не будем говорить о том, у кого сильнее воля — дело не в этом! Ты говоришь, что в прошлом много пережила — верю и кое-что знаю. Я как-то обещал тебе свою краткую автобиографию, которая помогла бы тебе уяснить некоторые

черты моего характера. Отложу это до более спокойного времени, а теперь скажу только, что, имея 8—9 лет отроду, будучи не очень сильным мальчиком, я грузил в вагоны антрацит, что с 14-и лет я был в абсолютном смысле слова самостоятельным, что на мое обучение никем не истрачено ни одной копейки, что я поехал в Семинарию, имея в кармане шесть рублей, а до поступления туда я был некоторое время чернорабочим. И все это не потому, что мои родители были так уж бедны, а потому, что я болезненно самолюбив. Ты думаешь, мне легко стоило писать тебе письмо с просьбою? Я до сих пор при воспоминании краснею, хотя здравый смысл подсказывает, что такая щепетильность — ерунда!

А все-таки меня больно кольнуло твое сообщение о том, что тебе кто-то предсказывал о роли материальных средств в вопросе брака. Скажи откровенно, зачем ты это написала?

А, впрочем, все это — ерунда. Пиши чаще, Женёк. Крепко тебя целую. Привет Оле.

Федра.»

«30 сентября 1916 г.

№ 29

Если бы ты знала, Женёк, как я скверно сегодня себя чувствую. Зол на весь мир. Нет, даже не зол, а так. В душе черт знает, что.

Сегодня получил письмо. Отец пишет, что моя мама умерла. Какое страшное слово: умерла! Я любил ее, как только способен был любить, и в то же время я бесконечно виноват перед нею. Ну, оставим это. Поговорим вот о чем: с каждым днем мы все ближе к зимней стоянке. Отпуска будут разрешены. Возьму отпуск и я, конечно, но только не раньше, как получу Золотое Оружие (т. е. не самое оружие — оно не выдается, а лишь право на его ношение). А это будет, пожалуй, не раньше Рождества. Тогда заеду на денек к отцу, но, конечно, уж после того, как увижу тебя. В первом же твоём письме напиши, пожалуйста, как обстоит дело в Москве с меблированными комнатами, потому что если такая же теснота и такая же дороговизна, что и раньше, то это поставит меня в затруднительное положение. Конечно, для нас обоих было бы лучше, если бы ты была в Ярославле — меньше любопытных глаз и больше свободы. А то опять эти «бабушки», те же рассказы о невоспитанности и непригодности современной прислуги — ох!

Ну, до свидания, моя орлица. Подожди, отрастут у твоего орла крылья, тогда уж не услышишь «похоронной»! Привет Оле, если ты взяла ее с собою в Москву.

Твой Федра.»

Опять несколько дней я тебе не писал, а причина одна: нет конвертов. То все брал у одного офицера, но и у него уже не стало: сегодня с трудом добыл два конверта. Нового пока ничего. Дожди льют ежедневно, но это нисколько не помешало тому, что вчера нас так обстреляла артиллерия, что до сих пор в ушах звон и шум.

Ну-с, дорогая колодочка, а ты как поживаешь? Что идет в Драматическом? Была ли ты и на чем? Одним словом, пиши все, все. Потом вот что, Женёк, если можно, то пришли мне французских лекций, словарь французско-русский и какую-нибудь французскую грамматику. Займусь зимою французским, а то жаль терять драгоценное время. «Пиши мне чаще и ежели забыла, то пропиши, кто такой и пропиши, чем в настоящее время занимается и что делает...» Понятно? Эх, ты! Это один стрелок наш так писал милой сердцу. Как там поживают бабушки, Павел Николаевич, Лёля — одним словом, «Империял»?

Представление о награждении меня Золотым Оружием уже прошло через Штаб Корпуса — теперь дело в том, что скажет Георгиевская Дума: надеюсь к Рождеству получить. А впрочем, поживем-увидим!

До свидания, дорогая. Крепко тебя целую. Если Ольга с тобою в Москве, то передай ей мой привет. *Твой Федра.*»

Ох, Женёк, с каким бы наслаждением я расцеловал бы тебя за твое письмо, которое только что получил! Я его чуть ли не десять раз перечитал и положительно упиваюсь им: так хорошо, так любовно оно написано! Прости, дорогая, за мои сомнения и боязнь, о которых я тебе писал. Я знаю, я вижу, что ты меня не перестала любить, и в душе все ликует от сознания, что я — любим!

Но к делу. Нотариальной доверенности для ведения бракоразводного процесса на имя Сергея Артемьевича дать не могу уж по одному тому, что нотариуса здесь нет. Может быть, достаточно будет того, что мою подпись удостоверит командир полка? Что касается твоего совета взять вину на себя, то я готов хоть сотню вин взвалить на себя, лишь бы скорее сбросить цепи. Одним словом, Женёк, давай действовать: чем скорее мы начнем наступление на армию бабушек и слезливых бабенок, тем лучше будет.

Насчет «куцаго орла» не беспокойся: с чего это ты вздумала, что я на тебя разсердился? Нет, Женёк, ты, видно, не замечаешь, как горячо, как безумно я люблю тебя. Я даже в бою молюсь св. Варваре, чтобы Она ради тебя сохранила

меня. Не смейся над этим. Близость смерти учит познавать Бога.

Ха-ха, я тут даже колдовством стал заниматься. В комнате рядом с нами (я, к-р 11-й роты и мой младший офицер) помещаются наши деньщики, наша связь и конюха. Сегодня у одного из них пропал кошелек с 60-ю руб. Вор не разыскан, что делать? На пари с офицерами берусь отыскать вора. Выхожу к этой братии и говорю: «Вот что, ребята, сознайся, кто взял деньги, а то я все равно отыщу вора». Молчат, переглядываются, некоторые даже ухмыляются. «Федот, иди в двуколку и принеси большую книгу в красном переплете», — приказываю своему деньщику. Через несколько минут тот возвращается с книгою (а это не что иное, как немецкая хрестоматия!) Углубляюсь в молчаливое чтение: физиономия наисерьезнейшая! «Федот, кружку воды!» Дает. Присмирели мои подсудимые. Угрюмо смотрят на мои приготовления. Беру девять соломинок по числу людей, опускаю в воду и шепчу вполголоса «заклинания» (немецкие фразы из хрестоматии). «Ну, ребята, еще раз говорю: сознайся!» Молчат. «Что делать? Большой великий грех хочу принять на душу, а все-таки узнаю, кто украл. Туши свечу!» Темно стало в халупе, только на загнетке горит колеблющимся пламенем огонек. Странная уродливая тени прыгают по стенам. Ставлю около огня воду с соломинками и, простирая над пламенем руки, глухим голосом начинаю: «Папиллион, юли папиллион венер вите сур цетте розе!» (когда-то заучивал наизусть!) Ах, да, забыл! Раньше еще приказал снять кресты и положить в другой комнате. Потом, тоекратно брызнувши водою в огонь, роздал каждому по соломинке и говорю, что у вора соломинка позеленеет! Запрещаю им смотреть на свои соломинки, а сам снова подхожу к огню и, снова протягивая руки к пламени, возглашаю: «Ди думмен верден ниht алле!» (Дураки не переводятся!) И этак три раза! Потом подхожу к одному, беру у него соломинку: ничего; беру у другого — тоже ничего; подхожу к следующему, протягиваю руку за соломинкой, а он — бултых мне в ноги! «Ваше Благородие, простите!» Дрожит весь, побледнел, плачет. Офицеры выскочили из комнаты и, ей-Богу, с тайным ужасом вытаращились на меня! А уж о стрелках и говорить нечего. Нет, ты посмотрела бы на эту картину! Ведь они не понимают моих возгласов: ну, чем не колдун? И заметь, стрелок, уличенный мною в воровстве, один из храбрейших, которому я почти обязан жизнью. 18 сентября он умышленно сбил меня с ног, без чего я был бы перерезан пулеметными пулями. Ограничился строжайшим выговором: он и так, бедняга, напуган моими заклинаниями. Ведь без крестов были!

Храбрость, презрение к смерти — и такое удивительное суеверие.

Ну, Женёк, беда. Свечка догорает, а другой нет. До свидания, любимая моя! Крепко и много раз целую тебя. *Твой Федра.*»

«17 октября 16 г.

№ 35

Ну-с, как поживаете, Варвара Николаевна? Что касается Вашего покорного слуги, то пока попрежнему стоим в этом распрегзанном местечке, но это удовольствие, кажется, продлится еще не более 2—3 дней — носятся слухи, что вместо «Р» наш полк попадет опять на свои старья позиции. Перспектива не из приятных: дожди льют безпрестанно, ночи темная и грязь повсюду, буквально до колен. Тебе бы показать хоть кусочек нашей жизни, и ты была бы поражена, до какой степени может быть доведена человеческая выносливость.

А что поделываешь? Как с тобою держат себя все эти бабушки, эксцентричные девицы и милейший братец Павлик? Если уж тебе кажутся такими мелочными, жалкими все эти сплетни и пересуды, то здесь, слыша о них, испытываешь какое-то гадливое ощущение, как будто нечаянно коснулся чего-то скользко-холодного, противного, как кожа лягушки. Брр!

Милая, любимая Женёк, не придавай никакого значения яростно бессильным атакам этого улыбающегося противника, привыкшего действовать предпочтительно из-за угла: мы летом были одиноки, но разве от этого нам было хуже? Что касается клятв и утверждений Елены Ант. относительно финального акта прогулки в Сокольники, то я при свидетелях попрошу ее повторить в моем присутствии всю эту историю. Однако как много в ней «гражданского мужества»! Современная девица, эта Лёля. А мне хочется видеть тебя. В отпуске зимой я приеду, уж это решено. Только вот где и каким образом мы с тобой увидимся — это еще вопрос. Ты грустишь, Женёк, о прошлом лете? Ничего, дорогая, у нас еще много-много лет впереди, и уверен, они будут солнечней прошлого. А помнишь, ты когда-то утверждала, что моя любовь через несколько месяцев поблекнет. Ах ты, пессимистка!

Чорт! Сейчас получил приказание быть на биваке полка, потому что наш батальон сегодня дежурный: ох, неприятная это штука! Нужно ехать, а у меня даже здесь, в халупе, ноги и руки замерзли. Ну и времечко!

До свидания, Женёк! Крепко целую тебя. Привет Оле и больше никому! Твой и только твой *Федра.*»

Опять от тебя нет писем. Грязь все такая же, стоим все еще здесь. Завтра из халупы перейду в землянку, а то у нас такой здесь холодище, что мысли замерзают.

А вот нечто и новенькое: сегодня командир полка сказал, что если ничего особенного не произойдет, то этак в декабре или январе я могу рассчитывать на отпуск. Неправда ли, это будет «очень великолепная вешша», как говорит один мой стрелок?

Дорогая Женёк, что ж ты была у Сер. Арт.? Ведь он уж теперь, думаю, все узнал. Если удастся мне получить отпуск в начале декабря, то тогда доверенность ему можно выдать лично, но на всякий случай вышли мне форму этой доверенности — возможно, что и здесь все можно уладить. А теперь до свидания, дорогая. Целую!

Твой Федра.»

Дорогая, получил твое письмо от 13 сент. и прежде всего протестую всеми силами души против твоего заявления, что ты считаешь себя по отношению к Кл. Ив. преступницей! Если это ирония, то ты безжалостна ко мне, а если твое заявление надо понимать в прямом смысле, то ты неправа. Если уж говорить о нравственной ответственности за ломку жизни моей жены, то вся тяжесть вины падает на меня и только на меня одного. Но кто посмеет мне сказать, что я дешевою ценой купил свое счастье? Кто посмеет обвинить меня в эгоизме, в жестокости, когда я чудовищно жесток к самому себе? Мне больно за тебя и больно за самого себя.

Особенного пока ничего нет. Через 3 дня заступаем на позицию. Вот тебе и путешествие в «Р», но может быть это и к лучшему. В отпуск постараюсь удрать, но особенно не рассчитывай на это. Относительно Лёли, хоть она и выходит замуж, буду настаивать, что она плохо кончит. А если она и не кончит плохо, то, собственно говоря, мне все равно. Ну, а Павлик как? Не собирается жениться? Что-то, право, не верится, а впрочем: «Ди думмен верден ниht алле». А ты, Женёк, не грусти, наша весна еще впереди и уверен, что она будет прекрасною. А на бабушек и их причитания — ноль внимания!

Крепко целую тебя, моя любимая. Сейчас лягу и буду мечтать о тебе. Я часто вижу тебя во сне, а ты? Пиши, Женёк, чаще, не сердись, дорогая, если я тебе пишу с перерывом в несколько дней. Утомляешься здесь здорово.

Твой Федра.»

Ух, и трещит же голова! Не с похмелья, конечно, а оттого, что в землянке не менее как 25 выше нуля. Сегодня только перебрался сюда: наш полк расположился биваком в огромном парке, а невдалеке от моей землянки разрушенный замок. Даже по тем жалким остаткам, которые уцелели от все сметающего артиллерийского огня, можно видеть, что люди, когда-то здесь обитавшие, умели жить на славу. В моей землянке стеклянная дверь, небольшое окно, горит лампа, купленная (шутка сказать, за 5 рб), ломберный стол (стрелки утащили из сохранившегося замкового флигеля), на нем так уютно раскладывать «косыночку». Только карты стали похожими на старья подошвы.

Да, у нас начинают носиться слухи, и упорные слухи, о скором мире. Ясное дело, мы им не придаем никакого значения, но уж сам по себе этот факт симптоматичен: недаром говорят, что нет дыму без огня. Хотя кто здесь побывал, тот хорошо знает, что на белом свете есть не только дым без огня, но и огонь без дыма. А ведь недурно было бы, а? Хотя, признаться, возвращаться все с тою же одной звездочкой мне ничуть не хочется. А впрочем все — ерунда!

Милая беляночка, не знаю, почему, но в особенности в последнее время меня так неудержимо тянет к тебе. Если бы я был немного посуверней, то сказал бы, что ты меня околдовала.

А как относительно французских книг, о которых я просил тебя? Если можно, то вышли. А пока до свидания, крепко тебя целую.

Твой Федра.

Привет Оле. Скажи ей, что я ее прошу лучше заботиться о тебе. Пиши. Целую 365 раз!»

«25 октября 16 г.

Вчера вечером получил твою посылку и, конечно, устроили кутеж: ведь шоколад и сухари здесь такая редкость! Спасибо, Женёк! Но как меня обрадовала твоя фотография — вышла ты превосходно! А что же ты не прислала карточки групповой — ты, я и Оля? Ох, и осторожна же ты! Больше, чем следует. Такая осторожность граничит с обидною подозрительностью: ведь я отлично знаю, по каким соображениям ты ограничилась присылкой только одиночной фотографии. Ну, да ладно. Что уж с тобою поделаешь.

Завтра выступаем на позиции. Сегодня из бивака вызвали оркестр, чтобы несколько повысить настроение стрелков. Плясали. Чем-то далеким-далеким, необычайно мирным повеяло в душу. Невольно мысли уносятся туда, к вам, родным,

любимым, дорогим. Грустно немного стало. Но посмотришь на вдумчиво-серьезные лица стрелков, тесным кольцом окруживших оркестр, прислушаешься к далекому гулу артиллерии, которая опять завтра каждому будет грозить смертью, подумаешь о роли, выпавшей на нашу долю и чувство гордого сознания всего величия нашей боевой жизни неудержимой волной переполняет сердце. Хочется подвигов, самопожертвования. Все-таки отлично устроена душа человека: причины для самолюбования всегда найдутся.

Сегодня снялся и через неделю карточки пришлю тебе, но заранее скажу, что они будут неважны. Пиши, как ты поживаешь, как с тобою держат бабушки и все «империалисты»? Бываешь ли в театрах? Да одним словом, все пиши, поняла? *Твой Федра.*»

«4 ноября 16 г. Окопы.

№ 39

Около 10 дней наш полк был в беспрестанных переходах и передвижениях, нас бросали от одного участка на другой, пока, наконец, мы не попали опять в те самые окопы, откуда ходили в бой 8 авг.

Сегодня получил твое письмо. Радуюсь, что тебе удалось заставить «многое молчать в душе своей» и благодарю за поздравление с зависимостью от «общего противника», но, дорогая, ведь с тем же самым и тебя поздравить нужно, если, конечно, ты продолжаешь считать мое дело не «моим» а «нашим». Мне-то, «куцому орлу», это не ново, а каково тебе, влюбленной в свою независимость, видеть преграду в лице какой-то Кл. Ив.?! Ну, пикировку в сторону!

Относительно французских книг. Купи прежде всего словарь, затем грамматику и, наконец, 1—2 романа: у Вольфа богатый выбор, полагаюсь на твой вкус. А впрочем, не буду стесняться и попрошу тебя заодно купить какую-нибудь и немецкую книжонку — только ради Бога, не из тех, что читаются в гимназиях! А пока крепко тебя целую. Прости, что мало пишу: две недели не снимал сапог, сплю, не раздеваясь, а уж грязи-то! Да, какую далекой, прекрасной кажется отсюда ваша жизнь! Привет Оле. *Твой Федра.*»

«9 ноября 16 г.

№ 40

Женёк, милое мое, светлое солнышко, тебе и не нужно уметь колдовать — я и без того не разлюблю тебя! Да, ты права: многое в моих письмах объясняется огромным расходом нервной энергии. Иногда я, правда, дипломатично молчу, и молчу только потому, что в сумбуре переживаний не могу быть иногда самим собой.

Оставляю до вечера: деньщик сейчас принес сюда в окопы

обед и твое письмо за № 18, и я стараюсь поскорее ответить тебе — это письмо возьмет сейчас же деньщик, а сегодня вечером буду писать тебе подробно. Тянет поговорить. Лёле, то бишь, Елене Антоновне, желаю счастья, но при случае посоветую ей не применять к своему будущему мужу свою теорию «братъ мужчину только один раз». Теория хотя и оригинальная, но не совсем удобная для мужа.

Дорогая, я счастлив своею любовью к тебе и бесконечно благодарю судьбу, что мне выпало на долю любить именно тебя! До свидания, дорогая беляночка, завтра получишь большущее письмо.

Привет Оле. Павлуше: я ему напишу. *Твой Федра.*»

«9 ноября 16 г.

№ 41

Милая моя беляночка, в последнем своем письме ты упрекаешь меня в практичности (в смысле осторожности) и дипломатической сдержанности. Что уж грешить, ты, пожалуй, права, прости, дорогая. Но поверь, это выходит почти совершенно безосознательно. Я вполне понимаю твою моральную усталость, усугубленную не токмо людьми, но и самим «империальским» воздухом. Мне кажется, что я понимаю твои переживания, сомнения, твою боязнь за будущее, когда ты видишь, что даже Лёле удастся свить свое гнездышко. Дорогая, клянусь тебе всем святым, что я всю жизнь отдам твоему счастью, твоему будущему, потому что твое счастье — мое счастье. И ты, и я живем в исключительных условиях, и эти неблагоприятные условия бьют по мне гораздо сильнее, чем по тебе. Сама окружающая обстановка приводит в состояние какого-то оупения, безразличного отношения к жизни. Грязь невообразимая, маленькие футлярные людишки, незначительные по существу неудачи — все это в общей сложности принуждает смотреть на белый свет сквозь черные очки. Я уж не из совсем слабых духом, но такая мелочи, как отказ Нач-ка дивизии в утверждении наших наград за бой 8-го августа, кража у меня денег, которая я копил в течение 3-х месяцев и т. п. привели было меня в отчаяние. А ведь отлично сознаю, что все это — ерунда! Награду я всегда получу да хоть и не получу, я ничего от этого не теряю. Деньги, что у меня украли в обозе 2-го разряда, не настолько уж большия, чтобы долго о них говорить, но нахлынет вдруг черная меланхолия: вот, где собака зарыта.

Женёк, ты находишь себя и меня очень похожими друг на друга, а я с величайшим удовольствием подтверждаю это и вижу в этом лишний шанс на прочность нашего будущего счастья. Прости за ту дипломатичность, которая иногда

проскальзывает в моих письмах — на будущее постараюсь воздержаться от таких «тактичностей». Об одном прошу: верь и верь даже больше, чем себе самой, что я тебя люблю безумно, горячо, нежно — я не могу выразить всей силы моей любви к тебе! Я иногда пытался представить жизнь без тебя: ты меня разлюбила и... какая-то черная бездонная пустыня! Так-то, мое милое «ясное дело». Когда прочитаешь «Викторию» Гамсуна, то обрати внимание и напиши мне, как ты находишь Нагеля. После я скажу, почему этот вопрос меня интересует.

Ну, до свидания, Женёк. Береги себя и поменьше обращай внимания на выпады «империальцев». И все-таки я настаиваю, что из брака Лёли выйдет только печальное недоразумение. Целую!

Привет Павлу и Оле. *Твой Федра.*»

(В конверт письма № 41 вложена телеграмма, адресованная «Москва, Лубянская площадь, отель «Империал», Гвоздаревой»: «ПРАПОРЩИК КРЮКОВ ЖИВ. ПОЛКОВНИК КУДРЕВ».)

«15 ноября 16 г.

№ 42

Прости, дорогая, что так долго не писал тебе, но теперь ведь у нас почти безопасно, убыли в людях почти никакой — за 3-х недельную стоянку на позиции у нас ранен только мой батальонный командир кн. Друцкой. Отличный человек и к тому же я — его «любимчик». Нового ничего нет. В ночь на сегодня сменились с позиций и стали по халупам в д. «Л». Кстати, мужиков здесь абсолютно нет — только одни женщины и все — солдатки!

Сегодня обязательно напишу Павлу Ник. Не забудь написать мне, когда прочтешь «Викторию»! А как обстоят дела с французскими книгами? Жду с нетерпением их. Ведь у нас все так же, как и раньше: серое небо, серые тучи, серые люди, серые мысли.

Крепко целую тебя. Привет Оле. *Твой Федра.*»

«20 ноября 1916 г.

№ 43

В прошлом письме я писал тебе, что нас сменили с позиции на отдых, но этот отдых оказался слишком кратковременным: в тот же день неожиданно подняли и перебросили этак верст на 20 вдоль фронта. Во что обошлась нам эта переброска буквально по колено в грязи, писать не могу по вполне понятным причинам. Пришли через 14 часов на новое место, пробыли там сутки, только стали там устраиваться, как нас снова «перебросили» в противоположную сторону, т. е. опять все к тому же замку — и прямо на позиции,

откуда это письмо и пишется. Вот тебе и отдых! Но на мне-то эти походы отражаются меньше, чем на других, — как ротный командир я еду верхом почти до самой позиции, а вот простые смертные — тем уж достаётся!

Чувствую, что помаленьку начинаю дичать: иногда забываешь самые простые слова, поневоле отвыкаешь от самых элементарных требований гигиены и чистоплотности: белье грязное, спишь на полотнище палатки или соломе какой-то промозглой, полусгнившей, ну, ясное дело, имеется в изрядном количестве и насекомых, от которых никакими средствами не избавиться, собственно, и средств никаких нет. А в сущности все это — ерунда!

У нас выпал было снег, но через день все растаяло, и в результате еще большая грязь. Погода все время преотвратительная. Отпуска у нас запрещены, сколь еще долго продержится этот запрет, пока неизвестно. От тебя, Женёк, давно нет писем. Караул...

Письмо пришлось бросить: у меня в землянке от свечи загорелась солома и сухая листва, которой засыпаны щели между бревнами накатника. Дым повалил столбом, а эти мерзавцы немцы по дыму бросили две бомбы. Одна чуть было не отправила меня на тот свет. Неправда ли, весело живется? Пиши, беляночка, твоему Федре почаще. Послала ли ты мне французския книги, а то беда! Сидишь в землянке, как медведь в берлоге. Крепко, крепко тебя целую. Привет Павлу Николаевичу и Оле. *Твой Федре.*»

«27 ноября 16 г.

№ 44

Э, Женёк, так не годится: ты мне пишешь с промежутками по 3 недели. А теперь мне твои письма необходимы, как воздух, хотя бы потому, что противник повел более решительное наступление. На днях получил очень миленькое письмо от Кл. Ив., в котором она смиренно сожалеет о том, что принуждена была подать прошение об отчислении из моего жалования известной части ей. Плакала, хотела изорвать это прошение, но... подписала. Неправда ли, какая трогательная картина!

За книги — огромное спасибо, но когда я их получу, один Аллах знает: почта завалена рождественскими подарками. Павлуше скажи, чтобы он обождал называть тебя «генеральшей»: у нас циркулируют упорные слухи, что все наградные представления за 18-е сент. будут отклонены, за исключением тех офицеров, которые были убиты. Если это правда, то не жалею, что не получу, но уж что-нибудь в виде компенсации за ад 18 сент. получу непременно!

Крепко целую тебя, Женёк, пиши. Привет Оле. *Навеки твоей Федра.*»

«30 ноября 1916 года

№ 45

Дорогая, у меня как-то странно щемит сердце: уж не случилось ли чего с тобой? Если бы я был где-нибудь в России, сейчас отправил бы тебе телеграмму, а то вот изволь теперь ожидать, когда получишь от тебя ответ. Скучно теперь у нас. Опасности почти никакой, только грязи еще больше: спишь почти не раздеваясь. Хоть бы весна скорее приходила: там начнутся бои, и время быстрее зашагает. Смотришь, ранят — поеду в Москву, увижу мою беляночку, а то, ей-Богу, скука заела. Главное, читать нечего. Твои книги еще не получил, а моя единственная немецкая книга уже давным-давно прочитана. Пасьянс, и тот надоед! И лень какая-то дурацкая тут. Вот покуда стоим на позиции, я сплю этак по 11—12 часов, от скуки даже курить бросил: все-таки развлечение — немного поломать себя. Мне так хочется придраться к чему-нибудь. Если бы я был вот в данный момент в Москве, то обязательно раздражил бы тебя, мою серьезную, умную, практичную, здравомыслящую и, в конце концов, неизвестную. Ты еще не разсердилась на меня? А, впрочем, ведь у тебя не кровь течет в жилах, а вода, да и вода-то дистиллированная! Ведь правда? А позвольте спросить, милостивая государыня, почему Вы так редко пишете? Покорнейше прошу обстоятельно по сему вопросу ответить, в противном случае я молчу. Не хочу больше писать.

Целую только один раз... Ну, уж так и быть: еще раз. Сейчас лягу и буду мечтать о тебе. Хоть на мгновение увидеть бы тебя, Женёк! Привет Павлу Ник. и Оле. *Твой Федра. Твой!..*»

«16 декабря 16 г. 11 час. 15 мин.

№ 46

Прости, голубка, что больше двух недель не писал тебе — я только сегодня выписался из дивизионного лазарета, откуда писать запрещено: я был болен паратифом. И сейчас еще не вполне оправился, и если бы полк не выступал сегодня на позиции, то еще полежал бы. Книги получил, посылку тоже, за что тебя крепко целую. Кл. Ив. подала через Елецкого воинского начальника прошение о, так сказать, принудительном отчуждении части моего содержания в ее пользу; это прошение уже получено здесь, и командир полка прислал его мне. Сегодня был в штабе полка и осторожно прощупывал, какое впечатление это прошение произвело на к-ра полка и некоторых штаб-офицеров. Это для меня очень важно. Не хвалясь скажу, что я не только на хорошем счету,

но меня очень любят и, главное, ценят и уважают. Теперь на зиму, когда боев нет, посъехались все старые офицеры — капитаны, подполковники, полковники, так что никто из прапорщиков, кроме меня, не командует ротой. На меня многие из молодых офицеров косятся: им, ясное дело, обидно, что я, прапорщик, команду ротой на законном основании (есть «временное командование»), а они, поручики и подпоручики — младшие офицеры. А для меня это командование имеет крупнейшее значение, в особенности, для поступления в Академию. Кстати, купи в каком-нибудь военно-книжном магазине программу и условия поступления и при случае вышли мне... вместе с погонами подпоручика (погоны малинового цвета с трафаретом «22 Сб»): я уже представлен и в январе буду произведен вне выслуги срока. Если так будет итти и в будущем, то к осени я буду штабс-капитаном — дальше этого итти нельзя, т. к. в Академию принимаются офицеры до чина штабс-капитана. Понятно? Ты хоть и подсмеиваешься над моей «психологией», но имей в виду, что если меня здесь и уважают, то не столько за мои прекрасные качества, сколько по причине именно этой психологии. Это не лицемерие, не «хлестаковщина», а умение определять вкусы людей и уметь выявить в себе то, что другие ценят. Ну и этим покончу. На твои два письма отвечу завтра — нужно поехать к роте: в 3 ч. выступаем. Итак, до завтра, Женёк! *Твой Федра.*»

«20 декабря 16 года.

№ 47

Дорогая Женёк, поздравляю тебя с праздником РХ и от всей души желаю провести его веселей. В прошлом письме я обещал тебе на следующий день, но не мог исполнить своего слова, потому что мы попали на такую позицию, что можно сойти с ума. Грязь по колено, землянки все протекают, места не найдешь, где можно было бы не только писать, а хоть просто присесть. Эти три дня, не покладая рук, работали над окопами и землянками и только сегодня к вечеру главнейшие работы закончили. Теперь «жить» можно!

Ну, хотя и дотошная, но все же, милая Женёк, слушай теперь исповедь кающегося грешника. Собственно по поводу «послесокольничьяго» инцидента я давно собирался поговорить с тобою, но боялся (как и теперь еще боюсь), что ты не вполне верно поймешь меня и несвоевременная исповедь может привести к трагедии. Я был бы оскорблен смертельно, если бы ты хоть на минуту поверила тому, что я способен на такую чудовищную подлость, как выбрать тебя орудием мести Лёле. В моей душе никогда не бывало и нет любви к ней — она волновала только физически, потому что способ

держат себя с мужчинами у нея, мягко выражаясь, ультра-оригинальный. Моя любовь к тебе перевернула все в моей душе — там закипела работа по «переоценке всех ценностей». Мне предстояла дилемма: или навеки отказаться от личного счастья, или отшатнуться от тех убеждений, которые я сам всегда старался насадить в душах людей и мужей. Моим кредо было: «долг раньше счастья». Я полюбил тебя, как любят раз в жизни, но на моей совести был долг перед женою. Я боролся со своим новым чувством, я отгонял мечты о заре неведомого мне счастья, я пытался дискредитировать тебя в своих собственных глазах, выискивал в тебе несимпатичные мне черты, убеждал себя, что ты черства, холодна, эгоистична, что ты не можешь дать никому полного счастья, но захлестнутый волною любви, я был жалок себе в своих бесплодных попытках. А жажда счастья, жажда любви все властней, все настойчивей стучалась в сердце. Сокольники... весенние чары носились в воздухе, неудержимо хотелось любви, счастья. Воля покорно сложила оружие, и я вернулся в «Империал», одурманенный весною, утомленный борьбою с самим собой. Я чувствовал, чувствовал всеми фибрами своего существа, что с этого дня я принадлежу тебе и благодаря этому сознанию я ненавидел тебя в эти минуты. Поймешь ли ты меня?! Я сидел в комнате у Лёли и издевался в душе над самим собою, и все-таки там, где-то глубоко-глубоко в сердце, все буйно ликовало! Но я не хотел верить какому-то превращению в моей душе и холодно доказывал этому буйно-ликующему голосу, что тут виноват только весенний воздух. А Лёля, как бы угадав мои терзания, бросила мне: «А вы боитесь ее? Значит, вы ее любите». Бедная Лёля, она, наверно, не знает, что я ее презирал в этот вечер, как никого никогда не презирал. С омерзением в душе, с презрением к себе и к ней, с любовью и ненавистью к тебе ушел я. Мне мучительно хотелось то пасть к твоим ногам и целовать их, то бросить тебе прямо в глаза: «А, знаешь, Лёля, оказывается, очень пикантная женщина: я сейчас убедился в этом в ее спальней!» Нет, ты не поймешь меня, дорогая! Что может передать этот клочок бумажки? Этот вечер был последним ударом по моему чувству, и тебе может показаться чудовищно странным, что я благодарил судьбу за то, что произошло то, что произошло. С этого дня умер старый «Шура», а стал жить новый «Федра». Ставлю точку, но — пока. Когда-нибудь после вместе потолкуем с тобой об этом эксперименте. Но клянусь, никогда никого не любил, кроме тебя! Ты напрасно меня упрекаешь в том, что держу себя замкнуто, и тем более напрасно извиняешься, что позволяешь себе копаться в моей душе. Мне это очень дорого!

Я рад, я счастлив, что тебя интересуют все движения моей души, вольные и невольные, и готов всегда, в любой момент, по первому твоему требованию (а требовать ты имеешь право) открыть ее перед тобою.

Трудновато нам, Женёк, теперь. Крепко тебя целую. Привет Павлу и Оле. *Твой Федра.*»

«24 декабря 16 г. 11 ч. 45 м ночи

№ 48

Сегодня вторая рождественская ночь с того времени, как моя жизнь невидимыми, но прочными нитями связана с твоей. Прошел год мук, страданий, в очищающем горении которых выковывалась моя любовь к тебе, и неясны контуры зародившегося счастья в течение года постепенно выявились, и теперь в эту вторую рождественскую ночь уже могут вылиться в определенных чертах. Я вспоминаю минуты и мне безумно хочется пасть к твоим ногам и молить о прощении. Я бывал часто несправедлив к тебе, часто отгораживал свою душу от твоего взгляда в нее то из-за самолюбия, то из-за ложного стыда какого-то. Я говорил и писал не то, что сердце подсказывало: это был голос издерганного мелкими жизненными неприятностями человека. Ты знаешь, дорогая, как иногда трудно владеть темными злыми сторонами нашего «я», ты знаешь, какую силу, какую власть имеют мимолетные настроения и как сильно бывает у нас желание самоистязаний. Тебе, может быть, приходилось переживать такие минуты под влиянием невзначай брошенной шутки, невинной фразы, незлобивой насмешки, на что обыкновенно душа наша даже не реагирует. А тут вдруг вспыхиваешь, и в тебе зарождается какое-то сатанинское желание плюнуть на то, что тебе дорого, что для тебя священо, на что ты молишься. Рыдает что-то в душе, протестуя этому безумному желанию, но ты, ослепленный дьявольской жадой самоистязаний, с злым торжеством вонзаешь нож в дорогое тебе сердце и, упиваясь собственным страданием, издеваясь над своей душою, медленно поворачиваешь вонзенный нож. Знакомо ли тебе это? Это проклятие нашего века: душа под нездоровым дыханием окружающего иногда бессознательно стремится к остро-мучительным переживаниям самоистязания. Ты помнишь пасхальную ночь? Ниточка, такая слабая, непрочная еще тогда, теперь окрепла и способна выдержать многое: может быть, поэтому я до самого последнего времени упорно молчал о том, что принесло тебе так много страданий? Поняла ли ты меня, дорогая, в прошлом моем письме? Да, я глубоко, безусловно виноват перед тобою и перед самим собою, что долго боролся со своей любовью к тебе, любовь, которую я

раньше проклинал и которую теперь благословляю. А еще больше виноват в том, что дерзнул оскорбить свое и твое чувство грязью «падения». Мне нужно было упасть, чтобы понять не только сердцем, но и умом, на какую высь подняла меня любовь к тебе. Я отдал бы несколько лет жизни, чтобы вычеркнуть из памяти этот проклятый вечер! Скажи, дорогая, веришь ли ты мне, что это произошло только потому, что я тебя любил и тогда? Ведь на первый взгляд это утверждение, что из любви к одной можно взять другую, чудовищно-нелепо, и потому я страдаю, что я безсилен доказать тебе это. Ради Бога, скажи только одну правду, как бы горька она ни была! Все. Теперь — дело.

21 дек. совершенно неожиданно я был вызван из окопов и через два часа уж катил на великолепной тройке в г. Кременец, свидетелем по делу некоего солдата, обвиняемого в саморанении. Но соль в том, что благодаря этой поездке я сижу теперь здесь: не успел я выехать, как вместо меня в отпуск уехал другой. Но как бы то ни было, а в январе я буду в Москве. А ты, Женёк, узнай, пожалуйста, действительно ли оставляются номера в гостиницах для проезжих офицеров или нужно просить заранее, а то придется ночевать на вокзале. Да, а ты знаешь, я ведь записался кандидатом в воздухоплавательную школу, что в Петрограде. Ты как на это посмотришь? Ты хочешь, чтобы я был авиатором? Это я спрашиваю на всякий случай, потому что очень возможно, что слабое зрение послужит препятствием моему поступлению в офицерскую воздухоплавательную школу.

Крепко тебя целую и поздравляю с прошедшим праздником. Когда выеду отсюда, то из Киева телеграфирую тебе. Привет Оле.

Твой Федра.»

«27 декабря 2 ч. 25 м. ночи.

№ 49

Дорогая, не знаю, почему, но меня сегодня как-то особенно тянет к тебе. Лег было спать, но мысль о тебе до боли наполняет душу. Зажег свечу и пишу полулежа. Знаешь, дорогая, когда возможность тебя повидать стала такою близкою к осуществлению, я буквально не нахожу себе места. Читать не могу, пасьянс надоел и только целый день думаю об отпуске. Дошел до того, что стал бояться всего здесь обычного: свиста пуль, а в особенности противного фырканыя снарядов. Думаешь невольно, что вдруг какой-нибудь из этих гостинцев лишит меня возможности увидеть тебя. Вчера подал официальный рапорт и надеюсь, что в первой половине января меня отпустят недельки на три.

Приеду я на тот вокзал, с которого ты меня провожала на фронт: Брянский, что ли? Может быть, ты приедешь на вокзал?

На первый день праздника ходил в штаб полка, к командиру хлопотать относительно отпуска. Отпуск-то он мне обещал, но упрекнул, имея в виду авиационную школу: «Разве вам плохо у меня в полку?» Я конечно, рассыпался в уверениях, что мне хорошо. «Ну, знаете, от хорошей жизни не полетишь. Уж позвольте мне на вашей кандидатуре поставить крест». Любезно улыбается, каналья! Поневоле пришлось дать согласие: все равно, если не захочет, то и не отпустит. Ну, Женёк, опять ложусь и буду мечтать о скором свидании. Хоть бы спокойно у нас здесь было: свечку бы за немцев поставил!

Крепко тебя целую, дорогая. Пока не пиши.

Твой Федра.»

«1 января 1917 года. Штаб полка.

С новым годом, дорогая! От всей души желаю, чтобы этот год был таким же солнечным, как у нас сегодняшний день. Мне он уже принес нечто новое — в отпуск раньше конца января мне не вырваться: полковой адъютант уезжает в трехнедельный отпуск, а вместо него остаюсь я. Таким образом, я могу ехать только по его возвращении. Командир полка, назначая меня заместителем адъютанта, сказал, что уж больше из штаба он меня не отпустит — я буду или делопроизводителем полкового суда, или заместителем адъютанта. Таким образом, мне предстоит дилемма: или быть в строю, подвергаясь ежечасно опасности быть убитым, или быть в штабе, что почти вполне безопасно, но это последнее связано с невозможностью получать то, что получают строевые офицеры, т. е. награды. Я долго над этим думал и, хотя я далеко не свободен от честолюбия, все же решил, что лучше быть живым без боевых наград, чем мертвым с ними. Если бы тебя не было, то тогда другое дело! Ты хотя иронически молчала, моя дорогая, но я хорошо видел, что мое стремление на фронт жестоко оскорбляет твое чувство ко мне: словно я сбежал от тебя! Может быть, ты была права в своем недовольстве моей черезчур активной воинственностью, но и я был прав со своей точки зрения. Теперь я достаточно исполнил свой долг и потому со спокойной совестью согласился на перечисление себя в «штабные».

В прошлом письме я просил тебя пока мне не писать, думая, что скоро уеду в отпуск, а теперь, Женёк, скорее пиши! Передай, пожалуйста, мои поздравления с Новым годом всем «империальцам» и, конечно, Оле.

Твой Федра.»

«25 января 17 г.

Вот уже больше месяца, как от тебя ни одной строчки. Сперва я был спокоен, думая, что ты не пишешь в ожидании моего приезда, но потом... Чего я только не передумал, каких только предположений, догадок и мучительных сомнений я не пережил. Я тебе послал от 15 дек. по настоящее время 4 письма и 2 телеграммы, но безрезультатно. Милая Женёк, что с тобою? Минутами острой болью пронзает мысль, что ниточка, которую я считал такой прочною, порвалась: не слишком ли я переоценил силу ея сопротивления? Твое молчание не есть ли результат моего признания в «послесокольничьем падении». Поняла ли ты меня, поверила ли? Ради Бога, хоть одно слово!

Живу как-то бесцветно. Пишу это уже не впервые и, может быть, тебе это надоело слушать, но теперь, когда в душу прокрадываются сомнения и боязнь потерять тебя... Женёк, неужели твое молчание — начало конца? Ради Бога, только правду!

Твой Федра.»

«10 марта 1917 года. Действующая армия.

Дорогая! вот уже почти три месяца, как от тебя я не получил ни одной строчки. Не надеясь уже ни на что, я прошу тебя, прошу в последний раз ответить мне искренне и прямо. Ты всегда подтрунивала над моею «психологиею», не знаю, может быть, ты была права, но эта самая психология подсказывает мне, что в тебе произошла «переоценка всех ценностей». Ты меня представляла лучше, чем я есть на самом деле, ты любила не столько меня, сколько свой идеал мужчины, любила не меня, а мою любовь к тебе. Ниточка, которую я считал уже крепкой и способной выдержать много потрясений, порвалась неожиданно для меня, и я чувствую в душе пустоту. Что принесла мне моя любовь, что принесла она тебе и моей жене? Мне — короткое счастье, прекрасней которого я не знал и, увы, уже не буду знать. Тебе — несколько минут счастья (я все-таки верю, что ты любила меня глубоко и искренне) и месяцы страданий. А о жене и говорить не буду. Какая злая ирония, какая чудовищная насмешка судьбы! Вся Россия ожила, новые горизонты забрежжили передо всеми, а мне эти дни принесли крах всего святого. Напиши мне, ради Бога, хоть несколько слов.

Федра.

Получил орд. Ст. 3-й ст; орд. Анны 3-й и 4-й ст, чин поручика и представлен к чину поручика и орд. Станислава 2-й степени».

Милый Федра!

Я только что получила твое письмо от 10 марта. Я очень хочу ответить тебе спокойно, но... но как это трудно сделать женщине, которая в течение семи месяцев днем и ночью знала, что ей лгут. И кто же? Человек, которому она отдала всю свою любовь. Я не могу представить, как бы я отнеслась к любимому мною мужчине, если бы он лгал о ком-то еще, о постороннем, пытаюсь в чем-то выгородить его. Но ведь ты лгал мне о себе! Нет, не в том дело, что человек, утром объяснившись в любви одной женщине, вечером не находит в себе сил устоять перед другой. Дурно, но понятно: с одной стороны — умствующая девица, с другой — опыт побывавшей замужем женщины плюс Ваше казарменное одичание. Больно, скверно, когда так плюют в душу, но когда семь месяцев упорствуют и выдумывают прозвища, больше похожие на клички, когда в каждом письме клянутся в любви... Почему, почему вы, мужчины, до сих пор не видите в нас людей? Да, мы бессильны в любви, мы жаждем ее, мечтаем о ней, засыпаем с нею, но вера сильнее. Я говорю о вере в своего избранника, в свое божество: если эта вера рушится, тогда и любовь и нежность превращаются в слова. Тогда женщина теряет сон не от возвышенных мечтаний, а от стыда и ужаса. Я очень плохо выражаю свои мысли, но что же делать? Ложь требует куда более красивых слов, чем правда, и поэтому наши письма так не похожи друг на друга. Один раз я не выдержала и назвала тебя «куцом орлом», но как же тебя это задело! Ты же чуть ли не в каждом письме поминал об этом: вот она, твоя «психология», которой ты так упорно учил меня. Я не хочу жить с такой «психологией». Все, что угодно, только не ложь. Если бы ты знал, как я страдала, не видя в твоих письмах ничего, кроме желания скрываться за красивыми словами. А когда ты наконец решил осчастливить меня своим признанием... нет, не признанием, а полупризнанием!.. было уже поздно. Во мне кончилось не ожидание, а вера в твою искренность.

Перечитала и решила не посылать. Не удалось мне выразить всю свою боль. Прощайте, Александр Федорович.

Без даты.

«Москва, Лубянка, д. Страхового об-ва «Россия»
Отель «Империаль»

Варваре Васильевне Азбукиной для В. Н. Гвоздаревой.

«Многоуважаемая Варвара Николаевна!

Ввиду того, что оставленная мною у Вас вещи (особенно

костюмы) мне крайне необходимы, вторично и убедительно прошу Вас выслать их по почте или багажом возможно скорее, причем, стоимость пересылки их я Вам немедленно перешлю, а если это Вас не устраивает, то можете на стоимость пересылки наложить платеж.

Надеюсь, что Вы исполните мою просьбу, ибо, повторяю, книги и вещи мне необходимы. Адрес: «г. Елец, Орловск. губ. Старооскольская улица, д. Орлова».

А. Крюков.»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Письма меня заинтриговали: в них была тайна, судьба, любовь — то ли искренняя, то ли не очень. Они представлялись романом без развязки, если не считать таковой обстоятельства, при которых они попали ко мне да и сами обстоятельства мало что проясняли. Кто умер в Доме Престарелых: Варвара Николаевна Гвоздарева, таинственная Женя, появившаяся вдруг и сгинувшая без следа, или некто третий, кому эти письма не были адресованы, а попали случайно не как память о любви, а как воспоминания о подруге или родственнице? Все могло быть, но тогда, к сожалению, я отложил эту переписку. Мне надо было заканчивать сценарий, продолжать работу над повестью, ездить в Ленинград по вызовам Иосифа Ефимовича. Уже кончалось лето, когда я смог вновь перечитать их и наконец-то посетить Дом Престарелых.

Августовская пыль и декабрьская печаль встретили меня там. Та же удручающая заброшенность, то же безысходное одиночество всех вместе и каждого в отдельности, те же потерянности и отрешенности старушек и старичков, забытых родными и близкими, обществом и государством. Это был призрачный мир погруженных в собственное отчаяние людей, которым уже не было дела до других, как другим не было дела до них.

— В апреле, говорите? Давно...

— А у нас каждую неделю помирают. Возят и возят.

— С той поры начальство два раза поменялось.

— А конфеток ты мне не привез? Хоть сто грамм принеси. Конфеток хочется.

Нет, они ничего мне не объяснили. То ли уж позабыли о той смерти, одной среди множества других, то ли думали

о собственной, которая была совсем рядом, не давая спать по ночам. Только одна, с натугой припомнив что-то, неодобрительно глянула:

— Это гордячка-то? Нет, не дружились мы с ней. Никто не дружился.

— Почему?

Скривилась вдруг, точно хину проглотив:

— Чужая.

За лето и вправду дважды сменились заведующие. Здесь никто не задерживался: зарплата была мизерной, а невеселых хлопот с неотложками и похоронами хватало выше выносливости.

— В апреле меня здесь не было,— сухо пояснила немолодая и, видимо, чем-то навсегда обиженная женщина.— Всего месяц, как назначена.

— Вещи с третьего этажа выбрасывали. Прямо во двор, через окно.

— А что прикажете делать? Дезинфекторы ждать не любят. Да и кому нужно их барахло? Родных нет, близких тоже. Ну, соседи, конечно, берут, что сгодится, администрация не протестует. А остальное — в окно. Не таскать же по этажам.

— Но это как-то... необычно, что ли.

— Обычно. Здесь особый контингент,— заведующая с видимым удовольствием произнесла это слово.— Одинокие. Все — одинокие, без детей, без родственников. А персоналу не прикажешь покойницей возней заниматься. А так все бегут. Кому охота со старичьем возиться, горшки их выносить? Жизнь, она строгая. У нее свой отбор. Естественный.

— Но учет все же ведется? Может, посмотрите?

— Ох, и настырный же вы,— заведующая порылась в столе, достала канцелярскую книгу, полистала.— В апреле, говорите? Шесть смертей в апреле зарегистрировано. Записывайте: Кирьянов Федор Петрович, Гуртова Мария Никифоровна, Нежилова Ольга Ивановна, Самохин Матвей Григорьевич, Гулько Иван Васильевич, Лифшиц Евгения Львовна. Вы кого ищите-то?

— Гвоздареву,— сказал я после секундного замешательства: я и сам не знал, кого ищу.— Варвару Николаевну Гвоздареву. Очень нужно.

— Такой нет.— Заведующая подумала, похмурилась.— Спросите у дворника Шугаева Алексея Андреевича. Он тут бессменно со дня основания. Правда, жалуются на него, что попивать начал. А старичье — народ дотошный: письмо от них поступило, что в церковь он похаживает. А покойническое барахлишко он всегда сортирует: что — в утиль, что — еще

куда. Это по должности положено. Рассказывали мне, что как-то часы серебряные нашел. Видно, старички спереть не успели, вот они ему и достались.

— Сильно пьет?

— Я не проверяла, зачем мне это? Он вообще тоже пенсионер, за нашим домом числится. Столуется тут, белье, стирка — что положено. А живет отдельно, тоже как положено: он ведь, как я понимаю, за эту комнатенку в подвале и в дворники пошел. Так чего мне его проверять? Не буянит, и ладно. А работу свою исполняет четко и память склерозом ему не отшибло, как некоторым. Только вы все же водки ему не давайте. И режим соблюдайте, который я ввела.

И встала строго и даже торжественно. Я заверил ее, что ни водки, ни денег на нее не дам, и она впервые почти по-женски улыбнулась:

— Ну, тогда у меня нет возражений.

Объяснила, где каморка дворника, когда он согласно введенному ею режиму спит, и я распрощался. Время было неподходящим — по новому распорядку пенсионерам полагалось отдыхать не только после обеда, но и до него — ни старичков, ни старушек не было видно, и я, потоптавшись, начал с нарушения установленных правил.

Дворник Шугаев жил в полуподвальной комнатенке с торца, и я нашел дверь в его личное убежище быстро. Спустился на несколько ступенек, постучал, но никто не откликнулся, и я, поколебавшись, открыл дверь и шагнул в сумеречный полуподвал, но сразу остановился.

Напротив за столом, ссутулившись, сидел высокий старик с заметной лысиной, просвечивающей сквозь давно нестриженные седые волосы. Заросшее щетиной лицо его было настолько худым, настолько обтянутым кожей, что живыми казались только глаза. Колюче, недоверчиво и пристально он смотрел на меня, будто знал, что я непременно приду, подготовился к неприятному разговору и неприязни ко мне скрывать не собирался.

— Шугаев Алексей Андреевич?

А он и не шевельнулся, по-прежнему глядя на меня с настороженной непримиримостью. Я медленно подошел к столу и только тогда понял, что он не видит и, наверно, не слышит меня. И во взгляде его не было ни зла, ни непримиримости: застекленным был взгляд. Точно отгородился он от всех непробиваемым триплексом, а смотрит в себя и слушает себя, и никто ему сейчас не нужен.

— Алексей Андреевич?

— Что?.. — он дернулся, словно я коснулся его рукой. — Что надо. Сплю я. Сплю. Мертвый час.

— Меня заведующая к вам послала,— я взял табуретку, что стояла у стены, перенес ее к столу и сел напротив.— Очень важно, Алексей Андреевич.

Он очнулся не от моих слов, а от моего хозяйского поведения. Исчезла с глаз броневая защита, он уже видел, что перед ним кто-то сидит.

— Из Пожарного управления, что ли?

— Нет.

— Саннадзор?

— Тоже нет. Я человека ищу. Старушку.

— Какую еще старушку? Я — дворник. Мусор мое дело.

— Она в апреле умерла.

— В апреле?..— он помолчал, и мне вдруг показалось, что мы думаем сейчас об одном и том же человеке.— А кто вы ей?

— Кому? Кому — ей? Кого вы имеете в виду, Алексей Андреевич?

Он молчал, глядя на меня. Закурил папиросу, вздохнул:

— Не понимаю.

Я терпеливо рассказал ему все, что когда-то видел, но о письмах умолчал. Неудобно мне было говорить, что я нагло украл чужую тайну, хотя тогда я никакого неудобства почему-то не испытывал. Тогда я еще не знал, что письма эти — о любви.

— А вам что за дело? — угрюмо спросил дворник, и глаза его опять прикрылись непробиваемым триплексом.

— Понимаете, судьба...— каюсь, я залопотал, сбился с тона, не понимая сам, почему.— Видите ли, когда из окна летит прошлое чьей-то жизни... А я — писатель.

— Писатель? — он хрипло засмеялся.— Соцреализмом промышляете? А он не в ваших писаниях, не в ваших! Он — кругом, кругом! Я до рвоты нахлебался им, до рвоты! И не позволю жизнь ее в комедию превращать, не позволю! Ни ее, ни свою, ясно выражаюсь? Вон отсюда. Вон к...

Он ругался и кричал, хотел встать, цепляясь за стол, но сил не было. А я встал и собирался было уйти, но одна фраза, которую он выкрикнул, не подумав, всплыла во мне: «жизнь ее в комедию превращать». Чью жизнь имел в виду Шугаев? Я должен был, обязан был узнать и ждал, когда дворник кончит кричать и материться.

Он быстро выдохся. Закрыв лицо руками, сказал тихо:

— Гады. Подлецы. Гады ползучие. Там, в тумбочке, бутылка. Налей мне. Зажало.

Я нашел початую бутылку водки, налил полкружки, поставил перед ним. Он долго тер лицо, потом взял кружку, молча выпил, не глядя на меня. Я опять сел напротив, предложил ему сигарету, закурил сам. И молчали мы долго.

— Отпустило, — тихо сказал он. — Я ведь не пил. Она очень просила, чтобы не пил.

— Кто — она, Алексей Андреевич?

— Ольга Ивановна.

Я припомнил фамилию из скорбного списка:

— Нежилова?

Он молча покивал, глядя в стол. Фамилия мне ничего не говорила, круг замкнулся: письма, по всей вероятности, принадлежали кому-то другому. И я спросил, уже мало на что надеясь:

— А девичьей ее фамилии вы не знаете?

— Это и есть девичья, — он горько улыбнулся. — Как-то спросил ее, не была ли замужем. Тактично, как положено: просто к слову пришлось. А она странно так ответила: «нет, говорит, Женёк я». То есть, как, спрашиваю, Женёк? «Да так, говорит, прозвал меня один человек. Женёк, значит, не жена. Женёк, он «Женёк» и есть. Неповязанная законным браком любовница».

Это было ответом: в Доме Престарелых в апреле скончалась «Женёк», возлюбленная Федры — Крюкова Варвара Николаевна Гвоздарева. Но почему под именем Ольги Ивановны Нежиловой? Оля поминалась почти в каждом письме, ей регулярно передавал привет «Федра»; можно было бы предположить, что у Оли могла оказаться в руках переписка, но зачем ей выдавать себя за адресата этой переписки?

— Кто по профессии была Ольга Ивановна?

— Учительница.

— Из Ярославля?

— Почему? Из Москвы. Этот дом — для москвичей. Это я тут случайно со сто первого километра. Но я сперва дворником устроился, комнату эту вот получил, а уж потом пенсионером оформился. Чуть не выгнали.

— За что?

Я все время думал, кто есть кто, как со всем этим разобраться. Спросил машинально: выпивший Шугаев помягчел, ему хотелось говорить.

— Я Ольге Ивановне отпевание в церкви организовал.

— Она богомольной была?

— Одинокой она была. А насчет Бога... Мне это надо было, мне, понимаете? Еле-еле священника уговорил за серебряные часы: как это, мол, так — без гроба полную службу служить?

— Почему без гроба?

— Тут положено — всех в крематорий. Ну, я туда Ольгу Ивановну, конечно, проводил, а праха мне не выдали. Я — не родственник, официального запроса от Дома Престарелых

не имею. Не востребованным такой прах называется. Не востребованный прах...

Он замолчал, закивал головой в такт собственным мыслям. И я молчал, подавленный открывшейся мне не востребованностью человеческой души. Человеческих душ, потому что в этом Доме у всех была одна дорога. И у дворника Шугаева тоже.

— На обед пора, — вздохнул он. — Не любит начальница наша, когда я опаздываю.

— Можно мне сегодня еще раз к вам заехать? — я не то, чтобы вдруг решился, нет: меня просто осенило, что ли. — На минуту.

Он усмехнулся:

— Опять соцреализм? Красные — белые, плохие — хорошие.

— Мне кое-что показать вам нужно.

— Первую главу закончили?

— Ольга Ивановна никогда вам не говорила о письмах? Что хранит чьи-то письма с юности, с Первой мировой?

Он уставился на меня, вдруг опять помрачнев, вдруг опустив на глаза триплексную свою броню.

— Коробка с ними отлетела в сторону, — торопливо объяснил я. Ну тогда, в тот день, когда выбрасывали. И я ее подобрал. Извините, вас не было...

— Я в тот день в морге был. В морге, понимаете? Чтоб... чтоб тело ее студентам не отдали.

Тяжело поднялся, тяжело пошел к дверям. Будто и не было меня в этой комнате.

2

Вечером я отвез письма Шугаеву. Я нашел его в том же бетонном бункере, который где-то официально именовался комнатой, и он так же сидел за столом, занавесившись бронированным взглядом от мира. Я положил перед ним коробку из-под довоенного печенья и сказал:

— Приду через три дня.

Мог бы, конечно, и раньше — уверен был, что Алексей Андреевич сразу же прочтет их — но мне хотелось дать ему время подумать, разобраться, перечитать. И пришел, как обещал: через три дня. Но с сумкой, в которой лежала бутылка. Тут уж стало не до заведующей — тут серьезный разговор намечался и единственно, чего я побаивался, так не гнева начальницы, а запоя Шугаева, начитавшегося писем, адресованных «Женьку».

И опять он сидел за столом. В той же позе и с тем же взглядом. Перед ним лежала коробка из-под печенья.

— Прочитали.

Я не спросил, я — понял. Сел к столу — табуретка так и стояла там, где я ее поставил три дня назад, — и мы долго молчали.

— Я сжег письма, — он взял коробку, перевернул, потряс. — Все. До последнего листочка.

Копии писем у меня оставались, но я не ожидал от него такого поступка и огорчился.

— Зачем? Ведь это же ей адресовано. Ей?

— Мародеры. — Он не слушал меня. — Доктора тело забрать хотели, вы в душу лезете. Никакого уважения к праху. Никакого. Страна мародеров. — Он вдруг привстал, перегнулся через стол, погрозил костлявым пальцем. — Вы ничего не напишете! Ничего, пока я жив. Ни строчки!

— Хорошо, не напишу. Только объясните мне, как у Ольги Ивановны Нежиловой оказались письма Варвары Гвоздаревой? Или... или почему Варвара стала Ольгой Ивановной?

— Знаешь, что я патологу тому в морге сказал? Знаешь? — Он по-прежнему не слышал меня. — Я ему правду сказал. Убью, сказал, если студентам тело ее отдашь. За мной восемь лет лагерей, я ничего не боюсь. И тебе тоже скажу: убью. Убью, понял?

— Я ничего писать не буду. Хотя бы потому, что письма вы сожгли. Так что успокойтесь.

— Сжег? — Он словно прислушался, как звучит слово. — Не-ет, это я для тебя сжег. А для себя... Нетленные они для меня.

Я принес кружки, разлил водку. Он сел на место, но глаза оставались за броней.

— Земля ей пухом, — сказал я. — Пусть земля будет пухом Варваре Николаевне Гвоздаревой.

— Ольге Ивановне, — он как-то не очень уверенно поправил меня.

— Пейте, Алексей Андреевич. И будем разбираться.

Шугаев выпил. Мы закурили и опять долго сидели молча.

— Она на рояли играла, — вдруг сказал он. — Сказала как-то, что любила играть, а в нашей богадельне какой рояль? Но я нашел. Я со старичком из Дома Творчества договорился, что он нас проведет. То ли актер, то ли режиссер, не знаю. Да неважно это, важно, что провел он нас. Ольга Ивановна такая счастливая была, такая счастливая!.. Два часа играла, артисты слушать пришли или кто там, в этом Доме? Аплодировали ей. А начальник какой-то

сказал, чтоб приходила, когда захочет. Но она больше не пошла.

— Почему?

— И знаю, и не знаю. У нас в богадельне один телевизор на этаж да и тот черно-белый, а у них — кино каждый день. Зал просторный, ковры кругом, картины на стенах, телефон в каждом номере городской. А в подвале — поликлиника, доктора, процедуры, а у нас — дежурная сестра. Клизму ставить. Непонятно? Если бы к ней тогда никто не подошел, если бы не аплодисменты эти, она бы ходила туда играть. Нечасто, гордая была, но ходила бы. А тут — удивление с восторгом: папуасы, оказываются, Шопена играют. Овация! Так думаю, если порассуждать. Бедность ведь не обидна, снисходительность обидна. Русская медвежья косолапость: ничего, мол, старуха, что на тебе застиранный бумазеевый халатик — у нас зато душа широкая. И — как отрезало: спасибо вам, дорогой Алексей Андреевич, отыграла я свою музыку.

— Вы любили ее, Алексей Андреевич?

Он странно посмотрел на меня. Словно вдумывался в себя и в само это слово, которое плавало в полутемной каморке, отталкиваясь от бетонных стен, бетонного пола, бетонного потолка.

— Любил? — Тихо переспросил он. — Вы ведь о женщине спрашиваете, не о блинах. Любил, конечно, хоть и не было во мне этого вопроса. Когда умерла, ответ без всякого вопроса пришел: любил. Очень любил. Хоть и странно это, конечно.

— Что же здесь странного?

— Что странного? А то, что в матери она мне годилась. — Он заметил мой растерянный взгляд, усмехнулся невесело. — Ты какого года?

— Двадцать четвертого.

— А я — двадцать второго, на два года старше. Что, старцем меня считал?

— Лагеря?

— Ну и лагеря, конечно. Само собой. И лагеря, и два ранения, только не от них я рухнул. Я в двадцать шесть постарел. Сразу и навсегда. В лагерь стариком приехал, так стариком меня там и звали. И зеки, и охрана. А мне только-только двадцать семь тогда исполнилось. — Он вздохнул, помолчал. — Налей, писатель, по глоточку. Помянем. Дочек моих помянем. Тамарочку и Ирочку. Одной — три месяца, другой — три годика. И маму их, Валюшу. Жену мою.

— Катастрофа? — тихо спросил я, но Шугаев не ответил.

Глотнули мы с ним за упокой, закурили вместо закуски, помолчали. Я ожидал, когда он заговорит, а он уплыл куда-то

из своего бетонного каземата, но не от водки. На других волнах уплыл.

— Отвоевался я в сорок четвертом, — вдруг сказал он. — Последнее ранение — тяжелое — долечивали в Ашхабаде. Женился на медсестре, там и служить оставили: я ведь кадровый офицер, подполковник. Жена, семья, дети. А у меня — никого: я — ленинградец, все родные в блокаду сгинули. А тут — семья, дом, служба. В начале сорок восьмого еще одна девочка родилась, а меня вскоре в командировку отправили... Не стоит рассказывать, ты и так все вычислил.

— Землетрясение?

— А я — в командировке. Как узнал — а слухи-то шли, волнами шли! — к начальству. А мне в ответ: это провокация, не паникуй, все в порядке. Жертв и разрушений нет. Не верил, ни одному слову их не верил! Поехал самовольно, с пересадками: прямых рейсов не было, все — глухо. Но я прорвался, я почти дошел уже, когда заслоны перехватили. В кутузку меня, а я опять сбежал. И опять пошел. И опять сцапали. Я какого-то майора из МВД на коленях умолял: пусти в город, позволь самому детей своих отрыть. А он: провокатор, мол! Ну, не сдержался я, бить его кинулся. А избили меня, да так. Потом — суд: десять лет лагерей. Наливай, чего уставился? Ну, потом Сталин помер, амнистии начались. Дело мое пересмотрели, зачли, что отсидел, за дезертирство и сопротивление властям. И остался я на всю жизнь судимым.

И опять мы выпили, и опять покурили. Не помню, о чем я думал: обо всем сразу. О том, как отца к заваленным детям не пустили, об умершей под чужой фамилией и чужим именем Варваре Гвоздаревой, о нем, фронтовике с тяжелым ранением подполковнике Шугаеве, которого били, смертным боем били. О невестребованных прахах я думал, так, пожалуй, точнее. Но, к счастью, ничего не сказал.

— Как освободили, я сразу — в Ашхабад, — тихо и как-то спокойно, что ли, начал Алексей Андреевич. — Запрещено мне было по столицам разъезжать, но не мог я не поехать, сам понимаешь. И лететь не мог: паспорта нет, только справка об освобождении. И я поездами, с пересадками, в зековской телогрейке, в зековских котках. Знал, что на вокзале замести могут, заранее сошел, но добрался. Что было со мной, не знаю, только бежал я по улицам. А они все — новые. Все — новые! Ну, куда деваться? В горсовет пришел. Как гоняли, об этом говорить нечего, а — как приняли. Наконец-то допустили до начальника, и я сходу все ему и выложил. Об одном умолял, чтоб сказали, где семья, что с ней, а если все погибли, то где похоронены. Мол, поклонюсь

им и уеду. Он вежливо так расспрашивает, все записывает: как кого звали, домашний адрес. «Завтра, говорит, приходите, все, говорит, доложу». Руку пожал, до дверей проводил, а в подъезде меня милиция ждала. За нарушение режима. Опять — бить, опять — в камеру. Трое суток держали: допрашивали, кто послал, с какой целью. Потом вместе с зеками до Сибири довели и выбросили на какой-то станции. Но мне уже все равно было, я уже все узнал. Там, в камере. Город, объяснили мне, бульдозерами расчищали. Кости, которые находили, в братскую яму, а которые не находили, те так под будущими проспектами и остались. — Он помолчал. — И еще я остался. Один. Где жил, не помню, что ел, не знаю. Через месяц, что ли, понял, что не могу больше жить, вообще не могу. Но из петли вынули, откачали, и я заново соображать начал. И поехал к фронтовому другу в Подмосковье. Он меня принял, а вот жена его не приняла. Но пока он жив был, дружок мой, я терпел. В котельной работал, документы получил, в пристройке у него ночевал. А как помер он, так выживать меня начали. Но тут повезло: дворником сюда устроился. А как-то ранним утром подметаю двор, и вдруг — голос: «Позвольте, я помогать вам буду. А то тоскливо очень». Оглянулся: она. Ольга Ивановна моя...

...ч замолчал, а я достал бутылку и разлил остатки. Он выпил сразу, вроде бы и не глотая: просто вылил в себя. Прохрипел:

— Уходи. И не приходи больше. Хватит. Но только одно. Только одно: не пиши о нас. Не пиши. Забудь все.

И я ушел.

3

Больше я не навещал дворника Шугаева. А из головы не лезло превращение Варвары Гвоздаревой в Ольгу Ивановну Нежилову. И помыкавший неделю, поехал в Ярославль. Не столько в надежде узнать что-либо, сколько просто взглянуть на дом, в который Федра писал из Действующей армии чуть ли не каждый день.

Никакого дома я не нашел. Все изменилось за это время, и хотя центр почти не тронули, но дома тем не менее не было. Другой стоял на этом месте. Здесь жили другие Варвары и другие прапорщики Крюковы писали им письма: жизнь шла своим чередом, и ей не было дела до прахов, зыбких теней вчерашних обид и вчерашних надежд. Кажется, об этом думал я, входя в пустой музей города. Абсолютно пустой, как колокол без языка.

— У вас всегда так гулко?

— Почему же, — с обидой сказала заведующая. — У нас туристы, когда сезон, школьников в обязательном порядке водят.

Зря я так глупо пошутил: мне нужна была ее помощь. Нужно было бы захватить с собою копии писем, упросить ее прочитать их, и я бы наверняка обрел сообщницу. Но писем я не взял — до сих пор понять не могу, почему я их не взял — и начал разговор неудачно.

— Если бы этот дом имел историческую ценность, уверяю вас, его бы не тронули. Мы сохранили исторический облик центра.

— Меня интересует судьба владельцев дома.

— Гвоздаревы, вы сказали? Мне не встречалась эта фамилия. А я, уж поверьте, хорошо знаю историю родного города.

— А где все же можно что-то узнать о них?

— Трудно сказать. Попробуйте в городском архиве.

В городском архиве с меня потребовали разрешение КГБ. Разрешения у меня не было, хлопотать о нем я желания не испытывал и решил поставить крест на своих поисках. Возвращаться в Москву тоже не торопился: гулял по городу, где когда-то жила Варвара Гвоздарева, окончившая жизнь не востребовавшим прахом. Мне было грустно и немного совестно, что ли, и может быть поэтому я однажды забрел в городскую библиотеку. Там было тихо и уютно, хорошо улыбалась скромная библиотекарьша, и мне вдруг захотелось исповедаться. И я, не упоминая, естественно, о Шугаеве, рассказал не только о письмах, но и о том, куда была адресована большая их половина.

— Позвольте, я что-то слышала о Гвоздаревых. Какая-то женщина расспрашивала заведующую или что-то о них рассказывала.

— А где ваша заведующая?

— Я — заведующая, — она мило засмушалась. — Анна Петровна на пенсии, я вам расскажу, как ее найти.

Я застал прежнюю заведующую в окружении внуков. Их было трое, но они мелькали так, что счет мог оказаться приблизительным. Однако Анна Петровна их утихомирила, отправила гулять и зачем-то надела очки. Я опять принялся все заново рассказывать.

— У Гвоздаревых служила в горничных мать моей приятельницы Татьяна Сергеевна. Она рассказывала мне какую-то романтическую историю, но я, признаться, забыла, в чем там суть. Старее.

— А где я могу найти Татьяну Сергеевну?

— К сожалению, она скончалась в прошлом году. Но у нее была дочь. Татьяна Сергеевна любила присылать открытки с поздравлениями, там должен быть обратный адрес.

Надо ли говорить, как я бежал к дочери покойной Татьяны Сергеевны! Я попал на след, я чувствовал, что поймал ниточку из прошлого, и отчаянно звонил в квартиру, указанную на обратном адресе поздравительной открытки. Дверь открыла молодая женщина.

— Мне Сараевых, здравствуйте.

— Я — Кузьменко. Мама — Сараева, но она...

— Вы — дочь Татьяны Сергеевны?

— Да. А в чем дело?

— Что вам известно о неких Гвоздаревых? Ваша бабушка служила в горничных у Варвары Николаевны...

До сей поры я только в кино видел, чтобы так менялось лицо. Нет, не было в нем ужаса, да и страха никакого не было: было недоверчивое удивление. То же самое, вероятно, случилось бы и с моим лицом, если бы ко мне вдруг вошел Конек-Горбунок.

— Чушь какая-то, — вздохнула она. — Ну, проходите. Вы — шпион?

— Я писатель, — совершенно уж невразумительно пояснил я и стал зачем-то демонстрировать удостоверение. — Вот. Ко мне случайно попали письма...

— Вы пришли за фотографиями?

Тут уж настала моя очередь впасть в недоумение.

— Какими фотографиями?

— Варвары Гвоздаревой и белого офицера. Кажется, его звали...

— Крюков? — перебил я. — Александр Федорович Крюков? Федра?

— Костя! — вдруг закричала хозяйка. — Костя, я ничего не понимаю!

Из комнаты — а мы почему-то сидели (или стояли?) на кухне — вышел молодой человек в больших роговых очках.

— Костя, я схожу с ума, — обреченно сказала хозяйка. — Бабушка была права: этот человек пришел за фотографиями.

Полчаса мы не понимали друг друга, но как-то успокоились. А до этого я, торопясь, рассказывал о письмах, адресованных Варваре Николаевне, умершей под именем Ольги Ивановны Нежиловой.

— Ольга Ивановна — моя бабушка. Я — тоже Оля. В память о бабушке. Сейчас я поставлю чай.

— Какой там чай, — вздохнул муж-Костя. — Тут без бутылки не разберешься.

И мы стали разбираться с помощью бутылки. Проверенным русским способом.

Настоящая Ольга Ивановна Нежилова, покойная бабушка Оли Кузьменко, действительно служила у Варвары Гвоздаревой, но скорее компаньонкой, чем горничной, поскольку была посвящена во все сердечные тайны своей хозяйки. Она всегда сопровождала ее в Москву, где жили многочисленные родственники Варвары, выслушивала монологи влюбленных, а порою читала и письма «Из действующей армии». Потом влюбленные окончательно рассорились (современная Оля не знала причин этой ссоры), а в конце июля 1918 года после подавления эсеровского мятежа ночью к ним неожиданно пришел Крюков.

— Через два часа в городе начнутся аресты. Собирайтесь, Варвара Николаевна, вы — в списке.

— Я уже арестована?

— Есть возможность посадить вас на московский поезд. Как-никак я — командир полка Красной Армии.

— Но почему, почему нас должны непременно арестовать?

— Потому что вы — генеральская дочка, а ваш брат Павел Николаевич уже арестован. Что ты медлишь, Женёк? Опять приступ психологии? Речь идет о твоей жизни... И о моей, если кто-нибудь узнает, что я предупредил тебя.

— ...Тут он посмотрел на бабушку, — рассказывала Оля Кузьменко, — и сказал: «Отдай ей свои документы». А ты, Женёк, забудь, что когда-то была Гвоздаревой и читала Отто Вайнинберга. Вещей не брать: нельзя привлекать внимания. Только сумочку.

Так они и ушли, а через час Ольгу арестовали, как Варвару Гвоздареву, потому что никаких документов у нее не было, а о посещениях Крюкова она ничего не сказала. Правда, через сутки отпустили, разрешив забрать из дома Гвоздаревых только свои вещи. Тогда Ольга и обнаружила, что Варвара взяла с собой сумочку с письмами Федры, а фотографии забыла — они были в альбоме.

— Бабушка взяла эти фотографии, — сказала Оля. — Она очень любила Варвару Николаевну. Костя, принеси.

И вот я вглядываюсь в Варвару Николаевну Гвоздареву, «Женька» многословных писем Федры, Ольгу Ивановну Нежилову Дома Престарелых. Мягкое, округлое лицо с широко расставленными большими глазами, чуть прикрытое невесомой вуалеткой шляпки с меховым султаном. Из-под шляпки выглядывают толстые, старательно заплетенные косы, полные губы застыли в полуулыбке, образовав в уголках губ еле заметные ямочки.

И — прапорщик Крюков Александр Федорович. «Федра». Небольшого роста, худощав, по-офицерски подтянут. При сабле с темляком ордена Анны 4-й степени, с Георгиевским крестом на гимнастерке, затянутой солдатским ремнем. Узкое, не лишенное приятности лицо с мелкими чертами, офицерская фуражка чуть сдвинута на правое ухо, аккуратные усики.

Да, мелковат был Александр Федорович для Варвары Николаевны. Мелковат. Мир невостребованному праху ее.

— Бабушку и дедушку взяли ровно через десять лет. А маму определили в «Три ДВН», как она говорила: «Детский дом детей врагов народа». В сороковом ей исполнилось восемнадцать, и ее отпустили под надзор. Работала ткачихой, в сорок третьем ушла на фронт. Через год демобилизовали по ранению, разрешили жить в Ярославле. Вышла замуж поздно, за инвалида, и я родилась уже после его смерти.

— А бабушка?

— Бабушка вернулась в пятьдесят восьмом. Нашла маму. Я плохо помню, но мама рассказывала, что бабушка упорно связывала свой арест с Ярославским мятежом. И постоянно рассматривала эти фотографии.

— Их не отобрали при аресте?

— Они были хорошо спрятаны, даже мама о них ничего не знала. Мне кажется, что бабушка начала бояться еще в восемнадцатом, после первого ареста. Тогда же припрятала фотографии и боялась всю жизнь, вплоть до смерти. Под конец она стала совсем странной, разговаривала сама с собою, а мне с детства внушала, что тот человек, который однажды придет и спросит о Гвоздаревых и фотографиях, — шпион.

Мы долго сидим с Костей на кухне и пьем водку: Оле нельзя, она ждет ребенка. Пьем молча, потому что думаем об одном: о невостребованных прахах и востребованных на эшафот душах, которые переполнили Россию до краев...

4

Осталось досказать немного. Я вернулся в Москву с фотографиями и в тот же день отвез их Алексею Андреевичу Шугаеву. Он долго вглядывался в милое лицо юной Вареньки, не замечая слез. Потом сказал:

— Оля. Глаза не меняются, только морщинки растут вокруг. А этого, — он отодвинул фотографию Крюкова, — Федру этого заберите. Хоть и спас он ее, а все равно не достоин. Они ведь, как шмель с яблонькой: он жужжал, а она для

другого цвела.— Алексей Андреевич помолчал, вздохнул.— Не пиши. Не обмани, пожалуйста. Помру, тогда как захочешь, дело твое. Писем я не сжигал.

Алексей Андреевич Шугаев скончался в июне этого, 1993 года, оставив мне письма и фотографию Вареньки Гвоздаревой. Я проводил его в последний путь, но урну с прахом мне не отдали, что, в общем, естественно для России. Стране невестребованных прахов и неприкаянных душ.

Смилуйся над ними, Господи: ад для них был уготован на земле.

СОДЕРЖАНИЕ

Не стреляйте белых лебедей. Роман	3
В списках не значился. Роман	149
Кажется, со мной пойдут в разведку... Повесть .	341
Прах невестребованный. Роман в письмах и фактах	427

Васильев Борис Львович

Собрание сочинений в 8 томах
Том 2
Романы и повести

Редактор *Г. Меркин*
Художник *А. Макаренков*
Технический редактор *Т. Андреева*
Корректор *В. Шполянская*

Сдано в набор 11.04.94. Подписано к печати 25.05.94. Формат 84×108¹/₃₂.
Печать высокая. Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. листов 28,56. Бумага типо-
графская № 2. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1053. Лицензия ЛР № 070781
от 09 декабря 1992 г.

Смоленская областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2

